9. 1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

ФАН КЕ АН. Игра на флейте *(ДРВ)*

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

Из вьетнамской прозы

ТО ХОАЙ. НГУЕН НГОК. МА ВАН КХАНГ *(Рассказы. Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева и Инны Зимониной. Вступление Мариана Ткачева)* 4

НГУЕН ДИНЬ ТХИ — Стихи *(Перевод с вьетнамского и вступление Л. Эйдлина)* 49

АТ-ТАЙИБ САЛИХ — Сезон паломничества на Север *(Повесть. Перевод с арабского В. Шагаля)* 54

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — Чилийская симфония *(Поэма. Перевод с испанского Инны Тыняновой)* 94

ИРВИН ШОУ — Вечер в Византии *(Роман. Перевод с английского К. Чугунова)* 98

Критика

М. МЕНДЕЛЬСОН — Творческий подвиг Ларса Лоренса 197

ИДА РАДВОЛИНА — Заметки о творчестве Густава Крклеца 203

Интервью

АТАНАС СВИЛЕНОВ — У Богомила Райнова *(Перевод с болгарского Т. Карповой)* 208

Культура и современность

Заметки на полях

М. Т. — Представляем вьетнамский журнал «Так фам мой». Юрий Рюриков — Бунт «пленных жен». С. Торопцев — Рифмованный маоизм 217

Публицистика

КОСТА СТРАНДЖЕВ — Мужество жить *(Фрагменты из документальной повести. Перевод с болгарского Лидии Баша)* 227

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

9
СЕНТЯБРЬ
1 9 7 5

СОДЕРЖАНИЕ

Наши гости

О литературе и писателях (Беседу записала Л. З.) 252

Изобразительное искусство за рубежом

А. КОЛОМИЕЦ — У картин Фукуда Хейхатиро 255

Среди книг

Издано в СССР

Овидий Горчаков — Вернулась мирная жизнь. А. Симонов — Хороший человек — это не профессия. Евгений Долматовский — Разговор с надеждой. Б. Львов-Анохин, В. Зайчикова — Любимое искусство 257

Издано за рубежом

Иван Николов — Ожидавшаяся неожиданность. Ц. Кин — «Семейный портрет» Марио Пикки. А. Мельников — «...Возлюби итальянцев в Австралии». О. Тимофеева — Лирическая проза Розмари Киффер 264

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 287

На обложке: гравюра на дереве художника из ДРВ ЛЫОНГ СУАН НИ «Сбор кофе».

На цветной вкладке: работы японского художника ФУКУДА ХЕЙХАТИРО.

© «Иностранная литература», 1975.

Из вьетнамской прозы

Не в первый раз уже «Иностранная литература» печатает на своих страницах вьетнамскую прозу. Да и авторы этих рассказов — в разной, правда, мере — знакомы читателю. И все же публикация эта не совсем обычная, она приурочена к годовщине одного из самых значительных событий вьетнамской истории: тридцать лет назад, 2 сентября 1945 года, на площади Бадинь, в центре Ханоя, президент Хо Ши Мин, восторженно встреченный тысячами своих сограждан, зачитал Декларацию независимости, акт, возвестивший миру о рождении нового суверенного государства — Демократической Республики Вьетнам.

У литературы Вьетнама давняя высокая репутация, и ей ни к чему преувеличенные юбилейные славословия; только в нашей стране репутация эта подтверждена более чем полусотней книг, переведенных почти на два десятка языков. И все-таки как не вспомнить именно сегодня о тех честных и талантливых книгах, которые еще до Августовской революции сорок пятого года рассказывали людям правду о «просвещенной благотворительности» колониализма, помогали им осознать свой человеческий и гражданский долг,— как не вспомнить сегодня о создававшихся в подполье, в тюремных камерах стихах, которые распространялись вместе с листовками и прокламациями, поднимая народ на борьбу. Для большинства вьетнамских писателей в том громовом незабываемом августе вопроса «за или против революции?» просто не существовало. Это была их революция — революция, принесшая на их землю свободу, справедливость и социальное обновление. Не случайно год спустя, в декабре сорок шестого, они вместе с первыми отрядами Народной армии ушли в джунгли — защищать революцию. Литература сражалась, строила и мужала вместе с народом республики, и есть ее доля в воспитании той неодолимой стойкости и мужества, которыми уже в наши дни Вьетнам удивил человечество.

Мне довелось несколько лет назад слышать, с какой гордостью мэр Ханоя говорил о том, что в дни самых тяжелых бомбежек столица не оставалась без воды, без электричества и без газет. И, добавим мы,— без книг. И еще добавим, приложимо это не к одному лишь Ханою. Да, было нелегко — нелегко писать, работать, жить. Было трудно с бумагой, с типографиями, многие из которых перекочевали под сень джунглей. Да, были — ничего не поделаешь: война — урезаны издательские планы. Но зато уж эти планы выполнялись неукоснительно, как на оборонных заводах.

На библиотечные полки и прилавки книжных магазинов укладывались новые романы, повести, книги стихов, переводы, красочно оформленные книжки для малышей. На переправах грузовики с газетами и книгами проходили в первую очередь — вместе с бронетранспортерами и ракетами...

Два из трех публикуемых здесь рассказов — «Улица» То Хоая и «Лунная песня» Ма Ван Кханга — как раз и вышли во время недавней войны, третий рассказ, «Пон», написан Нгуен Нгоком в недолгую мирную пору, выпавшую меж двумя войнами. Выбирая эти рассказы, переводчики не пытались представить новеллистический жанр прозы ДРВ за все истекшее тридцатилетие, что и невозможно было бы сделать в рамках журнальной подборки. Это просто три, если позволительно такое выражение, обычных хороших рассказа о людях республики, о сердечной их щедрости, тяге к работе, к знаниям, их скромном повседневном героизме. В них — отзвуки давней уже, закон-

чившейся в пятьдесят четвертом году войны, вдохновенный, преобразующий древнюю землю труд, вторая, не изгладившаяся еще у всех нас из памяти война и вера в победу правого дела, победу, ставшую сегодня реальностью. Эти рассказы не говорят о мире, пришедшем сегодня на землю республики, но, читая их, мы угадываем, какой он, этот долгожданный, стоивший стольких усилий и жертв мир, и верим: он будет долгим, плодотворным и радостным.

МАРИАН ТКАЧЕВ

ТО ХОАЙ

Улица

Пожалуй, улица никогда не выглядела такой оживленной, как в конце дня, когда зажигались огни. Домишки и комнаты, отделенные друг от друга лишь тонким простенком или плетеной перегородкой, а то и просто воображаемой чертой, пролегавшей иногда меж двух кроватей,— едва их заполнял электрический свет, как бы сливались воедино и казались каютами плывущего по морю большого корабля.

Неумолкавшая в любое время дня, улица становилась при фонарях особенно шумной. Здесь собирали ужин в комнате, там — всем семейством располагались прямо на кухне. Вернулся с работы знакомый всей улице паромщик. Молодая женщина, прислонив к стене велосипед, вошла в ясли и, выйдя с сынишкой на руках, взяла свой «экипаж», посадила малыша на плечи и не спеша двинулась по тротуару, а соседи, прозвавшие сына ее «кутенком», глядели, как он щурился на уличные фонари. Кое-кто, второпях дожевывая ужин, выбегал из дверей, сегодня ведь понедельник — день занятий на общеобразовательных курсах. Другие веселой компанией собирались в кино — говорят, в «Восточной столице»[1] идет новый музыкальный фильм. Тем временем у дверей появлялись топчаны, бамбуковые скамейки; старики с блюдечками бетеля, с кальяном и лаосским табаком устраивались где попрохладней. Ребятишки, вытащив из домов плетенки с отбросами, оставляли их в ожидании мусоровоза на краю тротуара и, как заправские футболисты, гоняли по мостовой круглый бумажный ком. И когда крики их внезапно умолкали, сразу становилось слышно, как бившая под напором струя из водопроводной колонки звонко ударяла в железные днища ведер, выстроившихся длинной цепочкой.

Как раз в эту пору и возвращался обычно домой дядюшка Бао. Чужой человек при виде всей этой суматохи и толчеи решил бы, буд-

[1] Восточная столица — одно из старинных названий Ханоя; в данном случае — название известного столичного кинотеатра.

то на улице разразился вселенский скандал, и лишь потом, приглядевшись, уразумел бы, что во всем тут есть свой порядок и у всякого свое обличье и повадки, свой взгляд на вещи, своя манера прищелкивать языком и, непохожая на все другие, улыбка.

Бао сворачивал на свою улицу, и с каждым шагом служебные дела его отступали куда-то, становились все неприметнее и, наконец, оставались где-то далеко за спиной. Уличный шум был ему нипочем, он шагал молча, невозмутимо, давно привычный ко всему. Оборачивался он, лишь услыхав слишком уж громкие голоса у водопроводной колонки и понимая: там назревает ссора, и, само собою, останавливался, если на перекрестке сталкивались велосипедисты. Подобные происшествия были его прямым делом — он как-никак состоял в Уличном комитете.

Но вот уже с неделю его изводила новая забота. Он старался отвлечься, забыть о ней, однако тревожные мысли вновь и вновь бередили душу. Сын его Минь, который ушел в армию еще в конце прошлого года, недавно получил увольнительную и приезжал домой на день. Он сказал, что скоро ему предстоит дальняя дорога. Бао не стал его расспрашивать, он и сам понял: сын собирается на фронт. Так уж повелось с тех пор, как янки вторглись на Юг и потом начали бомбить Север,— если солдата отпускали домой и он заводил с родными разговор о дальней дороге, каждому было ясно: жди теперь от него вестей с передовой. Оно и понятно — место солдата на фронте. Сам Бао двадцать лет назад тоже воевал. И Ван, старший его сын, снова в армии и сражается вот уже третий год. Заботило Бао другое: отпустят ли Миня еще хоть разок домой? И каждый вечер, сворачивая на свою улицу, он первым делом смотрел, не стоит ли у дома велосипед. Хорошо бы, конечно, если б Минь заглянул до отъезда. Здорово было бы войти в дом и увидеть белозубую улыбку сына, сидящего за подносом с едой...

Ребятишки, давно поджидавшие Бао, заслышав бренчанье старого велосипеда, с криком бежали ему навстречу.

— Дядя Бао! Дядя Бао!

— Дядя Бао, дайте, пожалуйста, коробок спичек!

— Сколько? — смеясь переспрашивал Бао.— Сколько вам надо коробков?

— Два...

— А мне — четыре!

— Нет, шесть! Шесть!

Бао останавливался, опершись на раму велосипеда, и детвора обступала его плотным кольцом.

В это время обычно возвращалась с работы тетушка Бао. Глянув на них, она восклицала в сердцах:

— Что, никак не распрощаетесь?

И поспешала дальше. Кто знает, шутила она или гневалась... Войдя в дом, она тотчас вытаскивала из-под топчана мангал, засыпала в него опилки, совала бумагу и поджигала растопку. Все движения ее были легкими и плавными. Нет, скорее всего она сердилась на мужа не всерьез.

Сказать по правде, еще не бывало случая, чтобы старый Бао дал кому-нибудь из малышей коробок спичек. Хоть он каждый раз исправно, загибая пальцы, подсчитывал, сколько кому обещал коробков... И мальчишки, и сам Бао вовсе не имели в виду обыкновенные спичечные коробки; для них эти спички означали нечто неведомое, чудесное, не имеющее ничего общего с будничными изделиями из бумаги, лучинок и серы.

У Бао была привычка не завтракать по утрам. С возрастом привычек и странностей у человека становится, как известно, больше и больше. И тетушка Бао сетовала на то, что эта привычка поститься по утрам была разорительней нескольких трапез.

Еще бы, каждое утро старик вместо завтрака выкуривал по две сигареты — да не какие-нибудь, а ароматные. Курение свое, объяснял ей муж, он подчиняет строгому правилу: первой сигаретой он затягивается сразу после умывания, вторую закуривает, выводя за дверь велосипед. Она и сама давно изучила этот его распорядок и, честно говоря, вовсе не думала о расходах, но по привычке — а у кого их нет — продолжала ворчать и жаловаться.

Когда в раскрытые настежь окна на нечетной стороне улицы доносился щекочущий ноздри запах ароматного табака, каждый знал: старый Бао идет на работу. И даже не глядя на часы, можно было держать пари: сейчас ровно шесть пятнадцать утра, если на дворе было лето, или семь пятнадцать — зимою. Год за годом, из месяца в месяц, изо дня в день все повторялось без перемен.

Бао имел также обыкновение, возвращаясь с какого-нибудь заседания, намекать соседям, какие именно важные и неотложные вопросы решались сегодня. Все знали — если он, проходя мимо старой стены, хранит молчание, значит, речь шла о делах военных, секретных. Иначе Бао заговорил бы, не обращаясь ни к кому в отдельности, как читают вслух газету:

«Рис теперь в продмаге будут продавать не по четвергам, а по воскресеньям — с утра и до вечера. Так народу удобнее. Значит, мы выполняем заветы Дяди Хо. Продавцы-то у нас — молодежь, вот они всей бригадой и надумали насчет воскресенья...»

«Да, в табачный отдел завезли сигареты...»

«Кто у нас ответственный за чистоту и порядок? Лето уже на носу. Надо опрыскать все, иначе от комарья спасу не будет. Опрыскать каждый уголок...»

«Скоро нашим ополченцам выступать на районном смотре!..»

«Помните, убежища не захламлять! Ячейки накрыть крышками, чтоб мусор с землей туда не попали. Мало ли что сейчас перемирие, от янки всего можно ждать! Так сказал Нгуен Ван Чан, товарищ Чан, секретарь горкома...»

«Сегодня я был на совещании вместо начальника... Наша бригада бытовых услуг скоро получит машину для выделки лапши. Если учесть вклады за этот месяц, денег нам хватит, нужно лишь взять небольшой краткосрочный кредит в банке и — машина наша! Тут уж у нас на улице не останется ни единого безработного, прямо хоть праздник устраивай...»

А кончались эти его речи всегда одинаково:

— Опять вы здесь, сорванцы? Небось спички вам подавай... Тебе сколько коробков? Сколько? Ну, говори! Подойди-ка... Так, пять... Зачем тебе столько? Ладно, пять так пять... А тебе, озорник? Только три? Маловато, давай-ка прибавим один, бери четыре...

Дел у Бао было невпроворот. Но как бы ни уставал он после рабочего дня, усевшись наконец на свой велосипед, он никогда не ехал прямо домой, а, свернув на плотину, подъезжал к Часовой башне. Здесь ближе к полудню открывался травяной рынок. Шли за травою и те, у кого был свой скот, и те, кто держал пекинских гусей, прожорливая птица эта в один миг сводила траву на лужайке — почище косаря с серпом. И едва торговцы успевали сложить под высокими фикусами вязанки травы, как ее раскупали всю — до последней былинки.

Бао травы не покупал. Он сам нарезал несколько охапок зелени в зарослях, поднимавшихся на краю площади. Маленький серп и хол-

щовая сумка всегда были привязаны к багажнику его велосипеда. Бао держал четырех кроликов — они жили у него в выкрашенном зеленой краской двухъярусном деревянном загончике, красивом и чистом, как клетка для птиц.

Когда со всеми делами было покончено, оставалось еще одно, самое последнее — разговор о спичках с мальчишками, обступавшими его у перекрестка, и, наконец, Бао ставил свой велосипед у дверей. Жена сидела на корточках под самым окном. Справа от нее тлели в мангале опилки, слева — пыхтела керосинка. Обе руки жены были заняты делом — точь-в-точь как у ткачихи, склонившейся над своим станком. Бао каждый раз хотелось спросить у нее: «Что, Минь не приходил?» Но он молча прямым ходом шел во двор, набирал воды из бочки и, смыв с себя пыль и пот, возвращался в комнату. Там на подносе его уже ждал ужин.

Казалось бы, сядь спокойно и ешь в свое удовольствие. Но тут-то и наплывали дела и заботы, они катились чередою, как дождевая вода по звонкому желобу, и сливались в густую сеть.

С тех пор как Минь ушел в армию, старикам казалось — и так было на самом деле,— что они стали теплее относиться друг к другу; а ведь такое редко увидишь в преклонные годы. Тетушка Бао ласково поглядывала на мужа. Он, положив в чашку рис, знай подливал себе суп из водяного вьюнка, сваренного, чтобы был покислее, с травою тюаме. Тут она опускала свою чашку и начинала обмахиваться веером из бамбуковой дранки, намекая мужу, что, мол, есть надо не спеша, со вкусом. А то привык делать все на скорую руку и думает бог весть о чем, вон — пустые палочки подносит ко рту. Ну вылитый командир здешних ополченцев, тот тоже вечно торопится. Так думала тетушка Бао. Муж, по ее мнению, слишком уж был неразборчив в еде и издерган. На самом деле старый Бао любил вкусно поесть и характер имел уравновешенный и спокойный. Но тетушка Бао была убеждена, что ей со стороны виднее.

Он поднял глаза, словно догадываясь об этих нелестных для него мыслях, и сказал:

— Съем-ка я еще для порядка.

Снова подлил себе супу и принялся старательно жевать кусок малосольного баклажана, но все равно, полагала тетушка Бао, ел он без должной выдержки.

Ага, так и есть. Легок на помине — в комнату вошел командир ополченцев. Этот всегда казался взвинченным, и все-то дела у него подбирались важные и срочные. Когда янки бомбили Ханой, человеку, не знавшему его, могло показаться, будто командир теряется во время налета. Но он вечно был таким — беспокойным и суетливым. Товарищи частенько подшучивали над ним, да только он был неисправим,— и, слушая, как он разъяснял какое-нибудь ответственное задание, все, бывало, покатывались со смеху.

— Товарищ Бао! — воскликнул командир.

— Что случилось?

— Срочное дело.

Бао бросил палочки на поднос и усмехнулся:

— Ну, если срочное...

— Да, да. Вы ешьте, ешьте, а я пока вам все изложу. Близятся праздники, и надо составить программу — как обеспечить порядок и безопасность...

— Да как обычно, чего тут мудрить!

— Ну уж нет, в этом году надо бы начать подготовку пораньше. Вода прибывает, сами знаете...

Красная река и впрямь поднялась высоко, впервые за долгие годы уровень ее достиг двенадцатиметровой отметки. Была объявлена готовность номер три. Горожане, облепив, точно муравьи, оба берега, укрепляли и насыпали повыше дамбу, а внизу, грозно рокоча, неслась красноватая от ила вода.

Да, порядок и безопасность — дело нешуточное. Конечно, думал старый Бао, заботы эти общие для всей улицы, и надо бы привлечь побольше народу, наладить пропаганду так, чтобы цель мероприятия дошла до каждого. И хоть все делается на добровольных началах, но отлынивающих да отсиживающихся по углам тоже быть не должно. Время теперь другое, не то, что до революции, когда люди и в одном-то доме жили что твои бойцовые петухи: всяк в своей клетушке, только отвори дверцу — перья так и полетят. Никому не было дела до того, жив или помер сосед за стеной. Бао ведь сам родом отсюда, как говорится, столичная косточка, ему ли не знать всех «прелестей» старого Ханоя. Ну, да все это отошло в прошлое и — навсегда! А праздники — Новый ли год, День республики или другая славная дата,— они теперь всенародные. Надобно чтить их и отмечать как положено, по издавна заведенным обычаям, но не забывать и о порядке. Соседям, которые не поняли этого, придется растолковать, чтоб уразумели все как надо, а кто не прислушается к голосу народа, тем надо вовремя хорошенько прочистить мозги. Бао был мастер по этой части, уж если примется за кого, пощады не жди. Молодежь, хоть и побаивалась его, любила присутствовать при «разносах»: Бао и тут не обходился без шуток, а посмеяться каждому охота. Случалось, он и с детворой в игры пускался, забыв о своем почтенном возрасте...

— Вы приходите к нам на собрание,— сказал командир напоследок.— Обменяемся мнениями, прикинем, что и как. Постарайтесь быть к началу. А мне еще надо сбегать к соседям, на ближнюю улицу, одолжить в их отряде несколько касок, так что я, возможно, и опоздаю.

— Ладно.

Бао открыл записную книжку и написал в конце страницы: «Собрание ополченцев — распорядок дежурств и патрулирования». Теперь он был спокоен: это уже не забудется (хотя, что греха таить, случалось, все равно забывал). Сегодня вечером у него не было никаких заседаний, и он решил воспользоваться свободным временем, чтоб разобраться в делах, накопившихся еще с прошлой недели. Так, во-первых: помещение для старшей группы детсада — приготовишки должны же где-то заниматься. Может, пусть учатся пока в комнате медпункта? Но там ведь скоро и так поставят машину для выделки лапши. Медсестра, небось, взбунтуется: мол, там, где мучная пыль, нельзя делать прививки. А дети за какую провинность должны весь день дышать этой пылью? Что же делать? Нерешенные вопросы всюду, куда ни кинь. Люди шли с просьбами, с жалобами. Иногда ему снилось, будто он лежит на топчане рядом с соседями и пытается натянуть на себя хоть краешек циновки, а она — узкая и короткая — на всех одна. В молодости дни казались долгими, не знал, куда и время девать, а вот нынче времени всегда в обрез...

Не успел он выйти из комнаты, как с улицы послышался негромкий голос:

— Дядюшка Бао, дядюшка Бао!..

Кто-то из друзей однажды сказал ему в шутку: «Если к твоему имени приставить хвостик — две буквы «в» и «е», сразу станет понятно, что народ тебя пожизненно выбрал в Комитет самообороны»[1].

[1] Игра слов: «баове» по вьетнамски — «оборона», «защита».

И еще люди, видя, как он хлопочет с утра до ночи, пустили такое присловье: «Кто должен слоновую кость таскать, не поевши спокойно дома? Работники исполкома». Но Бао не желал слушать эти безрадостные, как он говорил, высказывания. Сколько бы ни было тяжелой «слоновой кости», уж он-то ее донесет куда надо. Он вел Комитет самообороны, был зампредом выборной Комиссии общественного контроля. Не отказывался ни от какой работы. Ведь эта «слоновая кость» — ноша, возложенная на него революцией. Значит — подставляй плечи!..

Он сунул в рот зубочистку, потом, достав зажигалку, прикурил только что свернутую сигарету и отворил дверь.

Город утопал в лучах фонарей и лунном свете. С высокого гребня окутанной мраком дамбы, за которой угадывалась вздувшаяся стремительная река, наплывало молчание, и его разрывали лишь голоса играющей детворы да звон струи, падавшей из крана в гулкие ведра.

Кто-то подошел к двери. Бао вздрогнул, ему показалось, будто это Минь. Увы, страстное желание повидать сына подвело его, а ведь он пока на зрение вроде не жаловался.

— А-а, это ты, Хай! — громко сказал он.

Только сейчас разглядев гостя, Бао вспомнил, что встреча с ним давно уже намечена в записной книжке; но краткая, как всегда, пометка, очевидно, затерялась среди бесчисленных записей, и дело вылетело у него из головы. Хай — сын старого Ты, который раньше тоже был в Комитете самообороны. Парня уволили с завода, и он хотел посоветоваться с Бао, как быть дальше. Впрочем, это вовсе не сам он решил — мать Хая, не зная, что делать с сыном, надумала обратиться к старым друзьям мужа. Хай, по натуре парень робкий, не сразу решился прийти к дядюшке Бао. Увидав его, Бао сразу все вспомнил. И тотчас подумал о Мине, ведь его сын и Хай были ровесники. Бао давно уже пришел к твердому убеждению: молодой парень, кем бы он ни был, должен непременно отслужить в армии. Военная служба любого сделает человеком. И Хай вовсе не исключение. Так-то...

— Жаль,— сказал он,— времени у меня в обрез. Ну, да не твоя это забота! Пока не выслушаю тебя, никуда не уйду.

— Ага...

— Ты почему раньше не приходил?

— Да я уезжал в деревню, к родичам.

— А не врешь?

— Разве могу я вас обманывать?..

— Тогда у меня такой вопрос: что там стряслось у тебя на заводе? Да ты проходи. И не волнуйся, все уладится.

Хай поглядел на хозяина и невольно опустил голову. Парень он был открытый и честный, но сейчас заколебался: поверит ли ему дядюшка Бао. За последнее время он убедился, что даже мать, не говоря уж обо всех прочих, не очень-то верит его рассказам; и не знал иногда, как ему быть, какие найти слова, чтобы люди поверили ему. Случалось, это и вовсе выводило его из равновесия.

Собираясь сюда, Хай заранее все обдумал. Он не сомневался — дядюшка Бао сумеет ему помочь. Сам он не знал почему, но с того дня, как Минь ушел в армию,— а он видел: Минь собирался на войну так же спокойно, как ходил каждый день на работу,— с того самого дня обуревали его разные мысли, когда радостные, а когда и невеселые. Ему казалось, будто дом старого Бао полон какого-то особого тепла и сердечности, потому и пришел он сюда, проникшись доверием и радостным предчувствием — совсем как в те годы, когда мальчишкой еще вместе с приятелями поджидал дядюшку Бао у перекрестка,

выпрашивая у него спичечные коробки... один коробок... три коробка... Но услыхав жесткое «А не врешь?..» — Хай ощутил, как в душе подымаются бог знает откуда взявшиеся отчужденность и даже злость. Побледнев, он плотно сжал губы и почувствовал, что спина у него вдруг взмокла от пота. Дружелюбный взгляд старого Бао успокоил его, к нему снова вернулось ощущение душевной легкости. Захотелось опять сродниться, срастись со всем, что окружало его в этом доме. Ему прямо-таки не терпелось рассказать дядюшке Бао все, все как есть. Конечно же, старик пошутил — он верит, верит ему.

И вдруг, словно прочитав его мысли, Бао сказал:

— Да не волнуйся ты, я верю каждому твоему слову.

— Дядя Бао,— успокоившись, произнес Хай,— я по глупости связался с ними, я...

— Скажи, это ты украл рюкзак у человека, задремавшего в парке?

— Я.

— А потом с дружками затеял драку ночью в кафе возле сквера. Не так ли?

— Да.

— Не пойму, с чего ты стал воровать?

— Они... они сказали — каждый обязан внести деньги в общий котел, иначе ему не гулять со всеми, не есть, не пить...

— А тебя, брат, жадность одолела?

Хай, склонив голову, пробормотал:

— Ага. Было дело...

— Почему ж ты, когда тебя на дирекции разбирали, людей клеветниками обозвал?

— Да потому что те гады и вправду меня оклеветали! — Хай резко вскинул голову, и голос его вдруг сорвался на крик.

Бао тоже весь встрепенулся и вскочил, хлопнув своей записной книжкой по ладони.

— Оклеветали, честное слово, дядя Бао.— Хай сразу сник и заговорил еле слышно:— Все, какие водились за мною дела, они ведь в прошлом году были, я тогда и на заводе-то еще не работал. Спасибо, ребята из Молодежного комитета взялись помочь мне, поговорили по душам, дали пропуск на выставку про борьбу с хулиганами и тунеядцами. Послушал я их, поглядел на все, и стыдно мне стало самого себя. Покончил я с прошлым — раз и навсегда. И в дневнике своем записал в тот день, что для меня как бы заново солнце взошло и началась другая жизнь. Все повернулось на сто восемьдесят градусов. Я даже голову обрил и поклялся: больше в злачные места — ни ногой. Загнал свою «шикарную» куртку, выбросил дубинку и с подонками не знался.

— Порвал, значит, с ними?

— Да. Видеть их больше не желаю. А они, чтоб насолить мне, нарочно меня «заложили»: раззвонили — Хай, мол, снова влип на краже и его милиция «замела» на вокзале... И еще наплели... Вранье это! А заводские-то и рады, приняли все на веру. Я забыть хочу напрочь эту дрянь, что ж, всю жизнь и будут ее под нос совать?

— Ясно теперь, в чем дело! — засмеялся Бао.

Хай поднял повыше рукав рубашки, на запястье его виден был буроватый круглый шрам величиной с монету в пять су.

— Вот, глядите,— сказал он,— это еще когда я с «братвой» водился, они наколку мне сделали — птицу. По-ихнему: «Умная птица всегда держится по ветру». А после уже, как одумался, зло меня взяло. Да и мать увидит наколку — сразу в слезы. Я сперва все руку перевязывал — вроде болит она у меня. Слыхал я, разными отварами птич-

ку эту можно вытравить. Только я решил сделать по-другому — так, чтоб и от наколки следа не осталось, и на будущее, если взбредет худое на ум, памятка была. Вот и выжег на том месте кожу.

Глаза Хая заблестели. Он широко улыбнулся. Нет, он ничего не скрыл от Бао. Да и вообще ему нечего больше скрывать.

Бао встал, положил руку ему на плечо и произнес фразу, изумившую Хая:

— Договорились, я помогу тебе вступить в ополчение.— И, поглядев на Хая, добавил:— Ведь дядюшка Ты когда-то...

— Знаю,— перебил его Хай,— отец тоже был ополченцем.

— Вижу, не забыл — это, брат, хорошо. Ну, считай, все у тебя в порядке...

Бао привычным движением скрутил сигарету, достал зажигалку, прикурил и вышел на улицу.

Пришлось пробираться через лабиринт стульев и плетеных скамеек, перегородивших тротуар. Ветер затих. Пряный дух табака ниточкой вился за ним вдоль улицы и оставлял ощущение освежающее и бодрящее — словно запах туалетного мыла, исходящий от только что умывшегося человека.

На собрании Бао рассказал о своем разговоре с Хаем. И тотчас градом посыпались возражения:

— Нет, тут дело темное!..

— Этот тип чего хочешь наобещает. Да кто ж ему поверит?!

Больше всех среди ополченцев кипятился один старик из бывших торговцев — редкие отвислые усы придавали ему удивительное сходство с сомом. Уже после того, как вышла «Директива восемьдесят девять» [1], соседи не раз замечали, что жена Сома приторговывает конвертами, марками и прочим ходким товаром. Но, само собой, они были ни при чем, когда ее забрали в привокзальное отделение милиции и держали там, пока Комитету самообороны не разрешили внести за нее штраф и взять на поруки. Она потом долго не смела даже голову высунуть за дверь. Немало было после того директив и разных кампаний, но никто не напоминал Сому о неприглядной истории, приключившейся с его старухой зимою прошлого года. А теперь, как посмотришь, Сом оказался самым непреклонным. Новый наш строй, утверждал он, самый прекрасный и справедливый и потому подонкам вроде Хая в ополчении не место.

— Наш долг,— заявил он в заключение,— оберегать заслуженный отдых народа после трудового дня. А Хай со своими дружками нарушал порядок и не давал людям покоя.

— Прошу слова...

Многие просили слова. Обычно на таких собраниях уже третий оратор сбивался на середине своего выступления, терял, как говорится, нить и начинал повторяться. На этот раз все обстояло иначе. Люди говорили толково, и даже те, кто возражал против предложения Бао, признали правоту его слов, когда он сказал: «Дядюшка Ты все годы был одним из лучших наших работников. Имеем ли мы право бросать на произвол судьбы его сына? Охаять человека — проще простого. А вот помочь...»

Да, отца Хая помнили все.

Это теперь долгими летними днями яркое солнце золотит на их улице белые стены домов. И тень от деревьев, посаженных на тротуарах, дотягивается уже до вторых этажей. А дядюшка Ты поселился здесь одним из первых, когда на улице поднимались только первые

---

[1] Имеется в виду постановление городского исполнительного комитета Ханоя о мерах по пресечению незаконной торговли товарами ширпотреба. *(Прим. автора.)*

хибарки. Было ему лет пятьдесят, и стал он сразу «монополистом» — единственным на всю округу рикшей: сперва таскал ручную тележку, потом пересел на велоколяску. Тележка его разъезжала здесь еще с той поры, когда железнодорожная ветка кончалась у вымощенной булыжником дороги за воротами в начале улицы Кхэмтхиен, где путь паровозам перекрывал шлагбаум. В прошлую войну, когда французы оккупировали город, коляску дядюшки Ты остановил однажды пьяный в дым «тэй»[1] и велел отвезти его к церкви Лиеузиай. Дядюшка Ты догадался, что тип этот из охранки,— в церкви была устроена камера пыток. Мало кто из попавших в «храм» оставался в живых. Подъехав к безлюдному и темному месту за Слоновьим загоном, рикша вышвырнул пьяного из коляски, пнул его несколько раз ногой в затылок, а потом приподнял коляску и проехал колесом по его шее. Сам после этого налег на педали и укатил к Северным воротам.

Неизвестно, что стало с пьяным «ажаном». Впрочем, если, по милости неба, он и не издох, то, уж наверно, остался калекой. Расправляясь с мерзавцем, дядюшка Ты был весь во власти охватившего его порыва, но назавтра, пораскинув мозгами, забеспокоился и решил бросить свой промысел. Он не возил пассажиров до того самого дня, когда был освобожден Ханой [2].

Ну, а потом дядюшка Ты заявил, что настали другие времена — прекрасные и славные, точь-в-точь как те дни, когда Ты Хай вернулся с победой и всех, кто обидел жену его Киеу [3], покарал, а каждого, кто был добр к ней, вознаградил по заслугам. И жизнь, мол, теперь пошла другая — никто не сидит у тебя на шее, и эти гады «тэй» не шляются больше по улицам. Разъезжай сколько хочешь...

Он стал руководить Уличным комитетом, а потом до самой смерти работал в Комитете самообороны. В день похорон дядюшки Ты отдать ему последний долг пришли даже представители райкома.

■

Каждый год, в канун Дня провозглашения республики, на городских улицах создавались оргкомитеты, чтобы подготовить и провести этот большой праздник торжественно, весело и без происшествий. Ну, а нынче вода в Большой реке [4], несмотря на позднюю пору, держалась высоко, и потому население города должно было проявлять особую организованность и бдительность. Прежде всего, конечно, это касалось ополченцев.

Хая приняли в ополчение и назначили патрулировать улицу с одиннадцати вечера и до часу ночи. Днем обычно дежурили женщины или пожилые мужчины.

Дежурство не сравнишь ни с каким другим делом. И сегодня, впервые повязав на руку красную повязку, Хай как бы реально ощутил ложившуюся на его плечи ответственность.

Влюбленные коты гонялись друг за дружкой по крышам. И Хай подумал: этак они перебьют немало черепицы, а теперь ведь самые дожди, и в домах потекут крыши. Вон там, за прикрытым окном горит лампа. Чего это люди жгут свет так поздно? Неужели ссорятся до полуночи? А может, в семье кто-нибудь заболел или собирается на вокзал к ночному поезду? По неглубокой сточной канаве прошлепала,

---

[1] Тэй (по-вьетнамски: запад) — презрительная кличка колонизаторов.

[2] Части Народной армии, освободившие Ханой от французов, вошли в город 8 октября 1954 г.

[3] Ты Хай и Киеу — персонажи романа в стихах великого вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820) «Стенания истерзанной души».

[4] Одно из названий Красной реки, главной водной артерии Северного Вьетнама.

не торопясь, старая крыса. Ишь ты, и как только она уцелела после всех кампаний по борьбе с грызунами? Небось на старости лет поумнела? И тут в темноте со всех сторон вдруг зазвенели будильники, едва умолкали одни, тотчас где-то рядом взахлеб начинали звонить другие. Пора было собираться в ночную смену — здесь во многих домах жили рабочие с фабрики. Потом заскрипели двери, послышались прерываемые зевотой голоса не проснувшихся еще толком людей, стук деревянных сандалий, перезвон чашек, котелков и бутылок.

Створки запертых дверей печально темнели, словно глаза слепцов. Кто знает, спят ли там люди или просто не подают признаков жизни. Но неожиданно двери — одна за другой — стали приоткрывать веки, красные от падавшего изнутри неяркого света. И облик домов сразу преображался. Не так ли и люди — иной раз человек, добрый и приветливый по натуре, кажется на вид суровым и мрачным. В одном из окон яркий свет лампы окрасил багрянцем полотняную штору. Это счастливая комната: такая уж завелась верная примета— если под окном сложены аккуратной пирамидой дрова, значит, люди, живущие в доме, пекутся о своем очаге, о детишках, о семейном достатке.

Поздней ночью, когда на улице не увидишь больше прохожих, она казалась серьезнее и как бы задумчивее, чем днем. У нее была своя ночная жизнь. Дома в два и три этажа стояли, прислонясь друг к другу, и всюду, под каждой крышей, жили люди. Облик домов стал как бы приметой и памятью разных возрастов Ханоя. А привычки и вкусы жильцов несли на себе отпечаток их переменчивой жизни и давней истории города.

Коренные горожане твердят в один голос, что, хотя кое в чем и есть еще недостатки, но зато Ханой нынче такой город, где можно достойно жить и трудиться. Какую семью ни возьми, все взрослые работают. В часы «пик» — перед началом и после окончания рабочего дня — велосипеды катят по улицам рекой, словно весь город крутит педали. Бывает, конечно, на перекрестках велосипедисты сталкиваются, даже падают на мостовую, но, в отличие от «доброго старого времени», дело обходится без крика и рукоприкладства.

«Да,— думал Хай,— как все меняется, и не углядишь...» А ведь он вырос здесь, на этой улице. Сверстников его судьба увела отсюда в разные концы страны. Они разлетелись, как птенцы из гнезда. Попадаются, правда, среди его одногодков и другие, похожие больше на навозных мух,— вроде него, Хая. Да сколько их? По пальцам перечтешь, а если по честному — на этой улице только он один такой и есть.

Тут мысли его вдруг словно остановились с разбега...

Он принялся снова размышлять о своей улице. Память упрямо возвращалась к детству с его радостями и печалями, с его неповторимыми волнениями. Он увидал себя десятилетним мальчишкой — почему-то от той поры самым ярким воспоминанием остался длинный бамбуковый шест, стоявший в углу двора. На конце шеста торчали два железных крюка...

Вся улица от дома до школы была обсажена тамариндами, фыонгами...[1] Ребята по-своему окрестили каждое дерево, клички эти рождались по-разному: от того, на каком углу росло дерево, что прятали мальчуганы в его дупле. Деревья служили им и тайниками, где сберегались всякие лакомства, и зоосадом, населенным пернатым народцем, жуками и бабочками; каждое было полезным и нужным. На пер-

[1] Фыонг — от вьетнамского «феникс» — высокое дерево с оранжево-красными цветами, напоминающими хвост сказочной птицы-феникс.

вый взгляд деревья вроде все одинаковы, но, если приглядеться, среди зелени можно увидеть сухие ветки. Одни источил жучок, другие надломил ветер, третьи сами засохли, не поймешь отчего. Ну да как бы там ни было, а стоило Хаю с дружками увидеть сухую ветку, они тотчас волокли знаменитый шест с крюками и, обломав сушняк, стягивали его на землю. Вот у них дома круглый год и не переводилось топливо для очага.

Многие из тогдашних его приятелей сейчас на фронте. Один, например, недавно хвастал в письме. «Когда-то, в школе,— писал он,— я все жаловался на нашу математичку, одолела, мол, задачками. Теперь же, на войне, понял, как нужна математика. Тот, кто в ней силен, быстрее рассчитает траекторию ракеты. Я ведь — ракетчик. На марше мы несем ракеты и технику на своих плечах, но как только встретимся с неприятелем, сразу ставим пусковое устройство, «угостим» врага парочкой залпов — и, пожалуй, путь свободен...» Может, он и загнул, кто знает, но все равно это здорово: мужчина обязательно должен быть солдатом...

Хай вдруг почувствовал прилив отваги, словно и сам был ракетчиком, а вовсе не «отсталым элементом», позорившим всю улицу. Мысли похожи иной раз на отражения в кривых зеркалах — то веселые, то мрачные. Сейчас Хай был весел: еще бы, ведь он обходил дозором улицу совсем как пограничник, охраняющий покой родной земли.

Дойдя до перекрестка, патрульные — их было двое — разделились. Напарник Хая свернул в переулок, а сам он вышел на набережную. Они условились встретиться после обхода и вернуться в Комитет. Хай окинул взглядом терявшуюся в темноте дамбу. Вдоль нее, словно светляки, мерцали электрические фонари; влажные испарения, поднимаясь над рекой, окутывали их пеленою тумана. Город казался отсюда каким-то чужим и загадочным. Выемки в гребне дамбы, по которым раньше спускались к берегу пешеходные дорожки, были заложены мешками с песком. Две женщины-ополченки с соседней улицы сидели на дамбе — лицом к притаившейся во мраке реке. Вода не была видна отсюда, но какое-то внутреннее чутье подсказывало людям, что она поднимается все выше и выше, как бы оттесняя нависшую над рекою ночь. Спина женщины в белом платье была перечеркнута висевшей на ремне винтовкой. Под деревьями коровы — наводнение прогнало их с затопленных луговых низин,— потряхивая ушами, жевали траву. Над самой рекой пролетел патрульный вертолет. Мерный рокот мотора заполнил тихое небо и молчаливые улицы.

Откуда-то появились двое парней в одних трусах; рубашки и брюки были переброшены у них через плечо. Наверно, спускались с дамбы поглядеть на отметку водомера. Обычно в конце дня начиналось паломничество к реке — всех беспокоил паводок.

Увидев Хая, парни крикнули:

— Эй, Хай, Свисток!

Свистком Хая прозвала «братва». Ребята эти показались ему вроде знакомыми. Имен он, конечно, не помнил, но признал их по длинным волосам, перепелиным хвостом свисавшим на затылке, по жестам и заносчивым повадкам — точь-в-точь как у бойцовых петухов.

— Куда это ты, Свисток, собрался? — спросил один из парней.— Гляди-ка, красная повязка! Да ты никак в бригаде «нового быта»? Шуруете по паркам, чтоб нигде ни-ни?..

— Я ополченец,— сказал Хай.

— «Кино крутишь» или взаправду?

Хай насупился. Тот, что стоял поближе, расхохотался и сразу заговорил о другом:

— Ладно-ладно. Ты, видно, брат, от шуток отвык. Начальству — почет и уважение. А чего у тебя глаза красные, небось спать охота? Хочешь курнуть разок? Сон как рукой снимет.

Он подбросил вверх сигарету, блеснувшую в лучах фонаря. И Хай, сам того не ожидая, вдруг ловко поймал ее на лету. Прямо как когда-то в шалмане! Не поймешь, то ли встреча с дружками всколыхнула его душу, то ли и впрямь захотелось куревом разогнать сон.

Нет, дело скорее было в куреве. Парни рассмеялись, увидев, как Хай подхватил сигарету. Они поманили его пальцем. Но Хай не двинулся с места. И тут один из них, сунув в рот два пальца, пронзительно свистнул, и тотчас оба исчезли за углом ближней улицы.

Хай даже головы не повернул. Он уселся на оцинкованный бочонок из-под пива — они составлены были у входа в кафе — и задумался.

Кафе выходило в маленький сквер.

Кафе... Сквер... Подумать только, сколько тут всего было! На круглых газонах зеленела подстриженная трава. Под деревьями хонгби [1] стояли каменные скамейки, затененные ветвями с крупными белыми соцветиями.

Вспомнилось Хаю, как ему, десятилетнему мальцу, сквер этот казался огромным загадочным лесом, где можно было играть с утра до ночи. Летними вечерами мальчишки сбегались сюда и клянчили у продавщиц кусочки льда, оставшиеся на дне пивных кружек. Пососешь, бывало, звонкую льдинку, потом потрешь ею щеки. Холодит — лучше не надо! А лицо становится чистым-чистым — прямо блестит, как у школьника, получившего на уроке «десятку»[2].

Но годы летели, Хай вырос, во многом переменился, и сквер тоже стал другим.

И в военное время, и в мирные годы к Ханою сходились дороги со всех концов страны. Но — чего не бывало прежде — когда янки начали бомбить город, скверы и парки у вокзалов и автобусных станций стали залами ожидания. Тут под покровом зеленых ветвей днем и ночью находили приют тысячи людей, дожидавшихся поезда или рейсовых машин.

Со временем в скверы перекочевали продавцы чая; расставили свои подносы и чайники с чашками, в самодельных плетеных «термосах» урчал и посвистывал кипяток. Парикмахеры вбили гвозди прямо в стволы деревьев и развесили, будто в салоне, свои зеркала. А когда вой сирены возвещал воздушную тревогу, ополченцы, отсылая народ в убежища, заставляли парикмахеров снимать зеркала и класть их лицом на траву, хотя они вроде и без того висели прикрытые листвой. Столовая, киоск с мороженым и киоск от универмага тоже перебрались сюда. По ночам тут стояли шум и суета. Выбирая уголки потемнее, здесь собирались и воры, охотившиеся за поживой. Однажды вместе с братвою пришел и Хай...

Детские воспоминания сразу поблекли. Закрыв глаза, Хай тотчас увидел себя в ту ночь, когда, забравшись на дерево, старался подцепить рюкзак, хозяин которого уснул, привалясь к стволу... Хай вздрогнул. Нет, этого не сотрешь из памяти. Вон десять месяцев отучился на технических курсах, а на завод-то его все равно не взяли. Вроде он уж покончил с прошлым, но возмездие настигало его и теперь.

Что же, значит, все начнется сызнова? Нет! Нет, это не повторится. Ему ведь всего восемнадцать. Он вступит в Союз [3]. А почему бы и нет? Будет работать, бороться!.. Ну вот, опять размечтался... Нет, это вовсе

---

[1] Хонгби — дерево из семейства цитрусовых с мелкими сладкими плодами.

[2] В старой вьетнамской школе была десятибалльная система оценок.

[3] Имеется в виду Союз трудящейся молодежи Вьетнама имени Хо Ши Мина.

не пустые мечты. Всем, кто не верит в него сейчас, придется еще поверить. Сегодня небось вся улица любовалась его повязкой... Вообще-то, говоря по правде, патрулирование, а оно велось лишь по особо ответственным дням, было внове и для самого Хая. Когда он собрался вечером уходить, мать спросила его:

— Ты куда?

— В ополчение,— ответил он.

— Как в ополчение? — переспросила она.

— Да, я иду в ополчение! — сказал он как можно громче.

Слух о том, что Хая приняли в ополчение, сразу разошелся по всему дому. «Вон, значит, как повернулись дела».

Напарник Хая вышел из переулка.

— Ну вот,— сказал он,— и делу конец. Пойдем в Комитет, сдадим дежурному повязки.

Они зашагали по улице.

Хай встал и отшвырнул прилипший к пальцу окурок.

— Что это за парни болтали с тобой? — спросил его вдруг ополченец.

— Да так, знакомые,— угрюмо процедил Хай сквозь зубы.

Фраза эта самого его растревожила. Он беззвучно пошевелил губами. «Зна-ко-мые... Зна-ко-мые...» Неслышные слова, словно мошки, подхваченные ветром, полетели вдоль спящей улицы.

Хай взглянул на своего спутника, мужчину в летах. Он жил у самого перекрестка, работал кузнецом в авторемонтных мастерских. Кто знает, может, он спрашивал просто так, безо всякого умысла, но Хай виновато понурил голову. На душе у него было тяжело. Оно и понятно, ведь человек, оступившийся однажды, становится недоверчив и мнителен.

■

Жизнь улицы, как и человеческая жизнь, делится на годы и месяцы, у нее есть свой календарь; все здесь имеет свои особые сроки и смысл и, несмотря на кажущуюся неразбериху и суету, подчинено непреложному порядку. Летом, едва вечереет, улица словно сбрасывает с себя одежды. Дверные створки, снятые с петель и положенные на козлы, становятся лежанками, а марлевые пологи дотягиваются до самых деревьев.

Бао сегодня возвращался домой позже обычного. Вот какая история приключилась... Впрочем, если б ничего и не случилось, он, как всегда, пошел бы на собрание и все равно вернулся поздно. Ведь важные события происходили чуть ли не ежедневно. В начале каждой недели Приозерный райисполком рассылал уличным комитетам план работы, так что на любой день падало не меньше двух-трех дел. Дела эти поджидали дядюшку Бао, как говорится, и «на дому».

Но сегодняшнее происшествие было и впрямь чрезвычайным. И надо же, чтобы случилось оно в ту самую ночь, когда дежурил Хай, и в том кафе, возле которого он сидел на пустых бочонках. Вырезанная из цельного стекла дверь шкафа, в котором хранились продукты, оказалась разбитой вдребезги. Случилось это среди ночи, свидетелей поблизости не было. Милиция обследовала место происшествия и опросила ополченцев с обеих выходивших к реке улиц. Никто ничего не знал. Каждый строил свои догадки: одни думали, что продавщицы, уходя домой, забыли запереть дверь, ночью была гроза, и ветром разбило стекло; другие предполагали, что здесь не обошлось без злоумышленников; третьи...

Как назло, все это произошло именно сейчас, когда весь город вышел на дамбы, чтобы укротить разбушевавшуюся реку, и дел у людей было по горло.

А уж ополченцам и вовсе некогда было дух перевести. Повсюду торчали бамбуковые шесты с красными, как цветы капока [1], флажками — шли противопожарные учения. Правда, янки вот уже больше года не смели бомбить Ханой, но в военное время боевая готовность есть боевая готовность, и директивы нужно неукоснительно выполнять; ведь это не просто чьи-то досужие измышления — такое решение подсказывал опыт, нажитый потом и кровью. Несколько раз американские самолеты сбрасывали бомбы вдоль Красной реки, и ополченцы спускались на берег тотчас, едва умолкали взрывы, помогали соседям спасать засыпанных под развалинами людей и тушить пожары.

Народ лишний раз убеждался: не зря в инструкциях сказано, что при отражении воздушных налетов все имеет важное значение. Все должно быть тщательно отработано: вынос и отправка раненых, разборка развалин, земляные работы, хранение пищепродуктов, вентиляция... И на учениях люди теперь не жалели сил, старались всему научиться, во все вникнуть. Лишь побывав под огнем, начинаешь толком понимать, что такое бомбежки. И после каждого налета ополченцы с еще большим рвением относились к занятиям по противопожарной обороне.

Смотр отрядов ополчения двенадцати улиц района близился к концу. Страсти накалились до предела. Каждый вечер на перекрестке устанавливали макеты из жердей и досок. Их немедленно окружала плотным кольцом детвора. Учебные тревоги стали праздником для всей улицы. Динамик гремел «Алло! Алло!» — точь-в-точь как на киносъемках. Всякий раз, когда ополченцы «стреляли» струей из брандспойта по мишени, шипение хлещущей под напором воды и крики зрителей позволяли даже тем, кто остался сидеть дома, точно угадывать результаты. Пожарные тревоги, когда приезжали автоцистерны и ополченцы в касках разбегались по своим местам под трели свистков и вой сирен, пользовались наибольшим успехом. В такие вечера даже дети не ходили смотреть фильмы про войну и про шпионов, которые прямо на набережной показывала кинопередвижка.

Дядюшка Бао, как всегда после ужина, пощелкал во рту зубочисткой и погрузился в ворох дожидавшихся его дел. Он больше не ждал сына. И не потому, что голова его была забита делами. Просто, думал он, Минь сейчас уже далеко от дома. А где именно — военная тайна. Старший сын воюет на западе, и письма оттуда идут целый месяц. А может, младшего послали еще дальше, вот и нет от него пока вестей. Так Бао постепенно сумел себя успокоить.

Он встал. Проглядев список предстоящих дел, вспомнил, что сегодня смотр. В отряде у них тридцать восемь ополченцев, все, в общем-то, люди надежные, крепкие, только вот не хватает восемнадцати касок. Хорошо бы их где-нибудь раздобыть. Хотя уж и то, что им удалось достать два десятка — сущее везение! Но вот, скажем, вчера разыгрывали тушение пожара, тут уж каски нужны были всем. Отделения — одно за другим — врывались в горящий дом... Пусть пламя было воображаемым, но вода из брандспойта хлестала самая настоящая, мокрые каски так и блестели! Зрелище впечатляющее, ничего не скажешь. И слова команд из динамика звучали точно музыка. Бао остался до-

---

[1] Капоковое (хлопчатое) дерево; семя капока окутано мягкой волокнистой массой; кора, цветы и плоды используются в медицине.

волен. Здорово! Просто здорово! Он по-своему оценивал любые воинские учения; главное, полагал он, наглядность — все должно запоминаться, оставлять ощущение уверенности в мощи. Вот почему во что бы то ни стало надо одолжить где-нибудь полторы дюжины касок. Он записал это в свою книжку в графу «Самое важное».

Ну, и конечно, весь отряд должен быть в сборе. Смотр — дело нешуточное. Тут каждый человек на вес золота. Ночные учения — ответственное мероприятие.

Сегодня Комитет самообороны и ополченцы собрались в доме у Бао. Люди уселись потесней на лежанке и сразу перешли к повестке дня. Многие думают, будто им нравится заседать. Но это неверно, просто всегда набирается уйма дел, и если на каждое отвести хоть пять минут, просидишь чуть ли не до полуночи. Может, те, у кого дел немного, и обожают заседать, но тут было вовсе не так.

Дежурный перечислял присутствующих, и Бао тотчас заносил их имена в свою записную книжку. Он выводил буквы старательно, словно слышал имена эти впервые, хотя уж в который раз записывал их в ту же самую книжку и давно знал всех наперечет. Потом он снова пробежал глазами список:

— В третьей группе отсутствует Хай.

Командир ополченцев махнул рукой:

— Ладно-ладно. Сами знаем!

Бао, слегка встревоженный, обвел взглядом своих товарищей. Многие, как и сам он, занимались общественной работой на этой улице еще с того времени, когда был освобожден Ханой. Хаю тогда, пожалуй, не было и десяти лет, и по вечерам он вместе с оравой мальчишек дожидался, пока Бао вернется с работы, чтоб попросить у него спичечный коробок. Нет, здесь никто не таил зла против Хая, все знали его с детства. Ведь характер ребенка складывается с годами, дети не рождаются на свет злыми или испорченными. С тех пор как умер дядюшка Ты, соседи понимали, что и они в ответе за Хая. Да только словами горю не поможешь.

Бао задумался. Он весь как-то подобрался и посуровел. Впрочем, он всегда становился таким, когда речь шла о работе — здесь ли, в Уличном комитете, или у себя в исполкоме. Важный или второстепенный разбирался вопрос и какое бы ни принималось решение, спорили люди или отмалчивались, Бао неизменно стоял на своем — в этих делах была вся его жизнь.

Другой на его месте, узнав о проступке Хая, встал бы и начал разглагольствовать о строгости, мерах наказания и тому подобном; но Бао был не таков. Да и вообще каждого молодого парня он всегда пытался представить себе на месте Миня, своего младшего... Каким бы он стал?.. Воспитательный метод дядюшки Бао был прост — душевность, человечность и терпение. Хая, как и других соседских ребятишек, он помнил чуть ли не с самого их рождения. Многие из них выросли, возмужали и заняли достойное место в обществе: этот ушел на фронт, двое других уехали учиться за границу — в Москву и в Софию, а тот работает на стройке... Нет, Хай не плохой и уж вовсе не пропащий парень! Таковы были жизненные принципы Бао: глубокая вера в людей, доверие к молодежи помогли ему вопреки, казалось бы, очевидным фактам увидеть хорошее в Хае. У каждого ведь свои привычки и правила. Конечно, иные предпочитают видеть все в черном свете. А Бао старался всегда отыскать положительное, доброе начало. Люди его поколения, разменявшие уже шестой десяток, помнят и французов, и японскую оккупацию — всякого навидались, и мало кому, пожалуй, удалось сохранить простодушие и чистосердечность, отличавшие старого Бао.

Сом, который когда-то возражал против приема Хая в ополчение, пошевелил усами и возгласил:

— Ну, что я говорил! Сами наконец убедились!

— Вы об этом ночном происшествии? — громко спросил Бао.— Головой отвечаю — Хай здесь ни при чем.

Все зашумели:

— Позвольте... Позвольте, у меня вопрос. Как же так получается: другие вон сколько раз ночью дежурили — и ничего, а тут с первого раза...

— Почему не опросили продавцов? Может, они забыли запереть дверь как следует?

— Спрашивали. Они не виноваты.

— Да уж, конечно, кто признается в такой промашке!

— Ладно, допустим... А с чего бы тогда Хаю сидеть на бочке возле самого кафе? Еще сигаретку покуривал. Вон у напарника его спросите.

— Ну, курил! Курить — не стекла бить... Вы, товарищи...

— А почему они вдруг сигаретами перебрасываются, как ковбои — ножами? Напарник его сам видел, своими глазами.

Все рассмеялись, но, увидев огорченное лицо Бао, сразу смолкли. А Бао подумал, не выступить ли ему снова. Но как их переубедить... И все-таки он должен хоть что-нибудь сделать для Хая. Парень ведь неплохой. Нет, не может быть, чтобы он разбил стекло в кафе да еще во время дежурства. Однако на лицах соседей, сердитых и недовольных, Бао прочел: «Кто его знает, а если Хай виноват?..» Нет, сегодня никто его не поддержит.

И все-таки Бао остался при своем мнении. Он отнюдь не был упрямцем, но привык полагаться на свое чутье и всякое начатое дело доводить до конца. Должно быть, это работа воспитала в нем такое качество.

— Так что же мы решим? — спросил он громко, как бы подытоживая прения.— Допустим его к пожарным учениям или нет?

Командир отряда и оба помощника, поглядев на Бао, улыбнулись и покачали головами, что, впрочем, можно было истолковать как угодно. Но потом командир обычной своей скороговоркой произнес:

— Не будем об этом, товарищ Бао.

— Давайте-ка повременим немного,— сказал помощник командира.

— Ну, наше мнение ясно,— подхватил другой,— а там поступайте как знаете.

Бао поднял руку:

— Хорошо, подчиняюсь мнению большинства.

Народ разошелся по домам.

Тетушка Бао, расставляя на полке вымытые чашки, посмотрела на мужа и возмущенно фыркнула.

— Что? — рассмеявшись спросил он, не дав ей и рта раскрыть.— Снова небось заладишь про мою работу да про «слоновую кость»?

— Угадал. И что ты один против всех на рожон лезешь?.. Или делать тебе нечего?..

Конечно же, все это время жена прислушивалась к разговорам в соседней комнате. Обычно она соглашалась с мужем, что бы он ни говорил, и всегда считала его правым. Даже в разговорах с соседками тетушка Бао неизменно принимала сторону мужа и потому слыла женщиной редкостного характера.

Но сегодня слова жены вдруг разволновали дядюшку Бао. Во второй уже раз выбрали его в Комитет самообороны. Каждый день, вер-

нувшись с работы и наспех поужинав, он отодвигал чашку, клал на поднос палочки и тут же принимался за общественные дела. Поди разберись тут, где кончается личное и начинается «слоновая кость»... Он знал одно: при нынешней, новой жизни все это — и служба, и заботы его улицы — единое, общее дело. И никогда их не разделял.

Ночь стояла тихая. Свет фонарей, серебристый и мягкий, похож был на лунное сияние. Ближе к полуночи стало чуть прохладнее. Колченогие скамейки и дощатые топчаны давно уже скрылись за дверями.

Бао подошел к дому, где жил Хай. Дверь была заперта. Улица спала. Лишь на мостовой плясали серебристые блики.

■

На другой день Бао снова зашел к Хаю. Только что стемнело, но Хай успел уже куда-то уйти из дома.

На перекрестке, как всегда, при большом стечении народа шли учения ополченцев. И когда кому-нибудь из бойцов удавалось, взобравшись по шаткой пожарной лестнице, точно направить струю из брандспойта в круг, обозначавший охваченный пламенем высокий этаж, зрители — большей частью детвора — разражались восторженными криками.

Куда подевался Хай? Ведь он, после того как был отстранен от дежурств, обычно в конце дня сам заглядывал к Бао, потому что теперь ему больше не у кого было узнавать уличные новости. Но вчера и сегодня он почему-то не пришел... И дома его не было... Наверно, узнал, что на собрании решено вывести его из ополчения. Или, может, дошли до него разговоры о том, будто это он, Хай, разбил стекло в кафе?.. А в сердцах чего не натворит человек! Где же теперь его искать?

Сегодня была очередь Бао идти на дежурство. Приняв во внимание, что он перегружен делами выше головы, его назначили в первую смену — с девяти до одиннадцати вечера.

Было еще рано. Бао зашел в исполком, но там было полно посетителей, дожидавшихся временной прописки, и он не торопясь зашагал к набережной, где стало чуть попрохладней.

Вода все прибывала. На горизонте, с северной стороны полыхали зарницы. Там шли дожди, питавшие паводок. Город перед наступлением ночи был объят непривычной тишиной. В небе, усеянном яркими звездами, слышался мерный гул летевшего над рекой патрульного вертолета и можно было различить темный его силуэт — казалось, вращающийся винт вихрем кружит крошечные звезды. Едва ощутимый порыв ветра пролетел над дамбой и затих в удушливой, жаркой мгле, как всегда поднимавшейся над рекой во время паводка.

Бао поглядел на гребень дамбы. Насыпь казалась черной, как и поднявшаяся почти вровень с дамбой река. И только смех девушек-ополченок, веселый и звонкий, как-то смягчал ощущение напряженности и тревоги. Потом зазвучала свирель. «Видать, ополченцы,— подумал он,— устроили на дамбе концерт».

Подойдя к насыпи, Бао увидел стоявший на скате, у самой воды транспортер-амфибию. Так вот он, оказывается, какой! Рядом на дамбе толпились солдаты. Они, наверно, только что прибыли и собирались здесь заночевать. Судя по раздававшемуся где-то неподалеку стуку и приглушенным голосам, девушки-ополченки помогали солдатам вбивать колышки и ставить палатки.

Он подошел ближе. Значит, здесь, как и на остальных ханойских дамбах, будет дежурить амфибия. Бойцы мотопехоты готовы сразить-

ся с наводнением. Да, в нынешнем году против паводка брошены самые современные средства.

Вдруг Бао замер. С берега послышались обрывки разговора и чья-то песня:

...Ветер гудит над мостом Лаунгбиен...

— Эй, товарищ Минь! Ну как, командир дал тебе увольнительную?

«Минь!.. Какой Минь?» — мелькнуло в голове у Бао.

— Ага! — отвечал другой голос.

— Что «ага»?

— Увольнительная у меня в кармане. Командир даже помнит, где я живу. Он так и сказал: «Знаю, твой дом здесь, неподалеку, сразу за Часовой башней». Месяц назад он был в командировке в Ханое и заходил к моим, виделся с отцом.

— Гляди, как хорошо — одно к одному!

— Вот поставим палатки, и я загляну домой...

Так ведь это Минь, его Минь! Бао никак не ожидал встретить здесь сына. Он стоял молча. «Так-так, значит, Минь еще в Ханое... Радость-то какая!.. Скоро придет домой... Нет, не буду подходить к нему, к чему смущать парня... Посижу лучше, подожду его в сквере... Он все равно пройдет мимо...»

Усевшись на каменную скамью, Бао почувствовал вдруг смутную тревогу: что-то осталось сегодня несделанным... Конечно же, как водится, все дела были занесены в его записную книжку. И если, бывало, какой-нибудь вопрос решался окончательно, Бао извлекал из кармана авторучку «Чыонгшон», подносил книжку поближе к глазам и, отыскав соответствующую запись, вычеркивал ее всю до последнего слова. На сегодня незачеркнутыми оставались лишь несколько строчек — дело Хая, и они казались Бао немым укором.

Фонари, прикрытые колпаками затемнения, бросали на землю неяркий круг света у самого кафе. Минуту назад здесь еще толпился народ, но как только продавщица выдернула пробку из бочки — жест, означавший, что пиво кончилось,— люди мгновенно разошлись. Они заспешили по улице, надеясь найти место, где торгуют пивом до поздней ночи.

Опустевшая набережная притихла. В темноте мерцало, как светляки, лишь несколько огоньков в собранных на скорую руку домиках переселенцев, перебравшихся сюда с затопленной паводком низины. У каждого дома привязан был к дереву бык или корова. Хруст травы, которую усердно жевала скотина, был единственным звуком, тревожившим тишину.

Издалека, из Кувшинного ряда и улицы Рыбного Соуса, где теснились разномастные дома, долетал перезвон ведер у колонки и гул бьющей в дно струи — привычные звуки ночного Ханоя, слышные в тишине по всему городу.

Бао откинулся на спинку скамьи. С дамбы, где ставили палатки солдаты, по-прежнему доносились разговоры и смех. Наверно, Минь еще не освободился. Бао думал о сыновьях, служивших в армии, и рассеянно поглядывал в сторону переулка Фатлок. В сорок шестом старший сын вступил в Отряд защиты отечества и сражался в самом центре Ханоя. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как Столичный полк дрался в районе Серебряного ряда с «красными беретами»[1], миновала,

[1] «Красные береты» — подразделения особого назначения во французской армии.

можно сказать, половина жизни. За эти годы враги не раз вторгались на землю Ханоя, но народ выгонял их вон. Казалось, сама здешняя земля, словно гигантский фильтр, отделяла и исторгала прочь все лишнее, все чуждое и злое. А может, и время было таким фильтром или сами люди, не случайно ведь дожили они до сегодняшнего дня и живут при новом строе.

Потом мысли Бао сами собой перешли к Хаю. Что же с ним делать? Как научить его обдумывать наперед свои поступки? Тогда и в коллективе он найдет свое место. А иначе проку не будет. Ткнется туда-сюда, а его отовсюду вышибут. Нет, теперь самое время сказать ему в лицо: «Кто ты? Чужой, конченый человек или?..» Узнать бы точно, не он ли разбил это злополучное стекло? Да нет, не может быть... Надо наставить парня на правильный путь. Пускай сам, своим умом поймет, что такое преданность делу и чувство долга. И где это он пропадает второй вечер подряд? Уж не связался ли снова со старыми дружками? Много еще шляется по улицам всякой шпаны. Да, дело это, что и говорить, нелегкое. Хай сейчас вроде бы на перепутье. Надо чуть позже заглянуть к нему еще разок.

На другой скамье лежал какой-то человек. Трудно было издали его разглядеть, но, судя по песенкам, которые он напевал себе под нос, это был молодой парень. Вдруг он умолк. Наверно, заснул. Бао, собственно, только сейчас, когда кругом воцарилась тишина, понял, что́ незнакомец пел. Он снова взглянул на него. Небось какой-нибудь приезжий решил переждать здесь до утра, чтоб быть первым за билетами у кассы. Правда, в отличие от прошлого года, когда из столицы эвакуировалось гражданское население, автостанции и вокзалы не размещались больше в парках и скверах; но многие по-прежнему устраивались здесь на ночлег в ожидании утреннего автобуса или поезда. Со всех концов страны люди ехали в Ханой как к себе домой. Приезжие разгуливали по столице, словно по деревенской ярмарке. Оно и понятно: Ханой принадлежал всем. Вот и этот парень дожидается, верно, первого автобуса, который ходит от Известкового ряда, и решил пока отдохнуть на прохладе. Лежит и песни мурлычет. Да, Ханой теперь принадлежит всем.

Бао засмеялся своим мыслям. Сам он всегда беспощадно ругал тех, кто понимал свободу по-своему: торгуй, мол, вволю чем душа пожелает, делай что хочешь, выбрасывай мусор где попало... Все это не имеет ничего общего с настоящей свободой, и Ханой не тот город, где допустимы подобные безобразия.

Парень на соседней скамейке снова запел. Песенка была явно игривого свойства.

Как человек, обязанный заботиться о порядке и спокойствии на улице, Бао встревожился: какой-то тип разлегся ночью посреди сквера и распевает всякую ерунду! Дело здесь явно нечисто... Ну, а вдруг это кто-нибудь из соседских ребят просто вышел подышать на ветерке?

Терзаемый сомнениями, Бао встал, подошел поближе и вдруг голос «певца» показался ему знакомым.

— Хай! — окликнул он.

Тот сразу поднялся. А Бао, разглядев густую шевелюру, понял, что не ошибся. Ну и дела! Небось некуда деваться от скуки, вот парень и прохлаждается в сквере, распевая модные песенки. А кругом всюду заперты двери, все спят.

Бао вконец расстроился и даже почему-то почувствовал себя виноватым. Он подошел к скамейке. Хай сидел согнувшись, упершись локтями в колени. В неясном свете фонаря, заслоненного зелеными ветками, Бао не мог разглядеть его лица; но он знал, что лицо у Хая

сейчас печальное и хмурое, как эта тяжкая жара, как река, безмолвная и темная.

Старый Бао вдруг показал рукой куда-то вдаль и задал Хаю совершенно неожиданный вопрос:

— Скажи-ка, что за стена торчит там у самой дороги?

— Это переулок Фатлок.

— Верно, Фатлок. Именно там когда-то Столичный полк вышел из окружения, под носом у «красных беретов». Больше тысячи солдат ушло из вражеского кольца, а «тэй» — словно они оглохли и ослепли— ничего не заметили...

— Они потеряли бдительность,— вдруг подхватил Хай. Он убрал локти с колен и выпрямился.— А сколько еще славных подвигов совершили бойцы в ту давнюю ночь! И все это произошло на маленьком участке дороги от здешней низины до Тэмса. Верно, дядя Бао? Самый опасный момент был, когда наши бойцы пробирались между быками моста Лаунгбиен. Солдаты Иностранного легиона охраняли проезжую часть, а быки и пролеты обтянули сетью, на которой висели пустые консервные банки; одно лишь неверное движение — банки загремели бы и противник, пристрелявшийся заранее, открыл огонь...

Бао молча слушал его и радовался, как будто слышал историю эту впервые.

Но потом он не выдержал и спросил:

— Выходит, ты тоже знаешь про Столичный полк?

— А как же! — с гордостью ответил Хай.— Вы ведь сами рассказывали нам о его подвигах. Помните Бая и Хоа? Всем нам и вашему Миню было тогда лет по десять. Бывало, послушаем вас, а после спорим до хрипоты, кого из нас, когда вырастем, примут в Столичный полк.

— Да-да, припоминаю. Бай, Хоа и этот еще, как его... Бан...

— Бан теперь воюет на западном фронте.

Так, слово за слово, завязался разговор. Грозным голосом вторила им во мраке река. И, словно совсем рядом, громыхали ведра в переулке Фатлок. К полуночи вода в реке поднялась еще выше. Но город спал спокойным, тихим сном.

Оказывается, Хай запомнил историю Столичного полка точь-в-точь как излагал ее дядюшка Бао. И они, перебивая друг друга, вспоминали славные подвиги сыновей Ханоя.

Хай родился на свет два года спустя после того, как Столичный полк вышел из вражеского окружения. И становясь старше, он узнавал продолжение той давней истории: как полк ушел тогда в Свободную зону, а потом, в годы войны с французами, дрался на разных фронтах, брал штурмом Дьенбьенфу и с победой вернулся в Ханой. А сегодня... Сегодня Столичный полк тоже сражается с врагом.

— Хай! — вдруг сказал старик.

— Да, я вас слушаю, дядя Бао.

— Я завтра работаю вечером. Значит, утро у меня свободное, и я сам отведу тебя на завод. Я им объясню...

— Дядя Бао!

— Нет-нет, помолчи, сынок. Мне все ясно.

— Но я не хочу. Пожалуйста, не ходите на завод.

Бао наклонился к нему, чтоб лучше слышать.

— Как так «не хочешь»? Это еще что!

— Прошу вас, если можно, сходите лучше в военкомат, уговорите их взять меня в армию. Я решил стать солдатом!

— Молодец, здорово! — воскликнул Бао.

Старик положил руку на плечо Хая, потом вдруг заторопился, подошел поближе к фонарю и раскрыл свою записную книжку. Страница за страницей шли перечеркнутые строки. Старые вопросы, решенные дела... Призыв в армию — имена в алфавитном порядке... «Директива восемьдесят девять»... Собрание по пропаганде санитарии и гигиены... Он снова и снова перелистывал книжку, пока наконец не нашел запись с именем Хая в списке дел на прошлый месяц.

Бао зачеркнул ее и на странице, помеченной сегодняшним днем, сделал новую запись: «Решить вопрос о Хае», затем подумал и приписал сбоку: «Переговорить в военкомате». И, прищелкнув языком, посетовал про себя: «Совсем я обленился. Кучу дел наметил, а результатов не видать. Не время сейчас раскачиваться!»

Мимо фонаря прошел солдат. Бао глянул ему вслед, но тот уже исчез в темноте. И все же Бао был уверен: это — Минь.

Любители прохлады еще возлежали на выставленных за дверь топчанах — уж очень душная была ночь. Лишь изредка налетал чуть заметный ветерок, даже не ветерок — легкое дуновение. Бао подумал, что соседи сейчас увидят солдата Миня. Да и жена, должно быть, не спит еще. Пусть тогда сварит им по чашке крепкого имбирного чая.

НГУЕН НГОК

Пон

По крутой горной каменистой дороге шел в ночи одинокий конь, и стук копыт его, то приближавшийся, то вновь замиравший вдали, казался каким-то диковинным потусторонним звуком. Потом топот копыт и вовсе затих, утонув в завываниях ветра. За рекой, на горе Кхаукхактхиеу, прокричала в лесу куропатка. На востоке у самого края неба высветились вдруг беловатые пряди облаков. И лесной зверь, торопливо пожиравший в кустах задранного им козленка, вздрогнул, заворчал и тотчас исчез в чаще...

Издалека послышался странный непривычный гул — сперва еле слышный, будто шум рисорушки в опустевшей деревне нунгов[1], он постепенно ширился и нарастал. Но вдруг все стихло. Потом немного погодя гул накатился снова на притаившуюся во тьме деревушку Далан. Теперь уже можно было расслышать яростный рев мотора поднимавшегося в гору грузовика, гудки автомобильной сирены и звон-

[1] Нунги — народность тайской группы, живущая в горах Северного Вьетнама.

кие молодые голоса — мужские и женские,— пели по меньшей мере четыре или пять человек.

Грузовик катил уже где-то вдали, но горячее дыхание его все еще сотрясало ночное небо. Когда вернулась наконец тишина, снова стали слышны робкие голоса куропаток, подхваченные вскоре петухами в разбросанных по окрестным горам деревушках, и петушиное пение звенящей трепетной аркой перекинулось через реку.

Пон проснулся. Мать услыхала, как он заворочался на своей узкой лежанке и негромко сказал:

— Мама, вы бы соснули еще... Ну чего вам вставать в такую рань? Вы и легли-то вчера поздно.

Мать ничего не ответила, но день ее уже начался. И начинался он с непредвиденных тревог и хлопот.

Пон тоже начал свой день. Он закашлялся — в зимнюю стужу его всегда мучил кашель.

— Слышали, мама,— спросил он,— как всю ночь шли машины с лесом в Тиньтук? И новые рабочие поехали на рудник. В этакую холодину разъезжают по ночам да еще и песни поют. Ничего не скажешь— весельчаки!

Так начинались всегда их разговоры.

Потом они замолчали. И Пон услыхал, как его птичка ри колотит клювом по бамбуковым прутьям клетки, требуя корма. Поскрипывали петли гамака. Слышно было жужжание насекомых за тонкой перегородкой. Буйвол сердито стучал рогами в ворота хлева. Пон любил вот так по утрам прислушаться к разноголосице пробуждающейся жизни, а после, открыв глаза, прикинуть, какие предстоят на сегодня дела. Нынче ему, к примеру, надо приладить, наконец, гужи к плугу, подровнять и отшлифовать обод деревянного колеса в машине для высадки рассады, не то, не ровен час, опоздаешь со сборкой; хорошо бы и ось обточить, чтоб не скрипела, терзая слух, как запряженная быками арба. И еще надо во что бы то ни стало придумать, как по-новому закрепить на оси ведущую цепь, чтобы ее не забило, как в прошлый раз, илом и глиной. Вот уж неделю он ломает над этим голову, но пока ничего не придумал.

Пон, и сам не зная еще почему, вдруг поверил: именно сегодня он покончит с этим нелегким делом. Разгоряченный таким отрадным предчувствием, он хотел было встать пораньше и приняться скорей за работу, да все лежал и лежал молча: жаль было вылезать из-под теплого одеяла, которое сшила когда-то ему в подарок Зиеу, и неохота расставаться с привычными голосами деревенского утра.

Мать тоже лежала и молчала, глядя широко открытыми глазами в нерастаявшую еще темноту. Только мысли ее текли вспять, возвращаясь к давно уже прожитым дням. Ей не хотелось думать о прошлом, но прошлое каждую ночь напоминало о себе доносившимся из-за тонкой перегородки дыханием сына — то учащенным и резким, то усталым, чуть слышным. И гамак его скрипел протяжно, точь-в-точь как в ту пору, когда Пон, совсем еще младенец, пялил на белый свет свои глазенки, а голос матери, чистый и звонкий, выводил нараспев слова, внушенные якобы ей всеведущим духом, бередя сердца стольких парней из племени тай[1], влюбленных в нее и потерявших надежду. Тогда еще жив был отец Пона, сильный и смелый, как тигр. Если уж он охотился, добычу его не снести было и четверым, а он, сам-один, нес ее на плечах с вершины Кхаукои до берега речки Далан. И воротившись уже к ночи, прижимал сына к гулко стучавшему сердцу. Но вскоре отец

---

[1] Тай — народность китайско-тибетской семьи, живет в горных районах Северного Вьетнама.

Пона погиб; он утонул во время небывалого по силе и ярости паводка — так под напором бури рушится с грохотом самое высокое и могучее в лесу железное дерево. Потом тяжко захворал Пон и после болезни ослеп; и тотчас же оборвались, словно отсеченные напрочь чьим-то безжалостным ножом, молодость матери и звонкие ее песни. Голова ее, как это бывает в печальных сказках, поседела за одну-единую ночь — вся до последнего волоска.

— Пон, сыночек,— спрашивала она, заливаясь слезами,— скажи, ты видишь меня?

А он, ощупывая маленькой ладошкой ее лицо, отвечал:

— Да, мама. Вот твои волосы... вот... глаза... подбородок... Не плачь, мама, я вижу тебя... я не слепой...

С тех пор как Пон этой своей простодушной ложью попытался впервые утешить мать, прошло двадцать лет. И все эти годы жили они тихо и неприметно. Пон подрастал, надежно укрытый теплыми, ласковыми материнскими ладонями от всех невзгод и превратностей жизни. Но однажды ему вдруг мучительно захотелось самому окунуться в бушевавший звуками и запахами таинственный мир. И он тайком от матери завел знакомство с соседскими девчонками и мальчишками. Особенно подружился он с девочкой по имени Ием, которая каждый день выгоняла на пастбище буйволов. Пону нравился ее голос — тихий и задушевный. Ием водила его в лес и учила узнавать разные деревья. Он навсегда запомнил, как пахнет свежесрубленное железное дерево лим, горьковатый запах дуба, легкий аромат дерева вонг[1] и пряный дух алоэ. Ием подарила ему выпавшего из гнезда птенца, которого Пон выходил и долго потом еще держал в доме. Она помогала Пону взбираться на спину буйволу, и он, бывало, с утра и до вечера лежал, растянувшись, на этой широкой покачивающейся спине, то засыпая, то жадно втягивая ноздрями терпкие и сладкие запахи лесных трав... Дружба их длилась более года. Но вот однажды, когда Ием привела его к реке поиграть с детьми, какой-то мальчишка — голос его, высокий и звонкий, Пон запомнил надолго — громко крикнул:

— Эй, братцы, вот и наш слепец с женой!

Пон, державший Ием за руку, стал озираться по сторонам, незрячие глаза его налились кровью. Он ждал, что Ием ответит обидчику, скажет хоть слово. Но она стояла молча, а потом бросила руку Пона и убежала...

Ему почудилось тогда, будто в душе его вдруг раскололось что-то вдребезги; и он кинулся со всех ног домой, спотыкаясь о камни и кочки, налетая на деревья. Он разбил в кровь ноги, упав, рассек себе лоб, но упрямо бежал дальше и дальше...

Так он забился снова в тесное кольцо материнских рук, оберегавших и согревавших его. И жизнь обоих, матери и сына, опять потекла спокойно и неприметно и, может, кто знает, по-своему счастливо. Пон рос, окруженный непроницаемой глухой тишиной. Правда, иногда к нему доносились со стороны призывные голоса деревьев и лесных трав — друзей, с которыми его когда-то познакомила Ием, но всякий раз давняя, неутихшая боль удерживала его дома.

Так было, покуда не появилась Зиеу...

Мать еще и теперь била дрожь при одном лишь упоминании имени Зиеу. Вот и сейчас она беспокойно заворочалась в постели, и Пон, отделенный от нее тонкой плетеной перегородкой, угадал ее мысли и сказал:

— Да, мама, письма от Зиеу все нет как нет.

---

[1] Вонг — эритрина индийская; дерево с пористой древесиной, красными цветами и крупными листьями, используемыми в народной медицине.

Он даже разочарованно прищелкнул языком, но в голосе его уныния явно не чувствовалось.

— Раз уж она такая бездушная,— продолжал он,— бог с ней. А ведь перед отъездом обещала писать.

Мать вспомнила давнюю историю с Ием и ужаснулась. Пон закашлялся, потом отбросил прочь одеяло.

— Ладно, мама, будем вставать. Нам еще веревку вчерашнюю надо бы доплести.

— А может, поспишь немного? Встаешь ни свет ни заря, кашель вон опять начался. Нет чтоб послушать мать...

Но, само собой, она тоже встала.

Вскоре они сидели уже и плели веревку. Расплющенные стебли арундинарии впивались в руки Пона, словно отточенные лезвия, и он время от времени слизывал с пальцев солоноватые капли крови.

Как и все слепые, Пон был удивительно догадлив.

— О чем вы задумались, мама? — спросил он вдруг.

Мать даже вздрогнула от неожиданности.

— Да ведь вы,— смеясь, объяснил он,— перепутали концы веревки.

Она промолчала. Туго натянутая веревка тихонько поскрипывала. Лишь долгое время спустя мать сказала:

— Ты уж поверь мне, сынок, Зиеу... вовсе она не добрая... Зря ты ее дожидаешься. Она ведь из киней[1] и ни за что не останется с нами, с людьми из племени тай.

— Вот уж неправда! — звонко рассмеялся Пон.— Просто дел у нее по горло, и путь оттуда неблизкий... Да я вовсе ее и не жду...

Мать не поняла, чему он, собственно, смеялся.

Они замолчали снова. Оба думали о Зиеу, которая вторглась нежданно в их размеренную, тихую жизнь, возмутила ее и переиначила судьбу Пона. Много воды утекло с тех пор, но Пон помнил все так ясно, словно это было только вчера...

■

Зиеу объявилась в малолюдной деревушке Далан нежданно-негаданно. Мать не знала, откуда взялась эта девушка. Товарищ Лак, выходец из киней, который всю войну[2] работал в округе Кхаукхактхиеу и часто наведывался в здешние края, после заключения мира получил должность на стройке в Тиньтуке и, направляясь туда, завернул в деревушку Далан. С ним вместе пришла его младшая сестра, Зиеу. Товарищ Лак оставил сестру в доме у председателя здешней общины и договорился с хозяевами, что заберет ее к себе, как только подыщет для нее работу на руднике. Зиеу прижилась в семье председателя и вела себя во всем словно родная дочь, послушная и работящая. Она носила на коромыслах воду с крутого берега речки Далан, быстро и ловко — точь-в-точь как девушки мео[3] — таскала на спине из леса вязанки хвороста или, закатав повыше широкие штаны, ходила за плугом по небольшим, залитым водою полям, где под раскисшей землей таились острые камни; а рушить зерно на рисорушке и толочь пестом рис в ступе она умела ничуть не хуже соседок из племени тай.

---

[1] Кини — собственно вьетнамцы, живущие главным образом на равнине; народ мон-кхмерской семьи.

[2] Имеется в виду война Сопротивления 1946—1954 гг.

[3] Мео — народность китайско-тибетской семьи (группа мео-ман), живущая в горах Северного Вьетнама. Некоторые ученые относят мео к мон-кхмерской семье.

В доме у Пона стояла оставшаяся еще от отца рисорушка. Однажды Пон спросил:

— Мама, кто это ходит к нам обрушать зерно?

— Да ты все равно не знаешь, сынок,— равнодушно ответила мать.

— Кто-то чужой? А откуда?

— Не знаю... не спрашивала. Нам-то что до них, сынок.

Пон не стал ни о чем больше спрашивать, поднял белесые глаза свои и заморгал. Высокий лоб его прорезали морщины, он думал о чем-то сосредоточенно и упрямо. А после долгого молчания произнес, словно бы про себя:

— То-то я слышу, походка вроде особенная, не как у нас, у тай...

И, помолчав, добавил:

— Пожалуй, чем-то напоминает Ием, когда я... Девчонка еще, а вон как управляется с жерновами... Мама, вы снова плачете, почему? Я огорчил вас?

Рисорушка стояла снаружи, под навесом, и Зиеу никогда не заходила в дом. А Пон не выходил из дому. По утрам, сидя в темной и тихой комнате, он слушал, как быстро и размеренно крутятся жернова. И на лбу у него прорезались морщины...

Но однажды Зиеу, не найдя во дворе хозяйку, распахнула обе створки двери и, увидав парня, сидевшего, словно в ожидании гостей, посреди дома, спросила:

— Вы не разрешите мне воспользоваться рисорушкой? У меня зерна полная корзина...

Парень поднял голову. Зиеу вздрогнула: он был слепой. Неловкое молчание словно дохнуло на них зимнею стужей.

— Кто здесь? — спросил он наконец.

Круглая гладко обструганная деревяшка, которую он держал в руках, со стуком упала на пол. Он пошарил по полу, но не нашел ее. Зиеу, переступив порог, подняла деревяшку и протянула ее слепому. Но он, не шевельнувшись, сказал:

— Нет уж, я сам виноват. Бросьте ее, прошу вас, обратно.

Голос его дрожал. Он слышал смущенное прерывистое дыхание девушки. Зиеу тоже молчала. Наклонившись, она положила деревяшку на пол, придвинув ее чуть ближе к ногам слепого. Но он даже не стал подбирать ее, а, поднявшись, вышел в соседнюю комнату. На пороге он споткнулся, но Зиеу не решилась ему помочь...

Пон опустился на свою узкую лежанку. Он думал, что услышит спустя минуту-другую шум рисорушки. Но жернова молчали. И тишину, царившую в доме, нарушало лишь дыхание девушки, слышавшееся из-за тонкой перегородки. Неясные, странные чувства овладели Поном. Ему чудился где-то рядом негромкий говор Ием, потом голос ее заглушили вроде его собственные шаги: он бежал, спотыкаясь о камни, задевая стволы и ветви деревьев, ранившие его до крови. Он слышал и щебет подаренного ему когда-то птенца, и зазывные запахи цветов, листвы, древесины. Пон с трудом перевел дух, словно пробежал без отдыха нелегкий и долгий путь. Ему показалось вдруг, будто неизвестная девушка эта знакома с ним уже давным-давно, но между цветущим ее здоровьем и его увечьем чернеет бездонная пропасть, и по ту сторону пропасти лежит другой, особенный мир, куда им обоим, Пону и матери, людям неприметным и слабым, нет ходу. Долго лежал он молча, весь охваченный ожиданием и в то же время готовый прогнать прочь любого, кто посмел бы войти сюда, в его комнатенку...

Вдруг он услышал, как за стеной заскрипели жернова, потом, точно дождь в листве, зашелестели зерна, падая в широкую плоскую корзину. Привычные эти звуки почему-то разбередили сердце Пона,

и он почувствовал, как глаза его обожгла горечь... Когда жернова смолкли, Пон встал, добрался ощупью до двери и молча встал на пороге.

— Что, кончили? — спросил он наконец.— Жернова-то у нас старые, с первого раза зерно обдирают плохо, лучше обрушать дважды.

— Да, хорошо... А где ваша матушка?

— Мама в поле.

Они замолчали снова. Потом Пон сказал, словно оправдываясь:

— Вы ведь давно здесь, в деревне, а к нам и не заглядываете, я и не знал...

Вот так и началось их знакомство. Он, говоря по правде, не ожидал, что слова его обернутся приглашением.

Зиеу приходила обычно в полдень, когда мать еще работала в поле. Ей нравилось сидеть рядом с Поном и глядеть, как он мастерит крохотные игрушки — жом для сахарного тростника из сердцевины кукурузы, ступу с водяным колесом из мягкого дерева вонг или кормит по зернышку свою птичку ри. Зиеу усаживалась на полено, брошенное поперек комнаты, пустой и неухоженной, где, как и во всем доме, заметно было отсутствие крепких мужских рук, и смотрела на острый ножик, проворно мелькавший в длинных тонких пальцах Пона. Из-под блестящего лезвия выходили маленькие аккуратные вещицы, а глаза Пона безучастно глядели поверх его работы, мимо сидевшей перед ним девушки, куда-то в сторону, где сгущались неясные тени. Временами она испуганно охала, а Пон, не поворачивая головы, смеялся:

— Что, боитесь, как бы я не порезался? Полно, я ведь привык.

Иногда он затевал с нею разговор о птицах:

— Птиц я люблю страсть. Хотелось бы мне завести дрозда, его ведь можно обучить разговаривать по-человечьи. Вот была бы потеха.

— А каких вы еще знаете птиц? — подзадоривала его Зиеу.

Пон, подняв голову, погружался в раздумье. А Зиеу в душе раскаивалась: уж не обидела ли она его своим вопросом? Но Пон, подумав, отвечал ей с улыбкой:

— Каких еще птиц знаю?.. Да вот: ри, горлицу... голубя, ноокзиак...

— Ноокзиак? Это что за птица?

— Не знаю, как зовется она по-вашему, а мы называем ее ноокзиак. Она большая, как ворона, объедает кукурузные початки; ее сразу признаешь по голосу: кричит «сак, сак, сак». Вредная птица!.. Да, еще знаю иволгу. Я слыхал, ее со временем тоже можно выучить человеческой речи. Держал я как-то иволгу, только не стал подрезать ей крылья, а она взяла и улетела. Очень было жалко! Раньше она еще иногда подлетала к дому; покличешь ее, а она сядет где-нибудь рядышком и свистит. Да вот запропала куда-то... Все думаю, не пойти ль поискать ее...

— Жаль, у вас здесь не водится кукушка,— говорила Зиеу.— Мне она нравится. Как услышу ее голос, чудится, будто кто-то зовет меня. В детстве, бывало, заслышу кукушку и иду... иду за нею...

Случалось, Пон подолгу молчал. В такие дни Зиеу, посидев напротив него, вдруг задавала ему какой-нибудь вовсе уж неожиданный вопрос.

— Пон,— спрашивала она,— как по-вашему выглядит белый цвет?

Пон опускал руки, державшие нож и деревяшки, и медлил с ответом.

— Белый... Белый цвет, он вот какой... Вы видели мою птичку ри — она белая. Белый цвет, он легкий. Я вижу его, Зиеу.

Она поворачивалась к двери и глядела на птичку ри: та, прихорашиваясь, чистила черным клювом свои коричневые перышки.

— Понятно,— говорила Зиеу.— Ну, а синий?

Она и сама понимала, что, пожалуй, вопросы ее бессердечны, но неуемное любопытство юности подмывало ее спрашивать снова и снова. Пон улыбался, однако, по всему судя, вопрос этот оказался труднее прежнего. Он закрыл глаза, ноздри его тревожно раздувались.

— Я так скажу,— голос его зазвенел, словно ударивший из расселины ключ,— синий цвет, он очень далекий и простирается вширь... До него дойти нелегко...

Зиеу удивилась. Теперь уж она сама замолчала надолго.

— Разве я неправ? — спросил наконец Пон.

— Да я и сама толком не знаю... Я родилась у моря. А море синее-синее.

— Море, наверно, большое?

— Да, огромное...

— Огромное... это — какое?

— Ну, скажем, если идти весь день, с рассвета и дотемна, до конца моря не доберешься; его не обойти и за десять дней, и даже — за сто... По морю ходят волны. Я когда была маленькая, очень любила слушать, как волны ударяют о берег. Они не умолкают ни днем, ни ночью, и кажется, будто море разговаривает с тобой...

Вечером Пон спросил у матери:

— Мама, а вы когда-нибудь видели море?

— Что, небось, Зиеу родом оттуда? — встревожилась мать.

Пон не ответил ей.

— В чем дело, сынок? — голос ее прозвучал как стон.— Что это взбрело тебе на ум?

Но Пон опять не раскрыл рта. Он думал о море, об огромном синем море, и в ушах у него звучал голос волн. Хорошо бы побывать у моря, потрогать его рукой. Зиеу говорила, будто по ее морю ходят, словно буйволы по лугу, огромные корабли; только луг этот синий, а корабли — белые и черные... Море, оно соленое... Буйволы едят траву, а корабли — уголь, его выкапывают из-под земли...

В тот день ярко светило солнце. Пон ощупью добрел до ворот и стоял там, держась рукою за ствол сливы, которую отец посадил давным-давно, в день его рождения. Солнечные лучи, будто теплые ласковые ладони, скользили по его лицу. И в уголках его широко раскрытых глаз заблестели слезы. Впервые в жизни он плакал, ощутив свое бессилие перед пространством, доступным другим людям, обуреваемый дерзкими желаниями и мечтами.

■

Мать была испугана происшедшей в нем переменой. Она возвращалась теперь с поля пораньше, еще до полудня. Но Зиеу стала приходить ближе к вечеру, когда мать уходила на базар в Ныокхай.

Однажды Зиеу уговорила Пона пойти погулять к реке. Она вела его по узкой тропинке между скалами, и ступни Пона узнавали исхоженную им когда-то дорогу, а ноздри, раздуваясь, ловили прохладное дыхание воды. Ветерок, мягкий и шелковистый, словно крылья прыгуна-богомола, гладил его по лицу. Он слышал звонкий голос длинноклювого зимородка и хлопанье его крыльев перед тем, как тот стрелою бросался с неба в быстрые воды реки. Пон шагал следом за Зиеу, так когда-то он шел вместе с Ием. Шаги Зиеу были уверенными и четкими, и сам он ступал хоть и нескоро, но твердо, будто зрячий. Впервые за двадцать лет шел он вот так — спокойно и бесстрашно, чувствуя рядом локоть друга.

Ветер с реки умерял солнечный жар.

— Зиеу, а вы тепло одеты? — спросил Пон. — Не ровен час, простудитесь.

— Не волнуйтесь,— уверенно отвечала Зиеу,— я одета тепло.

Но на самом деле на ней была лишь блузка из коричневого домоткаиого полотна — Зиеу любила щеголять своим крепким здоровьем.

— Вот и река,— сказала она.

Они остановились.

— А знаете, Пон,— голос ее сливался с шумом воды,— река у одного берега мутная, а у другого — прозрачная. Как вы думаете, почему?

— Да неужели! — только и отвечал Пон.

— Раньше вся река была прозрачная,— с ученым видом принялась объяснять Зиеу.— Но теперь в Тиньтуке построили шахту, водой промывают руду, и река замутилась.

Пон внимательно слушал ее, и ему почудилось, будто ветер доносит до него разные запахи — чистой воды и мутной.

— Не сегодня-завтра,— продолжала Зиеу,— я уеду туда.

— Куда?

— На рудник. Вы разве не слышите: каждую ночь машины везут туда новых рабочих. Сейчас по всей стране идет строительство. В Тиньтуке, говорил мне мой брат Лак, добывают олово и даже золото.

Пон присел на гладкий валун.

— Значит, вы, Зиеу, будете золотоискателем?

— Да, по мне, и в поле работать неплохо. Просто я люблю дальние дороги, и быть шахтером, наверно, здорово. Шахтерский труд умножает богатство страны. Вот так-то.

— А рудник, он какой? — спросил Пон.

— Я еще и сама не знаю. Ну, в общем, там роют землю и поднимают на поверхность руду, потом, говорят, ее варят очень старательно, чтоб получилось олово.

— Это небось далеко?

— Да нет, вроде не очень. Поживу там, а после приеду проведать вашу матушку и вас.

Пон, пошарив рукой по земле, подобрал обкатанную круглую гальку, выпрямился и изо всех сил швырнул ее в небо.

— Вы, Зиеу, точь-в-точь как моя иволга,— весело сказал он.— Впорхнули сюда, а я не подрезал вам крылышки, и вот — улетаете от нас.

Особым женским чутьем она поняла, что в словах Пона кроется какая-то опасность. Но бьющая через край жизнерадостность и сила молодости легко одолели все ее тревоги.

— Как у вас складно и здорово вышло! — засмеялась Зиеу.— Вам, значит, хочется подрезать мне крылья?

Пон засмеялся еще громче ее, но в голосе его слышалось не веселье, а какая-то отчужденность человека, отделенного от жизни непроницаемой стеной мрака.

— Да нет, коли хочется улететь — летите, я и не думал вам подрезать крылья. Просто сказал так — для красного словца.

По извилистой тропке Зиеу свела Пона к самой воде.

— Отсюда,— сказала она,— я каждый день ношу на коромыслах воду.

Пон промолчал, и она, обернувшись, взглянула на него. Он стоял рядом, но глаза его устремлены были куда-то вдаль, словно он видел там какую-то другую, нездешнюю жизнь.

— А вы, Зиеу, очень красивая,— вдруг сказал Пон.

Зиеу, удивленная его словами, помолчала, потом заговорила, и голос ее звучал серьезней и строже:

— Да вы ведь и не видали меня, я — сущая уродина.

Пон изменился в лице:

— Нет, уродство, оно мертвое. А вы — сильная и любите дальние дороги, значит, вы не можете быть некрасивой...

Когда они возвращались, уже стемнело. Дойдя до перекрестка, откуда было недалеко до деревни, Пон сказал, что дальше пойдет сам, ему, мол, эта дорога знакома. Он стоял и прислушивался, покуда не стихли вдали шаги Зиеу, и лишь потом тронулся в путь.

■

Через несколько дней Зиеу получила письмо от Лака и уехала на рудник так же внезапно, как и появилась в деревне. Пон провожал ее до большака. Зиеу, проголосовав, остановила ехавший в Тиньтук лесовоз.

— Счастливого пути,— сказал Пон.

Помедлив, он провел ладонями по огромным длинным бревнам, громоздившимся в кузове:

— Железное дерево — как на подбор... Да, шахта наша, должно быть, огромная.

Машина отъехала довольно уже далеко, когда Пон повернулся и зашагал к дому. .

Верно говорил Пон: Зиеу, совсем как его иволга, скрылась куда-то. Просто она пролетала мимо и, услыхав его зов, опустилась сюда ненадолго. Но давно уже она не заглядывала к нему. Пон хотел было отправиться на поиски, да так и не собрался. Он остался дома и вместо возни с малютками-игрушками занялся делом, которое Зиеу, узнай она об этом, одобрила бы с радостью. Пон строил для людей разные машины: новый «самоходный» плуг, земледробилку, сеялку... И пусть сам Пон не мог уйти далеко от дома, машины его расходились по всей округе, забираясь, быть может, дальше, чем Зиеу. Из всех сработанных им машин одна лишь не имела никакого касательства к земледелию: трехколесный велосипед, где все — от рамы до ободьев и цепи — было выточено из дерева. Пон решил, что в один прекрасный день и сам он отправится в путешествие на нехитром своем «транспорте».

Кто знает, где жила теперь Зиеу, но все равно до нее не могли не дойти вести о Поне, ведь про него даже писали в газетах. А он по-прежнему просыпался с первыми петухами и для начала прикидывал, что за дела ожидают его сегодня. И мать все так же с тревогой прислушивалась к тому, как сын вспоминает девушку из киней, которая вошла в его жизнь, а потом вдруг исчезла. По ночам Пон слышал, как катили на рудник грузовики-лесовозы и ехавшие в них молодые рабочие, презирая ночную стужу, распевали песни. Каждый из них был ему близок и дорог.

■

Таков рассказ о Поне, который я услыхал из его собственных уст. Ну, а может, он и не соответствует истине, потому что Пон — мечтатель и фантазер. И кто знает, не пригрезилось ли ему все это от начала и до конца.

Перевод с вьетнамского МАРИАНА ТКАЧЕВА.

МА ВАН КХАНГ

Лунная песня

Об этой маленькой деревушке с труднопроизносимым названием — Тунгшенгшуй — мало кто вспоминал. Мала больно, всего восемь дворов, да и далека. Затерялась она под самым небом, на вершине плато ,Пакха. В местной газете или, к примеру, в разговорах руководящих работников о ней и речи не было. Как в многодетной семье — бывает, ребенка и хвалить не за что и пожаловаться не на что. Жили в этой деревушке люди фула[1], жили обособленно. Далеко ото всех, да и обычаи свои, уклад свой, особый.

Только-только отшумел здесь праздник. В феврале, в день овцы[2] выходили фула на праздник Атхатинд. Еще пряталась в тумане сосна, стоявшая на самой вершине горы, а Тян Кху, старейшина и вершитель обрядов, уже вел по деревне своего рыжего лохматого пса. Пес, натягивая веревку, рвался вперед, но старик, тряся головой и сжимая в руке бамбуковую палку, не торопился. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, ударяла палка по стенам домов, старик бормотал что-то себе под нос, а потом неожиданно опускал палку на спину пса. И напрасно пес жалобно взвизгивал и, поджимая хвост, приседал на задние лапы. Старик знай колотил себе — то по стенам домов, то по спине пса.

Так в праздник начала года, Атхатинд, изгоняли злых духов. Вон! Изо всех домов убирайтесь вон, злыдни,— гнала их бамбуковая палка. И они убирались, невидимые, неразличимые глазом, один только жалобный стон стоял, по этому стону и догадывались люди, что злые духи удирают в лес.

Когда старик с собакой обошли все восемь домов, деревня уже не спала. В слабом, тающем тумане двое парней пронесли на плечах к высокому дереву в центре деревни зеленое бамбуковое бревно. И потянулись сразу сюда мужчины, женщины, дети — все с одеялами, циновками, с одеждой в руках. Старый Тян Кху, тоже с линялым шерстяным одеялом, протолкался на середину и, тряся ношей так, точно выбивал пыль, запричитал нараспев:

— Эй, беды-болезни, уплывайте от нас подальше вместе с этим бамбуком! Убирайтесь и не смейте никогда возвращаться! Убирайтесь...

Бамбук снова подняли на плечи. Показалось парням, что он теперь тяжелее, только четверо осилить смогли. Покачиваясь, двинулся он на плечах к деревенским воротам, неторопливо миновал их, упал в ручей Лунгса и поплыл, навсегда покидая Тунгшенгшуй. Уплывайте, уплывайте все беды! Пусть отныне оброненное в землю рисовое зерно оборотится тысячей зерен, пусть здоровы и счастливы будут фула: и сам старый Тян Кху, и все уважаемые старики, и невестка Тян Кху — Зянг Ко Тин, и внучка его — Шео Тинь, да и все остальные. Пусть придет к людям Новый год, добрый и хороший.

Бывало, после этого праздника старый Тян Кху усаживался на розово-красное сосновое бревно перед домом. Сидел он там подолгу, полузакрыв глаза, молча и неподвижно, точно каменное изваяние среди затихшей, словно обезлюдевшей деревни, грея под солнцем маленькое темное лицо с выцветшими от времени бровями.

---

[1] Фула — народность численностью около 1300 чел., одно из национальных меньшинств, населяющих горный северо-восточный край Вьетнама; язык фула относится к тибето-бирманской семье языков.

[2] Время у фула — годы, месяцы, дни — делится на двенадцатиричные циклы; каждый циклический знак носит название какого-нибудь животного.

Но на этот раз в Тунгшенгшуй все было по-другому.

Началось с того, что, задрав вверх морды, залаяли все, сколько их было в деревне, собаки — рыжие, черные, серые. А тут еще дети пригнали с выпаса буйволов и столпились перед домом Тин, невестки старого Тян Кху.

В Тунгшенгшуй появился чужак. Привела его Тин. Вернее будет сказать, что когда Тин была в Татяе, соседней деревне, волостной председатель Ши попросил ее показать пришельцу дорогу в Тунгшенгшуй.

И теперь деревенские собаки с лаем носились вокруг дома Тин.

— Наглые твари! — вскочил старый Тян Кху с любимого своего места.— Ваше дело злых духов гнать, а не людей!

— Тян Кху, кто это пришел к нам? — с любопытством спросили соседи.

— Военный небось, что с Тян Хо вместе служит.— Старик думал о сыне, и все его мысли были только о нем.

— Так ведь он не в военном? — не отставали соседи.

— Ну, не знаю,— старик сокрушенно причмокнул губами.

Маленькая Шео Тинь завела буйвола в хлев и тоже поинтересовалась:

— Дедушка, это к нам пришли?

— Угу...

В эту минуту вышла во двор Тин, огляделась и сказала протяжно:

— Соседушки... Вечерком загляните к нам, канбо[1] пришел, поговорить хочет.

Что ж! Канбо поговорить пришел — это хорошо. Здесь канбо уже бывали. Время от времени захаживали. Старый Тян Кху каждый такой случай за прошлые годы помнит. Один раз говорили о том, что школа нужна, другой — о наборе в армию, тогда-то Тян Хо и ушел, а третий — о посадках сюен-кхунга, лекарственного растения.

В доме уже захлопотали. Обед, в честь гостя, состоялся раньше обычного. Была и капуста, и папайя, и салат-латук, и две пиалы, полные доверху стручкового перца — угощение, обязательное у фула.

Пришедший в деревню канбо был невелик ростом, неширок в плечах, но большие его глаза на чуть продолговатом лице глядели открыто. Он подождал, пока усядется старый Кху, зачерпнул кукурузной каши для Шео Тинь и подбавил туда перца: «Немного, а то глаза щипать будет». Тин рассмеялась:

— Она привычная, ничего с ней не станется. Угощайтесь, канбо.

— Дедушка, меня зовут Нонг,— обратился гость к старику.

— Угу... Ешь, канбо, ешь...

Старик взял палочки. Нонг тоже поднял было пиалу с рисом, но поставил ее обратно и, глянув на Тин, сказал на местном наречии:

— Тин, люди фула теперь только на этом языке говорят. А вот вы, например, помните свой родной язык? Как будет «еда»?

Тин отставила пиалу, затеребила прядь волос. Старый Тян Кху тоже поставил пиалу у подноса с едой.

Вопрос Нонга был началом не только застольной беседы, но и вечернего разговора с жителями деревни.

Дом фула с маленьким алтарем предков у циновки-перегородки перед очагом до отказа заполнили люди. Ярко горели в очаге сучья и сухие стебли кукурузных початков. Старый Тян Кху, простоволосый, с густой шевелюрой, обнимая Шео Тинь, хорошенькую, с круглым как у матери личиком, сидел, устремив взор на алтарь предков, где люди фула чтили память только одного поколения и стояла одна небольшая чаша для благовонных свечей, выдолбленная из ствола бамбука.

[1] Канбо — кадровый работник.

— Уважаемые, братья и сестры.— Нонг говорил на местном наречии бегло и без ошибок.— Меня зовут Нонг, я сотрудник Комитета по делам нацменьшинств. Поручено мне пойти к вам и в другие села фула, чтобы изучить язык, на котором когда-то говорили все ваши люди.

«Верно, ведь прежде у фула свой язык был, а этот, на котором сейчас говорим, чужой»,— мелькнуло в голове у Тин.

«Ох-хо-хо, язык, он все равно что люди,— думал старый Тян Кху.— Мало-помалу утрачивается, забывается. Если жизнь не по-людски складывается, что уж о языке говорить. Пропадают, рассеиваются слова, словно сами люди фула, что разбрелись по белу свету... Кушанья свои, да одежду, да жилища особые — и те удалось уберечь потому, что живем здесь сейчас всем скопом».

— Дедушка, скажите какую-нибудь фразу на языке фула,— попросил Нонг, и старый Тян Кху растерянно вскинул выцветшие глаза.— Как сказать «еда»? — выручил старика Нонг.

— Ама-за... — пробормотал тот.

— Ама-за... — повторил Нонг и обвел всех взглядом.

Люди вокруг, как и он, шептали непривычное слово с удивлением и интересом.

— А как будет «напиться воды»?

— Ча-та-му-да...

— Ну, а это как? — Нонг показал на кальян.

Старый Тян Кху прищурился...

— Ми-кху-по...

— Как сказать «спать»?

— Зу-та...

— А это? — Нонг подергал полу своей рубашки.

— Ви-ка...

Нонг, горбясь, помечал все в записной книжке. Потом поднял голову и показал на Шео Тинь:

— Как будет «ребенок»?

Старик озадаченно нахмурил брови, воздел глаза к небу. Но так и не вспомнив — нужное слово отодвинулось куда-то совсем далеко,— покачал головой и сокрушенно вздохнул.

— Канбо, люди фула, те, кому меньше пятидесяти, своего языка не знают. В старину как было: нож у фула стачивался — становился мотыгой, стачивалась она — делали скребок тростник очищать, а уж потом только и оставалось, что дырки им в земле буравить да сажать кукурузные зерна. Вот и с языком фула так же случилось...

Чуть погодя старик горько добавил:

— Беда, разбрелись наши люди кто куда, да всюду им одинаково плохо...

— Но ведь так только раньше было.

— Верно, раньше. Деревня Татяй, где живет наш волостной председатель, в прежние времена всякие поделки из тростника для тхоти[1] Воонг А Шионга плела. Наши в Тунгшенгшуй тоже на него спину гнули, мы ему делали сундуки, да и все другое из дерева. Даже в песне старой поется:

Тхоти едет вперед на коне,
А следом толпы фула бегут,
На плечах богатство его несут...

Нонг вскинул голову, попросил с жаром:

— Повторите, пожалуйста, еще раз!

Старик отмахнулся, покачал головой:

[1] Тхоти — «господин» у фула и некоторых других народностей.

— Зачем тебе это? Если хочешь, есть другие песни, получше. Но я уже «ги-па»,— старик, смеясь, показал выщербленные зубы.— Без зубов петь нельзя. Вот если б Тян Хо дома был...

— Какой Тян Хо? — удивился Нонг.

— Тян Хо, мой сын, а она его жена,— старик показал на Тин.— Он в армию ушел. Из всей нашей молодежи только он да волостной председатель язык и песни фула знают. Вот он Тян Хо, портрет его.

Нонг обернулся и увидел застекленную рамку — удлиненное лицо, напряженная улыбка и глубокий, сосредоточенный взгляд.

У входа раздались тяжелые шаги. Дверь со скрипом отворилась, и вошел высокий мужчина в блестящих резиновых сапогах.

— Председатель Ши,— раздались обрадованные голоса.

Председатель, решительный, с красным, точно опаленным лицом, приветливо поздоровался со всеми и устроился у очага, растирая крупные, тяжелые кисти рук.

— Вот чудеса, стоило о тебе только вспомнить, как ты тут как тут,— старый Тян Кху уже наливал ему пиалу.— Почему так долго у нас не показывался? Даже на Атхатинд не пришел!

— Дел много. Целых семь дней на совещании был, да еще потом у себя дела обсуждали.

— Много дел, говоришь? — переспросил старик.

— Очень много... Стыдно мне на совещании стало, так стыдно!

Ши сокрушенно покачал опущенной головой и сказал в сердцах:

— Солнце всем одинаково светит, и дождь на всех поровну льет. Партия заботится о фула, как и о других наших братьях. Да только мы работаем совсем не так, как они. Весной оставили свои поля отдыхать, а другие вон пшеницу сумели посадить да сою. В армию один только Тян Хо от нас и пошел. Далеко нам до других братьев наших — киней, мео. Просто позор!

Нонг закрыл записную книжку.

Старый Тян Кху молчал. Потом тяжело вздохнул и неожиданно задал вопрос:

— В уезде был, что-нибудь о моем Тян Хо слышал?

Председатель отвернулся, но Тин успела заметить, что губы его чуть дрогнули.

— Слышал. Ведь уже больше двух лет, как Тян Хо ушел?

Уже больше двух лет, как Тян Хо ушел. А Тин все время вспоминает о нем... В тот год на праздник Атхатинд Тян Хо сбрасывал в ручей «бамбук болезней и бед». А после праздника, в марте, когда застрекотали цикады, он ушел.

— Тин,— сказал он,— на Атхатинд, по старому обычаю, изгоняют только злых духов. Чтобы врага прогнать, нужны солдаты.

Приход Нонга, занятого поисками языка фула, напомнил ей о муже. Вспомнилось, как лунной ночью Тян Хо возле сторожки с хворостом у ее дома пел «Лунную песню». Она тогда удивилась: «На каком языке ты поешь?» — «На нашем родном языке!»

Старый Тян Кху, ревностно, как сокровище, хранивший родной язык, с малых лет научил Тян Хо говорить на нем, рассказывал про историю их народа, обряды и праздники. Тин же девочкой знала только, как сгорбившись таскать на спине вязанки хвороста или работать в поле. Самым дальним ее походом был уездный рынок Пакха...

— Страна наша большая,— говорил Тян Хо.

— За рынок Пакха далеко ли еще? — спрашивала она.

— Ну что ты, очень большая! От нас до самого моря и потом далеко на юг. У птицы крылья устанут, и то всю не облетит...

Это Тян Хо вывел Тин в жизнь. Теперь она не только хворост умела носить — приняла участие в ирригационных работах, вступила

в Союз молодежи. Свадьбу сыграли хотя и по старым обычаям, но уже без лишних ненужных трат: три курицы, три бутылки вина и шестнадцать серебряных монет — это не так уж много. Каждый день, как только садилось солнце, молодая шла на горное поле встречать мужа. А молодой оставался в доме жены, пока не исполнилось родившейся маленькой Шео Тинь семь лет. Тогда перебрались они к старому Тян Кху. Это-то и беспокоило больше всего Тян Хо перед уходом.

— Отец, ничем я тебе не успел помочь,— он точно прощенья просил,— а теперь вот уходить надо...

— Иди, сын, иди,— глотая слезы, утешал старик.— Кем я был раньше? А сейчас ты у меня солдат! Вот я и счастлив.

Тян Хо ушел, теперь они с Тин были далеко друг от друга. Письма приходили нерегулярно, но все же несколько она получила. Первое письмо, она тогда еще букв не знала, пришлось нести учителю. Видя, что грамота в жизни необходима, что она — ключ, открывающий двери, Тин решила учиться, хотя школы для взрослых у них еще не было. Второе письмо читала уже сама, медленно одолевая строку за строкой. Ничего, чем медленнее, тем вернее. Ну, а третье она читала уже совсем бегло. «Молодец, будешь учетчицей в бригаде»,— похвалил председатель. Думала — шутит, а ее и впрямь выбрали. В следующий сбор урожая она была уже бригадиром. У бригадира забот немного: в год один урожай, в бригаде только восемь дворов, вся их деревня,— десять трудоспособных. Времени свободного много. После праздника Атхатинд, пока еще холодно, грейся дома у очага, только подбрасывай хворост. Но тогда и придвигалась особенно близко тоска и тревога за мужа...

— В прошлый раз председатель обмолвился, что о Тян Хо есть известия, вы узнавали? — долго решалась и наконец спросила Тин старика.

Старый Тян Кху, как всегда, сидел на своем любимом сосновом бревне.

— Председатель сказал, что Тян Хо — герой.

— Герой!

— Много врагов уничтожил, значит, герой.

— А еще что-нибудь говорил?

Старик глянул в полные беспокойства глаза невестки, заволновался: «Почему председатель снова повторил это? Ведь Тян Хо сам об этом писал. А писем нет уже больше года».

Но мыслей своих он не выдал и, покачав головой, ответил:

— Ничего больше не сказал.

То, чего старый Тян Кху страшился, случилось на самом деле. Как-то попросили его заглянуть в уездный комитет. В помещении, кроме их волостного председателя, находился еще кто-то, незнакомый. Было непривычно тихо, и с этой настороженной тишиной никак не вязалась суетливость Ши, бросившегося угощать старика сигаретами. Ши славился умением поговорить, но сейчас он растерянно моргал.

— Когда наши партизаны дрались с бандитами, Тян Хо ваш еще совсем маленьким был...

Старик не ответил, только бросил на него быстрый взгляд. Ши еще больше растерялся.

— Тогда у нас в партизанском отряде трое погибли. Один из моей деревни. Если б остался в живых, быть бы ему волостным председателем, он намного достойней меня. Война...

Хватит, хватит, теперь он все понял. Стулья, стол, земля под ногами — все вдруг закачалось, в голове и в глазах потемнело.

Старик больше не слушал, что еще ему говорили. Он сосредоточенно думал и вдруг порывисто встал:

— Жене его не говорите!

— Нельзя... Мы хотим, чтобы героя все село помянуло,— с трудом выдавил Ши.

— Я требую! Требую!

Глаза старика покраснели, горели страданием и яростью. Он погрозил кулаком и, повернувшись, медленно вышел.

В горах лучи раннего солнца кажутся лунным светом. На деревьях са-му, росших группами, на концах их горизонтально торчащих веток, кое-где успели распуститься алые цветы. Старик спускался по склону, впереди показалась густо заросшая лощина. Сколько веков миновало с тех пор, как судьба занесла фула в эти края. Никто уже не помнит, откуда вели их пути-дороги. Зато такие, как он, Тян Кху, до сих пор помнят трудное время боев с бандитами тхоти Воонг А Шионга. В этой лощине был партизанский лагерь. А там в пещере прятался с матерью маленький Тян Хо. Малышу как раз сравнялось три года, когда их дом в третий раз подожгли бандиты. Жги, выжигай! Только земля эта — моя земля, родная. Я на ней все равно останусь.

Снова поднялся дом старого Тян Кху. Дома фула строили прямо на земле, стены возводили из глины, три помещения дома соединялись друг с другом полукруглыми, как изогнутое удилище, сводами входов. Перед домом — стойло для мула, рядом сарайчик для хвороста, толчеи и крупорушки, а за ним — хлев для буйвола и курятник. По водостоку на каменный брус перед домом стекает вода.

Старый Тян Кху оглядывал дом, выискивал все, что напоминало о сыне, потом остановился перед своим сосновым бревном. Сколько времени он просидел здесь? Наверное, несколько лет; когда стало за шестьдесят, потеряли зоркость глаза, ослабли руки и ноги. Сидит, греется праздно. Темнеет кожа, блекнут глаза. Тян Хо погиб? — поднялся в груди крик, и старик, почувствовав колющую боль, опустился на бревно.

Маленькая Шео Тинь, перейдя ручей, опустила подвернутые брючки и стала подниматься к дому. Длинные ресницы, пухлые розовые щеки, цветастый лиф, завязывающийся на спине лентами...

— Дедушка, я отвела дядю Нонга в Татяй по самой короткой дороге.

— Да ну? — старик постарался, чтобы это «да ну» прозвучало как можно веселее.— К кому же ты его отвела?

— К дяде Ши...

Она забралась на бревно, заглянула деду в глаза:

— Дедушка, разве язык фула мог потеряться? Ведь он же не бусы, которые у меня на шее!

— Мог и потеряться...

— А найти его можно?

— Станешь все время искать, непременно найдешь. Каждый какую-нибудь малость да вспомнит, а потом сложат все вместе. Ох горе горькое! Людям фула раньше тяжело приходилось. Крыши домов тростником крыли. Чуть пожелтеют листья — уходят. Так бродяжничать, все растеряешь. Как клубни съедобные на горе и в лесу выроют да рыбу в ручьях выловят, так и уходят. Ведь все это на рис выменять надо, а рис тхоти отдать. Так язык и теряли.

— А почему же ты его помнишь?

— У меня мешок для него есть, для языка-то,— старик глянул на

внучку, смеясь впалым ртом.— Особый у меня мешок — песня. Песня много дольше меня живет, она язык и бережет.

Он снова улыбнулся и, подняв голову, тихонько запел:

Кха-а по-че-чу-ча.
Ни-ки па-ла тхи-си-са не-ма-са...[1]

Это была «Лунная песня», старинная песня фула. Старик пел точно шепотом, невнятно, казалось, песня летит к нему откуда-то издалека и ему нужно только шевелить губами, чтобы она выговорилась словами. Своей мелодичностью и протяжностью захватила песня и маленькую Шео Тинь, и скоро два голоса — звонкий детский и хрипловатый старческий вторили друг другу.

Незаметно опустился вечер, и круглая луна поднялась над холмом, покрытым редкой зеленой порослью деревцев са-му. В лунном свете листья са-му вспыхивали и блестели, как металлические.

— Что это вы так засиделись, в дом не идете? — раздался вдруг голос. Это вернулась Тин, остановив перед домом мула, навьюченного двумя большими корзинами.

Тин была заметно бледна, мокрые ресницы ее блестели. Старый Тян Кху испуганно привстал. Но Тин отвела мула в стойло и вернулась спокойная:

— Волостной комитет решил отправить нашу Шео Тинь в школу для детей нацменьшинств.

Шео Тинь спрыгнула с бревна, переспросила растерянно:

— В школу?

Старик притянул девочку к себе и, волнуясь, сказал:

— Да, в школу, будешь учиться писать папе письма.

Сказал и поднял испытующий взгляд на невестку. Но Тин отвернулась и ушла в дом. Через минуту оттуда донесся ритмичный стук крупорушки. У старика отлегло от сердца.

■

Откуда-то прибежала Шео Тинь и с рыданиями бросилась к деду

— Дедушка, они говорят, что папу убили!

— Кто, кто говорит? — вскочил старик.

— Да они же, ребята...

Старик выпучил глаза, губы его дрожали, он хрипло кричал:

— Кто сказал, кто? Твой отец герой, он три американских танка подбил!

— Почему ж они так говорят?

— А ты не верь им, не слушай!

Старик обнял внучку, приласкал ее, стал успокаивать. Внутри у него все точно омертвело. Но он изо всех сил старался улыбаться, казаться беззаботным. И девочка почувствовала облегчение, осталось у нее только чувство обиды.

— Ну ладно,— качал головой старик.— Ну ладно, вот я задам хорошую взбучку тому, кто посмеет это сказать. А ты успокойся, не плачь. Мама скоро вернется, ты при ней про это не вспоминай.

— Почему? — всхлипнула Шео Тинь.

— Потому что только твой дед тайны хранить умеет. Ведь нам с тобой надо подстеречь того, кто так сказал, чтобы он ничего не пронюхал. А мама в секрете не удержит.

---

[1] Небо сегодня лучше, чем вчера,
Полная луна сегодня красивей, чем раньше.

Тин привела мула с хворостом, добавила корма свиньям.

— Шео Тинь, пошли, выкупаю тебя, новое платье примеришь. Завтра в школу.

Рано утром она расчесала девочке волосы, заплела их в короткую косичку. Одевая, ласково наставляла:

— В школе будь послушной, когда волосы отрастут подлиннее, обернешь их жгутом вокруг головы, как положено фула.

— А долго учиться?

— В Тет[1] и летом будешь домой приезжать.

— А когда Тет?

— Когда соберут урожай и начнут выпас буйволов.

Старый Тян Кху рассмеялся:

— Тет — это праздник Атхатинд, который недавно был, помнишь?

— А, помню. Ну, а если я очень соскучусь?

— Нужно потерпеть и учиться. Разве твой папа в армии по тебе не скучает?

Тян Кху в кухне вымазал палец сажей и подошел к внучке. Сжав губы и сдерживая дыхание, он наклонился и легонько провел две черты — крест-накрест — на беленьком внучкином лбу.

— Чтобы добрый дух тебя охранял...

Прихорашивалась и Тин. Всякий раз, отправляясь куда-нибудь из деревни, Тин вынимала из сундука одежду фула — черную бархатную кофту-распашонку с бегущей по боку, от под мышки, застежкой, с квадратным воротом, с полосками зеленой и белой материи, ободами охватывающими рукава. Получалось, будто все руки в браслетах — на запястьях поблескивали серебряные, а зеленые и белые обвивались почти у самых плеч. Ленты лифа-нагрудника, завязанные на спине, крепко держали зеленый нагрудник в пестрых полосках по краю, и рельефно вышитый орнамент поднимался на высокой груди. Округлое розовое лицо Тин с ровной линией носа становилось еще привлекательнее, когда она обвивала голову жгутом волос и покрывала ее черным блестящим платком. Прическа женщин фула — сложное сооружение. Над самым лбом — ожерелье сияющих серебряных горошин, над ним жгут волос, и все это венчает платок, концы которого завязываются под подбородком.

— Ну, счастливо оставаться! Шео Тинь, прощайся с дедушкой.

— Иди, иди. Каков бамбук, таковы и побеги его, внученька!

Начинало светать. Нежным светом позолотило верхушки са-му. Мать и дочь, пройдя тропу у деревни, вышли на усыпанную щебенкой дорогу к уездному центру.

— Осторожно, Шео Тинь, смотри не споткнись...

Уже взошло солнце, солнечные зайчики заиграли на блестящих листьях. Но слабый туман, чуть холодивший кожу, еще пока держался. Кусты осота по обеим сторонам дороги были мокры от росы. «Здесь, на горных землях весной хорошо росли бы лекарственные травы»,— подумала Тин и вдруг почувствовала, как из глаз хлынули слезы.

Как-то в один из дней председатель Ши попросил ее зайти. Она подумала, что будет разговор о посадках лекарственных растений. Но оказалось, что Шео Тинь хотят послать в школу. Потом вдруг председатель запнулся, и тогда она сказала сдавленным голосом:

— Говорите все, не бойтесь, я выдержу...

Сказала, а саму всю колотило. Когда ей, наконец, удалось взять себя в руки, она попросила, чтобы не говорили старику, и, услышав,

[1] Тет — Новый год по лунному календарю.

что он узнал обо всем до нее, поразилась: какой человек! Вынес все, как срубленное дерево, без единого стона. Разве она так не сможет?

Но сейчас, идя по той самой дороге, по которой три года назад провожала Тян Хо, она не могла больше сдерживаться.

— Мама, мамочка, что с тобой?

Шео Тинь смотрела на мать снизу вверх блестящими глазенками. Тин отвернулась:

— Ветер. Смотри, чтобы пыль не попала в глаза, ветрено очень. Шео Тинь, в школе слушайся учителей...

— Хорошо...— тихо ответила девочка.

За поворотом открылся уездный центр. Железные кровли домов сверкали под солнцем в центре уютной долины.

— Мама, ты оставайся со мной подольше, ладно?

Тин едва наклонилась обнять дочь, как снова хлынули слезы. «Нет, вернемся домой, останешься дома, ведь ты теперь у меня одна»,— чуть не вырвалось у нее, но она поднялась и, прерывисто дыша, сказала:

— Мне нужно возвращаться поскорее, сажать лекарственные травы. Детка, партия и Дядя Хо любят нас, посылают тебя учиться. Ты должна постараться учиться хорошо. А я буду приходить тебя навещать.

■

Без невестки и внучки дом выглядел нежилым. Но старый Тян Кху не сидел больше на своем бревне, потому и не замечал этого.

Один, опираясь на палку, пришел он в волостной комитет.

— Председатель, в какой час погиб мой Тян Хо?

Тот порылся в бумагах:

— В час мыши [1], девятого июня.

И не успел ничего добавить, потому что старик, забрав у него вещмешок Тян Хо, уже направлялся к дверям.

Дома он положил вещмешок на кровать и присел рядом, озадаченный. «Тян Хо родился в час тигра [2], да и вчера я видел во сне горящий дом и мертвеца»,— решил он и встал за гадательными палочками. Прочитав на языке фула короткую молитву, он стал тащить палочки. Три раза подряд выпадал чет, доброе предзнаменование!

— Нет, Тян Хо не погиб! Язык фула, «Лунная песня» фула разве могут погибнуть!

На следующий день соседи увидели, как старик рубит сосновое бревно, на котором всегда сидел.

— А на чем сидеть будете? — спросили его.

Он не ответил, продолжал свое дело.

Бревно было разрублено на чурки, чурки поставлены на попа. Старик, широко расставив ноги, замахивался топором, сверкающее лезвие падало вниз, и чурка раскалывалась надвое. След топора был ровным, как след пилы.

Фула из Тунгшенгшуй издавна слыли мастерами по дереву. Это было заметно по вещам, стоявшим в их домах. Кадушка для воды — из соснового дерева, ведра — из сандаловых полосок, склеенных и охваченных тростниковым ободом. Всем этим пользовались десятилетиями. Поварешка, черпак, стулья — любая вещь гладкая, отполированная, как роговая. Шкафы, сундуки — ни один не повторял другой, ровные, гладкие, украшенные рельефным орнаментом. Делалось

[1] С 11 до 1 часа ночи — первый циклический знак двенадцатиричного цикла.

[2] С 5 до 7 часов утра — третий циклический знак двенадцатиричного цикла.

это только топором, долотом да стамеской. Горцы предпочитали деревянные вещи, сделанные фула, другим за их дешевизну и прочность.

Старый Тян Кху уже лет десять как свое ремесло забросил. Но раньше он был настоящим мастером — делал разные вещи в обмен на ножи и мотыги у мео, на хлопок и шелк у манов,— и нескольких ударов топора оказалось достаточно, чтобы в руках ожила привычная легкость.

Старик решил из душистой сосны сделать сундук для одежды. «Положу туда вещи Тян Хо. Его больше нет, но его запах останется».

Прошел день, и то место, где раньше обычно сидел старый Тян Кху, покрылось розоватыми, как лепестки цветов железного дерева, щепками. Рама для сундука была уже готова, Тян Кху строгал боковины. Острый нож точно слизывал дерево. Держа доску стоймя, старик примерял прищурившись. Все делалось на глазок, но доски становились все ровней и прохладней на ощупь.

Только-только сундук был готов, как вернулась из уезда Тин. Спину оттягивал тяжелый пояс-кошель. Пояс-кошель фула, плетенный из ротана, поддерживала пропущенная под днище веревка, она перебрасывалась через голову, натягиваясь на лбу и перерезая его.

— Зачем вы сундук делали, устали небось?

— Руки свободны, вот и поработал немного.

— Отдыхайте, муж не любит, когда вы работаете, разве не помните?

И выдавив это, Тин согнулась, приготовившись войти в дом.

Старик опустил руки, сердце сжалось. Неужели она до сих пор ничего не знает? И следя взглядом за невесткой, склонившейся под тяжестью ноши, старик почувствовал к ней острую жалость. Нелегкая у женщин фула доля. Лоб всегда перерезан веревкой пояса-кошеля. Пояс этот точно навсегда к ним прилип. Когда нужно, женщины носят в нем и удобрения, а склон горного поля — что крыша дома, по нему и без ноши подниматься устанешь. В этом же кошеле носят хворост. Напихают так, что торчит над головой, тянет назад, хочет опрокинуть навзничь. А теперь Тин еще труднее будет...

Старик поднял сундук, занес в дом и поставил у изголовья своей кровати. Прячась, сложил в него потихоньку вещи Тян Хо и повернулся, потирая руки.

— Шео Тинь просилась домой?

— Сначала просилась, а потом разыгралась, там детей много, говорит: иди, мама, иди. Среди ребят есть несколько из наших, из фула.

— Вот и хорошо, все люди должны быть равны, сейчас не прежние времена.

Тин возилась в углу, оттуда шел крепкий специфический запах клубней сюен-кхунга. Она присела и снова надвинула на лоб веревку.

— Готовьте еду и ешьте без меня. Я пойду к председателю Ши.

— К чему такая спешка?

— Я принесла клубни сюен-кхунга, будем высаживать. Медлить нельзя. Если время упустим, урожая не видать.

Старик привстал:

— Встретишь в Татяе канбо Нонга, скажи — пусть заглянет.

■

Дом председателя Ши стоял в центре деревни. Низенький домик с провисшей крышей, который хозяин все собирался поправить. Во

дворе перед домом был свален строительный бамбук, одно бревно лежало на козлах, рядом стоял стол, весь заваленный стружкой.

Председатель Ши, крупный, громкоголосый, как раз разговаривал с Нонгом:

— Нонг, вы много деревень фула обошли. Люди фула очень благодарны за заботу о них. Не только род их продолжается, но и язык родной им возвращают.

— В том, что язык был утрачен, вина старого строя. Сам народ сознает необходимость хранить язык отцов и дедов. Возьмите Тян Кху. Я видел, как он внучку учил своему языку. Нам нужно возродить и записать все слова. Жаль, что старики, которые свой язык помнят, уже все беззубые. Боюсь, произношение из-за этого будет неточным. Хотелось бы послушать, как молодые говорят, но так, чтоб не путали с местным наречием. И песню хотелось бы...

— Последние дни я ходил по деревням, с людьми беседовал. Говорили о том, что вы пришли к нам в поисках нашего языка, и еще говорили о гибели Тян Хо. Народ фула — маленький народ, говорил я, а забота о нем большая, и потому мы должны помогать братьям и сестрам всей страны. Мы гордимся тем, что у нас есть Тян Хо. Тян Хо — воля, решимость людей фула. Фула должны следовать его примеру. Народ фула живет на этой земле, высоко в горах, уже несколько веков. Здесь рис только в один сезон родится, а потом земля умирает. Надо сажать сюен-кхунг. Эти земли уже дали стране Тян Хо, теперь они должны отдать ей все, чем богаты.

— Я слышал в уезде, что здесь решено отвести больше двух гектаров под лекарственные растения,— поднял голову Нонг.

— Да, я было согласился, но боюсь, не смогу людей на это дело поднять. В холода у нас привыкли дома сидеть, у очага греться, да всякие безделки из дерева мастерить. Нелегко будет заставить выйти в поле.

Нонг хотел что-то сказать, но обернувшись, заметил в пелене предвечернего тумана человеческую фигурку, склонившуюся под тяжелой ношей.

— Тин!

Тин откинула зеленую пластиковую накидку, покрывавшую пояс-кошель. Остро запахло клубнями сюен-кхунга.

— Где взяла? — подошел, тяжело ступая, Ши и стал рукой ворошить клубни.

Тин, прислонив свою ношу к ступеньке у двери, отдышалась и устало сказала:

— Дочку в уезд отводила, там заглянула в комитет, товарищи спрашивают, решатся ли наши в Тунгшенгшуй сеять лекарственные травы. Я говорю: давайте снесу, попробуем. А они говорят: пробовать нечего, специалисты уже все проверили, ваши земли прохладные, больше всего подходят. Я и взяла.

— Да... Так, значит. Ну, что ж, выходит, Тунгшенгшуй всех обгонит.

■

В Тунгшенгшуй холода держатся долго. Зима тянется с октября до апреля, и все это время изо дня в день с трех часов дня до десяти утра лежит густой туман, только потом проглядывает ненадолго кусочек ослепительно ясного, холодного неба.

Надев непромокаемую накидку, Тин пошла по домам. В каждом ярко горел огонь, вокруг очага сидели и взрослые и дети.

Помощник бригадира тоже сидел у огня, рядом стояла бутыль с вином.

— Куда собралась, Тин? В такое время даже звери в норы прячутся.

— А человеку нельзя,— засмеялась Тин.— Нам поручили разводить сюен-кхунг.

— Не будем!

— Я уже дала согласие.

— О господи! Ну что в такой холод людей гнать на поле. Вот если б меня позвали помочь кому свинью зарезать да вина выпить, я бы пошел!

— Эх вы, помощник бригадира, а так говорите!

— Разве помощник бригадира не человек? Он тоже у очага сядет — согреется, вина выпьет — веселым сделается!

Тин побледнела:

— В других кооперативах все время урожайность повышают, мы же в год только шесть месяцев работаем, а потом у государства рис просим. Стыдно!

— Почему стыдно? Ведь мы не крадем!

— Лодырничать тоже стыдно!

— А кто лодырничает? Это я-то лодырь? За один сезон двести трудодней набрал, только тебе и уступаю! Пойди, пойди по домам, оторвешь кого-нибудь от огня, тогда и я ничего не скажу, сам своего буйвола запрягу.

Только к вечеру, когда молочно-белый туман плотно окутал деревню, Тин вернулась домой. Опустилась у очага, устало протянула руки к потрескивающим желтоватым языкам пламени.

Старый Тян Кху, обстругивавший доску, вскрикнул:

— Одежда горит!

Тин отдернула руки. Старик опустил нож, вздохнул и заботливо спросил:

— Ну как, всем сказала?

— Да что там, люди точно на перепутье стоят, не знают, как быть...

— Холода...

— Одни холода боятся, другие спрашивают, откуда сюен-кхунг взялся, и когда отвечаешь, что издалека, утверждают, что на нашей земле не привьется. Признают только то, к чему привыкли.

О посадках лекарственных растений говорили уже больше года. Поначалу специалистов, поставивших этот вопрос, поддержали. Но зимой все разговоры затихли, а потом за всякими неотложными делами о них и вовсе забыли. И вот теперь все начиналось снова.

Мысль о том, что нужно сажать сюен-кхунг, родилась у Тин в тот вечер, когда к ним заглянул председатель Ши и откровенно рассказал, как стыдно ему было на совещании в уезде. Постепенно она утверждалась в своем решении. Тунгшенгшуй — уже не обособленная далекая деревня. Эта деревня дала своего сына армии, послала своих детей в школу. Невидимые нити связывали Тунгшенгшуй со всей страной, такой большой, что «у птицы крылья устанут, и то всю не облетит». Когда Тян Хо был жив, она во всем следовала за ним. Теперь, когда он погиб, она должна продолжать идти его дорогой. Потому она и взяла сюен-кхунг. Уездный председатель бежал следом, спрашивал: «Но людей-то ты сможешь на это дело поднять?» А она отвечала: «Не согласятся, сама посажу».

Наверное, так и придется — одной сажать. «Ну и что, ведь научилась же я пахать, когда Тян Хо ушел. А как люди сначала смеялись»,— подумала Тин и уснула.

Утром старый Тян Кху встал поздно и долго сидел сгорбившись, потом возился на кухне и вдруг увидел, что Тин входит в дом со стороны огорода.

— Откуда это ты так рано? — удивился он.

— Делала лунки, высаживала клубни сюен-кхунга.

— Его сначала высаживают?

— Да, а когда подымутся ростки, переносят на поле.

Тин вышла, и через минуту старик услышал, как она выводит буйвола, а буйвол скребет рогом о стенку хлева, бьет копытом о мерзлую землю.

Туман еще держался, хотя было уже совсем светло. Маленькое поле, отлого лежавшее на берегу Лунгса, казалось молочно-белым, кое-где сквозь прорехи в тумане проглядывали черные, точно обгоревшие стволы деревьев.

Тин поставила плуг, впрягла буйвола и легонько дернула за веревку. Буйвол, послушный хозяйке, неторопливо двинулся с места. По-другому было, когда Тин только училась пахать. Буйвол совсем не хотел слушаться. Тин, по совету Тян Кху, ударила его кнутом, он рванул и сломал лемех плуга о камень. Сейчас лемех плавно резал землю, поднимая и укладывая ее за собой волнистыми бороздами.

Поворачивая плуг, Тин услышала шаги за спиной и, обернувшись, увидела высокую фигуру председателя Ши.

Ши нагнулся, набрал в горсть холодной земли и удивленно спросил:

— Почему ты одна?

Тин только улыбнулась и повела плуг дальше.

— Нужно всех поднять! — нахмурился Ши.

— Трудно людям объяснить. Сначала сделаю, а разговоры потом буду вести.

— И все же можно! Я всем бригадам сказал в других деревнях, все пошли. Сейчас мой сын в армию запросился, а я говорю: «Организуй молодежь на посадки сюен-кхунга, управимся с урожаем, тогда и пойдешь». Если хочешь, скажу их бригаде, пусть тебе помогут.

— Не нужно. Сама все сделаю.

— Ну, это ты слишком!

«Хватит слушать их со стариком, нужно будет всей деревней помянуть Тян Хо, а потом развернуть кампанию за посадки сюен-кхунга»,— решил он и пошел в Тунгшенгшуй.

В доме помощника бригадира гудели голоса. Ши остановился за дверью, прислушался. Говорил старый Тян Кху, невнятно, чуть раздраженно.

— Вы на фула говорите, мы вас не понимаем,— остановили его.

— Ну что ж, скажу еще раз. Праздник Атхатинд прошел, теперь можно работать. Что дома сидеть сложа руки? Тин одна в поле пашет, а должна вся деревня пойти... Я ее не защищаю, но она — женщина, мне ее жалко...

Ши улыбнулся и, толкнув дверь, вошел в дом.

■

К тому времени, когда кончили вспахивать поле, клубни, высаженные в огороде у Тин, дали побеги. Каждый саженец бережно выкопали и перенесли на удобренные борозды.

Прошло три месяца. Вдоль ручья Лунгса и еще кое-где зазеленел сюен-кхунг. Испещренные черными крапинками листья и ствол цвета спелого апельсина источали крепкий, особенный свой запах.

Нонг шел в Тунгшенгшуй. Трава ман-чау, что росла вдоль дороги, выбросила метелки с цветами. Брюки Нонга были мокрыми от росы.

Много уже лет работал Нонг в горном крае. Он стал добрым другом людей разных народностей. Пел песни мео, са, таи и нунгов. Знал обычаи и обряды этих людей, почитал как свои их историю и культуру. С фула он встречался впервые. И как раз именно это время оказалось для них переломным. Нонг видел, как чтили память Тян Хо во всех деревнях фула — чтили память любимого сына. Видел, как фула пошли в поле сажать сюен-кхунг «для всей страны». Много перемен произошло в те дни. Нонг побывал во всех селах фула, какие были на плато. Расспрашивал, записывал, запоминал. Его записная книжка разбухла от слов и характерных для языка фула грамматических конструкций. Сейчас заканчивался первый этап его работы.

Нонг свернул к дому Тин. День клонился к вечеру, становилось прохладно. Ветерок доносил запах сюен-кхунга даже в деревню. Послышались ритмичные удары топора, и Нонг увидел старого Тян Кху, склонившегося над остатками того самого соснового бревна, на котором он некогда сиживал. Нонг окликнул старика. Тот поднял голову, и на его морщинистом лице появилась широкая улыбка.

— Канбо Нонг, почему так долго не показывался?

— Я был в Татяе, Пашу, Вышане... А что это вы делаете?

Старик вытер пот со лба и с довольным видом сказал:

— Сундучок мастерю, канбо! У нас в кооперативе это теперь подсобный промысел. Да я сам его и предложил. Дети наши бьют врага, нечего нам дома без дела сидеть.

— Как здоровье, ваше и Тин?

— Здоровы мы, здоровы. После того как Атхатинд справили, беды-болезни к нам и показываться боятся. А без Атхатинда было бы плохо. Вот Тин уж как трудно пришлось, днем и ночью работала, постель, бывало, согреть не успеет, поесть забудет, все в поле да в поле, а все ж здорова! У нас в деревне все здоровы.

Старик повел Нонга в дом. И когда начали есть — опять перец, ставший такой привычной едой,— старик заговорил о сыне:

— Канбо Нонг, к нам специалист приезжал, наставлял, как с сюен-кхунгом обращаться. Сказал, когда сюен-кхунг распустит цветы, их надо оборвать, чтобы клубни были крепкими. Если посмотреть, то и жизнь Тян Хо такова. Он погиб за то, чтобы другие могли жить...

— А как Тин известие о его смерти приняла?

— Поплакала, а потом работать пошла. Сейчас одна только Шео Тинь не знает. Да я и не хочу, чтобы она знала.

Старик поставил пиалу с рисом, встал и подошел к алтарю предков. Нонг заметил, что на алтаре перемены — фотография Тян Хо в небольшой рамке. Засунув руку за рамку, старик вытащил конверт и, сдувая с него пыль, вернулся к Нонгу.

— Шео Тинь прислала. Сама Тин уже прочитала, а я еще не слышал. Почитай-ка.

Нонг взял письмо. Ровные, прямые буквы, яркие фиолетовые чернила. Письмо еще без точек и запятых, в нем немало грамматических ошибок, но все было очень понятно:

«Мамочка раньше письма за меня писала учительница а сейчас я пишу сама мамочка я уже могу читать газету учительница говорит что я послушная аккуратная и хорошо учусь мамочка мне дали кожаный портфель который нам прислали в

подарок из советского союза мамочка ты больше меня не обманывай папа погиб я знаю ты боялась что я буду плакать но я знала что папа погиб еще в тот день когда ты повела меня в школу мамочка дедушке говорить нельзя дедушка старенький он будет горевать и от печали долго не проживет часто ли приходит к нам дядя нонг когда я провожала его в татяй он сказал что хочет послушать лунную песню фула но у дедушки нет зубов я сказала что я спою он сказал что если бы папа был дома тогда он эту песню бы услышал...»

Нонг вложил письмо в конверт. Подняв глаза, увидел, что старый Тян Кху сидит неподвижно, как каменное изваяние, и по его лицу бегут слезы.

Вернулась Тин. Принесла семенной рис. Начинался сев, и она была очень занята.

Промывая семена у водостока, она взглянула на небо и увидела, что встает луна. Свет ее был пока еще бледным, но небо — чистое, без тумана, и лунный свет рассылал повсюду свои светло-золотые лучи. Среди шума равномерно бегущей в деревянную колоду воды Тин вдруг услышала голос старого Тян Кху, поднимавшийся медленно и плавно:

Кха-а по-че-чу-ча.
Ни-ки па-ла гхи-са-са не-ма-са...

Длинные, многосложные слова языка фула стлались в неторопливой, спокойной мелодии. Старый Тян Кху пел для Нонга. На мгновение он замолчал, и тогда Нонг услышал подпевающий ему женский голос. Сначала Нонг решил, что ему показалось, но прислушался и узнал голос Тин. Тин пела, промывая семена, а «Лунная песня», старинная песня фула, в женском исполнении становилась шире и нежнее. Тин пела, вызывая в памяти давние, глубокие впечатления детства...

Перевод с вьетнамского ИННЫ ЗИМОНИНОЙ.

■

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

Перевод с вьетнамского и вступление А. ЭЙДЛИНА

В Ханой я приехал 31 декабря 1971 года и, успев лишь оставить вещи в вестибюле гостиницы «Тхонг нят», отправился на устроенную Министерством иностранных дел ДРВ пресс-конференцию, на которую должны были привезти сбитых вчера американских летчиков.

Первый из них, командир самолета, высокий, лет тридцати, с ровно подстриженными светлыми усами, уже одетый в выданные ему широкую блузу и брюки защитного цвета, вошел под конвоем вьетнамских солдат, придерживая поврежденную руку, постоял с неподвижным, очень бледным лицом, ни на кого не глядя, и по данному ему знаку медленно, с трудом повернулся и вышел.

Второй, лейтенант морской авиации, небольшой, широкоплечий негр с усами и длинными баками, весь как на пружинах, в синем комбинезоне, по-видимому, в том самом, в каком его захватили, низко опустил голову, пытаясь спрятаться от многочисленных фотографов. Женщина, представитель министерства, велела ему открыть лицо. Дико крича, он несколько раз подпрыгнул. Его увели вслед за его молчаливым предшественником. По-разному выражается отчаяние. Оба они пока не могли надеяться на близкое возвращение в Америку.

Я увидел военный Вьетнам. А потом уже разглядел города и деревни — все, что можно заметить в короткие тридцать дней,— с их мирной жизнью, несмотря ни на что. Зимнее, не слишком жаркое солнце, спокойно оживленные улицы, запруженные велосипедистами, крестьянок, торгующих фруктами на перекрестках этих улиц, уличного художника, рисующего портреты, размеренную работу предприятий и учреждений, улыбающиеся лица детей, с достоинством идущих в школу или из школы и доверчиво встречающих ваш взгляд. Так, как будто нет бомб, летящих с высокого вьетнамского неба, и закрытых крышкой круглых колодцев на случай налета, и разрушенных зданий, и суровых ограничений, вызванных войной, и затаенной постоянной тревоги.

За несколько дней до упомянутой пресс-конференции, 26 декабря, американские бомбы были сброшены на провинцию Тханьхоа. Они попали в приемный покой и в аптеку больницы, убив девять человек и ранив одиннадцать. В километре отсюда бомбы разрушили 45 из 172 жилых домов. Я видел в больнице привезенных из деревни раненых мальчика и девочку, оставшихся сиротами после убитой матери. Стены деревенских домов были густо испещрены следами шариковых бомб. На пепелище ветер листал обугленные страницы детской книжки. Выделялась надпись на одиноко высившейся стене: «Долой американских империалистов, разрушивших дом женщины Дыок». Крестьяне трудились над восстановлением своих жилищ.

Я видел расположенный в горе механический завод, производивший части для автомашин. У каждого рабочего была винтовка. Но дважды в неделю рабочие посещали вечернюю школу. Да и вообще в эту длительную военную пору, я бы сказал, господствовал пафос мирной жизни, утверждавшийся повсюду. И он помог выстоять в войне, сохранить душевное здоровье, воспитать молодые поколения, не лишая их радостей детства. В одной провинции Тханьхоа на два миллиона населения насчитывалось в 1972 году 1611 средних школ, в которых обучалось 510 тысяч детей.

Были эвакуированы из Ханоя ценные книги, но не прекращали свою деятельность библиотеки, школы, высшие учебные заведения и научные институты. Во мне глубокое впечатление оставили встречи с представителями старшего поколения вьетнамских

ученых, выдающимися филологами Данг Тхай Маем, Ка Ван Тхинем, Фам Тхиеу и крупнейшим знатоком дальневосточной философии Као Суан Хюи. Радостно думать, что их творчеству достались и мирные дни Вьетнама.

Мы вернулись с юга, снова от Тханьхоа в Ханой, а затем побывали на севере в Каобанге. И каждый раз пленяла удивительная по яркости и многообразию природа. На этой северной опасной крутизны дороге — горы с чудесными деревьями и даже странными для нас цветами среди террасных рисовых полей, прозрачно-зеленые реки, чистые ручьи среди словно чьей-то могучей рукой некогда небрежно разбросанных камней. И тихие селенья, приютившиеся у гор, с непременными бомбами, висящими на деревьях для того, чтобы ударом в них объявлять об обеде или конце рабочего дня. И пещера Пакбо, до которой добираться надо по камням, через широкий ручей, под сенью роскошной вьетнамской зелени. В этой пещере в феврале 1941 года скрывался Хо Ши Мин. «При жизни он отдавал все тепло своего щедрого сердца народу». Так сказано в 1969 году в «Прощальном слове Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама».

Год назад у нас вышла книга очерков Нгуен Туана «Меж двумя веснами» [1]. Очерки вьетнамского писателя охватывают период от 1947 года, то есть от войны Сопротивления французским колонизаторам 1946—1954 годов, до февраля 1973 года. О чем говорит Нгуен Туан?

Лишь несколько цитат из него: «Вражеская пропаганда называет нас «аскетами в хаки». Ну что ж, они правы. Мы взяли в руки оружие, чтобы уничтожить все низменное и грязное и утвердить самые светлые и чистые идеалы человечества» (1947 год). Писатель хочет открыть глаза на правду всем соотечественникам, даже тем из них, кто «увяз в трясине алчности и себялюбия»: «И лучше других могут сделать это наши солдаты, идущие в бой за свободу и честь, за человеческое достоинство...» (1948 год). Как истый вьетнамец, писатель все время видит и ощущает природу вокруг. Она во множестве растений, о которых он пишет, она в поднявшихся горах и раскинувшихся реках страны, а когда выступила колонна в несколько тысяч штыков, то «ночные звезды качались над дулами винтовок» (1955 год).

Нгуен Туан пишет о сражениях пехоты, о воздушных боях с «фантомами», а главное, о той мирной жизни, какой умеют жить вьетнамцы в самые жестокие для них времена. «В иные дни набережные так и кишели народом, словно праздничные базары, хотя сирены по три и даже четыре раза возвещали тревогу». И как и до войны, торжествовала любовь и люди покупали цветы для свадьбы: «Невеста в традиционном длинном платье с разрезами по бокам, жених даже в этот ответственный момент не расстался с винтовкой...» (1966 год).

Я чувствовал себя во Вьетнаме, как и любой советский человек, пусть очень маленькой, но все же полноправной частью моей страны. Да и для меня каждый вьетнамец оставался средоточием его родины. И когда я познакомился с Нгуен Динь Тхи, а затем во Вьетнаме и в Москве встречался с ним, я воспринял как само собою разумеющееся то, что красивый, образованный и неизменно доброжелательный человек этот прошел через все испытания и подпольного революционного движения, и войны Сопротивления, и жесточайшей войны с американскими империалистами. Прошел как солдат и прошел как летописец народных сражений, участником которых являлся.

Но почему во вступлении к переводам из Нгуен Динь Тхи я написал обо всем изложенном выше как бы вместо того, чтобы рассказать о творчестве поэта? Потому что всему этому посвящены его лирические стихи, и сами они, пожалуй, лучше расскажут о себе. Он выбрал из них и вручил автору настоящего небольшого вступления шесть написанных в разные годы стихотворений для перевода на русский язык, что и было выполнено с любезной помощью самого Нгуен Динь Тхи и И. Зимониной. Эти стихотворения и публикуются на страницах журнала. Пусть в радостный день тридцатилетия республики, совпавший с радостным временем освобождения Юга, будут они нашим дружеским приветом Нгуен Динь Тхи и пожеланием счастья его прекрасной стране.

Горная дорога

Бледный, бледный вечер снова явился откуда-то издалёка,
одурманенный, пьяный от туманов и туч,
на тропинке исхоженной ни следа человека,
поднимается ветер,
и слышу негромкую песню, которую я запел.

[1] Нгуен Туан. Меж двумя веснами. Составление перевод предисловие и примечания М. Ткачева. Москва, «Молодая гвардия», 1974.

Вот он рис! Его ветер кло́нит
там внизу под самой горою на раскинувшемся ровном поле,
и трепещет, и в танце летает синий пояс,
и бамбук в огоньках зажегшихся все шумит, не смолкая,
пропадает и снова доносится чей-то поющий голос,
и темнеет странно повисшая тень от дома на сваях,
и кричит олень, и вдали угасает эхо,
и кусок луны над вершиной,
и дорога вниз уступ за уступом,
где идет человек со своею тенью, продвигающегося по склону.

1947

Помню

Вы о ком задумались в высях, звезды, горящие ярко,
Освещая бойцу дорогу средь туч на крутом перевале?
И о ком вспоминает ночью огонь, пылающий жарко,
В чаще леса средь тысяч деревьев сердце бойца согревая?

Я люблю тебя так, как любим эту землю и эти воды —
С принесенным войною горем, со страданьями, с жизнью трудной.
Ты на свете во всем со мною — в каждом шаге моих походов,
Каждый вечер во сне недолгом, в каждый краткий обед мой скудный...

Никогда не должны исчезнуть в высях звезды с их светом ясным.
Пусть нам даже всю жизнь сражаться, но любить мы друг друга будем.
И огню средь тысяч деревьев, видно, долго еще не гаснуть.
Мы с тобой навек полюбили, гордость наша в том, что мы люди!

1953

Мать

В память о реке Нятле и о реке Хьенлыонг

Я иду, обходя воронки от бомб,
дикие травы поглотили деревни и села,
все молчит с четырех сторон.

Но я слышу мою девочку,
нет — только блики солнца на темной воде.

Я пришла на берег
и слежу за бегущей рекой,
что это там — дуновенье ветра,
а с ним твоя промелькнувшая тень.

Дитя мое,
дочь моя, где же ты,
мама здесь!

Я оглядываюсь вокруг
и вижу черноту опаленных деревьев.

Дитя мое,
мама по-прежнему здесь,
среди пожарищ и рушащейся земли,
днем сажает маниоку, выкапывает батат,
а ночью в утлой лодчонке
перевозит бойцов на другой берег.

Ночью их винтовки стреляют на том берегу.

Я стою у реки,
гляжу на родную деревню,
на старые причалы, сохранившиеся тропинки...

Но мне пора возвращаться.

Я живу теперь в шалаше вон на том холме,
и утром и вечером с маленькими одна,—
кто еще остался у них?

И бедная сестра твоя, и оба брата твои
проголодались и ждут меня,
и мне пора, давно пора возвращаться...

Я иду, обходя воронки от бомб,
берегом бегущей реки,
на котором тихо шепчутся камыши.

1969

Осенним вечером думаю о Хо Ши Мине

Солнце вечернее словно в какой-то тревоге.
Отблески тучи вечерней над дальней дорогой к горным селеньям.
Горы и воды в молчании с благоговеньем
Слушают: где-то звучит неподвластный забвенью голос любимый.
Розовокрылая птица проносится мимо.
Катятся волны реки неустанной, а с ними горечь утраты.
Горы и воды теплом на закате объяты...
И не умрет, и на тысячелетия свято щедрое сердце.

1969

Куда?

Эта река, изгибаясь, течет куда?
Эта дорога большая идет куда?

Думы зеленых всходов риса в полях,
Думы старинных пагод стремятся куда?

Ранний гудок протяжный манит куда?
Дым, над заводом клубясь, закрыл небеса.

В ветре, окутаны пылью и грохоча,
С грузом тяжелым машины мчатся куда?

Прячут себя куда утренние облака?
Прячет себя куда солнце по вечерам?

В письмах, которые наспех набросала рука,
Буквы их строчек сами спешат куда?

Наши глаза людские глядят куда?
Наши шаги людские ведут куда?

■ ■ ■

Ночью и днем, ночью и днем
Южный Вьетнам зовет!

1972

Река прозрачная и зеленая

Я вернулся к нему,
все к тому же берегу прозрачной зеленой реки,
реки моих прежних далеких лет,
где на отмелях тихих деревья личжи́.

Эта маленькая река
с прохладной в любое время года водой
омывает поросшие плодовыми деревьями берега
утром и вечером, в дождь и в зной.

И через месяцы, и через годы
так я прошагал
по дорогам, на которых не раз мне путь преграждали
слепые туманы, огонь и ветер,
узнал и печали и радости — горечь и сладость —

и часто был рядом с миром, где смерть — полновластный хозяин,
и вот только сегодня вечером
на берегу этой реки
я снова вернулся в хорошо мне знакомый тот прежний сад,
где тонкие, слабые деревья личжи́ былых времен
теперь свободно простирают ветви, широкие и тенистые.

В первый раз за минувшие двадцать с лишним лет
сегодняшним вечером — да наяву, наяву ли это? —
та, что всегда в моем сердце, маленькая эта река,
несущая в лоне своем облака и небо,
прозрачная и зеленая эта река!

1972

■

АТ-ТАЙИБ САЛИХ

Сезон паломничества на Север

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского В. ШАГАЛЯ

Глава первая

Я вернулся домой после долгого отсутствия. Через семь лет после того, как уехал. Все эти годы я провел в Европе, где учился. Многое осталось во мне навсегда, многое позабылось, но это — другая история. Сейчас важнее всего то, что я вернулся. Вернулся, истосковавшись по своим близким в маленькой деревушке, затерявшейся у излучины Нила.

Когда наконец я обнял их, ощутил их тепло, что-то во мне дрогнуло, и я понял, что все семь лет, проведенные вдали от родины, были бесконечным стремлением к ней. Я почувствовал, как где-то в глубине разливается тепло, словно душа, согретая солнцем, медленно отходит от ледяного холода. И правда, надо мной словно солнце взошло — так хорошо и покойно стало мне рядом с близкими. Я прямотаки купался в этом ощущении и думал о том, как же я мог так долго жить в стране, где даже змеи дохнут от холода.

В годы моих добровольных скитаний я много думал о своих земляках. И, может быть, поэтому в первые минуты встречи нас разделяло что-то, словно пелена тумана. Но туман быстро рассеялся, а утром я проснулся в своей кровати, в которой спал еще ребенком, в комнате, стены которой безмолвно хранили тайны моих детских фантазий и глупостей.

Проснувшись, я понял, что за неполные сутки уже снова привык к шуму ветра. Мне был до боли знаком этот звук. Он нес в себе веселый шепот финиковых пальм и шелест пшеничных полей. Я слушал воркование горлицы и смотрел в окно на пальму посреди нашего двора. Я разглядывал ее могучий стройный ствол, ее уходящие в землю корни, длинные, ниспадающие листья и проникался умиротворяющим ощущением красоты жизни. Я уже не казался себе перышком, покорным каждому порыву ветра. Теперь я был словно пальма, прочно вросшая в землю и потому не подвластная ветрам.

Вошла мать. Она принесла мне чай. Отец кончил утренние молитвы и тоже пришел в мою комнату. И сестра пришла, и два брата. Мы пили чай и разговаривали. И все было так, как было всегда — с той самой поры, когда мои глаза впервые взглянули на мир. И, слава аллаху, мир остался таким, каким я ощутил его впервые. Он был прекрасен.

Мне вдруг вспомнилось лицо человека, которого я мельком заметил среди встречающих. Я спросил, кто это был — мужчина среднего роста, лет пятидесяти, без бороды, совсем седой и с усами, поменьше, чем принято носить в деревне. Он произвел на меня хорошее впечатление.

— А, это Мустафа,— сказал отец.

Я такого не знал. Отец объяснил, что Мустафа не из нашей деревни, что он пришлый, но живет тут уже почти пять лет — купил землю, построил дом, женился на дочери Махмуда... Ничего не скажешь, человек с положением...

Я сам не понимал, почему все это так меня заинтересовало. Потом вспомнил, что Мустафа все время молчал. Остальные наперебой расспрашивали меня о Европе: дорогая ли там жизнь, похожи ли европейцы на арабов, что они делают зимой и верно ли, что европейские женщины не закрывают лица на людях, танцуют с мужчинами, да и вообще правду ли говорят, будто европейцы не женятся по закону, а живут во грехе...

Меня так и засыпали вопросами, и я охотно рассказывал о том, что знал. Мои земляки ужасно удивлялись: оказывается, европейцы очень похожи на арабов, женятся они и воспитывают детей в согласии со своими законами и обычаями и в общем — хорошие и добрые люди.

— А крестьяне у них есть? — поинтересовался Махджуб.

— Ну конечно,— отвечал я.— У них все так же, как у нас. Есть и крестьяне, и рабочие, и врачи, и учителя...

Я замолчал, хотя мне хотелось сказать: «Европейцы такие же люди, как мы с вами. Они тоже рожают детей и умирают и также полны иллюзий от колыбели до гробовой доски, хотя сбывается лишь ничтожная доля их надежд. Они, как и мы, боятся неизведанного. И для них священны супружеские узы, а дети приносят им радость точно так же, как нам. И среди них есть сильные и есть слабые, и некоторым жизнь дарит больше, чем они того заслуживают. Другие же незаслуженно обездолены. И конечно, хуже всего приходится слабым...»

Ничего этого я Махджубу не сказал, хотя мог бы и сказать. Он был человеком умным и понял бы все с полуслова. Но со стыдом признаюсь, мне помешало говорить глупое чувство собственного превосходства. А тут Бинт Махджуб вымолвила сквозь смех:

— Мы боялись, что ты вернешься домой с неверной, с христианкой!

И только Мустафа ничего не говорил. Он молча слушал, и время от времени на его губах мелькало что-то вроде улыбки. Она была загадочной, эта улыбка. Как будто Мустафа улыбался своим мыслям.

Но мне некогда было думать о Мустафе. Я возобновлял старые знакомства, заново привыкал к деревенскому быту и был в те дни счастлив, как ребенок, впервые увидевший себя в зеркале. Мать не скупилась на советы и наставления. Она рассказывала мне, кто умер, чтобы я пошел и выразил свое соболезнование, напоминала, кого надо поздравить со счастливым браком. Я несколько раз исходил деревню вдоль и поперек, то соболезнуя, то поздравляя. И вот настал день, когда я пошел на берег реки к старой акации. Сколько часов провел я в детстве под этим деревом, бросая в воду камешки и улетая в меч-

тах за далекий горизонт! Я слышал скрип саких[1] у реки, далекие голоса людей на полях, мычание быков и ослиный рев. Иногда мне выпадало особое счастье — мимо вверх или вниз по течению проходил пароход. Из года в год сидел я в этом укромном месте и видел, как неторопливо менялся облик нашей деревни.

Замолкли сакии. Появились мощные насосы, и каждый из них выполнял работу доброй сотни саких. Я видел, как год от года берег отступал под напором воды, а за ширью реки отступала вода под натиском земли. Порой меня посещали странные мысли. Я видел, как меняются берега, мне начинало казаться, что это похоже на жизнь: одной рукой тебе дают, другой — отбирают. До конца я постиг эту мудрость много позже. Но пока я осознавал ее только умом. Сердце переполняли радостные надежды, а мышцы под кожей были гибки и послушны. Я намеревался утвердить свои права в этой жизни, пусть даже силой. Потому что отдавать я буду щедро. Мою душу переполняла любовь, и она готова была принести плоды.

Река была совсем серой от ила — значит, над Абиссинским плоскогорьем льют дожди. Я смотрел на мужчин, склоненных над плугами, бьющих землю мотыгами. В моих глазах отражалась бескрайность полей. Меня обступали забытые, но такие родные звуки: птичий щебет, собачий лай, стук топора по дереву. Знакомые с детства звуки вливали в меня ощущение силы, значительности, непрерывности связи с землей, меня породившей. Все сущее продолжается во мне, и я продолжаюсь в том, что меня окружает, и это чувство слитности с родной землей дарит мне ощущение совершенства... Нет, я не камень, упавший в воду. Я скорее зерно, брошенное в борозду.

Я пошел к своему деду и долго слушал его рассказы о том, как жили люди сорок, пятьдесят, а то и восемьдесят лет назад. Рядом с дедом я всегда чувствую себя спокойным и уверенным. Я всегда любил его, и мне казалось, что он выделяет меня из всех своих внуков. Возможно, нашу дружбу скрепляло то, что с самого детства во мне жил жгучий интерес к прошлому, а дед любил вспоминать. Когда я уехал, то все время боялся, что дед умрет. Я тосковал о нем и часто видел его во сне. Когда я рассказал ему об этом, дед засмеялся:

— Помню, в молодости один гадальщик уверял меня, что мне надо только достигнуть шестидесяти лет — возраста нашего пророка, а уж тогда я дотяну до ста.

Мы принялись вместе подсчитывать его годы, и оказалось, что до ста ему остается еще целых двенадцать лет.

Дед начал было рассказывать мне про жестокого губернатора, который бесчинствовал в нашей округе еще в турецкие времена, но я вдруг опять вспомнил Мустафу. Не расспросить ли мне о нем деда? Уж он-то знает всю подноготную о каждом человеке в нашей деревне. Однако дед покачал головой и сказал, что о Мустафе ему ничего не известно. Разве то, что родом он из-под Хартума, здесь появился лет пять назад, купил землю у одной женщины, а потом Махмуд выдал за него дочку. Со свадьбы уже четыре года прошло.

Я спросил, какая из дочерей Махмуда замужем за Мустафой.

— По-моему, Хасана,— поразмыслив, ответил дед.— Ох, люди, люди,— вздохнул он и привычно покачал головой.— Даже не интересуются, за кого дочерей отдают...

Тут он добавил, словно оправдывая Махмуда, а может быть, и самого себя, что за все эти годы Мустафа ни в чем дурном замечен не был. Но и хорошего тоже вроде ничего не сделал. В пятницу его

---

[1] Сакия — колесо для орошения, обычно приводимое в движение буйволом, ходящим по кругу на привязи.

всегда можно увидеть в мечети. Наверно, он из тех, кто и в дни радости, и в дни печали пьет из собственной рюмки. Такая уж была у моего деда поговорка.

■

После этого разговора прошло два дня. В полдень я ушел с книгой в дальнюю комнату. С другой половины доносились голоса — мать и сестра болтали с соседками. Отец спал, а братья куда-то ушли по делам. Никто не мешал мне, и я погрузился в чтение. Вдруг я услышал покашливание, поднял глаза и увидел Мустафу. Одной рукой он прижимал к груди огромный арбуз, а в другой держал корзинку с апельсинами. Он заметил мое удивление.

— Я тебя не разбудил? Полдень, конечно, не самое лучшее время, чтобы ходить по гостям. Прошу у тебя прощения. Но мне хотелось познакомиться с тобой. И я решил: зайду, пусть попробует плодов из моего сада.

Он был изысканно вежлив. Ведь у нас в деревне все ходили друг к другу, когда хотели, и никому в голову не приходило извиняться и расшаркиваться. Не скрою, его учтивость мне понравилась, и я поспешил ответить тем же. На столе появился чай. Я внимательно изучал лицо гостя. Заметив мой пристальный взгляд, он отвел глаза. Мустафа был красив. Высокий лоб, брови вразлет, густые подернутые сединой волосы, крепкая шея. Орлиный нос. Когда во время разговора он взглянул мне прямо в глаза, в его взгляде я ощутил удивительный сплав силы и слабости. Чуть опущенные уголки губ и печальные глаза таили в себе неотразимую привлекательность. Говорил Мустафа негромко, но голос его был несколько резким. Его лицо дышало силой, но в улыбке было что-то женственное. Руки у него были мускулистыми, а пальцы — длинными и изящными. И когда, посмотрев на его руку, вы вдруг замечали эти пальцы, впечатление было такое, словно ваш взгляд с суровых горных отрогов скользнул в прелестную долину.

«Ладно, пусть говорит,— думал я, слушая его.— В конце концов, он ведь для этого и пришел. Какая другая может быть у него цель?»

Но Мустафа сам ответил на мой невысказанный вопрос.

— У нас в деревне я только с тобой еще не имел счастья познакомиться,— произнес он с церемонной вежливостью.

Сказать по правде, его манеры были мне неприятны. Ведь мы же в деревне, где мужчины, поссорившись, не стесняются назвать обидчика «собачьим сыном».

— Я много о тебе слышал от твоих родных и друзей,— сказал он.

Признаюсь, меня это не удивило. Я еще в молодости слыл у нас в деревне первым парнем.

— Говорят, ты получил солидный диплом. Доктора, кажется? Еще говорят, что ты с детства подавал большие надежды...

— Ну, что ты,— ответил я, хотя в те дни очень собой гордился и не слишком это скрывал.

— Стать доктором — великое дело,— сказал Мустафа, словно не расслышав моих слов.

С притворной скромностью я начал втолковывать Мустафе, что не сделал ничего особенного. Просто три года занимался только тем, что разыскивал сведения о жизни одного забытого английского поэта. Как же я обозлился, когда в ответ на мой искренний рассказ этот человек засмеялся! Да еще как засмеялся! Захохотал во все горло.

— Ну скажи на милость, к чему нам тут поэзия! — воскликнул он.— Вот если бы ты с таким же усердием занимался агрономией, инженерным делом, медициной — тогда другое дело!

Он произнес слово «нам», явно меня в него не включая, хотя уроженцем этой деревни был я, а не он, и я был тут своим, а он чужаком. Но тут он улыбнулся, и в его лице вновь появилась обаятельная мягкость, и глаза его сделались ласковыми, как у женщины.

— Конечно, нужны любые знания,— задумчиво произнес он, словно утешая меня.

— Но нам, крестьянам, важнее наши деревенские заботы.

Он умолк, а у меня в голове вихрем кружились вопросы. Откуда он? Почему поселился здесь? Какой была его прежняя жизнь? Но я не спешил задавать их вслух.

— Хорошая эта деревня,— заговорил он снова.— Люди тут прекрасные. Жить среди них — одно удовольствие.

— Да и ты им нравишься,— сказал я.— Мой дед сказал, что ты человек достойный.

Он улыбнулся. Так, словно обрадовался.

— Твой дед — редкостный человек... Да... Девяносто лет, а на осла вскакивает, как юноша. А сила, а стать, а взгляд! Да... Редкостный человек.

Мне показалось, что он говорил искренне. А почему бы и нет? Ведь и правда, второго такого, как мой дед, найти непросто, и похвалами нас не удивишь.

Я уже опасался, что Мустафа уйдет, а я так ничего о нем и не узнаю. Мое любопытство разгоралось, и вдруг я, не удержавшись, спросил:

— Ты и правда из Хартума?

Этот вопрос, видимо, застал его врасплох и был ему неприятен. Во всяком случае, мне показалось, что по его лицу скользнула тень. Но он быстро справился с собой и ответил спокойно:

— Да, но вернее будет сказать — из-под Хартума.

От меня не укрылось, что улыбнулся он несколько деланно. Он как будто колебался, не решив еще, продолжать ему или замолчать, но потом все-таки добавил, глядя мне прямо в глаза:

— В Хартуме я занимался торговлей. Но потом решил заняться земледелием. Не знаю почему, но мне всю жизнь хотелось поселиться где-нибудь в этой части страны. Я сел на пароход и отправился куда глаза глядят. Мы пристали возле этой деревни, и она мне очень понравилась. Словно я наконец-то отыскал ту землю, которая меня всегда манила. И мое сердце не ошиблось. Здесь мне хорошо.

Он поднялся, сказал, что ему пора в поле, и пригласил меня отужинать у него через день-другой. Уже у двери он будто нечаянно обронил:

— Твой дед знает обо мне все.

Я хотел было спросить, что может знать о нем дед, объяснить, что у деда нет от меня секретов, но он уже вышел из комнаты быстрым, энергичным шагом.

■

Я пришел к Мустафе на ужин и увидел, что он позвал еще Махджуба, торговца Саида и моего отца. За ужином хозяин не сказал ничего такого, что заслуживало бы внимания. Вообще он больше слушал, чем говорил. Когда разговор стихал или переставал меня занимать, я незаметно разглядывал комнату, словно ждал, что стены ответят на мучившие меня вопросы.

Дом был самый обыкновенный — не лучше и не хуже, чем дома других состоятельных людей в нашей деревне. По обычаю он был разделен на две половины — женскую и мужскую, в которой помещался

диван[1]. Направо от него находилась длинная комната с зелеными окнами, выложенная обожженным кирпичом. Потолок в ней был не плоским, а сводчатым и напоминал хребет быка.

Когда мы кончили есть, я поднялся первым, за мной встал Махджуб, и мы ушли, хотя остальные гости остались. По дороге домой я спросил Махджуба про Мустафу. Ничего нового к тому, что я знал, он не добавил, но закончил так:

— Мустафа — человек непростой.

■

Я провел в деревне два месяца и все это время был совершенно счастлив.

Несколько раз случай сводил меня с Мустафой.

Однажды меня пригласили на заседание комиссии по сельскохозяйственному планированию. Там был и Мустафа. Обсуждался вопрос о распределении воды для орошения полей. Выяснилось, что некоторые, и в том числе кто-то из членов комиссии, пустили воду на свои поля до назначенного срока. Разгорелся спор, грозивший перейти в ссору. Но Мустафа поднялся с места, и перебранка моментально стихла. Все приготовились слушать Мустафу.

Он заговорил о том, как важно соблюдать очередность, установленную планом. В противном случае воцарится анархия. Ну, а если закон нарушают сами члены комиссии, то их надо наказывать, как и всех остальных.

Мустафа кончил, и все одобрительно закивали.

Он, несомненно, на голову был выше их всех, и, конечно, было бы лучше, если бы руководить комиссией поручили ему. Однако его не избрали — наверно, потому, что он не был уроженцем нашей деревни.

■

Примерно через неделю после этого собрания произошло событие, поразившее меня как гром среди ясного неба.

Махджуб пригласил меня провести у него вечер, потолковать за рюмкой вина. Мы неторопливо беседовали, но тут пришел Мустафа. Ему нужно было выяснить какой-то вопрос, связанный с делами кооператива. Махджуб пригласил его посидеть с нами, однако Мустафа под разными предлогами отказывался, пока хозяин дома не прибег к испытанному средству и не начал заклинать Мустафу разными клятвами. Я заметил, что он слегка нахмурился. Тем не менее позволил себя уговорить и сел с нами, как всегда уверенный и спокойный.

Махджуб предложил ему вина. Мустафа нерешительно помедлил, потом взял рюмку и поставил ее перед собой, даже не пригубив. Но Махджуб снова принялся заклинать его всякими клятвами, и Мустафа в конце концов выпил вино.

Я хорошо знал необузданный нрав Махджуба и решил было вмешаться, тем более что у Мустафы, как я заметил, не было ни малейшего желания оставаться здесь. Но тут меня осенила новая мысль, и я прикусил язык. Мустафа выпил первую рюмку с неохотой, залпом, точно лекарство. Но третью он уже пил маленькими глотками, явно смакуя. Напряженное выражение исчезло с его лица, складки вокруг рта расслабились. Взгляд стал задумчивым и мечтательным. Теперь он не излучал силу, как обычно, ее сменила почти женственная мягкость, притаившись в глазах и уголках рта. Мустафа выпил четвертую рюмку, затем пятую. Уговаривать его больше не было нужды, и Махджуб продолжал произносить свои страшные заклятия просто так,

[1] Диван — гостиная.

для собственного удовольствия. Мустафа откинулся в кресле, вытянул ноги. Рюмку он держал обеими руками. Взгляд был устремлен в неведомую даль. И вдруг он стал декламировать английские стихи. Произношение у него было прекрасное. Он читал сонет, который я много позже обнаружил в книге стихов, посвященных первой мировой войне. Наконец, он умолк, тяжело вздохнув. Пальцы его все еще сжимали рюмку, а глаза, казалось, смотрели в глубину его собственной души.

Признаюсь, я был бы меньше поражен, разверзнись вдруг передо мной земля и появись из нее джинн с огненными глазами. Меня охватил страх, мне вдруг почудилось, что мы все не существуем, что мы лишь плод чьего-то воображения.

Наклонившись к Мустафе, я закричал ему прямо в лицо:

— Что ты читал? Что это?

Он посмотрел на меня стеклянными глазами, в которых притаилось не то презрение, не то досада, и, оттолкнув меня, бросился вон из комнаты. Я видел, как он уходит прочь твердым шагом, высоко подняв голову, точно заводная фигурка.

Махджуб и остальные гости чему-то смеялись, занятые собственными рассказами. Никто из них даже не заметил, что произошло.

Едва дождавшись утра, я отправился к Мустафе. С каким-то ожесточением он окапывал лимонное дерево. На нем были короткие, перепачканные в земле штаны цвета хаки и рубашка до колен. Лицо было в грязных потеках.

Встретил он меня с обычной приветливостью.

— Посмотри,— сказал он,— как интересно плодоносит это дерево. Оно родит и лимоны, и апельсины...

— Удивительно! — ответил я ему по-английски.

Мустафа посмотрел на меня вопросительно и переспросил:

— Что-что?

Я повторил.

— Э-э, да ты, я вижу, забыл арабский! — засмеялся он.— Или ты считаешь, что мы с тобой европейцы?

— Но ведь вчера вечером ты читал стихи на английском языке! И вообще ты совсем не тот человек, за которого себя выдаешь, это яснее ясного. Лучше расскажи мне правду.

Казалось, угроза, скрытая в моих словах, не произвела на него никакого впечатления. Он продолжал окапывать дерево. Кончив работу, тщательно вытер руки и, не взглянув в мою сторону, сказал:

— Знаешь, я не очень помню, что говорил вчера вечером. Пьяный не отвечает за свои слова. Это пустой вздор, бред больного. И не надо обращать на него внимания. Вот я перед тобой такой, каким ты меня видишь. Такой, каким меня знают тут. И не давай воли фантазии. Мне нечего скрывать.

Я пошел домой, стараясь разобраться в том, что произошло. Больше я не сомневался, что Мустафа ревниво скрывает какую-то тайну.

Я-то вчера не бредил. Он декламировал английский сонет. Это было на самом деле. Я не был пьян и помню очень хорошо, как он сидел, откинувшись в кресле, держа рюмку обеими руками.

Может быть, посоветоваться с отцом? Или Махджубом? А вдруг он убийца и скрывается от правосудия? Все может быть. Ну полно, останавливал я себя, какие тайны в нашей деревушке! Может, он просто потерял память? Говорят, есть такая болезнь — амнезия. В конце концов я решил повременить день-два, ну, три дня. Если он за это время не расскажет мне правду, тогда я что-нибудь придумаю.

Мне не пришлось долго ждать. В тот же вечер Мустафа пришел ко мне сам. Моему отцу и братьям он сказал, что хотел бы поговорить со мной наедине. Мы вышли, и он сказал, что будет ждать меня у себя завтра вечером. Отцу я объяснил, что Мустафа хочет со мной посове-

товаться о каких-то неясностях в акте на владение землей, принадлежащей ему в окрестностях Хартума.

Весь следующий день мне казалось, что вечер никогда не настанет. Как только зашло солнце, я пошел к Мустафе. Он сидел один, перед чайником с чаем. Он и мне предложил чаю, но я отказался. Меня снедало нетерпение. Я хотел, чтобы он поскорее заговорил. Мы закурили. Мустафа привычно выпускал сигаретный дым, и лицо его было уверенным и спокойным. Мне не верилось, что он может быть убийцей. Ведь склонность к насилию обязательно оставляет на человеке свою метку. Скрыть ее невозможно. Но вот внезапной потери памяти я не исключал.

Наконец Мустафа заговорил:

— Я никому и никогда не рассказывал то, что расскажу тебе сейчас. Как-то повода не было. Тебе я решил рассказать все, потому что воображение у тебя слишком уж пылкое, того и гляди, примешься всех в деревне расспрашивать обо мне, говорить, что я не тот, за кого себя выдаю. У меня к тебе только одна просьба. Поклянись, что ни одной живой душе ты ни словом не обмолвишься о том, что услышишь сейчас от меня.— И он испытующе поглядел мне в глаза.

— Все зависит от того, что ты мне расскажешь. Могу ли я давать обещания, ничего о тебе не зная?

— То, что ты услышишь, никакого отношения к этой деревне не имеет. Я в здравом уме и твердой памяти. А здешним жителям я желаю только добра и счастья.

Не скрою, я решился не сразу. Однако тайна Мустафы так меня занимала, что я не выдержал и дал честное слово молчать.

Мустафа пододвинул ко мне пачку каких-то документов и жестом пригласил заглянуть в них. Первый документ оказался свидетельством о рождении.

Мустафа Саид родился в Хартуме 16 августа 1898 года. Отец умер. Мать — Фатима Абд ас-Садык. Затем я взял заграничный паспорт. Имя, место рождения и прочее. Род занятий — студент. Выдан паспорт в 1916 году в Каире. Продлен в Лондоне в 1926 году. Каких только печатей в нем не было! Французская, немецкая, китайская, датская... Я был ошеломлен. Положив паспорт, я отодвинул остальные документы. Мустафа глубоко затянулся, выпустил дым и заговорил.

Глава вторая

Это длинная история! Но рассказывать всего я тебе не собираюсь. Ну, ты уже знаешь, что родился я в Хартуме. Рос сиротой. Отец мой умер за несколько месяцев до моего рождения. Он занимался торговлей и оставил нам небольшой капитал. Ни братьев, ни сестер у меня не было, и мы с матерью особой нужды не испытывали. Я и сейчас вижу ее перед собой как живую. Тонкие, плотно сжатые губы придавали ее лицу решительность. Оно временами было похоже на застывшую маску, а иногда выражение на нем сменялось неуловимо, как краски на море в ветреный день. Родственников у нас не было. Мы были одни на свете. Но мать оставалась мне совершенно чужой. Мы жили с ней как случайные попутчики, которых на время свела дорога. Может быть, я чем-то отличался от обычных мальчиков. Может быть, моя мать была необычной женщиной. Сейчас мне трудно судить. Но все у нас было не как в других семьях.

Мы почти не разговаривали друг с другом. И такая свобода от всяких привязанностей радовала меня. Мне нравилось, что никто мною не командует. Я читал и спал когда хотел. Уходил, приходил, бродил по улицам, повинуясь лишь собственным желаниям. Никто мне не при-

казывал, никто мне ничего не запрещал. Я и сам чувствовал, что я не такой, как мои сверстники. Я не плакал, когда мне доставалось от товарищей, был равнодушен к похвалам учителя — все то, чем обычно живут подростки, меня не слишком трогало. Я был как резиновый мячик: бросишь в воду — не утонет, ударишь о землю — подпрыгнет. В те годы у нас только-только начинали вводить школьное образование. Ты представить себе не можешь, сколько было людей, которые о школах и слышать не хотели. Многие просто прятали своих детей. Арабы видели в школах огромное зло, навязанное колонизаторами. Помню, играли мы с ребятами в поле, недалеко от нашего дома, и вдруг видим: всадник в военной форме придержал коня и наблюдает за нами. Мальчишки кинулись кто куда, а я остался. Стою и смотрю на лошадь и на всадника. Он спросил, как меня зовут, я сказал. Сколько тебе лет, спрашивает. Не знаю, говорю я. И тут он спрашивает:

— Хочешь учиться в школе?

— А что такое школа? — не понял я.

— Красивый каменный дом в большом саду на берегу Нила,— объяснил он.— Прозвенит звонок, и ты вместе с другими детьми войдешь в класс. Научишься читать, писать, считать...

— И буду носить такую же чалму, как ваша?

— Да это вовсе не чалма! — засмеялся он.— Это шляпа. Она называется «цилиндр».

Он спешился и надел на меня цилиндр, который сразу сполз мне на уши.

— Вот кончишь школу, станешь государственным чиновником и тоже будешь носить цилиндр,— сказал незнакомец.

— Я пойду, пойду в школу! — закричал я.

Он посадил меня на лошадь позади себя и куда-то повез. Через некоторое время мы увидели то место, которое он описывал: каменный дом на берегу Нила, кругом цветы и деревья. Он провел меня к какому-то бородатому мужчине, одетому в джуббу [1].

Тот погладил меня по голове.

— А где твой отец? — спросил он. Я ответил, что отец у меня умер.

— Кто же за тобой смотрит?

Но я заявил упрямо, что я уже большой и сам решил поступить в школу.

Он посмотрел на меня с одобрением. Мое имя записали в журнал, хотя я так и не сумел объяснить, сколько мне лет.

Вдруг зазвенел звонок. Я опрометью бросился прочь и спрятался в пустой комнате. Но они нашли меня, отвели в соседнюю комнату, где было полно мальчиков, и оставили там.

Домой я вернулся после полудня. Мать спросила, где я пропадал, и я все ей рассказал.

Мне вдруг показалось, что она вот-вот обнимет меня и расцелует. Ее лицо вдруг просияло, глаза заблестели, губы раскрылись в улыбке, как будто ей хотелось что-то мне сказать. Но она, по обыкновению, промолчала.

Много позже я понял, что это был переломный момент в моей жизни — впервые я принял самостоятельное решение.

Конечно, ты волен не верить тому, что я рассказываю. Но я говорю не столько для тебя, сколько для себя. Меня обступают воспоминания-призраки, неотступно следующие за мной. Но, пожалуй, я просто хочу, чтобы ты понял главное: с этой минуты я начал жить своей особой жизнью, и она захватила меня целиком.

Почти сразу выяснилось, что у меня удивительная память. Стоило

[1] Джубба — верхняя национальная одежда с широкими рукавами.

мне прочесть книгу, и она словно отпечатывалась у меня в мозгу. Арифметика давалась мне очень легко, и вскоре любая задача была мне нипочем. Писать я научился за две недели. И рванулся вперед, точно стайер на финишной прямой. К восхищению учителей и восторженной зависти товарищей я был равнодушен.

Учителя смотрели на меня как на чудо. Ученики добивались моей дружбы.

Но меня ничто не трогало. Я был целиком поглощен собой и своими занятиями.

Начальную школу я кончил за два года. В неполной средней школе передо мной открылись другие манящие тайны, и главной среди них был английский язык. Мой ум жадно вгрызался в науки, как лемех плуга — в пахотную землю. В алгебре и геометрии я находил высокую поэзию. Слова и предложения казались мне математическими уравнениями. На уроках географии передо мной впервые раскрылась огромность мира. В те годы выше неполной средней школы в системе народного образования не было ничего. Через три года школьный инспектор (он был англичанин) сказал мне:

— Эта страна — не самое лучшее место для развития твоих способностей. Тебе надо уехать в Египет, в Ливан или в Англию. Мы тебе больше ничего дать не можем.

Я ответил, что хотел бы учиться в Каире.

Он мне выхлопотал стипендию в каирской школе второй ступени, и благодаря ему мое желание сбылось.

Должен сказать, мне везло на добрых людей. Не раз и не два случай или судьба сводили меня с людьми, которые брали меня за руку и помогали подняться с одной ступеньки на другую. Я принимал эту помощь как должное, как будто эти чужие люди были мне чем-то обязаны.

Когда я сказал матери, что уезжаю, она опять посмотрела на меня тем странным, загадочным взглядом. Губы ее, казалось, готовы были сложиться в улыбку, но она не дала себе воли: плотно сжала рот, и лицо ее приняло обычное выражение замкнутой отрешенности. Она вложила мне в руку кошелек с деньгами и сказала:

— Будь жив твой отец, он бы выбрал для тебя что-нибудь другое, не то, что ты выбрал сам. Поступай как знаешь. Хочешь — уезжай, хочешь — оставайся. Решай по своему усмотрению. Это ведь твоя жизнь. И ты волен ею распоряжаться. А этот кошелек поможет тебе, какое бы решение ты ни принял...

Таким было наше прощание. Без поцелуев и без слез. Расстались случайные попутчики, и каждый продолжал путь в одиночестве. И правда, это были последние слова, которые я услышал от матери. С тех пор я ее больше не видел.

Сейчас, столько лет спустя, я не могу без слез вспоминать о наших последних минутах вместе. Но тогда — тогда я хранил обычное спокойствие и был занят только собой. Взяв небольшой чемодан, где лежали все мои вещи, я отправился на станцию и сел в поезд. Никто не плакал, никто не махал мне вслед. А поезд мчался сквозь пустыню, и моя оставшаяся позади деревня представлялась мне горой, у подножья которой я провел ночь в походном шатре, а утром разобрал его, навьючил на верблюда и снова пустился странствовать. Каир был следующей горой на моем пути, только более высокой. У ее подножья я тоже проведу ночь-другую — и снова в путь.

Помню, в поезде я сидел напротив мужчины в рубище, с большим желтым крестом на груди. Он улыбнулся и заговорил со мной по-английски. Я ответил. Словно сейчас я вижу, как он буквально вытаращил глаза, а затем, оглядев меня с ног до головы, спросил, сколько мне

лет. Я ответил, что пятнадцать, хотя на самом деле мне было только двенадцать. И рассказал, что еду в Каир поступать в школу второй ступени. Незнакомец очень удивился, что меня никто не сопровождает, но я его заверил, что ничего не боюсь и люблю путешествовать один. Но он сказал только:

— По-английски, ты, как вижу, говоришь просто превосходно.

В Каире на вокзале меня встретили мистер Робинсон и его жена, которых известил о моем приезде тот самый школьный инспектор.

— Как вы доехали, мистер Саид? — спросил меня мистер Робинсон.

— Отлично, мистер Робинсон,— ответил я и вдруг почувствовал, что меня обнимают женские руки и к моей щеке прикоснулись мягкие губы. Аромат, исходивший от этой незнакомой женщины, был странно пьянящим, от ее прикосновения у меня закружилась голова. Я стоял на вокзальной площади, оглушенный шумом голосов, радостными восклицаниями встречающих и приехавших, испытывал незнакомое мне прежде волнение. Каир казался мне огромной чашей, до краев наполненной шумом, а в миссис Робинсон воплощались мои туманные мечты о Каире. У нее были серо-зеленые глаза, и мне казалось, что в темноте они непременно должны сверкать и светиться. Вот таким — зеленым, сверкающим, таинственным — представлялся мне прежде Каир.

Миссис Робинсон часто пеняла мне за мою всегдашнюю угрюмость. «Ну же, подумай о чем-нибудь более веселом»,— смеясь требовала она. В тот день, когда меня приговорили в Олд-Бейли к семи годам тюремного заключения, ее плечо было рядом со мной, я мог приклонить к нему голову. «Не плачь, мой бедненький»,— утешала она. У нее не было своих детей.

Мистер Робинсон великолепно говорил по-арабски, изучал философию ислама, интересовался мусульманским зодчеством. С Робинсонами я побывал в каирских мечетях и музеях, видел многие исторические памятники. В Каире они особенно любили район университета аль-Азхар. Когда после долгой прогулки по городу наши ноги начинали гудеть, мы обычно заходили в небольшое кафе по соседству с мечетью аль-Азхар. Мы пили тамариндовый сок, и мистер Робинсон читал стихи аль-Маарри [1]. Но я был настолько поглощен собой, что не очень замечал, как Робинсоны меня любят.

Миссис Робинсон была женщиной плотного сложения. Ее кожа отливала бронзовым загаром. Ей была свойственна какая-то особая, тихая ласковость. Пожалуй, я больше ни разу не встречал таких ласковых женщин. Она относилась ко мне с материнской нежностью и прекрасно притворялась, будто не замечает, что я ощущаю в ней женщину.

Они вдвоем провожали меня в Александрию. Она долго махала мне платком и время от времени прикладывала его к глазам. И мне казалось, что я вижу прозрачную чистоту ее глаз. Но грусти я не испытывал. Я только мечтал поскорее добраться до Лондона, до следующей вершины, возвышающейся над Каиром. О том, сколько ночей мне суждено провести у ее подножья, я не думал.

Мне было пятнадцать лет. Но выглядел я двадцатилетним. Моим единственным оружием был мой ум, а моя душа казалась мне высеченной из гранита.

Но в море я впервые понял, что и моя твердокаменная душа способна чувствовать. Я полюбил море. Его беспредельность дарила мне радость, я упивался моим космическим одиночеством среди манящих

[1] Абу-ль-Ала аль-Маарри — крупнейший средневековый арабский поэт и философ.

миражей морского простора. Водная пустыня, нескончаемо простиравшаяся впереди, звала и звала меня все дальше. Я доверчиво подчинялся этому зову, и он увлекал меня к утесам Дувра, к Лондону, туда, где разыгралась трагедия моей жизни.

Много позже, когда все уже случилось, я без конца мысленно возвращался к началу пути. Мне хотелось понять, могло ли не произойти то, что произошло.

Раз тетива натянута, значит, стрела будет спущена... Итак, я сошел на берег в Дувре. Увидел темно-бурую зелень англосакских селений, приютившихся у подножья холмов. Крыши домов, темно-красные и горбатые, как спины коров. Все вокруг окутывала тонкая, светящаяся опаловая дымка. Сколько воды, сколько зелени! Все кругом было напоено тем же тонким ароматом, который исходил от миссис Робинсон. А звуки! Такие ясные, такие чистые! Этот мир поразил меня своей упорядоченностью. Точно кто-то заранее спланировал и рассчитал, где расти деревьям, где стоять домам, а где струиться речкам.

Поезд отправляется через несколько минут. Пассажиры быстро выходят и входят, поезд трогается. И все это бесшумно, точно во сне.

Мне вспоминалась моя каирская жизнь — то, как я привыкал к новому миру. У меня бывали небольшие приключения. Одна знакомая пылко в меня влюбилась, а потом не менее пылко возненавидела. Она сказала мне однажды: «Ты не человек, а машина какая-то». Перед моими глазами вставали каирские улицы, театры, опера. Почему-то я подумал о том, как однажды переплыл Нил. Ничего особенного не происходило, только тетива лука натягивалась все туже. Стрела готова была лететь к неизвестным горизонтам.

Под стук колес мне снилось, что я один, совершенно один в мечети Каирской цитадели. Красный мрамор сверкает в огнях тысяч свечей, а я стою один, совсем один.

Каир — веселый, смеющийся город, похожий на миссис Робинсон. Она хотела, чтобы я называл ее по имени — Элизабет. Но у меня никак не получалось. Она научила меня любить Баха и Китса, от нее я впервые услышал о Марке Твене.

Меня разбудил запах дыма. Поезд приближался к Лондону.

...Можно ли было предотвратить то, что произошло? Однажды, еще в каирские времена, я встретил священника. Мы разговорились, но из нашей долгой беседы мне запало в память одно: «Все мы, сын мой, проходим конец нашего пути в одиночестве». Руки его привычно теребили крест на груди. Он похвалил мой английский.

Поезд вошел под своды вокзала Виктория. Я вышел на перрон, еще не зная, что уже попал в орбиту Джейн Моррис. Да, мой приговор был подписан задолго до того, как я ее убил.

...Когда я встретил ее на вечеринке в Челси, мне было двадцать пять лет. Помню дверь, длинный коридор... В бледном вечерном свете она показалась мне миражем в пустыне. Я пришел с двумя девицами и был сильно навеселе. Я говорил им завуалированные непристойности, они смеялись. Она направилась в нашу сторону широким, решительным шагом, остановилась передо мной, заносчивая, гордая, и смерила меня холодным, высокомерным взглядом. Я было открыл рот, чтобы поздороваться, но она уже отвернулась, потеряв ко мне всякий интерес.

— Кто это? — спросил я одну из своих приятельниц.

То было время, когда Лондон отходил после мировой войны, отряхивал с себя прах викторианской эпохи. Я стал завсегдатаем пивных Челси, посещал клубы Хемпстеда, хаживал в заведения Полбсбери. Увлекался поэзией, толковал о религии, спорил на философские темы, критиковал живопись, рассуждал о духовных ценностях Восто-

ка. Эта жизнь, бурная и увлекательная, продолжалась до тех пор, пока на моем пути не встала женщина. Я вел охоту... Заводил интрижки с девушками из Армии спасения и из Фабианского общества. Собирались ли либералы или лейбористы, консерваторы или коммунисты, я седлал своего верблюда и отправлялся на охоту.

При второй нашей встрече Джейн Моррис сказала мне, что я отвратителен. «В жизни не встречала более безобразной физиономии». А я дал себе клятву, что придет время и она сполна заплатит мне за оскорбление.

В тот вечер я много пил. Когда я проснулся, рядом со мной спала Энн Химменд. Что привлекло ко мне эту девушку? Отец ее был офицером инженерных войск, мать происходила из богатой ливерпульской семьи. Когда мы познакомились, Энн не было и двадцати. Веселая, с умным, подвижным лицом, она вся светилась интересом к жизни. Энн изучала в Оксфорде восточные языки. Она мечтала уехать в Экваториальную Африку, тосковала о жарком, одуряющем солнце, ее манили пурпурные дали и горизонты. Я был для нее символом всех этих экзальтированных грез. Но меня влек север, северные морозы.

Детство Энн провела в монастырской школе. Я соблазнял ее умело и расчетливо — мне это не составило большого труда.

Выходившие в парк окна моей спальни были задернуты тяжелыми розовыми шторами. Ножки огромной кровати с подушками из страусовых перьев утопали в мягком ковре. Разноцветные бра прятались по стенам среди огромных зеркал. Комнату пропитывал запах жженого сандала и алоэ. В ванной стояли склянки с эссенциями, помадами, маслами и кремами. Почему-то все это напоминало дорогую больницу.

Однажды ее нашли мертвой. Она покончила с собой, отравившись газом. Рядом лежал листок бумаги с одной лишь фразой: «Да проклянет вас бог, мистер Саид».

Много долгих дней провел я в огромном лондонском зале суда. Я слушал, что говорят обо мне обвинитель и адвокаты, но мне казалось, что речь идет о постороннем человеке, дела которого меня совершенно не интересуют. Прокурором был сэр Артур Хокинс, человек умный и умеющий внушить страх. Я хорошо его знал. Я видел, как подсудимые рыдали и падали в обморок, когда, закончив допрос, сэр Артур Хокинс наконец оставлял их в покое. Но на этот раз перед ним был не человек, а живой труп.

— Итак, Энн Химменд покончила с собой из-за вас?
— Не знаю.
— А Шейла Гринвуд?
— Не знаю.
— Изабелла Сеймур?
— Не знаю.
— Джейн Моррис убили вы?
— Да, я.
— Убили умышленно?
— Да.

Казалось, его голос доносится откуда-то из преисподней.

Он довольно искусно нарисовал перед присяжными образ чудовища без всяких моральных устоев, человека-волка, который неуклонно шел от убийства к убийству, от наслаждения к наслаждению, от удовольствия к удовольствию. Аргументы, бесспорно, были построены тонко и убедительно. Как-то, когда я находился в состоянии полного транса — в качестве свидетеля в этот момент выступал, пы-

таясь спасти меня от виселицы, мой бывший профессор Максвелл Фостер Кин,— мне вдруг неудержимо захотелось вскочить с места и закричать во весь голос: «Что вы мелете? Никакого Мустафы Саида нет. Он не существует и никогда не существовал. Все — иллюзия, большой и нелепый обман. Вынесите мне приговор, пусть даже смертный, и дело с концом».

Но я не сделал ни единого движения, голос замер в горле, и все внутри меня угасло, как кучка стынущего пепла. Профессор тем временем, не скупясь на краски, продолжал рисовать портрет человека незаурядного, которого на преступление толкнули обстоятельства. Мне казалось, что я уже тысячи раз все это видел и слышал, словно то был старый-престарый фильм, который непрерывно показывают в аду, и все давно знают наизусть каждое слово, потому что слышали его несчетное число раз. Он говорил и говорил, а я сидел, закрыв глаза. Он рассказывал им, что в двадцать четыре года я был приглашен читать курс лекций по политэкономии в Лондонском университете. А Энн Химмонд и Шейла Гринвуд, по его мнению, болезненно мечтали о смерти — и неудивительно, что они покончили самоубийством. Рано или поздно это должно было произойти. Мустафа Саид тут ни при чем.

— Господа присяжные,— воскликнул профессор с пафосом,— Мустафа Саид — человек, достойный уважения. Он объял умом западную цивилизацию, но она не приняла его и разбила ему сердце. Эти девушки погибли не от руки Мустафы Саида. Их поразил микроб неизлечимой, смертельной болезни, жившей в их крови уже тысячи лет.

Я изнемогал от желания вскочить, заткнуть им всем рты. «Что вы несете?! Болтаете одну только чепуху. Довольно. Все это ложь. Их убил я, и никто другой. Я — жаждущая пустыня, а не Отелло. Все — обман, который тешит воображение, но не имеет никакого отношения к действительности. Ну почему, почему вы не хотите покончить со мной, а заодно и с этим обманом?» Профессор Фостер Кин превратил зал суда в арену борьбы двух миров, двух цивилизаций, меня же представляя всего лишь жертвой этой борьбы.

...Поезд привез меня на вокзал Виктория в мир Джейн Моррис. Я преследовал ее три года. День за днем натягивалась тетива лука, в бурдюке иссякла вода, мои караваны томила жажда, мираж манил меня. Цель ясна, надо только пустить стрелу, и трагедия свершится. Однажды она сказала мне: «Ты дикий буйвол, который не знает покоя. Я больше не могу, я устала от твоей назойливости, мне надоело бегать от тебя. Женись на мне — и все».

И я женился.

Наша спальня была как поле битвы. Наше ложе обратилось в подобие ада. Казалось, в моих объятиях — то ли облако, то ли падучая звезда. Подчиняясь злой силе, я словно отдавался во власть прусского военного марша. Что угодно, лишь бы не видеть ее горькой, пренебрежительной усмешки! В первую ночь я не смыкал глаз, я пустил в ход все свое оружие: меч, копье, лук и стрелы. А утром вновь увидел на ее лице ту же улыбку. И тут я понял, что и на этот раз проиграл. Я стал подобен Шахриару — рабу, которого купили на рынке за один динар, тому Шахриару, что случайно встретил Шахразаду, бродящую среди руин зачумленного города. Днем я жил среди теорий Кейнса и Тойнби, а ночью вновь и вновь с мечом, копьем, с луком и стрелами устремлялся в бой.

Я видел, как возвращались домой солдаты, полные страха и ужаса, сытые по горло войной в окопах, болезнями и вшами. Я был современником Версальского договора, который посеял семена будущей войны, своими глазами видел Ллойд-Джорджа, уверенного в том, что он укладывает кирпичи в фундамент государства всеобщего благоден-

ствия. Город, где я жил, превратился в необыкновенную женщину с таинственными знаками на челе и манящим нездешним взглядом. Для этой женщины специально приготовлялось ее любимое кушанье — печень верблюда. Своими необузданными желаниями она едва не убила меня.

Моя спальня стала источником горя и печали, рассадником неизлечимого недуга. Но я убеждал себя, что эта болезнь поразила женщин тысячи лет назад, а я лишь помогал ей развиться до той роковой точки, когда она становилась смертельной.

Певцы на эстрадах пели и пели о радостях любви, а мое сердце молчало. Кто бы подумал, что Шейла Гринвуд способна на самоубийство? Официантка кафе в Сохо. Простенькая, с приятным нежным ртом, с милой манерой говорить. У ее родителей была ферма. Я покорил ее подарками, обворожил сладкими словами и взглядами. Я был уверен тогда, что мой взгляд пронизывает насквозь и видит все в истинном свете, все как есть на самом деле.

Я увлек Шейлу в мой мир, ей чуждый. Ее зачаровал запах жженого сандала и алоэ. Увидев свое отражение в зеркале, она начала поворачиваться так и этак, громко смеясь, играя ожерельем из слоновой кости, которое я набросил на ее красивую шею как аркан. Она вошла в мою спальню непорочной, целомудренной, а покинула ее, унося в крови зародыш смертельной болезни. Она умерла без записки, без объяснений.

Как видишь, в моей кладовой немало подобных историй. У меня есть подходящий наряд для каждого торжественного случая, а мой бурдюк хорошо знает, когда его ждет поднос.

— ...Вы подтверждаете, что в период с октября 1922 года по февраль 1923 года сожительствовали одновременно с пятью женщинами?

— Да, это так.

— Каждой из них вы тем или иным способом давали понять, что собираетесь на ней жениться?

— Да.

— И каждой представлялись под новым именем, сообщая о себе всякие вымышленные сведения?

— Да.

— Вы называли себя Хасаном, Чарльзом, Амином, Мустафой и Ричардом?

— Совершенно верно.

— Скажите, это не мешало вам писать экономические статьи, читать лекции и добиваться известности в научных кругах?

— Нет, не мешало.

...Тридцать лет. В парках и садах цвела ива, покрывалась листьями, они желтели и осыпались. Каждый год кукушка приветствовала своим «ку-ку» приход весны. Тридцать лет из вечера в вечер Альберт-холл бывал битком набит поклонниками Бетховена и почитателями Баха, а типографии печатали тысячи книг по искусству и философии. Пьесы Бернарда Шоу шли в Королевском театре и в Хаймаркете. Эдит Стоул выводила свои нежные рулады, театр Принца Уэллского переполняла молодежь. В Брайтоне и Портсмуте дважды в день прилив сменялся отливом. Озерный край процветал год от года. И весь остров — точно приятная лирическая мелодия, счастливая и грустная одновременно,— меняется, преобразуется вместе со сменой времен года.

Тридцать лет я был живой частицей этого мира, жил в нем, не замечая его подлинной, настоящей красоты. Меня занимало только одно: с кем я проведу наступающую ночь.

То, о чем я собираюсь рассказать, произошло летом. Говорили, что подобного лета не было уже более века. В субботу я вышел из дома подышать воздухом и вдруг почувствовал, что в этот день меня ждет большая охота.

Я направился к уголку ораторов в Гайд-парке. Там толпился народ. Я остановился поодаль. Выступал оратор из Вест-Индии, с какого-то острова. Он говорил о положении цветных. Внезапно мой взгляд задержался на женщине, которая привставала на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть оратора. Подол ее платья вздернулся, приоткрыв красивые, бронзовые от загара колени. Я сразу же решил про себя: это — мое. И начал пробираться к ней сквозь толпу, как лодка между речными порогами. Я остановился прямо у нее за спиной, почти прикасаясь к ней, ощущая ее тепло.

Веявший от нее тонкий аромат напомнил мне миссис Робинсон на платформе Каирского вокзала. Она почувствовала мое присутствие и обернулась. Я улыбнулся, глядя ей в глаза. Я еще не знал, чем все это кончится, но улыбнулся, чтобы удивление на ее лице не сменилось неприязнью. Она улыбнулась в ответ.

Почти четверть часа я стоял рядом с ней. Когда она смеялась, вместе с ней смеялся и я, в надежде, что это сблизит нас. Я выжидал той минуты, когда я и она станем точно лошадь и жеребенок, бегущие плечом к плечу, нога в ногу. И вдруг мой голос словно помимо моей воли произнес примерно следующее:

— Может быть, нам лучше уйти от толпы, посидеть где-нибудь или выпить чаю? Как вы на это смотрите?

Она удивленно обернулась ко мне, и губы ее вновь сложились в улыбку — веселую и простодушную. Во всяком случае, мне удалось пробудить в ней любопытство. Сам же я пристально всматривался в ее лицо и все больше убеждался, что она станет моей добычей.

Как опытный, азартный игрок, я научился распознавать решающее мгновение, когда можно ждать чего угодно. Но я чуть было не уронил поводья, когда она ответила:

— А почему бы нет?

И мы вместе пошли по аллее. Мне казалось, будто я иду рядом с ослепительно ярким чудом, золотисто-бронзовым от июльского солнца. Она представлялась мне целым миром, полным тайн, блаженства и наслаждений. Меня пленял ее непринужденный, заразительный смех. В Европе немало таких женщин, им неведом страх, и жизнь они воспринимают с жадностью, радостью и любопытством. А я, точно жаждущая пустыня, вечно томлюсь от несбыточных желаний.

Мы пили чай, и она спросила, откуда я. Чего только я не рассказал ей. Выдумывал всякие небылицы о золотых песках пустыни, о джунглях, где перекликаются экзотические птицы. Я описывал, как по улицам главного города моей родины бродят слоны и львы, а в полуденные часы греются на солнце крокодилы. Она слушала меня, веря и не веря, не различая, где правда, а где вымысел. И смеялась, чуть прищурив глаза. Щеки ее разрумянились. А иногда ее лицо становилось серьезным и сосредоточенным и глаза светились сочувствием.

Наконец, наступила долгожданная минута и я ощутил, что для нее я уже не просто случайный знакомый, а личность, нагой дикарь с копьем в одной руке, с луком и стрелами в другой, который, еще минута,— и уйдет охотиться на слонов и львов в дебрях тропического леса. Отлично. Значит, любопытство уже переросло в симпатию. А теперь надо лишь возмутить тихое, безмятежное озеро до самых его глубин, и симпатия обернется желанием, а уж дальше все зависит только от меня.

— Все-таки кто вы? Африканец или азиат? — спросила она.

— Я как Отелло,— ответил я.— Араб из Африки!

Она всмотрелась в мое лицо и сказала:

— Пожалуй, ваш нос совсем такой, какой можно увидеть на фотографиях арабов. Но вот волосы? У арабов они черные, мягкие, а у вас совсем не такие.

— Что делать? Я такой, какой есть. Лицо араба из пустыни Руб аль-Хали А волосы — это волосы африканца, у которого было нелегкое детство.

И мы заговорили о моей семье. Тут я не стал ничего сочинять и сказал правду — что я сирота, без родных и близких. Но вдруг меня снова понесло, и я принялся выдумывать истории одну другой страшнее о том, как я лишился отца. Мне было всего шесть лет, когда отец утонул, переправляясь на пароме через Нил, и вместе с ним погибло еще тридцать человек. У нее на глаза навернулись слезы. Это было уже не простое сочувствие, а нечто более сильное.

— В Ниле? — воскликнула она, словно одурманенная, и ее глаза заблестели.

— Да, в Ниле.

— Так, значит, вы живете на самом берегу Нила?

— У самой воды Иной раз я просыпался среди ночи и, не вылезая из постели, протягивал руку в окошко, обмакивал ее в прохладную влагу и снова засыпал.— Я лгал вдохновенно, чувствуя, что птичка уже попалась в ловушку.

Нил восторжествовал, и еще одна жертва возложена на алтарь... Город вновь превращался в обыкновенную женщину. Вот и опять я ставлю шатер на вершине горы, а про себя думаю: «Ты, госпожа, наверно, не ведала, как не ведал лорд Карнарвон [1], когда входил в гробницу Тутанхамона, что тебя в самое сердце поразит смертельная болезнь. Явится неведомо откуда и овладеет всем твоим существом. Не ты первая. Мой бурдюк хорошо знает, какой поднос ему годится, и я знал, что крепко держу в руках поводья. Натяну их — остановимся, дерну — снова поскачем, тряхну — полетим во весь дух».

— Смотрите,— сказал я,— два часа пролетели, а я даже не заметил. Давно я не испытывал такого счастья. Излить душу — это такая радость. Но нам пора идти. Продолжим по дороге.

Я выжидательно замолчал. Сомнений в успехе не было. Под ложечкой разливалось дьявольское тепло — верный признак того, что победа осталась за мной. Не может быть, чтобы она сказала «нет».

— Удивительно,— сказала она.— Меня приглашает совершенно незнакомый человек, и я соглашаюсь. Вопреки всем правилам приличия. Но... почему бы и нет? Во всяком случае, внешне вы совсем не похожи на людоеда.

— Вы, по-видимому, полагаете,— ответил я, чувствуя, как меня захлестывает волна ликования,— что я старый, немощный крокодил, у которого стерлись все зубы? Что я при всем желании не способен вас проглотить?

Я подумал, что, по-видимому, я моложе ее, по крайней мере, на пятнадцать лет. Ей что-то около сорока. Но прожитая жизнь не наложила отпечатка на ее лицо и обошлась с ним милостиво. Еле заметные морщинки на лбу и в уголках рта, казалось, говорили не о возрасте, а лишь о том, что передо мной женщина, вступившая в полосу созревания. И только теперь я рискнул спросить, как ее зовут.

— Изабелла Сеймур,— ответила она.

Дважды повторил я это имя и ощутил во рту вкус сочной груши.

---

[1] Лорд Карнарвон — английский египтолог, археолог.

— А вас?

— Меня?... Амин... Амин Хасан.

— Я буду называть вас Хасаном, если вы не против.— От еды морщинки на ее лице разгладились, она словно светилась любовью, которую внезапно ощутила, любовью ко всему, что ее окружало, и ко мне. Но что мне до ее любви к миру?! Что мне до облачка грусти, которое время от времени туманит ее лицо? Меня манил ее полуоткрытый, смеющийся рот, ее пухлые губы. В их очертаниях мне чудилась тайна. Я мысленно раздевал ее, давая волю фантазии.

— Наша жизнь полна боли и страданий,— доносилось до меня словно издали,— и спасти нас может только твердость духа...

...Теперь я знаю: мудрость, глубокая и ясная, обычно рождается в душах простых людей и наша надежда на спасение — это они. Как растет дерево? Само по себе... Ваш дед прожил долгую жизнь и скоро умрет. В этом весь секрет.

«Ты, дорогая, веришь в мужество, ты полна оптимизма. Что же касается меня, то до тех пор, пока слабые и немощные не получат землю, покуда не распустят по домам миллионные армии, я не в силах быть оптимистом. Ягненок не может пастись бок о бок с волками, и никто не назовет имя мальчика, который играл бы в водное поло с крокодилом. Словом, до тех пор пока не наступит царство счастья и любви, я по-прежнему буду говорить о себе в такой довольно необычной манере. И лишь когда, задыхаясь от усталости и спотыкаясь, я добреду наконец до самой вершины горы и водружу на ней боевой стяг, а затем, переведя дух, приду в себя и соберусь с силами,— лишь тогда, дорогая, для меня наступит момент истины и я испытаю, что значит быть пьяным от любви и счастья. Вот почему я так же неповинен в том зле, которое хочу причинить тебе, как море неповинно перед моряками, разбивая в щепки их корабли, или молния перед деревом, раскалывая его надвое».

Волосы у нее были густые, мягкие, как трава на берегу ручья. Я долго и пристально рассматривал черные волоски на ее правом запястье — большая редкость для женщины. Она словно угадала, о чем я думаю:

— Когда вы задумываетесь, вы кажетесь таким печальным.

— Печальным? Да что вы! Я счастлив, как никогда.

В глазах у нее снова появилось сочувствие, она взяла меня за руку и сказала:

— Знаете, моя мать была испанка.

— Ах, вот как! Это многое объясняет: и нашу случайную встречу, и то, как легко мы поняли друг друга, точно были знакомы целую вечность. Должно быть, мой дед в десятом колене был воином Тарика ибн Зияда [1]. И наверное, он увидел вашу дальнюю прародительницу, когда она собирала виноград в садах Севильи. И полюбил ее с первого взгляда. Она ответила ему взаимностью. Но через некоторое время он ее оставил и вернулся в Африку, где женился. Я происхожу от его африканских потомков, а вы — от его потомков в Испании.

— Нет, вы просто демон-искуситель! — воскликнула она.

А мне воображение рисовало встречу арабов-завоевателей с Испанией. Наверно, все было точно так же, как сейчас со мной и Изабеллой Сеймур: безрассудный прорыв в Европу угас среди гор на севере страны и не был озарен славой. Не ищу славы и я.

После, казалось, бесконечного месяца неутоленных желаний я, наконец, поворачиваю ключ в замке. Рядом со мной она — прекрасная,

[1] Тарик ибн Зияд — арабский полководец. Под его командованием арабы разгромили вестготов и захватили Испанию.

плодородная Андалусия. И по небольшому коридору я веду ее в спальню. Аромат жженого сандала и алоэ сразу ошеломил ее и одурманил. Она не знала, что он несет с собой смерть. А меня охватило поистине трагическое спокойствие. Я словно смотрел на себя со стороны. Все жаркое напряжение последнего месяца вдруг преобразилось в спокойствие. Так спокоен хирург, когда его скальпель рассекает кожу и мышцы больного.

Я чувствовал, что недолгий путь рядом со мной до дверей моей спальни был для нее полон света и любви. Но я лишь вновь устремлялся к вершине эгоцентризма.

У кровати я несколько помедлил, словно только сейчас очнулся и понял, что происходит. Мой взгляд скользнул по шторам, по огромным зеркалам, по тусклым огонькам в уголках комнаты и остановился на застывшей передо мной живой бронзовой статуе. Наступает кульминация драмы.

Еле слышно она вскрикнула:

— Нет, нет!

Но мгновение, когда еще можно было остановиться, уже миновало.

Я захватил тебя врасплох, и у тебя достало сил сказать «нет». А сейчас тебя унесет поток событий, как уносит каждого, кто ему доверится. Если бы человек знал, когда ему следует остановиться, не сделать следующего шага, сколько судеб в мире сложилось бы по-иному. Разве солнце виновато в том, что сердца миллионов людей превращаются в выжженную пустыню, где сражаются песчинка с песчинкой, а у соловья пересыхает горло? Я чувствовал, как с каждым прикосновением, с каждым поцелуем тает ее недоверие. Ее лицо сияло, глаза светились. Она долго вглядывалась в меня, точно изучала. И вдруг покорно, голосом, полным мольбы, она сказала:

— Я люблю тебя.

И где-то в глубинах моего сознания словно в ответ прозвучало: остановись, пока не поздно. У меня перехватило дыхание...

Глава третья

Был жаркий июльский вечер. В этом году Нил разлился как никогда: так высоко вода поднимается раз в двадцать—тридцать лет и рождает легенды, которые передаются из поколения в поколение. Деревни и вся земля до самой пустыни были затоплены, лишь кое-где небольшие островки полей темнели среди водной шири. Крестьяне добирались туда вплавь или в утлых лодчонках.

Во время разлива я был в Хартуме, а когда вернулся, отец рассказал мне, что как-то вечером после вечерней молитвы деревню вдруг огласил вопль отчаяния и горя. Кричала женщина. Люди бросились узнать, что случилось, и оказалось, что крик доносится из дома Мустафы Саида.

Обычно Мустафа Саид возвращался домой на закате, но на этот раз жена ждала его напрасно. Она обошла соседей, спрашивая, не знает ли кто-нибудь, где он. Одни говорили, что видели его в поле, другие утверждали, будто он вернулся в деревню. Третьи уверяли, что в поле его не было, что в этот день его никто не видел.

Вскоре уже вся деревня высыпала из домов. Мужчины несли фонари, садились в лодки.

Искали Мустафу всю ночь. Но тщетно. Обзвонили все полицейские участки ниже по Нилу до самой Кареймы. Среди утопленников,

которых вода вынесла на берег в ту злополучную неделю, трупа Мустафы Саида не оказалось.

Тем не менее все пришли к выводу, что Мустафа утонул, а его тело стало поживой крокодилов, которыми разлившаяся река так и кишела.

Меня охватило сомнение. Я знал, что Мустафа Саид был отличным пловцом. Мной вновь овладело чувство, испытанное в ту ночь, когда Мустафа Саид читал мне стихи по-английски. И я снова словно увидел, как он с рюмкой вина между пальцами сидит, вытянув ноги и откинувшись в кресле, точно стараясь укрыться от ветра. На его лицо падал бледный свет лампы, а глаза, казалось, были устремлены в глубину собственной души. А вокруг смыкался мрак, точно неведомые, дьявольские силы вступили между собой в спор, кто скорее одолеет свет нашей лампы. Иногда вдруг мне чудилось, что никакого Мустафы Саида никогда не существовало и все, что о нем известно,—лишь игра фантазии, сновидение, а может быть, и горячечный кошмар, который в темной духоте ночи навалился на жителей деревни, но исчез с зарею, едва первые солнечные лучи засверкали над землей...

Когда я расстался с Мустафой Саидом, ночь была почти на исходе. Я вышел на улицу совсем измученный — возможно, оттого, что долго сидел в одной позе. Но спать мне не хотелось вовсе. Воздух был еще прохладен, сладко пахло цветами, и на улице никого, кроме меня, не было. Я долго бесцельно бродил по узким извилистым проулкам, свежее дыхание ночного ветерка овевало мои щеки. Ветер прилетел с севера, принеся с собой прохладу, запах земли, напившейся влаги после безумств дневного зноя, запах навоза, смешанного с благоуханием цветущих акаций, зреющей кукурузы, лимонных деревьев.

В этот час вся деревня бывает погружена в безмолвие. Тишину нарушало только мерное постукивание насоса на берегу, лай собак да крик перекликающегося со своим далеким собратом петуха, возвещающего приход зари задолго до того, как начнет розоветь небо.

Я прошел мимо низкого домика Вад ар-Раиса, который прижался к земле у самого поворота дороги. В окне слабо мерцал огонек, и вдруг я услышал приглушенный женский голос. Мне стало не по себе — пусть невольно, но я заглянул в чужую жизнь, не предназначенную для чужих глаз и ушей. Кто же бродит по улицам в час, когда все добрые люди крепко спят!

Я знаю деревню как свои пять пальцев — каждую улицу, каждый дом. И десять куполов, которые поднимаются за деревней на кладбище там, где начинается пустыня. И на кладбище мне знакомы все могилы — я бывал там с отцом, приходил с матерью, сопровождал туда деда. Я знаю всех, кто обрел там вечную обитель,— и тех, кто умер задолго до рождения моего отца, и тех, кто ушел из жизни уже после моего появления на свет. Добрую сотню людей я сам провожал в последний путь, помогал копать могилу, стоял в толпе у ее края, глядя, как выстилают камнями ложе покойника, как укрывают его землей. Это бывало и утром, и в жаркий летний день, и ночью при свете факелов и фонарей.

Поля. Я знаю их. Знаю еще с тех пор, когда поскрипывали над ними сакии. Знаю, какими они становятся в дни засухи, когда люди уходят с них, а почва, еще недавно плодородная и щедрая, превращается в иссушенную, изрезанную глубокими бороздами равнину, где гуляет ветер, взметывая песок. Я хорошо помню то время, когда в нашей деревне установили насосы, когда родились кооперативы. Земля вновь обрела плодородие и стала приносить богатые урожаи кукурузы летом и пшеницы — зимой, а те, кто было покинул родную землю, вернулись.

Мне все здесь знакомо с первых лет моей жизни и до боли близко. Но еще ни разу я не видел деревни в столь поздний час. Вот загорелась огромная голубая звезда — утренняя звезда. Она висит где-то между небом и землей. А небо в этот предрассветный час кажется высоким и легким, и деревня словно возносится к нему на крыльях серой мглы. Дом Вад ар-Раиса и дом деда разделяет неширокий пустырь, словно пограничная полоса. Когда я шел через него, перед моими глазами вдруг отчетливо всплыла сцена, которую так подробно описал Мустафа Саид, и меня захлестнул тот же стыд, который я испытал в тот миг, когда невольно подслушал, как Вад ар-Раис говорил с женой.

Я почувствовал облегчение, когда до меня из дома деда донесся его голос — он нараспев читал коран, словно проверяя голос перед утренней молитвой. Когда же он спит? Последнее, что я слышу, засыпая,— это голос деда, старческий, бесконечно усталый, а когда просыпаюсь, то вновь слышу его же, и лишь потом до меня доносятся звуки дня. Так было, сколько я себя помню. Как ничто не меняется в этом мире, уносящемся в неведомое.

Мой мозг продолжал работать, словно машина, которую забыли выключить. Внезапно я ощутил, как оживает моя душа, словно очнувшись от долгих и тяжелых страданий, как она пробуждается к новой жизни. Черные мысли, которые вызвала во мне исповедь Мустафы Саида, смятение — все это отступило куда-то далеко-далеко. Мое сознание обрело удивительную ясность.

Мне почудилось, что и деревня стала иной, что она замерла, застыла в неподвижности. Теперь она уже не уносится в небеса, а прочно стоит на обычном месте. И деревья — это просто деревья под неизмеримой небесной высью. О боже, неужели и меня может поразить подобное же несчастье? Да, но он так убеждал меня, что все случившееся — неправда и он, Мустафа Саид, лишь иллюзия, прихоть природы. А я? Кто я такой? Тоже иллюзия? Нет, нет... тысячу раз нет! Я плоть от плоти этой деревни, я здесь вырос. Разве этого мало?! Нет, я не просто жил бок о бок с этими людьми. И я понял то, что знал давно, но боялся признаться себе, предпочитая делать вид, будто я просто существую с ними рядом, так сказать, живу на одной планете, не любя их и не ненавидя. Я не доверял этой маленькой деревушке, замыкался в себе. Притворялся перед собой, будто смотрю на нее, как смотрит городской житель, который не понимает, что происходит вокруг. Но даже в Лондоне порой после сильной летней грозы я вдруг ощущал в свежеомытом воздухе запах моей деревни. А на закате мне вдруг казалось, что я вижу перед собой знакомые крыши. И в звуках чужеземной речи там, в городе на Темзе, столь не похожем на мою родину, мне чудились голоса моих близких. Где бы я ни был, в душе всегда знал твердо, что я — из породы тех птиц, которые способны вить гнездо лишь в одном крошечном уголке нашей огромной планеты.

Правда, я изучал английскую поэзию и отдал ей немало дней и ночей. Но это ровно ничего не значит. С таким же успехом я мог бы изучать и точные науки, агрономию или медицину. Но сами ли по себе они влекли меня? Нет, это было лишь средство заработать себе на жизнь. Мне вспомнились лица, сотни лиц — черные, белые, желтые, знакомые и незнакомые, они вдруг встали перед моими глазами, как наяву. Нет, моя родина здесь, и я принадлежу ей, как стройная высокая пальма во дворе нашего дома. Здесь она взросла, здесь зеленеет, и невозможно вообразить, чтобы она могла вырасти где-нибудь в другом месте.

Я спросил себя, зачем англичане пришли в нашу страну? Что привело их сюда? Не знаю. Позорит ли их присутствие наше настоящее, омрачает ли оно наше будущее? Рано или поздно они уберутся восвояси, как на протяжении веков уходили из других стран многие-многие

незваные гости. И будут у нас свои железные дороги, пароходы, больницы, заводы и школы. Мы сможем говорить с ними на их родном языке, не испытывая при этом ни благодарности к ним, ни стыда. Мы такие, какие мы есть,— обыкновенный народ, похожий на все другие.

Подобные мысли одолевали меня с утра, когда я был еще в постели, и преследовали всю дорогу до Хартума, где мне предложили работу в департаменте просвещения...

С тех пор как умер Мустафа Саид, прошло почти два года, но время от времени он продолжал напоминать о себе. Я прожил двадцать пять лет, даже не зная о его существовании, ни разу не встречаясь. И вдруг нежданно столкнулся с ним там, где меньше всего мог бы ожидать подобной встречи. Помимо моей воли Мустафа Саид стал частицей моего мира, моего бытия, занозой в моем сознании, призраком, неотступно следующим за мной, привидением, которое не хочет оставить меня в покое. Разумеется, возможно, что я вижу сложности там, где на самом деле все намного проще, чем я думаю. И ведь Мустафа Саид сказал, что моему деду известна его тайна. Дерево растет и растет, все идет заведенным порядком. Дед пожил и умрет, как все умирают. Такова жизнь. А что, если Мустафа Саид всего лишь посмеялся над моей доверчивостью?

Однажды я ехал из Хартума в Эль-Обейд в одном купе с чиновником, который недавно вышел в отставку. Мы разговорились, и он начал вспоминать свои школьные годы. Мало-помалу выяснилось, что многие люди, занимающие теперь важные посты, в свое время были его однокашниками. Мой попутчик подробно рассказывал о своих товарищах тех лет: крупном чиновнике министерства сельского хозяйства, об инженере, который учился на класс его старше, о торговце — самом глупом и отстающем ученике, который разбогател в годы войны, об известном хирурге — лучшем нападающем их школьной команды. Вдруг я заметил, как лицо моего собеседника просияло — разгладились складки и морщины, весело заблестели глаза. Хлопнув себя по лбу, он с воодушевлением, точно сделав замечательное открытие, вдруг воскликнул:

— Да, как это я забыл! Самого талантливого ученика в классе. Ну, правда, со школьных лет я его не видел, да и не вспоминал даже. И вот сейчас вдруг... Мустафа Саид! Нет, это непостижимо! Ведь такие, как он,— большая редкость!

И вновь меня охватило чувство, которое испытываешь, когда самые будничные вещи внезапно, словно по мановению волшебной палочки, превращаются в чудо.

Мне померещилось, что дверь купе слилась со сверкающим окном, а очки моего собеседника вспыхнули нестерпимо ярко, точно палящее южное солнце в самый разгар дня. Как будто озарился весь мир. А для моего попутчика — его жизненный путь. Прожитое и давно забытое вдруг воскресло в его памяти, обрело осязаемость. Когда я увидел его, войдя в купе, то решил, что ему лет шестьдесят. Но воспоминания юности словно омолодили его — теперь бы я не дал ему больше сорока.

— Да, Мустафа Саид был первым учеником. Мы учились в одном классе. Он сидел впереди меня, но в другом ряду, слева. Он был настоящим феноменом. Странно, как это я забыл. Судите сами: лучший ученик в колледже Гордона, надежда футбольной команды, самый красноречивый оратор на литературных диспутах, автор блестящих заметок в стенной газете, ведущий актер драматического кружка — короче говоря, всегда и во всем первый. И ведь все это у него получалось как-то само собой, без малейших усилий с его стороны. Держался же он несколько замкнуто и отчужденно, как будто смотрел на нас

сверху вниз. Свободное время он проводил в одиночестве — либо читал у себя в комнате, либо исчезал куда-то. Близких друзей у него не было. Говорили, что он больше всего любит далекие прогулки. В те дни в интернате все свое время проводили не только мы, иногородние, но и ребята, жившие в городе. Талантлив он был буквально во всем и все ему давалось легко — казалось, его незаурядный ум способен справиться с чем угодно. И даже учителя говорили с ним совсем не так, как с нами. Особенно это было заметно на уроках английского языка. Со стороны могло показаться, что, кроме него, в классе других учеников вообще нет — учитель обращался только к нему.

Чиновник на мгновение умолк. Я мог бы заговорить сам, сказать ему, что я знал Мустафу Саида, что волею судеб наши дороги скрестились, что однажды в темную душную ночь он поведал мне историю своей жизни, что последние свои дни он провел в глухой деревушке у излучины Нила. Я бы мог сказать ему, что Мустафа Саид утонул в реке, может быть, даже покончил с собой, что именно меня он выбрал опекуном двух своих детей. Но я не сказал ничего.

— Мустафа Саид,— продолжал свой рассказ чиновник,— кончил колледж экстерном. Он словно старался обогнать время. Мы все еще одолевали азы наук, а он уже уехал, получив стипендию, сначала в Каир, затем в Лондон. Собственно говоря, он был первым суданцем, который уехал учиться за границу. Любимец англичан (говорили мы). И очень ему завидовали. Считалось, что его ждет большое будущее. Мы произносили английские слова на арабский лад — две гласные рядом были для любого из нас неодолимым препятствием. Но только не для него. Бывало, Мустафа скривит рот, растянет губы — ну настоящий англичанин. Конечно, нас брала досада. Мы его ненавидели и вместе с тем восхищались им. Мы его прозвали «черным англичанином», хотя пускали в ход эту кличку только у него за спиной. В те дни знание английского языка открывало дверь в будущее. Без него нечего было и рассчитывать на хорошее место. Наш колледж был по сути начальной школой, и диплом об его окончании позволял разве что стать мелким чиновником на самой низкой ступени иерархической лестницы. Мне, скажем, предложили должность бухгалтера-ревизора в округе аль-Фашер. И это считалось большой удачей, все равно что вытянуть счастливый билет в лотерее! А сколько усилий приходилось затратить, чтобы добиться разрешения сдать экзамен на следующую административную должность! Тридцать лет я был заместителем маамура [1]. Тридцать лет как один день. Мне до пенсии оставался год, когда меня назначили маамуром. Редкая милость судьбы. Тогда инспектором в нашем марказе [2] был англичанин. Он бесконтрольно, точно бог, распоряжался на территории, свободно вместившей бы все Британские острова. Он жил под охраной солдат в огромном дворце, занимавшем добрую половину улицы. Там было полно слуг и все блистало роскошью. Англичане хозяйничали как хотели. Нам, мелким чиновникам из местного населения, они милостиво разрешали собирать налоги. Это они хитро придумали. Люди роптали на нас, ненавидели, ходили жаловаться к англичанину-инспектору. А тот любил показывать, что все может. Хочу казню, хочу помилую. Англичане старались сеять в сердцах людей семена ненависти к нам, их соплеменникам, и внушать любовь к себе, завоевателям и колонизаторам. Впрочем, тебе это самому известно, сын мой. Но вот наша родина обрела независимость. Мы теперь свободны. Ты знаешь, что люди их ненавидели. Даже те, кто занимал при них высокие посты.

---

[1] Маамур — чиновник, который стоит во главе небольшой административной единицы.

[2] Марказ — административная единица, район.

Ну так вот, ни у кого из нас не было сомнения, что Мустафа Саид непременно станет важной персоной. И неудивительно. Отец его принадлежал к абадитам — племени, которое живет на землях между Египтом и Суданом. В свое время абадиты обратили в бегство Салах ад-Дина-пашу из рода аль-Халифа Абдамоха-ат-Тааиши. Они служили и проводниками в армии Китченера, когда он шел походом на Судан. А его мать, говорят, была с юга, из рабынь, из племени занде или бари — это уж одному аллаху ведомо, но при англичанах даже высшие должности могли занимать люди самого темного происхождения.

Когда поезд проходил мимо водохранилища Сеннара, построенного англичанами в 1926 году, мой попутчик маамур уже забылся сладким сном и мерно похрапывал. Мы мчались на запад к Эль-Обейду по единственной железной дороге, протянувшейся через пустыню, точно веревочный мост, перекинутый через бездонную пропасть. Только вместо пропасти тут были пески.

Бедный Мустафа Саид! Оказывается, твои однокашники ждали, что ты займешь высокий пост в иерархии инспекторов и маамуров. Но в стране, раскинувшейся на миллион квадратных миль, ты не обрел даже места для могилы. Мне вспомнилось, что сказал судья в Олд-Бейли, вынося ему приговор: «Мистер Мустафа Саид, несмотря на вашу образованность и некоторые научные заслуги, вы — человек ограниченный, вам чужд элементарный здравый смысл. В вашей душевной организации есть непонятные пробелы — вы впустую растратили самую благородную, самую возвышенную способность, которую бог дарует людям: способность любить». Кроме того, я вспомнил, что в тот вечер, когда я вышел из дома Мустафы Саида, луна была на ущербе. Ее узкий серп висел у самого горизонта на востоке, и я тогда подумал, что месяц похож на отстриженный ноготь. Я и сейчас не понимаю, почему мне тогда показалось, что месяц — это отстриженный ноготь.

В Хартуме передо мной еще раз возник призрак Мустафы Саида менее чем через месяц после моего разговора с бывшим маамуром. Будто джинна выпустили из сосуда, и он злорадно нашептывал мне на ухо что-то мучительно-тревожное.

Как-то в самом начале зимы я случайно попал в дом одного молодого суданского ученого — он читал курс лекций в столичном университете. Там собралось много людей, познакомившихся и сошедшихся в годы, когда они учились в Англии. Среди нас оказался и один англичанин, занимавший пост советника в министерстве финансов. Зашел разговор о смешанных браках. От общих рассуждений и споров, как всегда, перешли к конкретным случаям и примерам: кто из суданцев женился на европейских женщинах, на англичанках например, кто был первым...

Назывались разные имена, и тут же раздавались возражения — нет... нет... не он. И вдруг я услышал: «Мустафа Саид!» Его назвал хозяин дома, и я заметил, что его лицо просветлело так же, как лицо моего случайного попутчика — маамура в отставке. И хозяин дома под усеянным звездами небом Хартума продолжил рассказ старого чиновника:

— Мустафа Саид был не только самым первым суданцем, который женился на англичанке. Если быть точным, он — первый среди суданцев, кто вступил в брак с европейской женщиной. Вы, наверно, о нем и не слышали. Эмигрировал он еще в давние годы, поселился в Англии, женился там и получил английское гражданство. Странно, что никто тут не вспомнил о нем, хотя он сыграл немалую роль в заговорах англичан против Судана в конце тридцатых годов. Пожалуй, у англичан было мало столь верных и преданных помощников. Английское министерство иностранных дел не раз использовало его для выполне-

ния довольно сомнительных поручений на Ближнем Востоке. В частности, Мустафа Саид был одним из секретарей конгресса, который заседал в Лондоне в тридцать шестом году. Сейчас он уже, наверно, давным-давно миллионер и живет как лорд в своем английском имении.

Неожиданно для себя я перебил его:

— Мустафа Саид оставил после своей смерти шесть федданов[1] земли, трех коров, быка, двух ослов, одиннадцать коз, пять овец, тридцать финиковых пальм, двадцать три дерева разных пород: акаций, нильких акаций, тридцать пять лимонных деревьев и столько же апельсиновых, девять ардеббов[2] пшеницы и девять — проса, дом из пяти комнат с гостиной, длинной неоштукатуренной комнатой со стенами из обожженного кирпича, с окнами из зеленого стекла и потолком не плоским, как в других комнатах, а сводчатым, точно хребет быка. Наличный же его капитал исчерпывался девятьюстами тридцатью семью фунтами стерлингов, тремя курушами и пятью миллимами[3].

В глазах сидящего напротив меня молодого человека молнией мелькнул страх. Его губы задергались. Не будь он так поражен и испуган, то, конечно, не спросил бы меня:

— Ты его сын?

Ведь он прекрасно знал, кто я, так как жил в Англии в одно время со мной, и хотя учились мы в разных университетах, не раз встречались — то на вечеринках, то в пивных или кафе.

Вот так я нежданно вновь столкнулся с Мустафой Саидом. Ну, а что касается моего родства с ним, так сыном Мустафы Саида, его братом, племянником, наконец, с равным успехом мог оказаться и мой собеседник.

Внезапно я засмеялся, и зашатавшийся было мир снова обрел равновесие. Надо мной мерцало звездное небо Хартума, каким ему положено быть в начале зимы, а вокруг разговаривали и улыбались вполне реальные, живые люди с конкретными именами, фамилиями, профессиями.

Засмеялся и хозяин дома.

— Нет, я, наверно, помешался,— произнес он сквозь смех.— Как бы ты мог оказаться сыном Мустафы Саида, когда ты прежде никогда даже не слышал о нем. Я на минуту забыл, что ты из племени поэтов, мечтателей и фантазеров!

С горечью я подумал, что многие считают меня поэтом, хочу я того или нет. Причина, по-видимому, в том, что я три года собирал материалы о жизни одного давно забытого английского поэта и, пока меня не назначили инспектором начальной школы, преподавал поэзию джахилийской эпохи[4].

Тут заговорил англичанин. Он сказал, что не очень уверен, насколько верно то, что говорилось о Мустафе Саиде как пособнике английской политики в Судане. Но зато он никак не может согласиться с тем, что Мустафа Саид действительно был крупным экономистом.

— Я познакомился с рядом его работ, посвященных экономике империализма. В них нельзя верить ни одной цифре! Мустафа Саид — последователь фабианцев. А те, как известно, под предлогом популяризации избегали фактов и цифр. Справедливость, равенство, социализм! Все это — одни слова. Экономист — это не писатель вроде

---

[1] Феддан — мера земли, равная 0, 42 га.

[2] Ардебб — мера сыпучих тел, равная 199,75 м^3.

[3] Суданский фунт равен 100 курушам (пиастрам), или 1000 миллимам.

[4] Джахилийская эпоха — время до принятия арабами ислама.

Чарльза Диккенса и не политик вроде Рузвельта. Экономист — это машина, оперирующая фактами и цифрами, статистическими данными. Без них он гроша ломаного не стоит. В лучшем случае экономист способен установить связь между одной истиной и другой, одной цифрой и другой. Большего он сделать не может. Заставить цифры говорить о чем-то ином — это, простите, задача политиков, тех, кто стоит у власти. Я утверждаю, что Мустафа Саид никогда не был серьезным экономистом.

Я спросил, был ли он знаком с Мустафой Саидом.

— Нет. Я поступил в Оксфорд вскоре после того, как он его окончил. Но я немало о нем слышал. По-видимому, он был настоящий донжуан. Его имя было окружено легендой. И он сам немало этому способствовал. Темнокожий красавец, любимец богемы. В этих кругах в двадцатые годы, да и в начале тридцатых, было модно демонстрировать демократизм и свободу от всяких предрассудков, а он давал для этого отличную возможность. Говорили, что он друг лорда Н., приятель лорда Х. Он слыл своим и среди английских левых. Ну, об этом можно только пожалеть. А впрочем, по слухам, он был весьма неглуп. Принимая у себя Мустафу Саида, наши аристократы играли в доступность и простоту. Щеголяли широтой взглядов и терпимостью. Вот, смотрите — за нашим столом сидит африканец, мы считаем его таким же человеком, как мы сами. Мы отдали ему в жены одну из своих дочерей, как равному. Он работает с нами бок о бок. На мой взгляд, такая игра в демократизм не менее опасна, чем оголтелый расизм тех сумасшедших в Южной Африке или на юге США, которые свято верят в природное превосходство белых. И то и другое — крайность. Если бы Мустафа занимался наукой серьезно, он, несомненно, нашел бы немало настоящих друзей среди белых и черных, среди англичан и немцев, арабов и африканцев. А как полезен он мог бы стать своей родине! Его знания помогли бы ему возглавить поход против предрассудков и суеверий. Ведь даже вы, люди образованные, принимаете за чистую монету всякие небылицы. У вас какая-то своя правда. Вы верите в миф об объединении всех арабов. А чего стоят мечты об африканском единстве! Точно наивные дети, вы убеждены, что земные недра полны всяческих сокровищ и вы можете получить их, даже палец о палец не ударив. Во мгновение ока разрешить все проблемы и насадить вокруг райские сады. Пустые бредни. Грезы наяву. Да будет вам известно, что цифры, расчеты, аксиомы для того и существуют, чтобы люди видели действительность такой, как она есть. И если что-то и изменится, то лишь в пределах ваших не бог весть каких возможностей. Тем не менее такой человек, как Мустафа Саид, при его данных вполне бы мог сыграть тут значительную роль, не превратись он в игрушку, в шута в руках этой горстки английских идиотов.

Я видел, что Мансур горит желанием разделать Ричарда под орех. Но мне казалось, что связываться с ним не стоит. Ведь и Ричард тоже был по-своему фанатиком, что, впрочем, в той или иной степени можно сказать о любом человеке. Вот мы соглашаемся с тем, что он здесь наговорил, а на поверку окажется, что он сам в плену собственной версии.

— Статистика! Это современно, это модно! Ну и что? Мы веруем в аллаха — да будет он всемогущ вечно. Но что касается статистики и цифр — ради всего святого, увольте...

Поскольку белые довольно долго правили нами, они еще долго будут испытывать к нам презрение, как сильные к слабым, и считать себя выше нас. Мустафа Саид говорил им: «Я явился к вам как завоеватель, как победитель». Мелодрама? Да, пожалуй. Однако трагичность европейского нашествия несколько преувеличивалась, особенно

в последние годы. Но вовсе оно не было для нас и благодетельным, как считают европейцы. Весь ход истории — своего рода мелодрама, и по прошествии времени он обрастает легендами.

Я слышал, как Мансур втолковывал Ричарду:

— К нам вы принесли с собой все свои беды и недуги. Все болезни собственной экономики. Что, собственно, вы дали нам, кроме нескольких монополий, которые многие годы пьют нашу кровь и все никак не насытятся?

— Да вы же без нас не проживете,— возражал Ричард.— Вы поносили нашу помощь. А стоило нам уйти, как вы тут же создали легенду о скрытом, замаскированном империализме. Нет, это поразительно! Вы ведь не хуже меня понимаете, что наше присутствие в той или иной форме вам необходимо как воздух, как вода. Вот в чем дело.

Оба они — и Мансур и Ричард — не разгорячились, не повышали голоса. Ведь этот разговор был далеко не первым, и они даже посмеивались, что почти уже достигли экватора своего спора. Сама история разверзла между ними непреодолимую пропасть.

Глава четвертая

А я, в свою очередь, прошу вас, дорогие друзья, не спешить с выводами. Если вы вообразили, что тень Мустафы Саида стала моим вечным спутником, то вы ошиблись. Я целыми месяцами даже не вспоминал о нем. Он умер. Утонул или покончил с собой, ведомо лишь аллаху. Ведь каждый день умирают тысячи. И если бы мы всякий раз дотошно анализировали, отчего, как и почему умер тот или этот, можете себе представить, в какой ад превратилась бы жизнь на земле.

Мир не стоит на месте. Жизнь развивается и хочешь не хочешь движется вперед. И я, подобно всему живому, нахожусь в вечном движении. Я безостановочно что-то делаю. Я шагаю с большим караваном, который то поднимается вверх по склону, то, петляя, спускается вниз, и вот — привал, но пройдет час, другой — и он снова пускается в путь.

Что и говорить, жизнь не так уж плоха. Да вы сами знаете не хуже меня.

Идти днем под палящим солнцем очень трудно: безбрежным морем простирается впереди пустыня. Мы измучены усталостью и жаждой, и каждый новый шаг кажется непосильным. Наши силы совсем иссякли... Но стоит зайти солнцу, и землю шатром накрывает прохлада. Мириадами звезд вспыхивает небо. Мы начинаем есть и пить. Заводит свою песню караванный певец. Одни, собравшись группой за спиной шейха [1], молятся. Другие собираются в кружок и начинают петь и плясать, ритмично хлопая в ладоши. Над нами — ласковое небо. Иногда мы идем и ночью. Это так приятно! Когда розовеет восток и заря спешит на смену ночи, мы говорим: «С первым лучом рассвета люди начинают восхвалять ночное путешествие».

И хотя иногда мираж зло шутит над нами, а зной и жажда обращают в прах наши заветные чаяния — не беда! Вместе с зарей исчезают призраки ночи. Легкий ночной ветерок облегчает усталость после дневного жара.

Два месяца в году я проводил в маленькой деревушке на берегу Нила, где он делает резкий изгиб, будто ломаясь под прямым углом, и катит свои воды с запада на восток. Нил здесь и широк и глубок.

---

[1] Шейх —старец, старейшина, вождь племени.

Над его гладью зеленеют маленькие островки, а над ними то кружат белые птицы, то неподвижно застывают в воздухе.

По берегам виднеются пальмовые рощи, круглые высокие сакии, водяные насосы. Мужчины — с открытой солнцу грудью, в длинных шароварах — трудятся на земле, сеют и собирают урожай. Но вот, как плавучая крепость, на Ниле появляется пароход, и они оставляют работу, выпрямляются во весь рост и с любопытством смотрят на него, на мгновение замирая в вопросительной позе, а затем снова берутся за дело. Мимо деревушки пароход обычно проходит рано утром, едва взойдет солнце, и не чаще одного раза в неделю. Пройдет, и волны за его кормой разобьют отраженные в воде пальмы — они изломаются причудливыми зигзагами, разбегутся рябью.

Хрипло заревет гудок. Его слышат и мои родные. Хотя час еще ранний, они давно уже встали и, наверно, пьют сейчас первую чашечку кофе.

Вон уже показалась пристань. Сначала это просто темная полоска, но вскоре ее очертания становятся совсем четкими, белеет береговой откос, обсаженный смоковницами. На обоих берегах царит оживление. Люди едут на ослах, идут пешком. К пристани от противоположного берега движется вереница лодок и парусных фелюг. Пароход описывает широкую дугу, огибая эту флотилию. На берегу толпятся мужчины и женщины, ожидая, когда мы причалим. Я вижу среди встречающих отца, дядей и их детей. Ослы привязаны к смоковницам. На этот раз нас не разделяет туман. Я возвращаюсь из Хартума. Я отсутствовал всего лишь семь месяцев. Теперь мне здесь все знакомо, знаю всех, кто стоит на пристани. Чистые, белоснежные галабеи[1], чалмы, еще белее, чем галабеи. Усы то длиннее, то покороче — каштановые, черные, золотистые, белые. Некоторые с бородой, а некоторые еще только начинают отращивать бороду и кажутся небритыми. Среди ослов черным пятном выделялся один. Таких я еще не видел.

Встречающие смотрели на пароход с притворным безразличием, но едва мы причалили, как они столпились у трапа, торопясь поздороваться со мной, моей женой и дочкой. Мне они дружески трясут руку, жене лишь церемонно ее пожимают, а нашу дочку осыпают градом поцелуев. Мы садимся на ослов, но всю дорогу девочку передают из рук в руки. Так же радостно меня встречали и в те годы, когда я еще учился в школе. Видимо, причина тут — мое долгое отсутствие. Впрочем, об этом я уже говорил.

По дороге домой я спросил, откуда взялась эта черная ослица. Отец ответил:

— Один кочевник-араб обвел твоего дядю вокруг пальца. Он взял взамен не только нашу белую ослицу,— ты ведь помнишь ее? — но еще и пять фунтов в придачу.

Я в недоумении посмотрел по сторонам, не зная, кто из моих дядей оказался жертвой обмана, и тут услышал голос дяди Абдель Керима:

— Клянусь всеми святыми, с ней не сравнится ни один осел во всей округе! Да разве это ослица? Настоящая скаковая лошадь. Да стоит мне захотеть, и я сразу продам ее за тридцать фунтов, а то и больше!

— Это верно, ничего не скажешь! Иная породистая лошадь и то будет похуже. Да только приплода от нее все нет и нет. А что толку в ослице, которая не приносит ослят? — засмеялся дядя Абдеррахман.

Я вежливо осведомился, каков ныне урожай фиников, хотя зара-

[1] Галабея — национальная одежда арабов типа длинной рубахи.

нее знал, что услышу в ответ. «Совсем плохой»,— в один голос заявляли они из года в год, хотя мне было известно, что это далеко не соответствует истине. На берегу я заметил строящийся дом из красного кирпича и спросил, что это.

— Аптека,— ответил дядя Абдель Маннан.— Да только, видишь, все никак не достроят. Власти только и умеют, что болтать.

Я заметил, что был здесь всего лишь семь месяцев назад и тогда тут ничего не было. А для такого здания полгода — срок маленький. Но Абдель Маннан остался при своем мнении.

— Одно только и умеют — языком трепать! — проворчал он раздраженно.— Раз в два-три года являются сюда целым гуртом на своих машинах с лозунгами всякими... Да здравствует такой-то! Долой такого-то... Подобной болтовни, видит бог, нам хватало и при англичанах.

И действительно, сколько раз через деревню проносился старый, дребезжащий, как пустая бочка, грузовик, в кузове которого стояли десять, а то и двадцать человек и выкрикивали лозунги: «Да здравствует народно-демократическая партия!» Странно, неужели «крестьянами» в книгах называют именно этих людей? Сказал бы я своему деду, что от его имени совершаются революции, создаются и заседают правительства, он бы от души посмеялся. И в самом деле, эта мысль поначалу кажется ни с чем не сообразной. Но вспомним, к примеру, жизнь Мустафы Саида, его нелепую смерть. Ведь тоже не сразу верится, что так все и было на самом деле. Мустафа Саид регулярно посещал мечеть, регулярно совершал молитвы. К чему было так усердствовать, особенно в том амплуа, которое он для себя избрал?

В один прекрасный день он явился в нашу далекую деревушку, ища душевного успокоения. Но чем его привлекли наши края? Может быть, ответ таится в той длинной комнате, куда не заходил никто, кроме Мустафы? Ну, да что гадать... Собственно, кому я задаю эти вопросы? Уж не Мустафе ли? Неужели я снова увижу его в полутьме, одиноко притулившегося в кресле? Или мне выпадет жребий вынуть его из петли? Он оставил мне письмо. В конверте с сургучной печатью. Когда он успел его написать?

«Я поручаю жену, двоих детей и то имущество, которое получил от щедрот мира, твоему попечению. Вверяю их твоей совести. Я знаю, что могу на тебя положиться. Впрочем, моя жена может вести свои дела сама. Она вольна распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а в ее благоразумии я уверен. Прошу тебя оказать последнюю услугу человеку, которому, к сожалению, не посчастливилось познакомиться с тобой ближе: позаботься о моей семье, огради ее от бед по мере своих сил. Возьми ее под свое покровительство, будь наставником моим детям, их защитником, оберегай их от невзгод. Облегчи им жизнь. Помоги им. Пусть из них вырастут простые нормальные люди. Научи их полезному делу. Я оставляю тебе ключи от моего кабинета. Быть может, ты найдешь там то, что ищешь. Я знаю, что тебя томит жгучее любопытство, желание узнать обо мне все,— хотя, откровенно говоря, я не совсем понимаю, чем вызван такой интерес. В любом случае моя жизнь ни для кого не может служить назидательным примером. Если бы я был уверен, что твои односельчане, узнав о моем прошлом, не воспрепятствуют тому, чтобы я жил среди них так, как живу, поверь, мне незачем было бы скрывать от них правду. Кстати, освобождаю тебя от клятвы, которую взял с тебя в ту ночь. Можешь рассказывать все что хочешь. Если твое любопытство не угасло, то в комнате, куда, кроме меня, не входил ни один человек, ты найдешь многое: заметки, записи, наброски воспоминаний. Надеюсь, это в какой-то мере поможет тебе понять, каким я был. Прости, что я не смог выбрать для этого иной способ. Я предоставляю тебе самому

решить, когда ты отдашь моим детям ключи от этой комнаты и расскажешь им правду о моей жизни, чтобы они поняли все как надо.

Для меня очень важно, чтобы они в конце концов узнали, каким человеком на самом деле был их отец,— разумеется, настолько, насколько это вообще возможно. Я не хочу, чтобы они представляли меня не тем, кем я был в действительности. Мне это не нужно. Ведь правда обо мне поможет им лучше понять самих себя.

Но, конечно, лучше будет, если это произойдет не преждевременно, тогда, когда они будут уже способны извлечь пользу из того, что произошло. Если они вырастут в этой деревне, впитают ее воздух, узнают ее историю, запечатлеют в памяти лица ее жителей и воспоминания о страшных наводнениях, которые вносят хаос в налаженный ход деревенской жизни, а также навеки сохранят воспоминания об урожаях, собранных на ее полях, то, значит, я вернулся сюда не напрасно.

Не знаю, что мои дети думают обо мне сейчас. Может быть, горюют и плачут? Видят во мне героя? Пока это не так уж важно. Но нельзя, чтобы история моей жизни открылась им внезапно, вырвалась из мрака неизвестности, точно злой дух, несущий горе и боль. Так хотелось не покидать их, навсегда остаться с ними. Следить за тем, как они растут, взрослеют. Но не знаю, что более эгоистично: остаться с ними или исчезнуть, уйти с их дороги.

Ну, с тобой мне хитрить нечего: если ты помнишь, что я говорил тебе в ту ночь, ты, возможно, поймешь, чего я хочу, к чему стремлюсь. Обманывать себя глупо и бесполезно.

В моих ушах все время настойчиво и неотвратимо звучит далекий, могучий зов. Мне казалось, что моя жизнь здесь, в этой деревне, наконец, моя женитьба заставят его умолкнуть. Но нет! Вполне возможно, что это лишь плод моего воображения. Или такова моя судьба? Не знаю и ничего не могу понять. Разумом я сознаю, как следует вести себя, что и когда делать. Но, поверь, этому я научился только здесь, в этой деревне, у этих счастливых людей. Однако же что-то в моей душе, в моей крови, неопределенное, неосознанное, по-прежнему зовет меня, не дает мне покоя, манит в далекие земли.

Мне горько думать, что у кого-нибудь из моих детей, если не у обоих, когда они вырастут, может обнаружиться микроб этой заразной болезни — тяги к перемене мест, и они захотят покинуть родину.

Короче говоря, возлагаю на твои плечи тяжелую ношу, обременяю тебя заботами. Но мне кажется, я не ошибся в тебе — слишком уж ты похож на своего деда. Друг мой, не знаю, когда я покину вас, но чувствую, этот час не далек. Прощай».

Вот так Мустафа Саид сам выбирал время, когда поставить последний верстовой столб на своем жизненном пути. И нельзя отрицать, что в повесть своей жизни он внес изрядную толику мелодрамы. Если же предположить, что природа снизошла к его желаниям и, расщедрившись, даровала ему конец, которого он сам так жадно искал, то ему выпала редкая удача.

Представьте себе лето в июле во всем его величии. Река, обычно струящая свои воды с невозмутимым спокойствием, вдруг вздулась, вышла из берегов, затопила все вокруг. Уже тридцать лет, как не было подобного наводнения. Там, где еще недавно были поля, простиралась темная водная ширь. Разве можно было предположить, что здесь раздастся заключительный аккорд жизни Мустафы Саида? Вот какой конец он так упорно и настойчиво искал, может быть, еще там, на далеком севере. Тогда он хотел, чтобы все завершилось под беззвездным небом в тревожную промозглую ночь на глазах людей, которым нет дела ни до него, ни до его жизни. Вот участь победоносных завое-

вателей! Но все, буквально все — и присяжные, и свидетели, и прокуроры, и адвокаты, и судьи — точно сговорились между собой не дать ему свести счеты с жизнью, не допустить финала, который он так тщательно готовил для себя.

«Присяжные видели перед собой человека,— рассказывал Мустафа Саид,— который и не думал защищаться. Человека, у которого не было ни малейшего желания жить. В ту ночь, когда Джейн, рыдая, шептала мне: «Уйди со мной, уйдем вместе», я еще колебался. Хотя в ту ночь моя жизнь исчерпалась до дна, мне нечего было больше ждать. Но меня томили сомнения, и, должен признаться, что в решительный миг я испугался.

Во мне теплилась надежда, что суд сделает за меня то, что сам я был не в силах совершить. Но они точно чувствовали, чего я добиваюсь, и, докопавшись до сути, решили не допустить, чтобы исполнилось мое последнее желание.

Даже полковник Химменд, который, казалось мне, должен был хотеть моей смерти не менее меня, вдруг начал вспоминать, как я приезжал к ним в Ливерпуль, и подробно рассказал, какое я тогда произвел на него хорошее впечатление. Полковник с военной прямолинейностью заявил, что считает себя человеком терпимым, свободным от пристрастий и предубеждений, но что он — реалист и поэтому был уверен, что брак его дочери со мной не может быть счастливым.

Он не преминул добавить, что, учась в Оксфорде, его дочь Энн увлеклась восточной философией и долго не могла решить — принять ли буддизм или ограничиться исламом. Он не берется сказать, что именно толкнуло ее на самоубийство: неожиданное открытие, что мистер Мустафа Саид ей неверен, или же духовный кризис, который она переживала.

Энн была его единственной дочерью. Когда я с ней познакомился, ей не было еще и двадцати. Я обольстил ее и обманул. Помню, я тогда говорил ей: «Давай поженимся. Наш брак будет мостом между севером и югом». И я же разбил ее мечты, обратил в прах ее веру. И тем не менее отец этой девушки, человек, давший ей жизнь, объявляет в суде совершенно спокойно, без малейшей дрожи в голосе, что не берется сказать, что явилось причиной ее самоубийства».

И это — правосудие? Пресловутые правила честной игры? Нет, скорее правила ведения войны и соблюдение нейтралитета во время войны! Насилие, надевающее маску милосердия и всепрощения. Но как бы то ни было, Мустафу Саида приговорили к семи годам тюремного заключения. Да, да, только к семи! Все оказалось далеко не так просто. Никто не взял на себя труд избавить его от необходимости решать. Выход должен был найти он сам, и никто другой не мог и не хотел сделать это за него.

Когда окончился срок его заключения, Мустафа некоторое время скитался по свету. Из Парижа он уехал в Копенгаген, затем в Дели, в Бангкок, и везде он пытался зацепиться хоть за что-нибудь, чтобы отодвинуть неизбежное.

А развязка ожидала его в маленькой, никому не известной деревушке на берегу Нила. Нет человека, который мог твердо сказать, что смерть Мустафы Саида была несчастной случайностью. Но и никто не может утверждать, что он сам, собственной рукой опустил занавес.

Впрочем, я приехал сюда вовсе не для того, чтобы предаваться размышлениям о судьбе Мустафы Саида. Здесь меня давно ждут все эти деревенские домишки из глины и необожженного кирпича, которые словно поворачиваются и смотрят нам вслед.

Вдруг наши ослы зашагали много бодрее. По-видимому, их ноздри

уловили запах клевера, сена и воды. Дома на самом краю пустыни чем-то напоминают стойбище первобытных людей, которые, пожив некоторое время, неожиданно бросали все и уходили искать новые места. И кто мог бы разобрать, где тут конец, а где начало.

От блестящей глади воды веет влажной прохладой, смягчающей зной пустыни. Это истина врывается в мир вымысла. Слух улавливает голоса людей, щебетание птиц. Монотонно постукивает насос. Впереди — река. Река слева и справа. Если бы не она, не было бы ни начала, ни конца. Река безмятежно несет свои воды на север, безразличная ко всему на свете. Преградит ей путь гора — она устремится в обход. Откроется ей долина — она разольется широко и вольно. Но рано или поздно она отыщет свой единственный путь. И вновь устремится на север, к морю.

Глава пятая

Рано поутру я уже стоял перед дверью дома моего деда. Дверь была старая, но все еще крепкая. На нее, наверно, ушло целое ореховое дерево. Сколотил ее Вад аль-Басир — наш деревенский умелец, мастер на все руки. Он не учился ремеслу плотника в школе, но делал он и колеса сакий, и кольца к ним, и двери — ну, словом, все. Умел вправлять вывихи, накладывать лубки на сломанные кости, прижигать язвы, пускать кровь. А уж в ослах разбирался на удивление. Никто в деревне не покупал осла, не посоветовавшись предварительно с Вад аль-Басиром. Он еще жив, но давно оставил свое ремесло и больше не мастерит таких дверей, как в доме деда. Ведь те, кто помоложе, узнали, что в городе можно купить двери из бука и даже из железа, и теперь привозят их из Омдурмана. Ну, и сакии теперь никому не нужны — ведь всюду появились насосы.

За дверью раздавался смех, и я легко различил дребезжащий хохоток деда и утробный хохот Вад ар-Раиса, хохот человека, наевшегося до отвала. Я узнал смех Бакри. Громко, по-мужски смеялась Бинт Махджуб. Я словно увидел их всех сквозь закрытую дверь. Дед сидит на молитвенном ковре из меха и перебирает четки из сандалового дерева. Шарики проскакивают между его пальцами равномерно, точно желобки сакии.

Старые друзья деда Бинт Махджуб, Вад ар-Раис, Бакри удобно устроились на низких тахтах. Дед глубоко убежден, что высокая тахта — признак тщеславия, а низкая свидетельствует о скромности.

Бинт Махджуб опирается на локоть. В другой руке — сигарета. Скабрезные истории будто стекают с кончиков усов Вад ар-Раиса. Бакри, как всегда, ушел в свои мысли.

Большой дом деда сложен не из камня и не из обожженного кирпича. Он из земли, обыкновенной земли, вскармливающей пшеницу. Дом этот встает на краю поля, точно его продолжение. Во дворе растут смоковницы и акации. А на стенах дома, там, где они тронуты сыростью, зеленеют те же растения, что и на полях вокруг.

Внутри дом больше всего походил на лабиринт. Одному богу известно, как он строился. Во всяком случае, таким, как сейчас, он стал не за один год и даже не за десять лет. В нем было множество комнат, больших и маленьких. Они беспорядочно пристраивались к прежним, едва возникала нужда. Стоило деду прикопить — в доме прибавлялась еще одна комната. По мнению деда, деньги для того и нужны, чтобы строиться. Коридоров не полагалось — комнаты открывались одна в другую, а двери были такими низкими, что приходилось наклоняться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. В некоторых же двери вооб-

ще отсутствовали. Были комнаты с окнами и без окон, с гладкими стенами и стенами шершавыми оттого, что их оштукатурили смесью гравия, черной глины и кизяка. Потолки и стропила были из стволов и корневищ пальм и нильской акации, а кровля—из пальмовых листьев.

Летом дом был прохладным, а зимой — теплым. На вид он казался непрочным, но только на вид, ибо прочность его была проверена самим временем.

Я вошел в калитку и огляделся. Огромный двор. Направо на подстилках сушатся финики и стручковый перец. Налево — мешки с пшеницей и бобами. Одни уже зашиты, другие стоят пока открытыми. В дальнем углу коза жадно ест ячмень, а у вымени пристроился козленок и сосет. Судьба дома неразрывно связана с полем. Зеленеет поле — в доме весело, опустошит засуха поля — в доме траур.

Запах дедова дома я узнаю среди всех запахов мира. Разве можно забыть эту смесь разнообразных ароматов — муки и стручкового перца, фиников и зерна, бобов, фасоли, верблюжьей колючки? И все они тонут в благоухании ладана, который курится в большой жаровне.

Это благоухание постоянно напоминает мне, что дед — аскет, отказывавший себе буквально во всем,— не жалел никаких денег, когда дело касалось молитвенных принадлежностей. Огромный ковер, на котором дед молился и который служил ему одеялом в холодные ночи, был сшит из трех леопардовых шкур. Молитвенный чайник из меди, с рисунком и насечкой стоял на большой тарелке, тоже медной. Предмет особой гордости деда — четки из сандалового дерева. Он перебирал их с нежностью, подносил к лицу и прижимал к щекам — сначала к левой, потом к правой — и с наслаждением вдыхал их запах.

Прищурив глаза, он погружался в воспоминания. Не приведи аллах кому-нибудь из внуков помешать ему в такие минуты. Тут он мог стукнуть четками по детской головке и крикнуть: «Пошел прочь, шайтан».

Молитвенный обряд, как и комнаты в доме или пальмы во дворе, имел свой смысл. Он тоже воскрешал прожитое.

Перед дверью я помедлил, предвкушая удовольствие. Всякий раз, когда я возвращался домой, на пороге дедовского дома меня охватывало это чувство. Радость и удивление оттого, что на земле существует этот древний, могучий, много переживший человек. Когда я обнимал деда, я вдыхал особый, ни с чем не сравнимый запах, как будто тихая прохлада могильного склепа мешалась с теплотой, исходящей от грудного младенца.

Негромкий, спокойный голос деда сразу внушал доверие. Когда он говорил, мне казалось, он прокладывает мост в наше тревожное будущее, сулящее только заботы, заботы, заботы... Будущее рисуется вдали смутно. Оно не приняло законченной формы и прячется в тумане, точно неведомая горная вершина.

Кто мы по сравнению с промышленным миром Европы? Бедные крестьяне, и только! Но обнимая деда, я ощущаю себя богатым и сильным — симфонией, созданной композитором-природой.

Пожалуй, мой дед не похож на высокое старое дерево. Его не сравнишь с раскидистым дубом, чьи корни прочно вросли в землю. И уж если искать сравнение среди деревьев, то мой дед скорее напоминает маленькие деревца сайали с толстой корой и острыми колючками, растущие в пустынях Судана,— ведь перед ними бессильна сама смерть. Медленно и бережно расходуют они свои жизненные силы. Таков и мой дед. Он выжил, несмотря на мор, голод и войны. Сейчас ему без малого сто лет, но его рот полон зубов. Глаза у него узкие, как щелочки, и кажутся подслеповатыми, но на самом деле он видит даже

в темноте. Его тщедушное тело ссохлось, сморщилось. Ни капли жира. Истончились кости, одряхлели кожа и мышцы, но он все еще довольно легко взбирается на осла и каждый день перед рассветом выходит из дома в тусклый сумрак и пешком идет в мечеть.

Дед подождал, пока я не усядусь поудобнее рядом со всеми, а потом, вытирая полой слезы и еле сдерживая смех, сказал:

— Клянусь аллахом, от твоего рассказа бока болят, Вад ар-Раис.

И Вад ар-Раис продолжал историю, прерванную моим приходом:

— Ну так вот, хаджа [1] Ахмад, усадил я эту девушку на осла перед собой, а она давай крутиться и вертеться как юла. Изгибается туда-сюда, а потом вдруг как рванется и — бац! — с нее вся одежда слетела. Гляжу и глазам своим не верю. Сидит передо мной, ну, в чем мать родила. А сама, наверно, из нильских рабынь. Груди, скажу тебе, хаджа Ахмад, так и торчат. А уж пышна! Не ущипнешь. Кожа гладкая, как маслом намазанная, блестит-переливается в лунном свете, с ума сойти можно. Высмотрел я проплешину в кукурузном поле, слез с осла, ну и она, конечно, со мной. Только я собрался обнять ее покрепче, как в кукурузе шорох, а потом какой-то голос спрашивает: «Кто там?» Чего мы только не выдумывали в молодости, хаджа Ахмад! Меня прямо как осенило — а что, если прикинуться ифритом? Авось поможет. И как завоплю диким голосом, почище всякого шайтана. Швыряю во все стороны песок, ношусь как угорелый. Тот мужчина испугался, давай бог ноги. И что вы думаете? Это же был мой дядя Иса. Он, оказывается, выследил меня до самого кукурузного поля. Глаз с меня не спускал с той самой минуты, как я уволок девчонку прямо со свадьбы. Увидел он, что я скачу как ифрит, и решил, что со мной что-то неладное творится. И вот на следующий день, чуть свет, является он к моему отцу, да смилостивится над ним аллах, рассказывает все, как было, от начала и до конца, а потом говорит: «Твой сын — проклятый шайтан. Не найдем ему жены сегодня же, так он перепортит всех девушек в деревне, позору тогда не оберешься». И в тот же самый день меня женили на дочери моего дяди Раджаба. Да будет аллах к ней милостив, она, бедняжка, скоро умерла от родов.

Бинт Махджуб засмеялась и затем произнесла мужским, хриплым от курения голосом:

— Как погляжу, ты во вкус вошел чуть не с пеленок.

— Не тебе бы говорить, Бинт Махджуб,— не смущаясь, ответил Вад ар-Раис.— Уж кто-кто, а ты в таких делах разбираешься. Ведь ты восьмерых мужей схоронила, да и сейчас не упустишь — нашелся бы кто-нибудь, так не сказала бы ему «нет», хоть ты женщина и в летах.

— Что и говорить,— изрек дед.— Другой такой Бинт Махджуб на свете не сыщешь.

Бакри, который все время так смеялся, что слова не мог вымолвить, теперь повернулся к Бинт Махджуб, спросил:

— Скажи нам, кого из своих мужей ты любила больше всех?

— Вад аль-Башира,— ответила Бинт Махджуб не задумываясь.

— А, того, который смахивал на породистого жеребца? — заметил Бакри.— То-то его ужин всегда доставался козам.

Бинт Махджуб сбила кончиком пальца пепел с сигареты на пол:

— Уж поверьте, когда он обнимал меня, я обмирала от счастья. Кончится вечерняя молитва, он сразу ко мне, и мы ласкаем друг друга до утренней зари. А как услышит призыв на утреннюю молитву, говорит: «О аллах, о Бинт Махджуб!»

— Вот ты и свела его в могилу, когда он был в расцвете сил,— заметил дед.

[1] Хаджа — так называют мусульман, совершивших паломничество в Мекку.

— Ну, что ты! Просто судьба назначила ему жизнь короткую,— ответила Бинт Махджуб с улыбкой.— От того, о чем мы тут говорим, еще никто не умирал.

Бинт Махджуб высока ростом, волосы у нее цвета черного бархата, и хотя ей все семьдесят, все равно видно, какой она была красавицей. В деревне не найти человека, который бы ее не знал и не готов был бы хоть до ночи слушать ее рассказы, нередко довольно откровенные. Она курила, пила вино, ругалась самыми черными словами — словом, вела себя как мужчина. По слухам, мать ее якобы была дочерью какого-то местного султана. Замуж Бинт Махджуб выходила только за самых видных и богатых женихов в деревне, переживала их одного за другим и с каждым вдовством богатела. Родила она всего одного сына, а дочерей — бесчисленное множество. Они все походили на свою мать не только красотой, но и вольностью в разговоре.

Рассказывали такой случай. Дочка Бинт Махджуб выходила замуж, только ее жених не очень нравился матери. После свадьбы они уехали и вернулись почти через год.

Тут зять Бинт Махджуб решил устроить пир и пригласить всех родственников своей жены. «Знаешь что,— говорит ему жена,— моя мать не очень-то стесняется в выражениях, так лучше пригласим ее особо».

Так они и сделали. Нажарили, наварили и позвали тещу на ужин. Выпила Бинт Махджуб, хорошо закусила и говорит своей дочери: «Амина, этот мужчина тебя не достоин. Дом у тебя хороший, одежда красивая, твои руки супруг унизал золотыми браслетами, шею украсил жемчугом. Но это все пустое. Я вот вижу по его лицу, что в постели тебе с ним радости нет никакой». А тот стоит рядом и все слышит. «Хочешь узнать, что такое спать с настоящим мужчиной? А то я знаю подходящего человека. Уж если он к тебе придет, так можешь быть спокойна: он тебя не оставит, пока твоя душа не насытится». Муж Амины от этих слов так рассвирепел, что тут же с нею навсегда распрощался.

— Слушай,— повернулась Бинт Махджуб к Вад ар-Раису,— что с тобой? Уж два года ты довольствуешься только одной женой. Не поостыл ли твой пыл?

Вад ар-Раис и мой дед обменялись взглядом, смысл которого я понял много позже.

— Что верно, то верно: у меня лицо шейха, но сердце как у юноши. Может быть, ты знаешь какую-нибудь вдовушку или разведенную, которая бы подошла мне?

— Послушай доброго совета, Вад ар-Раис,— вмешался в разговор Бакри.— Ну, какой из тебя жених? Стар ты, тебе давно за семьдесят. У твоих внуков уже есть дети. И не стыдно тебе? Каждый год хочешь играть новую свадьбу. Пора бы уж остепениться. Готовься лучше к встрече с аллахом, да будет он славен и велик!

Бинт Махджуб и мой дед засмеялись в один голос, а Вад ар-Раис ответил оскорбленно:

— Что ты понимаешь! Тебе вот и хадже Ахмаду достаточно одной жены. Умри они, оставив вас в одиночестве, так уж вам не набраться храбрости, чтоб жениться еще разок! Хаджа Ахмад, он только целый день молится и распевает свои псалмы, точно рай уготован лишь для него одного. Ну, а ты, Бакри, что с тебя взять? Все копишь и будешь копить до самой смерти. Аллах, великий и могучий, благословил супружество, разрешил он и развод. Он что сказал? «Удерживайте их с достоинством или разлучайтесь с достоинством». Вспомните-ка, что он еще говорил: «Женщины и мужчины украшают мир».

Я возразил ему, что в коране не говорится «женщины и мужчины», а написано: «деньги мужчины».

— Что бы там ни было,— продолжал Вад ар-Раис,— уж я-то знаю: радости супружеской жизни превыше всех других земных радостей.

Покрутив свои длинные загнутые кверху усы с кончиками, тонкими как иглы, Вад ар-Раис погладил левой рукой густую белую бороду, которая казалась приклеенной к смуглым щекам, а у висков смыкалась с большой белой чалмой, так что его лицо словно выглядывало из белой рамы — красивые, светящиеся умом глаза, чуть изогнутый, изящной формы нос. Вад ар-Раис подводил веки сурьмой, ссылаясь на обычай. Впрочем, я склонен думать, что он просто очень заботился о своей внешности. Ничего не скажешь, лицо Вад ар-Раиса красивое. Не то что у моего деда или Бакри — тот и вовсе сморщен, как высохшая тыква. И Вад ар-Раис знал себе цену.

Я не раз слышал, что в молодости он был очень красив и покорял сердца девушек направо и налево — в нашей деревне и в соседних. Женат он был не счесть сколько раз, да и разводился не меньше. И невест искал где придется, а на вопросы отвечал резонно: «Кровь играет, что поделаешь!» Из его жен я помню данкалавийку [1] из Хандака, хендавийку из Гедарефа и эфиопку. Эта последняя, кажется, была служанкой в доме его старшего сына, который жил в Хартуме.

Из четвертого хаджжа [2] он вернулся с женщиной из Нигерии. Когда у него спросили, как это ему удалось найти себе такую жену, он рассказал, что познакомился с ней и ее мужем на пароходе — на пути между Порт-Суданом и Джиддой — и подружился с ними. Однако в тот день, когда они ступили на гору Арафу[3] в Мекке, ее муж умер. Перед смертью он будто бы подозвал Вад ар-Раиса и сказал: «Завещаю тебе свою жену, позаботься о ней».

Только и этот брак его не успокоил. Прожили они вместе три года — для Вад ар-Раиса срок немалый. Правда, оказалась она женщиной не слишком строгих правил, и он уж и тому радовался, что она была бесплодна. Ему всегда нравилось рассказывать всем встречным и поперечным о своих любовных похождениях. А теперь он часто добавлял назидательным тоном: «Кто не был женат на распутнице, тот так и не познал по-настоящему, что такое семейная жизнь».

Только вскоре он взял вторую жену — женщину из племени кабабиш. Ее он привез из поездки в Хамрат эш-Шейх. Жены между собой не поладили и стали без конца ссориться. Тогда Вад ар-Раис, желая угодить кабабишийке, развелся с распутницей, но вторая жена вскоре сбежала от него и уехала обратно к родным в Хамрат эш-Шейх.

Вад ар-Раис, многозначительно толкнув меня острым локтем в бок, заметил, стараясь вовлечь меня в общую беседу:

— Говорят, у христиан женщины — это что-то особенное, даже трудно себе представить.

— Аллах их знает,— ответил я.

— Ну что это за разговор? — не унимался Вад ар-Раис.— Подумать только, юноша в полном расцвете сил, молодой, красивый, целых семь лет живет в стране, где стоит только свистнуть,— и вдруг нате вам: не знаю!

Не дождавшись ответа, он продолжал:

---

[1] Помимо суданских арабов в Судане проживают многие неарабские народы: кочевые и полуоседлые племена.

[2] Хаджж — паломничество в Мекку, которое совершается в определенные месяцы.

[3] Арафа — гора в Мекке, на которой паломники проводят целый день во время хаджжа.

— Хотя, пожалуй, чего от вас и ждать! По-вашему, мужчине довольно и одной жены. Вот твой дядя из другого теста: настоящий мужчина!

Действительно, про нашу семью в деревне говорили, что у нас никто не расходится и вторично не женится. И находили этому всякие объяснения, например, что в нашей семье мужчины у своих жен всегда под башмаком. Но к моему дяде Абдель Кериму это не относилось: он и женился и разводился по нескольку раз.

— Да разве жены у христиан могут сравниться с нашими деревенскими? — сказала Бинт Махджуб.— Куда им! Они только болтать горазды. Их и водой не пои — только дай языком потрепать. А наши и массаж умеют делать, и табак готовить, и благовония всякие, а в сырую погоду и разотрут, где нужно. Ляжет наша деревенская после вечерней молитвы на красную циновку, раскроет объятия, ну, мужчина и чувствует себя, словно он сам Абу Зейд аль-Хилали [1].

Дед и Бакри дружно рассмеялись. А Вад ар-Раис заметил пренебрежительно:

— Ну довольно тебе, Бинт Махджуб, уж больно ты хвастаешься. На словах-то вы все хоть куда, а на деле? Одна только видимость.

— Сам ты видимость! — огрызнулась Бинт Махджуб.

— Видишь ли,— как всегда спокойно и рассудительно сказал мой дед,— Вад ар-Раису больше нравятся женщины с червоточинкой.

— Послушай, хаджа Ахмад, могу поклясться: если бы ты хоть раз поцеловал женщину из Эфиопии, так давно бы оставил свои четки. В их объятиях про все молитвы забудешь, как про тот кусочек плоти, который отрезают в младенчестве за ненадобностью.

— Ну, уж это ты слишком! Ислам требует обрезания,— заявил Бакри.

— Какой такой ислам? — рассердился Вад ар-Раис.— У тебя свой ислам, у хаджи Ахмада — свой. Много вы понимаете! Неужто египтяне или сирийцы не мусульмане? А вот они точно знают, чего хотят, уважают законы; женщины у них остались такими, как сотворил их аллах. А у нас? Стрижем их, точно овец.

Дед так долго захлебывался смехом, что даже уронил четки.

— Египтянок вспомнил! — через силу выговорил он наконец.— Где уж тебе с ними справиться!

— Как бы не так! А ты-то что про них знаешь? Молчал бы уж! — возмутился Вад ар-Раис.

— Э, да ты, видно, забыл,— пришел на помощь деду Бакри,— что наш хаджа Ахмад бывал в Египте. Как-никак провел там девять месяцев!

— Пешком ходил,— добавил дед.— Помню, у меня с собой не было ничего, кроме четок да молитвенного чайника.

— И много выходил? — спросил с ехидцей Вад ар-Раис.— С чем ушел, с тем и пришел, так ведь? С четками и чайником! Клянусь, я бы на твоем месте не вернулся с пустыми руками. Можешь быть уверен.

— А кто спорит? Ты бы, конечно, привез оттуда бабу. Чего еще от тебя и ждать? Ни о чем другом ты ведь и не думаешь! Я-то, правда, вернулся с полным кошельком — купил себе земли, построил сакию, приодел детей.

— Да, знаем, знаем. Ну, а все-таки, хаджа Ахмад, неужто ты в Египте так даже не полюбопытствовал, какие они, египтянки-то?

Дед поднял четки, и они снова скользили между его пальцами, точно колесо сакии. Но вдруг они замерли, и дед, откинув голову, раскрыл рот, словно ему не хватало воздуха.

---

[1] Абу Зейд аль-Хилали — герой арабского эпоса.

— Ты с ума сошел, Вад ар-Раис? — опередил всех Бакри.— Взрослый человек, а говоришь глупости. Женщины, они везде одинаковые, что в Египте, что в Судане, что в Ираке: и черные, и белые, и красные, и желтые...

Вад ар-Раис был ошеломлен неожиданным отпором и не сумел ничего ответить. Он только покосился на Бинт Махджуб, словно ища у нее поддержки.

— Правду сказать, в Египте я чуть было не женился,— начал дед.— Египтяне хорошие люди, умеют ценить дружбу. И о египтянках худого слова сказать нельзя. Познакомился я в Булаке с одним благочестивым человеком. Встречались мы всегда в мечети Абу-ль-ала на первой молитве рано утром. Потом пригласил он меня к себе в дом. Так я познакомился с его семьей. Сыновей у него не было, одни дочери, целых шесть, и все давно на выданье. Вот однажды он мне и говорит: «Послушай, суданец, человек ты верующий, благочестивый, умеешь хранить дружбу, в общем, человек верный, достойный. Позволь мне предложить тебе в жены одну из моих дочерей». И знаешь, Вад ар-Раис, его старшая дочь пришлась мне очень по душе. Но тут вскоре я получил телеграмму о смерти матери, ну, и тотчас собрался и уехал. А больше я туда не возвращался.

— Да снизойдет на нее милость аллаха,— проговорил Бакри,— она, конечно, была достойная женщина.

А Вад ар-Раис глубоко вздохнул:

— Жаль! Очень жаль! Вот она — жизнь! Кто не хочет, тому счастье само в руки плывет. Клянусь, я на твоем месте своего бы не упустил. Нет, уж я бы женился и пожил с молодой женой в свое удовольствие. И чего тебя потянуло сюда, в это забытое богом место?

— Помнишь сказочку? Что там говорила газель? Моя страна — это моя! — заметил Бакри.

Бинт Махджуб закурила очередную сигарету. Сизая струйка поднялась к потолку, где уже колыхалось густое облако табачного дыма. Обращаясь к Вад ар-Раису, она сказала:

— Да, конечно, тебе никогда не везло, толстяк ты этакий. Тебе ведь давно за семьдесят, а ты все не взрослеешь.

— Семьдесят, семьдесят... А что такое семьдесят лет? — вскричал Вад ар-Раис.— Всего лишь день, не больше. А тебе самой сколько? Да ты, наверно, постарше нашего хаджи Ахмада.

— Побойся бога, Вад ар-Раис,— примирительно заметил дед.— Когда я женился, Бинт Махджуб еще на свете не было. Она, я думаю, моложе тебя года на два, а то и на все три.

— Ну ладно, все равно,— не отступал Вад ар-Раис,— я и сейчас поживее вас всех буду. Клянусь, я и с твоим внуком могу еще потягаться.

— На словах-то ты герой! — припомнила ему Бинт Махджуб недавний выпад.— А дошло бы до дела, так мы бы еще посмотрели, как оно обернулось бы.

— А ты выходи за меня, Бинт Махджуб, и сама проверь!

— Да что ты мелешь! С тех пор, как мой Вад аль-Башир меня покинул, я обо всем таком и думать забыла. А ты, Вад ар-Раис, клянусь аллахом, совсем как малое дитя стал. Видно, весь свой ум, коли он у тебя был, ты растряс по чужим постелям, вот что я тебе скажу.

Взрыв смеха заглушил ее последние слова. Даже Бакри, который раньше только кривил губы в усмешке, весь содрогался от хохота. Дед перестал перебирать четки и негромко смеялся, время от времени всхлипывая. Хрипло, по-мужски хохотала Бинт Махджуб. Смех Вад

ар-Раиса напоминал скорее лошадиный храп. У всех из глаз лились слезы.

— Да простит нас аллах и заставит покаяться,— приговаривал дед.

— Да простит нас аллах! О боже, ну и насмеялись же мы,— сказала Бинт Махджуб,— о аллах, прошу тебя, собери нас в добрый час еще не раз!

— Да простит нас аллах! — пробормотал скороговоркой Бакри,— и отпустит нам, великий, все наши грехи и прегрешения и дарует нам счастливый конец!

— Да простит нас аллах, великий и могучий! — сказал Вад ар-Раис.— Да будет его воля над нами и здесь, на земле, и там.

Вдруг Бинт Махджуб легко поднялась на ноги, точно мужчина лет тридцати, и выпрямилась во весь рост. Годы не сгорбили ее, и она сохранила девичью стройность. Встал вечно недовольный собой Бакри. За ним — Вад ар-Раис, слегка опираясь на палку. С молитвенного ковра перебрался на свою низкую тахту дед.

Я смотрел на них: три старика и одна старуха заливаются смехом на краю могилы.

Кто знает, может быть, завтра они отправятся в свой последний путь. Внук станет отцом, отец — дедом, а караван как ни в чем не бывало продолжает свой путь.

У самой двери Вад ар-Раис обернулся и сказал мне:

— Завтра встань пораньше и приходи к нам. Позавтракаем вместе.

Дед поудобнее устроился на тахте и неожиданно стал потихоньку смеяться, будто заново переживал все, что слышал и видел в этот вечер в обществе друзей, которые так его развеселили и которых он сам развеселил не меньше.

— А знаешь,— спросил он меня через некоторое время,— почему Вад ар-Раис пригласил тебя позавтракать с ним?

Я объяснил, что мы друзья и он уже не раз приглашал меня.

— Ну, нет. Дело не так просто. Он ждет от тебя одной услуги.

— От меня? Какую услугу я могу ему оказать?

— Он хочет жениться.

Я от души рассмеялся.

— Но я-то тут при чем?

— Видишь ли, ты — доверенный невесты.

Я предпочел промолчать.

— Вад ар-Раис,— поспешил добавить дед, решив, что я ничего не понял,— хочет жениться на вдове Мустафы Саида.

Но я опять не сказал ни слова.

— Вад ар-Раис не так уж стар,— продолжал дед.— К тому же у него есть деньги, и немалые. А женщине всегда нужны опека и защита. И ведь со времени смерти ее мужа прошло три года. Неужто она собирается навсегда остаться вдовой?

Я объяснил, что не имею к этому никакого отношения. У нее ведь есть отец, братья. Почему бы Вад ар-Раису не поговорить с ними?

— О чем это ты? Вся деревня знает, что Мустафа Саид поручил тебе заботиться о его жене и детях, что ты их опекун.

Я ответил, что я действительно опекун, но только над детьми. А вдова вправе поступать как считает нужным. Тем более что она не одинока.

— Но она тебе очень доверяет. Как ты скажешь, так она и сделает.

Я почувствовал гнев и возмущение. Неужели обычай настолько силен, что все подчиняются ему, даже не задумываясь?

— Ты сам знаешь, что она отказала мужчинам не чета Вад ар-Раису,— сказал я деду.— Он ведь старше ее на целых сорок лет!

Но дед продолжал упорно твердить, что Вад ар-Раис все еще молод, что дом у него полная чаша и что родственники невесты, конечно, не будут возражать. Но сама она может отказать Вад ар-Раису. Вот почему он и хочет, чтобы я был посредником в этом деле.

Я с трудом сдерживался, чувствуя, что еще немного, и я взорвусь. В моем сознании совершенно непроизвольно возникли одновременно две отвратительные картины и тут же слились в одну. Я увидел Хасану, дочь Махмуда, вдову Мустафы Саида в объятиях какого-то мужчины в Лондоне, и тут же он превратился в старика Вад ар-Раиса, и до меня словно донесся ее голос перед самым восходом солнца в деревушке у излучины Нила.

И то грешно и это, хотя, быть может, естественно, как смерть и рождение человека, как разливы Нила и урожаи пшеницы...

Едва я представил Хасану, дочь Махмуда, тридцатилетнюю вдову Мустафы Саида, всю в слезах рядом с семидесятилетним Вад ар-Раисом, как мне вспомнились рассказы Вад ар-Раиса о его бесчисленных похождениях, которыми он уже какой год веселит своих односельчан. Мне стало не по себе. Я чуть было не закричал и выбежал из дома на улицу, даже не обернувшись на оклик деда.

Дома я рассказал отцу все, что произошло. Но он только посмеялся:

— Да разве стоит принимать близко к сердцу такие вещи?

(Окончание следует)

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ

Чилийская симфония

■

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

I

Ступень вслед за ступенью — только кровь,
колеса мельницы не водяной, а слезной,
лавина перемолотых костей,
и горя ком — в сиянье дня, и в горле,
и улицы полны свинца и дыма.
А в Ла Монеде — лестницею гнева —
людские сгустки у крутых пролетов,
раздавленные вздохи на площадках,
агония перил на лестнице страданья.
Так спустимся на несколько ступеней...
То Смерть, стуча прикладом, входит в Чили.

II

Мою слезу зажги огнем, Сантьяго,
спеки мою тоску в печи глубокой,
и привяжи к столбу мое страданье,
и спрячь мое стенанье в птичьих гнездах,
и разметай мою тоску по крышам,
открой дорогу для моих сандалий
и мир широкий для котомки нищей.
Так помолчим же несколько мгновений:
то Смерть, стуча прикладом, входит в Чили.

III

Гитара сломана, и песня перебита...
вот преступленье в сапогах тяжелых,
вот испражненья в форменных мундирах,
и вот моча в блестящих позументах —
то хунта движется со свитою отбросов.

Меж тем ослы пасутся в институтах,
и на костре главою никнет книга,
в разодранной обложке, с болью в буквах.
Прочтем же несколько страничек пепла...
То Смерть, стуча прикладом, входит в Чили.

IV

Вот Стадион — отдельная планета
залитых кровью, переломанных мечтаний,
сколоченное впрок подножье смерти,
амфитеатр вокруг арены ада.

Но всё поют отрубленные кисти,
смертеупорный, не смолкает Виктор Хара,
чилийский соловей, чей голос обезглавлен,
и самый звончатый немой на целом свете.
Послушаем же прерванную песню...
То Смерть, стуча прикладом, входит в Чили.

V

Вот Пиночет, мерзейший современный Каин,
палач стандартный и тюремщик педантичный,
угодливый лакей, предатель образцовый,
господчик с буквы «г» срамного алфавита.

Так выдайте ему диплом тирана!
Так выдайте патент душителя народа!
И титул расхитителя сокровищ!
Медаль убийцы «made in USA»
и даже докторскую степень Смерти!
Уж он все это заслужил, поверьте.

Нет, Чили позабыть его не сможет:
ведь он в трагические эти ночи
из гноя родился, созрел нарывом,
учась на скорпиона, получил диплом змеиный,
во сне был властелин, Иудой пробудился.
Вшей самодержец и король червей могильных.
о, нет сомненья, ты пойдешь далёко —
по всем клоакам мира!

VI

Как будто бы из глуби всех желаний,
Антофагаста, ты встаешь во сне моем,
Вальпараисо, ты стучишь в виски колоколами
бесчисленных церквей на дне морском.

И стелются туманы, словно стоны,
и ветер юга запахи несет,
и виноград — что полог похоронный,
и улица застыла Театинос,
как мертвая, в пейзаж печальный вклинясь,
цветок «копиуэ» больше не поет.

Да, вещий голос Чили не угас,
Он в сердце отдается каждый час!

VII

Товарищ, будь начеку:
ползком возвращается буря,
выстрелы, раны, гоненья, разлуки с родными.
Товарищ, что ночью живешь под своей крышей,—
позорный столб опрокинь,
взлети над братской могилой
и саван всеобщий порви,
ибо есть еще в Чили
огромная чистая даль для мечты и веры!

VIII

Я отодвинусь немного, Пабло, чтоб подойти к тебе
ближе.
Навечно передо мною затопленный твой виноградник,
и Черные острова, опрокинутые над морем,
цветы, овдовевшие без твоей беседы,
деревья с содранной кожей, и траур великой потери,
оплаканной полуслепыми от слез рыбами, птицами
и хлебами.

Твой голос звучит по свету, как звучал прежде,
превращенный в порох и лепестки лилий,
и если правда, что спрятали мертвое твое тело,
то жизнь твою никогда не сумеют спрятать,
и она навсегда останется в Чили,
ибо жизнь твоя, Пабло, окрашена в цвет Неруды,
ибо Неруда — имя и человек — всегда со своим народом,
ибо народ твой, Пабло, об руку с твоими стихами
идет вперед с песней, и становится эта песня
все сильнее и громче, к грядущему приближаясь.

IX

Вот Корвалан, так горячо любимый всеми,
познавший муки в тюрьмах и застенках,
и битвы пролетариев, и чувства
нежнейшие — супруга и отца,
и пламенные — человека правды
и храброго ее солдата,
что не отступит и не сдастся.

Когда тебя средь мрачных стен я мыслю,
душа во мне и никнет и взлетает,
соединясь с многоголосым хором,
свободы требующим для твоей мечты.

И ведомо Луису Корвалану,
что крутится земля все больше нам навстречу,
что роза жаждет подружиться с хлебом,
ибо уж близок светлый день, когда
они, для блага всех, пребудут вместе
и дружество их будет нерушимо.

Рабочий-мастер будущего Чили!
Я одиночество хватаю за вихры,
сжимаю кулаки моих бессонниц
и, в клетку заперев мою госку,
в ночь выхожу. И слушаю. И вижу:
в безжалостности проволок колючих,
на крупе времени воспоминаний,
спиной к уже ощерившейся плахе
и посреди сгущающейся тьмы
один лишь виден свет — багряная мечта,
твоя коммунистическая вера.

X

Училось у тебя и мужество само,
когда, в единый миг владея жизнью целой,
с оружием в руках и с вечным пульсом жизни
ты нам преподал свой простой урок:
как умереть с отвагой в каждом вздохе,
лицом к лицу с небесным светом дня.

О, Чили — Сальвадор, Вальпараисо — Альенде,
широкая дорога распахнется,
как ты сказал, уже прощаясь с жизнью,
и вновь тогда ты встанешь гордо,
чтоб гневным молотом разбить «вчера»,
чтоб смуглое лицо поцеловать у «Завтра»,
обнять древнейшего индейца из Арауко,
вернувшись ночью к музыке морской.

Широкая дорога распахнется,
Товарищ Президент, по ней пешком
пойдет в грядущее надежда наша.

Лима, 1975

■

ИРВИН ШОУ

Вечер в Византии

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

Вступление

Неповоротливые, как динозавры, никому не нужные, бездеятельные и бессильные, в спортивных рубашках от Салки и Кардена, они сидели друг против друга за столиками в просторных залах, вознесенных над изменчивым морем, и сдавали и брали карты, как делали это в славные времена в мокром лесу на Западном побережье, когда в любое время года их слово было законом и в банках, и в правлениях компаний, и в мавританских особняках, и во французских виллах, и в английских замках, и в георгианских ратушах Южной Калифорнии.

Время от времени звонили телефоны, и из Осло, Нью-Дели, Парижа, Берлина, Нью-Йорка доносились энергичные, почтительные голоса; игроки брали трубки и отрывисто отдавали распоряжения, которые в другое время имели бы смысл и, несомненно, были бы выполнены.

Короли без королевства, совершающие очередное паломничество, нечаянные Лиры, они окружали себя небольшими свитами верноподданных и жили в помпезной роскоши, не соответствовавшей их положению. Они говорили: «Джин» и «Ваших тридцать» — и раздавали направо и налево чеки на тысячи долларов.

Иногда они вспоминали доледниковый период. «Сначала она у меня работала. За семьдесят пять в неделю. Она тогда жила с преподавателем дикции в Долине».

Или: «Он превысил смету на два с половиной миллиона, а через три дня нам пришлось снимать его с экранов в Чикаго. А теперь эти болваны в Нью-Йорке говорят, что он гений. Дерьмо».

И они говорили: «Будущее — в кассетах», а самый молодой из них — ему было пятьдесят восемь — спросил: «Какое будущее?»

И они говорили: «Пики. Удваиваю».

Внизу, в семи футах над уровнем моря, на террасе, открытой солнцу и ветру, беседовали более худые и более голодные люди. Знаками требуя у носившихся взад и вперед официантов черный кофе и таблетку аспирина, они говорили: «Совсем не то, что в старое время».

И еще они говорили: «Русские в этом году не приедут. Японцы тоже». И: «Венеции — конец».

---

[1] Этот образ, видимо, заимствован И. Шоу из стихотворений английского поэта У. Йитса, который использует слово «Византия» как олицетворение искусства, побеждающего время и смерть.

Под юркими облаками, которые то заслоняли, то открывали солнце, сновали юркие молодые люди, держа под мышкой маленьких львят, а в руках фотоаппараты «Полароид», и с улыбкой, какой улыбаются все зазывалы мира, выискивали клиентов. Но на второй день уже никто, кроме туристов, не интересовался львятами, и беседа текла, и они говорили: «Плохи дела у «ФОКС». Очень плохи». И: «Хотя у кого они лучше?»

«Здешний приз стоит миллиона»,— говорили они.

«В Европе»,— говорили они.

«А чем плоха Европа?» — говорили они.

«Это же типично фестивальный фильм,— говорили они.— На широком экране он сбора не даст».

И они говорили: «Что ты пьешь?» И: «Пойдешь вечером на прием?»

Они говорили на английском, французском, испанском, немецком, иврите, арабском, португальском, румынском, польском, голландском, шведском языках, говорили о сексе, деньгах, успехе, неудачах, обещаниях выполненных и обещаниях нарушенных. Среди них были честные люди и жулики, сводники и сплетники, а также люди порядочные. Одни были талантливы и даже очень талантливы, другие хитры или не очень. Там были красивые женщины и прелестные девушки, интересные мужчины и мужчины со свиным рылом. Непрестанно щелкали фотоаппараты, и все притворялись, будто не замечают, что их фотографируют.

Там были люди, знаменитые в прошлом и уже не знаменитые теперь; люди, которые станут знамениты на будущей неделе или в будущем году, и люди, которым суждено умереть в безвестности. Люди, идущие вверх, и люди, скользящие вниз; люди, которым успех дается легко, и люди, несправедливо оттесненные в сторону. Все они были участниками азартной игры без правил; некоторые делали ставки весело и беззаботно, некоторые потели от страха.

В других местах, на других сборищах ученые предсказывали, что через пятьдесят лет море, плещущееся у берега перед террасой, станет мертвым, что нынешние обитатели нашей планеты, вполне возможно, последние, кто ест омаров и сеет незараженные семена.

А были еще и другие места, где бросали бомбы, выбирали мишени, теряли и снова брали высоты; где происходили наводнения и извержения вулканов; где воевали или готовились к войне, свергали правительства, участвовали в похоронах и маршах. Но здесь, на террасе, в весенней Франции, вся жизнь человечества на две недели сводилась к перфорированным ацетатным лентам, пропускаемым через кинопроекторы со скоростью девяносто футов в минуту; и надежды и отчаяние, красоту и смерть — все это носили по городу в плоских круглых блестящих жестяных коробках.

1

Самолет дергался, пробиваясь сквозь черные столбы туч. На западе сверкала молния. Таблички с надписью «Пристегните ремни» на английском и французском языках продолжали светиться. Стюардессы не разносили напитков. Тональность рева моторов изменилась. Пассажиры молчали.

Высокий мужчина, зажатый в кресле у окна, открыл было журнал и тотчас закрыл его. Дождевые капли оставляли на плексигласе прозрачные, словно пальцы призрака, следы.

Раздался приглушенный взрыв, что-то треснуло. Вдоль корпуса

самолета медленно прокатилась шаровая молния и разорвалась над крылом. Самолет швырнуло в сторону. Двигатели натужно завыли.

«Как бы хорошо все устроилось, если бы мы сейчас разбились,— подумал высокий человек.— Окончательно и бесповоротно».

Но самолет выровнялся, вырвался из облаков к солнцу. Дама, сидевшая через проход, сказала: «Это уже второй раз в моей жизни. Можно подумать, что меня преследует злой рок». Таблички на спинках кресел погасли. Стюардессы повезли по проходу столик с напитками. Высокий человек попросил виски с «перрье». Он пил с видимым удовольствием, прислушиваясь к мерному гудению моторов. Самолет летел на юг высоко над облаками, закрывавшими сердце Франции.

Чтобы прогнать сон, Крейг принял холодный душ. Хотя он выпил вчера, кажется, не так уж много, у него было такое ощущение, точно глаза его не поспевают за движениями головы. Как обычно в таких случаях, он дал себе слово не прикасаться больше к спиртному.

Он вытерся полотенцем, но волосы не стал сушить. Прохладная влага освежала голову. Он накинул просторный белый гостиничный купальный халат из грубой махровой ткани и, пройдя в гостиную своего «люкса», заказал по телефону завтрак. Он раздевался вчера, потягивая виски, и разбросал одежду по всей комнате, так что теперь его смокинг, крахмальная рубашка и галстук грудой лежали на стуле. На стакане с недопитым виски выступили капельки влаги. Бутылка, стоявшая рядом, была не закупорена.

Он открыл почтовый ящик на двери с внутренней стороны. В нем лежали «Нис-матэн» и пакет с письмами, пересланный его секретаршей из Нью-Йорка. Письмо от бухгалтера. От адвоката. Конверт из маклерской конторы — в нем месячная биржевая сводка. Он бросил письма на стол не распечатывая. Судя по состоянию дел на бирже, ничего, кроме панических воплей, в сводке маклера сейчас не найдешь. Бухгалтер, наверно, прислал дурные вести о его, Крейга, нескончаемой битве с департаментом налогов и сборов, а письмо адвоката касается жены. Эти могут подождать. Сейчас еще утро, рано думать о маклере, бухгалтере, адвокате и жене.

Он взглянул на первую страницу «Нис-матэн». Телеграфное агентство сообщает о переброске дополнительных войск в Камбоджу. Рядом с этим сообщением — фотография улыбающейся итальянской актрисы на террасе отеля «Карлтон». Несколько лет назад она получила в Канне премию, но в этом году, судя по улыбке, никаких иллюзий не питает. Фотография президента Франции Помпиду в Оверне. Цитируют его обращение к молчаливому большинству французского народа. Президент заверяет, что Франции не грозит революция.

Крейг бросил «Нис-матэн» на пол и босиком пересек белую с высоким потолком комнату, устланную коврами и обставленную во вкусе бывшей русской аристократии. Выйдя на балкон, он посмотрел вниз, на Средиземное море, простирающееся за бульваром Круазетт. Три американских десантных судна, стоявшие вчера в заливе, ночью ушли. Дул ветер, серое море пенилось и бурлило — все в барашках. Уборщики уже разровняли на пляже песок и вытащили надувные матрасы и зонты. Зонты — их так и не раскрыли,— воткнутые в песок, вздрагивали от ветра. На берег с шипением набегал прибой. Какая-то отважная толстуха купалась прямо напротив гостини-

цы. «В последний раз, когда я был здесь,— подумал он,— погода была не такая».

В последний раз была осень, сезон уже кончился. Стояло бабье лето, которое в наших местах именуют индейским, впрочем, здесь никогда не бывало индейцев. Золотистая дымка, неяркие осенние цветы. Канн он помнил другим — тогда вдоль берега среди зелени садов стояли розовые и янтарно-желтые особняки, а теперь взморье обезображивали крикливые многоквартирные дома с оранжевыми и ярко-синими навесами, прикрывающими балконы. Города одержимы страстью к самоуничтожению.

В дверь постучали.

— Entrez [1],— сказал он, не поворачивая головы и не отрывая глаз от моря. Нет нужды говорить официанту, где поставить столик. Крейг прожил здесь уже три дня, и официант знает его привычки.

Но когда он вернулся в комнату, там оказался не официант, а девушка. Невысокого роста — пять футов три, может быть четыре, дюйма, по привычке прикинул он. На ней была серая трикотажная спортивная рубашка, слишком длинная и непомерно широкая. Рукава, рассчитанные, очевидно, на руки баскетболиста, она вздернула, обнажив тонкие, бронзовые от загара запястья. Рубашка, доходившая ей почти до колен, висела поверх измятых, выцветших джинсов. Она была в сандалиях. Длинные каштановые волосы, неровно высветленные солнцем и морем, спутанной волной падали ей на плечи. У нее было узкое, с острым подбородком, лицо; огромные солнечные очки, за которыми не видно глаз, придавали ему таинственное, совиное выражение. На плече у девушки висела итальянская кожаная сумка с медными пряжками, слишком элегантная для нее. Увидев его, она ссутулилась. У него возникло подозрение, что если он взглянет на ее голые ноги, то обнаружит, что она давно их не мыла — во всяком случае с мылом.

«И это американка»,— подумал он. В нем говорил сейчас шовинизм наизнанку.

Он запахнул полы халата. Пояса не было: халат не предназначался для приема гостей. При малейшем движении полы разлетались.

— Я думал, это официант,— сказал он.

— Я боялась упустить вас,— сказала девушка. Выговор у нее был американский, только непонятно, из какой части страны.

Его раздражало, что в комнате такой беспорядок. Раздражало и то, что эта девица ворвалась к нему, когда он ждал официанта.

— Вообще-то полагается сначала звонить по телефону, а потом уж подниматься,— пробурчал он.

— Я боялась, что вы не захотите меня принять, поэтому и не позвонила.

«О, господи,— подумал он.— Одна из этих».

— А может, вы все же попробуете, мисс? Спуститесь вниз, назовите портье свою фамилию, он мне позвонит и...

— Но ведь я уже здесь.— Она была явно не из тех робких, застенчивых девиц, что благоговеют перед великими мира сего.— Я сама представлюсь вам. Моя фамилия Маккиннон. Гейл Маккиннон.

— Я обязан вас знать? — В Канне ведь все возможно.

— Нет,— сказала она.

— Вы всегда вот так вторгаетесь к людям, когда они не одеты и ждут завтрака? — Ему было неловко: халат все время распахивает-

[1] Войдите *(франц.)*.

ся в самом неподходящем месте, с головы течет, на груди видны седеющие волосы, в комнате не прибрано.

— Я пришла по делу,— сказала девушка. Она не сделала к нему ни шага, но и не отступала. Просто стояла, шевеля большими пальцами босых ног в сандалиях.

— У меня тоже есть дела, мисс,—сказал он, чувствуя, как с мокрых волос на лоб стекает вода.— Я хотел бы позавтракать, просмотреть газету и в тишине и одиночестве подготовиться к тяготам дня.

— Не будьте занудой, мистер Крейг. Ничего дурного я против вас не замышляю. Вы действительно одни? — Она многозначительно посмотрела на неплотно прикрытую дверь спальни.

— Милая мисс...— «Тон у меня как у девяностолетнего старика»,— подумал он с досадой.

— Я три дня за вами слежу,— сказала она.— Никого с вами не было. То есть никого из женщин.— Пока она говорила, ее темные очки шарили по комнате. Он заметил, что взгляд ее скользнул по рукописи, лежавшей на письменном столе.

— Кто вы? — спросил он.— Сыщица?

Девушка улыбнулась. Во всяком случае, зубы ее сверкнули. Что при этом выражали глаза — сказать было невозможно.

— Не бойтесь. Я нечто вроде журналистки.

— Ничего нового в этом сезоне у Джесса Крейга не предвидится, мисс. Так что мое почтение.— Он шагнул к двери, но девушка не двигалась.

Раздался стук. Вошел официант, неся на подносе апельсиновый сок, кофе, рогалики и тосты. В другой руке у него был складной столик.

— Bonjour, m'sieur-dame [1],— сказал он, бросив косой взгляд на девушку. Крейг подумал: «Умеют они, французы, одним взглядом раздеть женщину и при этом даже не изменить выражения лица». Понимая, какое впечатление мог произвести на официанта костюм девушки, он с трудом подавил в себе желание отчитать его за этот косой взгляд. Хотелось напрямик сказать: «Черт побери, неужели ты думаешь, что я не смог бы подыскать себе что-нибудь получше?»

— Я думал, только один завтрак,— сказал официант на плохом английском языке.

— Да, только один,— подтвердил Крейг.

— А вы бы раздобрились, мистер Крейг, и велели ему принести вторую чашку! — попросила девушка.

Крейг вздохнул.

— Вторую чашку, пожалуйста.— Всю жизнь он подчинялся правилам этикета, которым учила его мать.

Официант накрыл столик и поставил возле него два стула.

— Момент,— сказал он и пошел за второй чашкой.

— Садитесь, пожалуйста, мисс Маккиннон,— предложил Крейг, надеясь, что девушка поймет иронию, скрытую в его подчеркнутой корректности. Одной рукой он отодвинул для нее стул, а другой придерживал халат.

Все это явно забавляло ее. По крайней мере, насколько он мог судить по выражению ее лица от носа и ниже. Она опустилась на стул, а сумку поставила на пол рядом с собой.

— А теперь, если позволите, я пойду надену что-нибудь более подходящее.

Он взял со стола рукопись, сунул ее в ящик (смокинг и рубашку он решил не убирать) и, пройдя в спальню, плотно закрыл за собой

---

[1] Добрый день, мосье и мадам *(франц.)*.

дверь. Вытер голову, зачесал волосы назад, провел рукой по подбородку. Побриться? Нет, сойдет и так. Надел белую тенниску, синие бумажные брюки и сунул ноги в мокасины. Мельком взглянул на себя в зеркало. Плохо дело: белки глаз тусклые, цвета слоновой кости.

Когда он вернулся в гостиную, девушка разливала кофе.

Он молча выпил апельсиновый сок. Девушка вела себя так, словно и не собиралась уходить. «Со сколькими женщинами садился я завтракать в надежде, что они будут молчать»,— подумал он.

— Рогалик? — предложил Крейг.

— Нет, спасибо. Я уже ела сегодня.

Он занялся тостом, радуясь, что все зубы у него на месте.

— Вот это да! — сказала девушка.— Дружеская атмосфера, не правда ли? Гейл Маккиннон и мистер Джесс Крейг в минуту затишья в бешеном каннском водовороте.

— Итак...— начал он.

— Вы хотите сказать, что теперь я могу задавать вам вопросы?

— Нет. Я хочу сказать, что сам намерен задавать вам вопросы. Какого рода журналистикой вы занимаетесь?

— Я радиожурналистка. На договоре,— пояснила девушка, поднеся чашку ко рту.— Делаю пятиминутные репортажи для одного агентства, которое продает их частным радиостанциям в Америке.

— О чем репортажи?

— Об интересных людях. По крайней мере, о тех, кого мое агентство считает интересными.— Она говорила быстро, монотонно, словно ей надоели вопросы.— О кинозвездах, режиссерах, художниках, политических деятелях, уголовниках, атлетах, гонщиках, дипломатах, дезертирах, о тех, кто считает, что надо узаконить гомосексуализм и марихуану, о сыщиках, президентах колледжей... Назвать еще?

— Нет.— Крейг наблюдал, как она с видом хозяйки дома подливает ему кофе.— Вы сказали: на договоре. А чем вы еще занимаетесь?

— Потрошу души для больших журналов. Отчего вы сморщились?

— Потрошите души? — повторил он.

— Вы правы. Ужасный жаргон. С языка сорвалось. Больше не повторится.

— Значит, утро у вас не пропало даром,— заметил Крейг.

— Интервью вроде тех, что в «Плейбое» печатают. Или как у этой Фалаччи, в которую стреляли солдаты в Мексике.

— Я читал кое-что. Это она прикончила Феллини. И Хичкока тоже.

— А может, они сами себя прикончили?

— Это что — угроза?

— Если хотите.

Было в этой девушке что-то настораживающее. Ему стало казаться, что она от него ждет не просто интервью, а чего-то большего.

— Этот город,— сказал он,— наводнен сейчас ордами жаждущих рекламы людей, которым до смерти хочется дать интервью. И как раз о них ваши читатели, кто бы они ни были, мечтают что-нибудь узнать. Я же молчу уже не первый год. Почему вы пришли именно ко мне?

— Я объясню вам это как-нибудь в другой раз, мистер Крейг,— сказала она.— Когда мы лучше узнаем друг друга.

— Пять лет назад,— заметил он,— я давно бы уже вышвырнул вас из номера.

— Поэтому-то я и не пыталась бы интервьюировать вас пять лет назад.

Она улыбнулась и опять стала похожей на сову.

— Знаете что? Покажите-ка мне кое-что из ваших журнальных статей. Я прочитаю их и решу, стоит ли с вами иметь дело.

— Вот этого я не могу сделать,— сказала она.

— Почему?

— Ни одного интервью я еще не опубликовала.— Она фыркнула, словно была очень этим довольна.— Ваше будет первым в моей жизни.

— Ради бога, мисс, не задерживайте меня больше.— Он встал.

Она продолжала сидеть.

— Я буду задавать вам очаровательные вопросы, а вы дадите на них такие очаровательные ответы, что редакторы передерутся из-за моей статьи.

— Интервью окончено, мисс Маккиннон. Надеюсь, вам понравится на Лазурном берегу.

Она по-прежнему не двигалась.

— Это же будет вам только на пользу, мистер Крейг. Я могу вам помочь.

— Почему вы думаете, что я нуждаюсь в помощи?

— Вы ни разу за все эти годы не были на Каннском фестивале,— сказала девушка,— но выпускали одну картину за другой. А теперь, когда ваше имя с шестьдесят пятого года не появлялось на экране, вы приехали, поселились в шикарном «люксе», вас каждый день видят в Главном зале, на террасе, на званых вечерах. Значит, в этом году вам что-то понадобилось. И, что бы это ни было, большая, заметная статья о вас могла бы явиться именно тем, что вам нужно, чтобы добиться цели.

— Откуда вы знаете, что я впервые приехал на фестиваль?

— Я многое о вас знаю, мистер Крейг. Я основательно готовилась.

— Напрасно вы тратите время, мисс. Боюсь, что мне придется попросить вас выйти. У меня сегодня очень занятой день.

— Чем же вы будете так заняты? — Она с вызовом взяла рогалик и надкусила его.

— Буду валяться на пляже и слушать шум волн, что катятся к нам из Африки. Вот вам один из тех очаровательных ответов, какие я мог бы вам дать.

Девушка вздохнула, словно мать, выполняющая прихоть капризного ребенка.

— Ну, хорошо. Хоть это и не в моих правилах, но я дам вам кое-что почитать.— Она открыла сумку и вынула пачку желтой бумаги с машинописным текстом.— Вот,— сказала она, протягивая ему листки.

Он стоял, заложив руки за спину.

— Да перестаньте ребячиться, мистер Крейг,— резко сказала она.— Почитайте. Это о вас.

— Терпеть не могу читать что-нибудь о себе.

— Не лгите, мистер Крейг,— сказала она раздраженно.

— У вас оригинальный способ завоевывать симпатии тех, кого вы собираетесь интервьюировать, мисс.— Однако он взял листы и, не желая доставать очки, подошел к окну, к свету.

— Если я буду делать интервью для «Плейбоя»,— сказала девушка,— то текст, который у вас в руках, пойдет как вступление, а потом уже сами вопросы и ответы.

«Но девицы из «Плейбоя» предварительно хотя бы причесываются»,— подумал он.

— Не возражаете, если я налью себе еще кофе? — спросила она.

— Пожалуйста.

Послышалось тихое звяканье фарфора. Крейг начал читать.

«Для широкой публики,— прочитал он,— слово «продюсер» означает обычно нечто малосимпатичное. В ее представлении типичный кинопродюсер — это чаще всего полный джентльмен еврейской национальности с сигарой в зубах, странным лексиконом и неприятным пристрастием к молоденьким актрисам. Некоторые — таких незначительное меньшинство — под влиянием романтически-идеализированного образа покойного Ирвинга Талберга из незаконченного романа Ф. Скотта Фицджеральда «Последний магнат» представляют себе его как необыкновенно одаренную, таинственную личность, этакого великодушного Свенгали — полумага-полуполитика, удивительно напоминающего самого Ф. Скотта Фицджеральда в наиболее привлекательные моменты его жизни.

Распространенный образ театрального продюсера несколько менее красочен. Его реже представляют себе евреем или вульгарным человеком, но он не вызывает и всеобщего восхищения. Если он добивается успеха, то ему завидуют, как счастливчику, который, случайно взяв в руки пьесу, валявшуюся у него на письменном столе, сначала рыщет в поисках чужих денег для финансирования постановки, потом легко и свободно движется к славе и богатству, пользуясь талантом актеров и художников, чью работу он чаще всего портит, пытаясь приспособиться к интересам бродвейского рынка.

Как ни странно, в родственной сфере искусства, в балете, почетом пользуются те, кто его заслуживает. Дягилев, который, насколько известно, сам не танцевал, не был хореографом и не писал декораций, всюду признается великим новатором современного балета. Но хотя Голдвина (еврей, худой как щепка, сигар не курит), Занука (не еврей, курит сигареты, стройный), Селзника (еврей, крупный, курит сигареты) и Понти (итальянец, полный, сигар не курит) нельзя, наверное, отнести к разряду тех, кого журналы вроде «Комментари» и «Партизан ревью» называют зачинателями в искусстве, которому они служат, тем не менее в выпущенных ими фильмах четко выражена их индивидуальность, они воздействуют на образ мыслей и сознание зрителей всего мира и, безусловно, доказывают, что, посвящая себя данному роду деятельности, эти люди имели на вооружении нечто большее, чем удачу, деньги или покровительство влиятельных родственников».

«Что ж,— подумал он без особого восторга,— с грамматикой у нее все в порядке. Училась же она *где-нибудь*». Он еще не справился с раздражением, вызванным бесцеремонностью, с какой Гейл Маккиннон выбила его из утренней колеи, и тем более — с ее спокойной уверенностью в том, что он все равно покорно подчинится. Крейга так и подмывало отложить эти желтые странички в сторону и попросить ее выйти, но его тщеславие было задето и им владело желание узнать, какое место в этом списке героев занимает имя Джесса Крейга. Ему захотелось обернуться и окинуть ее более внимательным взглядом, но он сдержался и стал читать дальше:

«Сказанное выше находит еще большее подтверждение в американском театре. В двадцатые годы Лоуренс Лэнгнер и Терри Хелбёрн, основавшие «Гилд-тиэтр», открыли новые горизонты в драме и в сороковые годы, продолжая выступать в роли продюсеров, а не режиссеров или драматургов, создали «Оклахому» — спектакль, преобразивший музыкальную комедию, эту наиболее американскую из

театральных форм. Клэрмен, Страсберг и Кроуфорд, возглавлявшие «Групп-тиэтр», по праву считались режиссерами-постановщиками, однако главная их заслуга состояла в выборе острых проблемных пьес и системе обучения актеров искусству ансамблевой игры».

«А ведь она правду сказала,— подумал Крейг.— Она действительно хорошо подготовилась. Когда все это было, она еще и на свет не родилась». Он поднял голову.

— Можно задать вам вопрос?

— Конечно.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два,— сказала она.— Разве это имеет значение?

— Это всегда имеет значение.— Он с невольным уважением стал читать дальше:

«Нетрудно вспомнить и более свежие имена, но нет нужды искать новые подтверждения. Почти всегда находились люди, как бы они ни назывались, бравшие на себя роль собирателей талантов и устраивавшие фестивали, на которых Эсхил соперничал с Софоклом. Бэрбедж, например, возглавлял театр «Глобус», когда Шекспир принес ему почитать своего «Гамлета».

В этом длинном почетном списке стоит и имя Джесса Крейга».

«Ну, брат, держись,— подумал он.— Сейчас начнется».

«Джесс Крейг,— читал он,— впервые привлек к себе внимание в 1946 году— ему было тогда 24 года,— когда представил на суд зрителей «Пехотинца», одно из немногих драматических произведений о второй мировой войне, выдержавших испытание временем. В период с 1946 по 1965 год Крейг был продюсером еще десяти пьес и двенадцати фильмов, значительная часть которых имела и кассовый успех, и успех у критики. После 1965 года ни на сцене, ни на экране не появилось ни одной его новой работы».

Зазвонил телефон.

— Извините,— сказал он и взял трубку.— Крейг слушает.

— Я тебя разбудила?

— Нет.— Он с опаской взглянул на девушку. Та сгорбилась на стуле, нелепая в своей мешковатой бумажной рубашке.

— Как спалось? Снилась я тебе в сладострастных позах?

— Что-то не помню.

— Свинья. Развлекаешься там?

— Да.

— Свинья вдвойне,— сказала Констанс.— Ты один?

— Нет.

— Ага.

— Не то, что ты думаешь.

— Но разговаривать со мной ты все же не можешь.

— Не совсем. Как Париж?

— Духота. И французы, по обыкновению, несносны.

— Откуда ты звонишь?

— Из конторы.

Он представил себе ее контору — маленькую, тесную комнатушку на улице Марбёф, где всегда толкутся молодые люди и девушки, похожие скорее на гребцов, пересекающих Атлантику в лодках, чем на студентов-туристов, прибывших сюда на грузовых и пассажирских пароходах или на самолетах. Ее обязанностью было устраивать для них поездки по стране. Казалось, она доброжелательно относилась к каждому посетителю моложе тридцати лет, в каком бы виде он ни появился, и лишь после одной-двух затяжек марихуаной театрально вставала из-за стола и грозно показывала всем на дверь.

— Ты не боишься, что тебя подслушивают? — спросил он.

Временами на Констанс нападала подозрительность: ей чудилось, что к ее телефону подключаются то французские налоговые агенты, то американская служба по борьбе с наркотиками, то бывшие любовники — высокопоставленные дипломаты.

— Я же не говорю ничего такого, чего французы сами не знают. Они гордятся своей несносностью.

— Как твои дети?

— Нормально. Удачное сочетание — у одной характер ангельский, другой — совершенный чертенок.

Констанс была замужем дважды: один раз — за итальянцем, другой — за англичанином. Мальчик родился от итальянца; к одиннадцати годам его уже четыре раза выгоняли из школы.

— Джанни вчера опять отправили домой,— равнодушно сообщила Констанс.— Хотел устроить потасовку на уроке рисования.

— Ты уж скажешь, Констанс.— Крейг знал, что она склонна к преувеличениям.

— Ну, может, не потасовку. Кажется, он хотел выбросить из окна какую-то девочку в очках. Чего, говорит, она на меня все смотрит. В общем, ничего особенного. Через два дня он может вернуться в школу. А Филиппу, кажется, собираются премировать по окончании семестра «Критикой чистого разума». Они проверили ее «айкью»[1] и говорят, что она, наверное, станет президентом корпорации, выпускающей ЭВМ.

— Передай, что я привезу ей матросскую тельняшку.

— Прихвати заодно и мужчину, на которого она могла бы эту тельняшку надеть,— сказала Констанс. Она была убеждена, что ее дети, как и она сама, помешаны на сексе. Филиппе было девять лет. Крейгу казалось, что в этом возрасте его собственные дочери не сильно отличались от нее. Если не считать того, что она продолжает сидеть, когда входят взрослые, и употребляет иногда заимствованные из лексикона матери выражения, которых он предпочел бы не слышать.

— Как дела в Канне?

— О'кей.

Гейл Маккиннон предупредительно встала и вышла на балкон, но он был уверен, что она слышит все и оттуда.

— Да, вот что,— сказала Констанс.— Вчера вечером я замолвила за тебя словечко одному твоему старому знакомому.

— Спасибо. Это кому же?

— Я ужинала с Дэвидом Тейчменом. Он мне звонит всякий раз, когда заезжает в Париж.

— Как и тысячи других людей, которые звонят тебе всякий раз, когда заезжают в Париж.

— Не хочешь же ты, чтобы женщина ужинала одна, правда?

— Ни в коем случае.

— К тому же ему, наверно, лет сто уже. Едет в Канн. Говориг, что собирается основать новую компанию. Я сказала ему, что у тебя, возможно, что-нибудь для него найдется. Он будет тебе звонить. Не возражаешь? В худшем случае он безвреден.

— Если бы ты сказала это при нем, он умер бы от оскорбления. Дэвид Тейчмен больше двадцати лет терроризировал Голливуд.

— Да я и при нем не молчала.— Она вздохнула в трубку.— Скверное утро было у меня сегодня. Проснулась, протянула руку и сказала: «Черт бы его побрал».

— Почему?

---

[1] Intelligence quotient (сокращенно — IQ) — коэффициент умственного развития.

— Потому что тебя не было рядом. Скучаешь по мне?

— Да.

— Ты говоришь таким тоном, словно сидишь в полицейском участке.

— Что-то в этом роде.

— Не вешай трубку. Мне скучно. Вчера ты ел на ужин рыбу в белом вине?

— Нет.

— Ты по мне скучаешь?

— На это я уже ответил.

— Любая женщина скажет, что это очень сухой ответ.

— Я не хотел, чтобы это было воспринято именно так.

— Ты жалеешь, что я сейчас не с тобой?

— Да.

— Назови меня по имени.

— Сейчас я предпочел бы этого не делать.

— Как только повешу трубку, меня начнут мучить подозрения.

— Пусть они тебя не мучают.

— Напрасно я трачу деньги на этот разговор. Со страхом жду следующего утра.

— Почему?

— Потому что когда я проснусь и протяну руку, тебя опять не будет рядом.

— Не будь такой жадной.

— Да, я жадная женщина. Ну, ладно. Не знаю, кто там с тобой сейчас в номере, но ты мне звони, когда освободишься.

— Идет.

— Назови меня по имени.

— Несносная.

В трубке раздался смех, потом щелчок. Телефон умолк. Крейг положил трубку. Девушка вернулась с балкона.

— Надеюсь, мое присутствие не помешало вашему разговору?

— Нисколько.

— Вы заметно повеселели после этого звонка,— сказала девушка.

— Да? Я этого не чувствую.

— Вы всегда так отвечаете по телефону?

— То есть?

— «Крейг слушает».

Он задумался.

— Кажется, да. А что?

— Это звучит так... казенно. Вашим друзьям это нравится?

— Возможно, и нет,— сказал он,— только они ничего мне не говорили.

— Терпеть не могу официального тона,— сказала она.— Если бы мне пришлось работать в какой-нибудь конторе, я бы...— Она передернула плечами и села в кресло у столика.— Как вам понравилось то, что вы успели прочесть?

— С самого начала своей карьеры я взял за правило не делать выводов о деле, которое еще не закончено,— сказал он.

— Вы хотите читать дальше?

— Да.

— Я буду безмолвна, как звездная ночь.— Она села, откинулась на спинку стула и положила ногу на ногу. Ступни ног у нее оказались чистыми. Он вспомнил, сколько раз ему приходилось говорить своим дочерям, чтобы они сидели прямо, но они все равно сидели развалившись или сгорбившись. Такое поколение. Он взял желтые

листки, которые отложил перед тем, как подойти к телефону, и возобновил чтение:

«Это интервью Крейг дал Г. М. в своем «люксе» (сто долларов в сутки) в отеле «Карлтон» — розоватом, мишурно украшенном здании, где разместились знаменитости, приехавшие на Каннский кинофестиваль. Крейг — высокий, стройный, сухопарый, медлительный в движениях. Густые седеющие волосы небрежно зачесаны назад, на лбу — глубокие морщины. Глаза светло-серые, холодные, глубоко посаженные. Ему сорок восемь лет, и выглядит он не моложе. Бесстрастный взгляд, обычно полуопущенные веки. Производит впечатление часового, смотрящего вниз на поле битвы сквозь отверстие в крепостной стене. Голос хриплый, речь замедленная, следы его родного нью-йоркского выговора еще не окончательно стерлись. В обращении старомоден, сдержан, вежлив. Манера одеваться в сравнении с крикливо разодетой публикой этого городка (как женщинами, так и мужчинами) — консервативная. Его можно принять за гарвардского профессора литературы, проводящего летний отпуск в штате Мэн. Красивым его не назовешь — для этого у него слишком плоское и жесткое лицо, слишком тонкий и невыразительный рот. Среди знаменитостей, собравшихся в Канне, есть люди, которые когда-то работали либо у него, либо с ним; его тепло встречают всюду, где он появляется, и у него, по-видимому, много знакомых, но не друзей. В первые два вечера из трех, проведенных на фестивале, он ужинал в одиночестве. В каждом случае он выпивал три «Мартини» до еды и целую бутылку вина во время еды без каких-либо видимых признаков опьянения».

Крейг покачал головой и положил желтые листки на полку у окна. Три-четыре страницы текста остались непрочитанными.

— В чем дело? — спросила девушка. Она внимательно за ним наблюдала. Он чувствовал на себе ее пристальный взгляд сквозь темные очки и, читая, старался сохранить равнодушный вид.— Нашли какую-нибудь несуразность?

— Нет,— ответил он.— Нашел, что очень несимпатичный портрет вы нарисовали.

— Прочтите до конца. Дальше будет лучше.— Она встала и ссутулилась.— Я оставлю вам текст. Знаю, как трудно читать в присутствии автора.

— Лучше возьмите это с собой.— Крейг показал рукой на листки.— Я славлюсь тем, что теряю рукописи.

— Это не страшно,— сказала девушка.— У меня есть копия.

Снова зазвонил телефон. Он взял трубку.

— Крейг слушает.— Он взглянул на девушку и пожалел, что опять произнес эту фразу.

— Дружище,— сказал голос в трубке.

— Привет, Мэрф. Откуда звонишь?

— Из Лондона.

— Ну как там?

— Выдыхаются,— сказал Мэрфи.— Не пройдет и полгода, как они начнут превращать местные студии в откормочные пункты для черных ангусских быков. А у вас там как?

— Холодно и ветрено.

— Но все же лучше, наверное, чем здесь.— Мэрфи по обыкновению громко кричал, его было слышно во всех концах комнаты.— Мы передумали и летим завтра, а не на следующей неделе. Остановимся в «Отеле на мысу». Приходи завтра к нам на ленч, ладно?

— С удовольствием.

— Прекрасно,— сказал Мэрфи.— Соня тебе кланяется.

— А я ей,— сказал Крейг.

— О моем приезде никому не говори,— сказал Мэрфи.— Хочу несколько дней отдохнуть. Не для того я тороплюсь в Канн, чтобы по три раза в день болтать с этими слюнявыми итальянцами.

— На меня ты можешь положиться,— сказал Крейг.

— Я позвоню в гостиницу,— сказал Мэрфи,— и велю поставить вино на лед.

— А я сегодня дал зарок не пить,— сказал Крейг.

— Ни в коем случае, старина. Значит, до завтра.

— До завтра,— сказал Крейг, кладя трубку.

— Я невольно подслушала,— сказала девушка.— Это был ваш агент? Брайан Мэрфи?

— Откуда вы все знаете? — спросил Крейг. Голос его прозвучал резче, чем ему хотелось.

— Да все знают, кто такой Брайан Мэрфи,— сказала девушка.— Как вы думаете, он согласится поговорить со мной?

— Об этом вы его спросите, мисс,— сказал Крейг.— Не я его агент, а он — мой.

— Я думаю, согласится,— сказала она.— Разговаривал же он со всеми другими. Впрочем, не будем забегать вперед. Посмотрим, как все сложится. Хорошо бы мне часок-другой послушать ваш разговор с ним. В сущности, лучший способ сделать это интервью,— продолжала она,— это дать мне возможность потереться возле вас несколько дней. Побыть в роли молчаливой поклонницы. Вы можете представить меня как племянницу, секретаршу или как свою любовницу. Я надену платье. У меня прекрасная память, и, чтобы не смущать вас, я ничего не буду записывать. Буду только наблюдать и слушать.

— Прошу вас, мисс Маккиннон, не будьте так настойчивы,— сказал Крейг.— Я плохо спал ночью.

— Хорошо,— сказала она.— Больше я не буду вас сегодня беспокоить. Ухожу. Прочтите все, что я о вас написала, и подумайте.— Она повесила сумку на плечо. Движения ее были резкими, не девическими. Она уже не горбилась.— Я буду рядом. Везде. Куда бы вы ни пришли, вы увидите Гейл Маккиннон. Благодарю за кофе. Можете меня не провожать.

Прежде чем он успел что-нибудь возразить, она уже вышла.

2

Он медленно прошелся по комнате. Нет, это не для него. Такие номера предназначены для людей праздных, у которых по утрам только и забот что решать, пойти ли выкупаться и в каком ресторане сегодня пообедать. Он закупорил бутылку и поставил в шкафчик. Собрал в охапку свои вещи, прихватил недопитый запотевший стакан с виски, пошел в спальню и бросил одежду на кровать. Простыни и одеяла смешались — он беспокойно спит ночью. Вторая постель осталась нетронутой. Кто бы ни была та дама, для которой готовила ее горничная, дама эта провела ночь в другом месте. От этого в спальне было тоскливо и неуютно. Он прошел в ванную, вылил виски в раковину и смыл водой. Имитация порядка.

Потом он возвратился в гостиную, вынес столик с остатками завтрака в коридор и, войдя обратно в номер, запер за собой дверь.

На письменном столе лежала в беспорядке груда буклетов и ки-

нореклам. Он сгреб их и отправил в корзину для бумаг. Чьи-то надежды, ложь, галанты, алчность.

Письма, брошенные на столе, лежали рядом с рукописью мисс Маккиннон. Он решил заняться сначала письмами. Что поделаешь, прочесть-то их все равно надо и ответить — тоже. Он вскрыл конверт с письмом от бухгалтера. Начнем с самого неотложного. Главное — подоходный налог.

«Дорогой Джесс,— писал бухгалтер,— боюсь, что ревизия за 1966 год не пройдет гладко. Ваш налоговый инспектор, сволочь, пять раз заходил в контору. Это письмо пишу дома и печатаю на собственной машинке, дабы никто не снял с него копии, а Вам советую по прочтении сжечь.

Как Вы знаете, нам пришлось уклониться от проверки Ваших доходов за 1966 год в установленный срок; в том году Вы в последний раз заработали крупную сумму, и Брайан Мэрфи провел ее по книгам европейской компании, поскольку бо́льшая часть картины снималась во Франции. Все считали такую операцию правомерной, потому что деньги, которые Ваша компания занимала под будущие прибыли, рассматривались не как обычные доходы, а как прирост основного капитала. Так вот, департамент налогов и сборов оспаривает законность этой операции, а инспектор — настоящая ищейка.

Но дело в том (только пусть это останется между нами), что этот человек, по-моему, взяточник. Он дал мне понять, что если Вы сами свяжетесь с ним, то он оформит декларацию в лучшем виде. За вознаграждение. Намекнул, что восемь тысяч его бы устроили.

Вы знаете, что подобные сделки вообще не по мне. Да и Вы, как мне известно, никогда такими фокусами не занимались. Но я все же решил сообщить Вам, как складывается обстановка. Если захотите предпринять что-либо, то скорее приезжайте сюда и переговорите с этим прохвостом сами. И не посвящайте меня в этот разговор.

Мы могли бы обратиться в судебные инстанции и почти наверняка выиграли бы дело, ибо все тут честно и открыто, никакой суд не придерется. Но должен предупредить, что Ваши судебные издержки составили бы около 100 000 долларов. Кроме того, газеты, учитывая Вашу известность и Вашу репутацию, подняли бы шум и представили дело так, будто Вас судят за уклонение от уплаты налогов.

Мне кажется, мы сможем договориться с этим ублюдком и тогда отделаемся налогом в 60—75 тысяч. Так что мой Вам совет — пойти на переговоры и быстро все уладить. А убытки можно будет годика за два возместить.

Когда будете отвечать, пишите по моему домашнему адресу. Людей у меня в конторе много, и неизвестно, кому можно доверять. Не говоря уже о том, что и правительство не гнушается теперь вскрывать почту. С наилучшими пожеланиями — *Лестер*».

«Годика за два возместить,— подумал Крейг.— Видно, над Калифорнией сияет сейчас солнце».

Он разорвал письмо на мелкие части и бросил в корзину. Жечь его, как советовал бухгалтер, он не стал — слишком мелодраматично. Вряд ли департамент налогов и сборов пойдет на подкуп горничных Лазурного берега, чтобы они склеивали найденные в мусорных корзинах обрывки писем.

Патриот, участник войны, законопослушный налогоплательщик, он не желал думать, на что мистер Никсон, Пентагон, ФБР, конгресс употребят его шестьдесят — семьдесят тысяч долларов. Есть же какой-то предел нравственным мукам, которым может подвергать себя человек, находящийся, хотя бы теоретически, в отпуске. «Не отдать ли эту почту Гейл Маккиннон,— подумал он.— Пусть ознакомится. А читатели «Плейбоя» будут в восторге. Дягилев во власти почтовой марки».

Он потянулся было за письмом адвоката, но передумал. Взял со стола стопку листков, взвесил в руке, нерешительно подержал над корзиной, потом стал наугад перевертывать страницы. «*Ему сорок восемь лет, и выглядит он не моложе*»,— прочитал он. Как смотрит на сорокавосьмилетнего мужчину двадцатидвухлетняя девушка? Как на развалины? На стены Помпеи? На окопы Вердена? На Хиросиму?

Он сел за стол и стал читать с того места, на котором остановился, когда девушка вышла из номера. Посмотри, каким тебя видят люди.

«Существует мнение, что он не привык щадить ни себя, ни других,— читал он.— Поэтому в некоторых кругах за ним укрепилась репутация жестокого человека. У него много врагов, среди его бывших сотрудников есть люди, обвиняющие его в неверности. В подтверждение этого они указывают, что он никогда, за единственным исключением, не ставил более одной пьесы одного автора и, в отличие от других продюсеров, не имеет списка любимых актеров. Примечательно, что когда два его последних фильма провалились (общий убыток оценивается в восемь с лишним миллионов долларов), его коллеги по кинематографу, в сущности, не выразили ему никакого сочувствия».

«Вот сука,— подумал он.— Откуда она все это узнала?» В отличие от большинства журналистов, которые приходили к нему брать интервью, не прочитав предварительно ничего, кроме рекламных материалов, распространяемых студией, эта особа оказалась хорошо подготовленной. И недоброжелательной. Он пропустил две страницы, бросил их на пол и стал читать дальше:

«Однажды ему предложили высший пост в одной из известнейших киностудий. Говорят, что он ответил отказом, послав лаконичную телеграмму: «С тонущего корабля уже сбежал. *Крейг*».

Такое поведение объясняется, очевидно, тем, что он богат,— во всяком случае, он должен быть богат, если разумно распорядился заработанными деньгами. Один режиссер, с которым Крейг сотрудничал, объяснял это по-своему: «Просто он упрямый сукин сын, вот и все». А актриса Моника Браунинг в интервью заявила: «Никакой тайны тут нет. Джесс Крейг — это самый обычный случай, когда милый человек одержим манией величия собственного изобретения».

«Неплохо бы все же выпить»,— подумал Крейг. Он взглянул на часы: двадцать пять одиннадцатого. «Всего лишь двадцать пять одиннадцатого»,— подумал он. Он достал бутылку, сходил в ванную, налил в стакан виски, добавил из крана воды и, сделав глоток, вернулся в гостиную.

Держа стакан в руке, он продолжал читать:

«Крейга дважды приглашали в Канн членом жюри. Оба раза он отклонял приглашение. Когда стало известно, что в этом году он заказал себе абонемент на весь период фестиваля, то многих это удивило. В течение пяти лет, с тех пор как провалился его последний фильм, он держался в стороне от Голливуда и лишь изредка появлялся в Нью-Йорке. Контору свою он не закрыл, однако о своих планах ничего не сообщает. В последние годы значительную часть

времени проводит в непрерывных поездках по Европе. Причины его самоотстранения неясны. Недоволен собой? Разочарован? Устал? Решил, что поработал достаточно и пришло время насладиться плодами трудов своих в спокойной обстановке, там, где нет ни друзей, ни врагов? Или просто сдали нервы? А может быть, этот человек приехал в Канн морально опустошенным, может быть, его привела сюда ностальгия и ему захотелось окунуться в атмосферу, которая постоянно напоминала бы ему о прошлом, когда и он был полон энергии? Или, собравшись с силами, решил предпринять еще одну попытку добиться успеха?

Впрочем, может ли сам Крейг, поселившийся в дорогом «люксе» на берегу Средиземного моря, ответить на эти вопросы?»

Машинописный текст оборвался на середине страницы. Крейг положил листки на полку текстом вниз и снова отпил из стакана. Черт побери, ей всего двадцать два года.

Он вышел на балкон. Выглянуло солнце, но ветер дул по-прежнему сильный. Никто уже не купался. Толстая дама исчезла. Или в море унесло, или отправилась в парикмахерскую делать себе прическу. Внизу, на террасе, за столиками уже сидели посетители. Крейг разглядел плохо расчесанные каштановые волосы Гейл Маккиннон, ее свободно болтающуюся рубашку и джинсы. Она читала газету, перед ней стояла бутылочка кока-колы. Он видел, как к столику подошел мужчина и сел напротив нее. Она отложила газету. Крейг стоял слишком высоко над ними и не слышал, что она сказала.

— Я была у него,— сказала она мужчине.— Он клюнет. Попался, старый ублюдок.

3

Он сел. Зрительный зал быстро заполнялся. Публика была молодая: длинноволосые бородатые парни с индейской повязкой на голове и сопровождающие их босоногие девицы в кожаных куртках с бахромой и длинных пестрых юбках. Вот такие же толкутся у Констанс в конторе. В то утро в программе был «Вудсток» — американский документальный фильм о фестивале рок-музыки, поэтому город был наводнен поклонниками рока, одетыми соответственно случаю. Крейг спросил себя: как одевались бы эти люди в его возрасте? Сам он, будучи в *их* возрасте, радовался тому, что мог сменить военную форму на серый костюм.

Он надел очки и развернул «Нис-матэн». Фильм шел три с половиной часа, поэтому сеанс начинался в девять утра, и Крейг, проснувшийся поздно, не успел ни позавтракать, ни просмотреть газету.

При неярком розоватом свете ламп он взглянул на первую страницу газеты. В Кенте, штат Огайо, солдаты национальной гвардии застрелили четверых студентов. В зоне Суэцкого канала продолжают убивать, как обычно. Положение в Камбодже неясно. Ракета, запущенная с французского корабля, вышла из-под контроля, повернула в сторону суши и взорвалась в районе Лаванду, недалеко от берега, разрушив несколько вилл. Мэры прилегающих городов протестуют, указывая с достаточным основанием, что подобные просчеты военных наносят ущерб *le tourisme* [1]. Французский кинорежиссер объяс-

[1] Туризму *(франц.)*.

нял в интервью, почему он не желает представлять свои фильмы на фестиваль.

Кто-то сказал «pardon», и Крейг встал, не отрывая глаз от газеты. Мимо него проскользнула, шурша длинной юбкой, какая-то фигура и опустилась в свободное кресло. На него повеяло легким запахом мыла, в котором было что-то детское.

— Доброе утро,— сказала девушка.

Он узнал темные очки, закрывавшие большую часть ее лица. Голова девушки была повязана узорчатым шелковым платком. Он пожалел, что не успел побриться.

— Все время мы оказываемся вместе,— засмеялась девушка.— Удивительно, правда?

— Удивительно,— согласился он. Сегодня у нее не только наряд, но и голос другой — мягче, без нажима.

— Я и вчера была там же, где вы.

— Я не видел вас.

— Так все говорят.— Девушка посмотрела на программу.— Хотелось ли вам когда-нибудь снять документальный фильм?

— Как всякому.

— Говорят, сегодня будет чудовищный фильм.

— Кто говорит?

— Вообще говорят.— Она разжала пальцы, и программа упала на пол.— Вы видели материал, который я вам послала?

— Я даже завтрак не успел себе заказать.

— Люблю ходить в кино в девять утра,— сказала она.— В этом есть что-то извращенное. В большом манильском конверте — дальнейшие размышления о Джессе Крейге. Взгляните, когда будет время.— Она захлопала в ладоши. В проходе, перед сценой, стоял рослый бородатый молодой человек. Он поднял руку, требуя тишины.— Это режиссер,— сообщила она.

— Вы видели его другие фильмы?

— Нет.— Она энергично аплодировала.— Я всегда болею за режиссеров.

У режиссера на руке была черная повязка. Он начал свою речь с того, что призвал присутствующих надеть траур по четверым студентам, убитым в Кенте, а в конце объявил, что посвящает свой фильм памяти погибших.

Крейг не сомневался в искренности молодого человека, но речь его, как и эта траурная повязка, вызвала у него смутное чувство неловкости. Возможно, где-нибудь в другом месте он и был бы растроган. Конечно, гибель четверых юношей опечалила его не меньше, чем всех остальных. В конце концов, он сам отец двоих детей, которые могли бы стать жертвами такого же побоища. Но здесь, в роскошном позолоченном зале, где праздная публика собралась посмотреть развлекательный фильм... Крейг не мог избавиться от ощущения, что жест этот продиктован не скорбью, а желанием продать товар подороже.

— Вы наденете траур? — прошептала девушка.

— Вряд ли.

— Я тоже. Не воздаю почестей мертвым.— Она выпрямилась в кресле и сидела в настороженной позе, довольная собой. Он сделал вид, что не замечает ее близкого соседства.

Когда в зале погасли огни и начался фильм, Крейг постарался подавить в себе предубеждение. Он понимал, что его неприязнь к бородам и длинным волосам смешна, она вызвана лишь тем, что он рос и воспитывался в иное время и привык к другим модам. В худшем случае эта манера одеваться негигиенична, мода же приходит

и уходит. Достаточно полистать какой-нибудь старый семейный альбом, чтобы убедиться, сколь нелепыми представляются взору современного человека наряды, некогда считавшиеся самыми что ни на есть консервативными. Отец Крейга — его фотографию он помнит до сих пор — на пляже появлялся в выходные дни в гольфах.

Ему сказали, что в картине «Вудсток» слово принадлежит молодежи. Что же, если так, то он готов слушать.

Он смотрел с интересом. Ему сразу стало ясно, что человек, сделавший фильм, обладает незаурядным талантом. Будучи сам профессионалом, Крейг ценил профессионализм в других. Фильм был снят и смонтирован без тени дилетантства или пустой развлекательности. Во всем чувствовалась серьезная работа мысли, на всем — следы кропотливого труда. И в то же время зрелище четырехсот тысяч людей, собравшихся в одном месте, кто бы они ни были, где и для какой бы цели ни собрались, вызывало в нем неприятное чувство. Чем дальше, тем больше его удручало упорное и бесконечное повторение кадров, изображавших дикие оргии. И музыка и исполнение, не считая двух песен, спетых Джоан Баэз, показались ему грубыми, однообразными и невыносимо громкими, как будто шепот или даже нормальная человеческая речь выпали из голосового диапазона молодых американцев. Он воспринимал этот фильм как непрекращающуюся вакханалию звуков без кульминации и разрядки. Когда в кадре появились парень и девушка, которые занимались любовью, не обращая внимания на объектив кинокамеры, он отвел глаза в сторону.

Не веря своим ушам, он слушал, как один из исполнителей, подобно старшему в группе болельщиков на футбольном матче, выкрикивал: «Скажите «эф»!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Эф!» «Скажите «ю»!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Ю!» «Скажите «си»!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Си!» «Скажите «кей»!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Кей!» «Что получилось?» — спросил человек голосом, многократно усиленным благодаря мегафону.

В ответ прозвучало похабное слово — хрипло и раскатисто, как на каком-нибудь нюрнбергском сборище. И дикие одобрительные возгласы. Зрители, сидевшие в зале, зааплодировали. Крейг покосился на соседку — та спокойно сидела, руки ее неподвижно лежали на коленях. Она оказалась лучше, чем он думал.

Он смирно сидел в кресле, но на экран уже почти не смотрел. Кто может объяснить значение слова, вылетевшего из стольких тысяч глоток? Слово как слово, ему тоже случается изредка употреблять его. Само по себе оно не безобразно и не красиво и от столь частого употребления почти утратило первоначальный смысл. Теперь оно обрело так много новых значений, что уже не вызывает прежних ассоциаций. Выкрикнутое голосами молодых участников этого гигантского хора, оно прозвучало как простая издевка, как лозунг, оружие, знамя, под которым пройдут полчища разрушителей. «Надеюсь,— подумал Крейг,— что отцы четверых убитых кентских студентов никогда не увидят «Вудстока» и никогда не узнают, что в произведении искусства, посвященном их покойным детям, есть эпизод, в котором около полумиллиона юношей и девушек почтили память своих сверстников похабным словом».

До конца фильма оставалось около часа, но Крейг уже покинул зал. Девушка, казалось, не заметила его ухода.

Над синим морем светило солнце, перед фасадом кинотеатра плескались на мачтах яркие флаги стран — участниц фестиваля. Да-

же поток машин на прибрежном шоссе и толпы людей на тротуарах и на бульваре Круазетт не нарушали благословенной тишины. Пусть хоть сегодня Канн помнит, что он должен быть похожим на одно из полотен Дюфи.

Крейг спустился вниз, к пляжу, и зашагал по краю берега — одинокий человек, сам по себе.

Он вернулся в номер побриться. В почтовом ящике лежал большой манильский конверт, на котором косым четким женским почерком было начертано его имя, и письмо от дочери Энн, проштемпелеванное в Сан-Франциско.

Он бросил конверты на стол, прошел в ванную и тщательно побрился. Чувствуя приятное пощипывание после лосьона, он вернулся в гостиную и вскрыл конверт Гейл Маккиннон.

На стопке желтых листков с машинописным текстом лежала записка.

«Уважаемый мистер Крейг,— прочитал он,— пишу Вам поздно ночью в своем номере и все думаю: за что Вы меня так невзлюбили? В моей жизни еще не было случая, чтобы кто-то не хотел встретиться со мной, но весь сегодняшний вечер, сколько я ни смотрела в Вашу сторону — на пляже или на ленче, в фойе фестивального зала, в баре или на приеме,— всякий раз у меня возникало чувство, будто я злая фея, готовая разнести этот город. За свою жизнь Вы, конечно, дали сотни интервью, причем людям, которые, я уверена, гораздо глупее меня, к тому же среди них было немало Ваших врагов. Почему же мне Вы отказываете?

Ну, что ж. Если Вы не желаете со мной разговаривать, то найдется немало, кто согласится: времени даром я не теряла. Если я не смогу нарисовать портрет человека с натуры, то покажу, каким его видят десятки других людей. И если портрет не доставит ему большого удовольствия, то пусть он пеняет на себя, а не на меня».

«Обычный репортерский прием,— подумал Крейг.— Если ты не скажешь мне правды, то пусть твой враг скажет мне ложь. Вероятно, этому учат уже на первых курсах всех школ журналистики».

«Очень может быть,— читал он дальше,— что я напишу статью по-другому. Я уподоблюсь ученому, который наблюдает за диким животным в естественных условиях. Издали, незаметно, с помощью оптических приборов. *У этого животного хорошо развито чувство дистанции, оно остерегается людей, употребляет крепкие напитки, обладает слабым инстинктом самосохранения, часто спаривается с самыми привлекательными самками стада*». Он засмеялся. С такой женщиной бороться трудно.

«Я выжидаю,— заканчивалась записка.— И не отчаиваюсь. Прилагаю еще кое-какие бредни на ту же тему. Старалась печатать аккуратно. Уже четыре часа утра, я понесу эти листки по опасным темным улицам приморской Гоморры в Ваш отель, посеребрю ручку портье, так что первое, что Вы увидите, проснувшись утром, будет имя Гейл Маккиннон».

Он отложил записку и, не взглянув на желтые листки, взял письмо дочери. Всякий раз, беря в руки письмо одной из своих дочерей, он вспоминал ужасное признание дочери Скотта Фицджеральда: где-то она писала, что в бытность свою студенткой, получив от отца письмо, вскрывала конверт и трясла его в надежде, что на

стол выпадет чек; само же письмо совала непрочитанным в ящик стола.

Он распечатал письмо. Это самое меньшее, что может сделать отец.

«Дорогой папа! — прочел он. Энн писала неразборчивым ученическим почерком.— Сан-Франциско — город Уныния. Наш колледж скоро закроют, и это все равно что война. Везде одни гунны. По обе стороны. Здесь весна — время Булавы. Каждый назойливо твердит, что прав только он. Насколько я понимаю, наши чернокожие друзья хотят, чтобы я изучала не поэтов-романтиков, а танцы африканских племен и обряд обрезания молодых леди. Потому что, видишь ли, поэты-романтики несозвучны эпохе. Все профессора плохие, чью бы сторону они ни приняли. Всякий, кто учится,— обыватель и пижон. Я уже не затрудняю себя посещением колледжа. Придешь, а тебя там обступят двадцать человек, и у каждого своя причина требовать, чтобы ты легла своим чистым белым телом на алтарь Джаггернаута [1]. Что бы ты ни делала, ты предаешь свое поколение. Если ты не считаешь Джерри Рубина лучшим представителем мужской части американской молодежи, значит, твой отец — либо президент банка, либо — тайный агент ЦРУ, либо, упаси бог — Ричард Никсон. А я вот возьму да запишусь сразу и в «Черные пантеры», и в общество Джона Берча. Пусть тогда знают. Перефразируя известного писателя: ни студент, ни полицейский.

Знаю, я сама хотела ехать учиться в Сан-Франциско, потому что после нескольких лет занятий в швейцарской школе один ненормальный сверхпатриот убедил меня в том, что я теряю свою принадлежность к Америке (что бы эта «принадлежность» ни значила) и что именно в Сан-Франциско делают настоящие дела. Этим летом я собиралась работать официанткой на озере Тахо — посмотреть, как живет другая половина человечества. Но теперь мне уже наплевать, как она там живет,— хотя понимаю, что это ненадолго. Стыдно признаться, как недолговечны почти все мои идеи — большей частью они не дотягивают до ленча. А американкой я с божьей помощью останусь, сколько бы ни прожила на свете. Чего бы я хотела (если это не слишком тебя обременит), так это — сесть в самолет и махнуть на лето в Европу: пусть они, пока меня нет, к началу осеннего семестра наведут порядок в колледже.

Если я действительно приеду в Европу, то мне хотелось бы по возможности избежать встречи с матерью. Полагаю, ты знаешь, что она сейчас в Женеве. Она пишет мне ужасные письма. Говорит, что ты невозможный человек, что хочешь погубить ее, что ведешь распутную жизнь, что у тебя климакс, и уж не помню, что еще. С тех пор как она узнала, что я употребляю пилюли[2], она относится ко мне так, словно я — Фэнни Хилл или одна из героинь маркиза де Сада, и если я выберусь к ней, то вечера на берегах Женевского озера будут для меня очень тягостными.

Твоя любимая дочь Марша изредка пишет мне из Аризоны. Говорит, что ей там очень хорошо, только веса сбавить не может. Никакие новые веяния до Аризонского университета явно не доходят, жизнь там до сих пор похожа на те старые мюзик-

[1] Культовое имя индусского бога Вишну, якобы избавляющего от греха.

[2] Противозачаточное средство.

лы о студентах с их детскими шалостями и драками подушками, что показывают по телевизору в «Программах для полуночников». А вес она набирает будто бы оттого, что вынуждена много есть, поскольку разбит наш счастливый семейный очаг. И здесь — Фрейд, он проник даже в кафе-мороженое.

Вижу, что письмо получилось очень веселое, но мне, папа, совсем не смешно. Целую. *Энн*».

Крейг вздохнул и положил письмо на стол. «Уеду куда-нибудь, где нет ни адреса, ни почты, ни телефона»,— подумал он. Интересно, какими показались бы ему сейчас письма, которые он посылал во время войны своим родителям. Но он их все сжег после смерти матери, когда обнаружил аккуратно связанными в ее шкатулке.

Он взял желтые листки Гейл Маккиннон. Уж читать так читать все сразу, пока не начался день.

Он вышел на балкон, на солнце, и уселся в кресло. Даже если его каннская вылазка окажется бесполезной, загар-то все равно останется. Он начал читать:

«Далее: держится официально, не терпит фамильярности. Несколько старомодный смокинг, в котором он появился после вечернего просмотра на приеме в бальном зале возле Зимнего казино, придавал ему чопорный, отчужденный вид. В разгоряченной атмосфере зала, где преувеличенное выражение товарищеских чувств является правилом игры, где мужчины обнимают, а женщины целуют людей, с которыми едва знакомы, его корректность может произвести неприятное впечатление. Он ни с кем не разговаривал дольше пяти минут и непрерывно ходил по залу, но не суетливо, а с холодным достоинством. На приеме было много красивых женщин и среди них — по крайней мере две, с которыми когда-то было связано его имя. Обе эти дамы, великолепно одетые и дивно причесанные, очень хотели (так, по крайней мере, показалось автору этих строк) удержать его при себе, но он и им уделил только по пять протокольных минут и продолжал ходить по залу».

«*Связано,*— сердито подумал он.— «*С которыми когда-то было связано его имя*». Кто-то снабжает ее сведениями. Из тех, что хорошо меня знают и не относятся к числу моих друзей». Крейг видел Гейл Маккиннон на приеме в другом конце зала и кивнул ей головой. Но он не заметил, что она ходила за ним по пятам.

«То, что он не поступил в колледж, объяснялось не материальным положением семьи Крейгов, ибо обеспечена она была сравнительно неплохо. Отец Крейга, Филип, до самой смерти, то есть до 1946 года, был казначеем в ряде бродвейских театров, и хотя кризис 1929—1930 годов, несомненно, неблагоприятно сказался на его финансовом положении, он тем не менее имел возможность послать своего единственного сына в колледж. Но Крейг вскоре после Пирл-Харбора предпочел пойти на военную службу. В армии он прослужил почти пять лет, дойдя до чина техника-сержанта, однако никаких наград, кроме нашивок участника войны, не удостоился».

В этом месте стояла звездочка, обозначавшая сноску. Внизу, подле другой звездочки, он прочитал: «Уважаемый м-р Крейг, все это ужасно скучно, но поскольку Вы еще не раскрылись, все, что мне остается, это накапливать факты. Когда придет время свести их воедино, я подвергну материал беспощадной обработке, чтобы читатель не заснул».

Крейг снова обратился к основному тексту:

«Ему повезло: с войны он вернулся невредимый; более того, у него в вещевом мешке лежала рукопись пьесы молодого солдата Эдварда Бреннера, которую он через год после демобилизации представил на суд зрителей, дав спектаклю название «Пехотинец». Теат-

ральные связи Крейга-старшего, разумеется, немало помогли этому очень молодому и совершенно неизвестному тогда новичку успешно справиться с такой трудной задачей.

В последующие годы на Бродвее были поставлены еще две пьесы Бреннера, и обе они с треском провалились. Продюсером одной из них был Крейг. С тех пор Бреннер совершенно исчез из поля зрения».

«Из твоего, барышня, поля зрения, возможно,— подумал Крейг.— Но не из его собственного и не из моего. Если бывший молодой солдат прочтет вот это, то напомнит мне о себе».

«По поводу того, что он редко сотрудничает с писателями больше одного раза, говорят, что как-то он в доверительной беседе сказал: «В литературных кругах распространено мнение, что любой человек несет в себе по крайней мере один роман. Сомневаюсь. Я знаю нескольких мужчин и женщин, которые действительно несут в себе роман, но громадное большинство людей, которых я встречал, носят в себе, может быть, только одну фразу или, в лучшем случае, рассказ».

«Где это она слыхала, черт побери?» — подумал он с раздражением. Кажется, что-то в этом роде он действительно сказал (это была язвительная шутка, рассчитанная на то, чтобы отбрить надоевшего собеседника), хотя и не мог вспомнить, где и когда. Но пусть даже сам он только наполовину верил тому, что сказал, слова эти, будь они опубликованы, отнюдь не укрепили бы за ним репутацию благожелательного человека.

«Она меня подстрекает,— подумал он,— эта сучка хочет вынудить меня на разговор, на сделку, хочет получить взятку за то, чтобы не взорвалась противопехотная мина».

«Интересно было бы,— говорилось далее в тексте,— попросить Джесса Крейга составить список людей, с которыми он работал, и разбить их сообразно указанным выше категориям. Вот эти — стоят романа. Эти — рассказа. Эти — абзаца. Эти — фразы. Эти — запятой. Если мне доведется побеседовать с ним еще раз, я попробую уговорить его дать мне такой список».

«Она жаждет крови,— подумал он.— Моей крови».

Нижняя половина страницы была исписана от руки.

«Уважаемый м-р К., время позднее, я падаю от усталости. Материала на несколько томов, но на сегодня хватит. Если пожелаете прокомментировать то, что уже прочли, я в Вашем полном распоряжении. Ждите очередного выпуска. Ваша Г. М.».

Первым его побуждением было скомкать листки и бросить их с балкона на улицу. Но он благоразумно сдержался. Она же сказала, что оставила себе копию. Следующий выпуск тоже будет с копией. И так далее.

В заливе снимался с якоря пассажирский пароход. Крейгу вдруг захотелось собрать вещи и уплыть на нем все равно куда. Но и это не поможет. В ближайшем порту она наверняка снова появится — с пишущей машинкой в руке.

Он вошел в гостиную и бросил желтые листки на стол. Посмотрел на часы. На ленч к Мэрфи еще рано. Вспомнил, что вчера обещал позвонить Констанс. Та говорила, что хочет знать о каждом его шаге. Он и в Канн-то приехал отчасти благодаря ей. «Съезди туда,— сказала она.— Попробуй, может, что и выгорит. Лучше узнать сейчас, чем откладывать». Она не из тех женщин, что любят откладывать дела в долгий ящик.

Он прошел в спальню и заказал разговор с Парижем. Прилег на незастеленную кровать и, пока не зазвонил телефон, попробовал задремать. Он много выпил вчера и ночью плохо спал.

Он закрыл глаза, но сон не шел к нему. Тысячекратно усиленные

звуки электрогитар, которые он только что слышал в кино, отдавались эхом в ушах, перед глазами, прикрытыми веками, в экстазе извивались человеческие тела. «Если она у себя,— подумал он,— то я скажу ей, что сегодня же, к концу дня, прилечу к ней в Париж».

Они познакомились на приеме, устроенном для сбора средств в фонд Бобби Кеннеди, когда тот приезжал в 1968 году в Париж. Сам он числился в списках избирателей в Нью-Йорке, но его прихватил с собой один парижский знакомый. На приеме собралась солидная публика, она задавала умные вопросы двум красноречивым высокопоставленным джентльменам, прилетевшим из Соединенных Штатов просить американцев, большинство которых было лишено возможности голосовать, оказать их кандидату финансовую и моральную поддержку. Крейг не разделял восторженных чувств присутствующих в зале, но все же выписал чек на пятьсот долларов. Его немного забавляло то, что он помогает деньгами одному из членов семейства Кеннеди. Пока в просторном красивом салоне, увешанном темными абстрактными полотнами, которые — он это предчувствовал — скоро будут распроданы со значительным убытком для хозяев дома, шла оживленная дискуссия, он отправился в пустую столовую, где был бар.

Он наливал себе виски, когда к бару следом за ним подошла Констанс. Он чувствовал на себе ее пристальные взгляды еще в зале, когда там произносили речи. Это была женщина поразительной внешности — с мертвенно-бледным лицом, широко поставленными зеленоватыми глазами и блестящими черными волосами, не по моде остриженными. Впрочем, слова «не по моде» можно было отнести к кому угодно, только не к ней. Она была в коротком желтовато-зеленом платье, открывавшем ослепительной красоты ноги.

«Вы не дадите мне выпить? — попросила она.— Меня зовут Констанс Добсон. Я вас знаю. Джина с тоником. И льда побольше». Она говорила быстро, отрывисто, сипловатым голосом.

Он приготовил то, что она просила.

«Зачем вы здесь? — спросила она, отпивая из стакана.— Вы похожи больше на республиканца, чем на демократа».

«Я всегда за границей стараюсь быть похожим на республиканца. Это действует на туземцев успокаивающе».

Она засмеялась. Смех у нее был громкий и до вульгарности грубый, так не шедший к ее изящной, стройной фигуре. Разговаривая с ним, она играла длинной золотой цепочкой, свисавшей до самого пояса. Он обратил внимание на ее девичью высокую грудь. Трудно было сказать, сколько ей лет.

«Вы, по-моему, не такого высокого мнения об этом кандидате, как все остальные»,— сказала она.

«Я заметил в нем черты жестокости,— ответил Крейг.— Не могу относиться с симпатией к жестоким лидерам».

«Но я видела, как вы подписывали чек».

«Говорят, что политика — это умение использовать возможности. Вы тоже, я заметил, подписывали чек».

«Бравада,— сказала она.— Вообще-то я едва свожу концы с концами. Дело в том, что он популярен среди молодежи. Возможно, не случайно».

«Что ж, в этом тоже есть резон»,— согласился он.

«Вы живете не в Париже?»

«В Нью-Йорке,— сказал он,— если вообще где-то живу. Я здесь проездом».

«Надолго?» — Она пристально смотрела на него поверх стакана.

Он пожал плечами.

«Еще не знаю».

«А я ведь пошла сюда за вами».

«Да?»

«Вы же знаете, что за вами».

«Да».— Он с удивлением почувствовал, что слегка краснеет.

«У вас задумчивое лицо. Скрытый огонь.— Она засмеялась, в ее удивительно низком голосе звучали волнующие нотки.— И красивые широкие худые плечи. Кроме вас, я знаю тут всех. Случалось ли вам, войдя в какой-нибудь зал и осмотревшись вокруг, подумать: «Господи, да я же всех тут знаю!» Понимаете?»

«Кажется, да».

Она стояла совсем близко. От нее сильно пахло духами, но запах был свежий, терпкий.

«Хотите поцеловать меня сейчас или будете ждать другого случая?» — спросила она.

Он поцеловал ее. Уже более двух лет он не целовал женщин. Ощущение было приятное.

«Мой телефон узнаешь у Сэма,— сказала она. Сэм был приятелем Крейга, который привел его на прием.— Позвони, когда снова будешь в Париже. Если хочешь. Сейчас я занята. Но скоро я с этим человеком развяжусь. Ну, мне пора. У меня дома ребенок болен».

Зеленое платье исчезло в комнате, где лежали сваленные в кучу пальто.

Оставшись один у бара, он налил себе еще виски. На губах оставалось ощущение ее поцелуя, в воздухе витал терпкий запах духов.

Возвращаясь со своим приятелем Сэмом домой, Крейг взял у него ее телефон и осторожно поинтересовался, что она за женщина. Об эпизоде в столовой он не стал рассказывать в подробностях.

«Смерть мужчинам,— сказал Сэм.— Но не лишена великодушия. Лучшая американка в Париже. Работа у нее непонятная, возится с какими-то юнцами. Видел ты у кого-нибудь еще такие ноги?» Сэм — адвокат, человек основательный — не был склонен к преувеличениям.

В следующий свой приезд в Париж — это было после убийства Бобби Кеннеди и окончания выборов — он позвонил по телефону, который дал ему Сэм.

«Помню, помню,— сказала она.— С тем парнем я уже развязалась».

Вечером он пригласил ее ужинать и с тех пор встречался с ней всякий раз, когда бывал в Париже.

Эта красавица была родом из Техаса. Высокая, стройная, своенравная, с темными волосами и гордо вскинутой маленькой головкой, она покорила сначала Нью-Йорк, потом Париж. Когда она появлялась на людях, то, казалось, самим своим присутствием спрашивала: «Милые мужчины, зачем вы здесь, стóите ли вы того, чтоб я тратила на вас время?»

Она помогла ему увидеть Париж во всем его блеске. Это был ее город, она ходила по нему радостная, гордая, озорная, ее прелестные ноги делали парижские мостовые еще праздничнее. Вспыльчивая, несдержанная, она умела показать и коготки. От нее нельзя было так просто отмахнуться. В том, что касалось работы — своей и чужой,— она была пуританкой. Яростно отстаивая собственную независимость, она ненавидела бездеятельность и паразитизм других. В Париж она приехала манекенщицей; это произошло, как она выразилась, во второй половине царствования Карла Великого. Хоть она и не имела образования, но была удивительно начитанна. Никто не знал, сколько ей

лет. Она была замужем дважды. «Приблизительно»,— шутила она. Как мужья, так и сожители уходили, оставляя ее без гроша. Но она не помнила зла. Устав работать манекенщицей, она учредила вместе с одним профессором Мэнского университета бюро обмена студентами. «Ребята должны лучше знать друг друга,— говорила она.— Может, тогда их уже нельзя будет заставить убивать людей». Ее любимый брат, гораздо старше ее, погиб в Аахене, и она была страстной противницей войны. Читая сообщения из Вьетнама, особенно если вести были дурные, она разражалась солдатской бранью и грозила уехать с сыном куда-нибудь в южную часть Тихого океана.

В первый вечер знакомства с Крейгом она сказала, что едва сводит концы с концами, и это была правда; тем не менее одевалась она богато. Парижские портные давали ей напрокат платья, зная, что там, куда ее приглашают, ни она, ни ее наряды не останутся незамеченными. Где бы она ни провела ночь, ровно в семь утра она вставала, ехала домой, кормила детей завтраком и отправляла их в школу. А ровно в девять сидела за своим рабочим столом. Хотя Крейг и снимал «люкс» в отеле, его настоящим парижским адресом была широкая кровать в ее комнате с окнами в сторону сада на Левом берегу. Ее дети полюбили его. «Они привыкли к мужчинам»,— объясняла она. Какие бы нравственные нормы ни прививали ей в Техасе, она их переросла и пренебрегала условностями парижского общества или обществ, которые украшала своим присутствием.

Прямая, смешливая, требовательная, непоследовательная, восхитительно чувственная, ласковая, нетерпеливая и предприимчивая, она становилась серьезной лишь тогда, когда этого требовала обстановка. До встречи с ней он пребывал словно в забытьи. Теперь это сонное состояние прошло.

Если раньше он имел дурную привычку не замечать или не ценить в женщинах женственность, то теперь моментально реагировал и на их красоту, и на чувственную улыбку, и на походку; его глаза вновь научились по-юношески живо, с вожделением следить за мельканием юбки, изгибом шеи, грациозными телодвижениями. Увлекшись всерьез одной из представительниц прекрасного пола, он снова обрел вкус к обществу женщин вообще. И это было едва ли не главное, хотя далеко не единственное, чем одарила его Констанс.

Она откровенно рассказала ему о мужчинах, которых знала до него. Не сомневаясь в том, что такие же встречи у нее будут и после него, он подавил в себе ревность. Лишь сойдясь с нею, он понял, что страдал от глубоких душевных ран. Теперь эти раны начали заживать.

В тиши комнаты, нарушаемой только слабым шумом моря за окном, он с нетерпением ждал телефонного звонка и ее отрывистого сипловатого голоса. Он приготовился сказать: «Первым же самолетом вылетаю в Париж», будучи уверен, что если даже она кому-то назначила на этот вечер свидание, то отменит его.

Наконец раздался звонок.

— А, это ты,— сказала она. В тоне ее не было дружелюбия.

— Дорогая...— начал он.

— Я тебе не дорогая, продюсер. Не какая-нибудь актрисенка, которая две недели елозит своим тощим задом по дивану...— Он слышал приглушенный гул голосов: по-видимому, в конторе, как обычно, полно народа, но Констанс не привыкла сдерживать свой гнев при посторонних.

— Послушай, Конни...

— А, иди ты к черту... Ты же вчера обещал позвонить. И не ври, что пытался дозвониться. Я это уже слышала.

— Да я и не пытался.

— Ну, вот. Даже соврать и то не хочешь. Сукин ты сын.

— Конни.— Крейг перешел на умоляющий тон.

— Единственный честный человек в Канне. И везет же мне, черт побери. Отчего же не пытался?

— Я был...

— Оставь эти объяснения при себе. И не трать время на звонки. Незачем мне торчать на месте и ждать, когда зазвонит этот чертов телефон. Надеюсь, ты в Канне найдешь себе кого-нибудь. В Париже время твое истекло.

— Конни, будь же благоразумна, черт побери.

— Вот я и буду благоразумна. С этой самой минуты. Теперь мне абсолютно все равно. Считай, что этого телефона для тебя, мой мальчик, больше не существует. И не пробуй дозвониться.

Сердитый щелчок, донесшийся с другого конца шестисотмильного провода, показывал, что она бросила трубку. Крейг удрученно покачал головой, потом с улыбкой представил себе лица притихших молодых людей, находящихся, должно быть, сейчас в конторе Констанс, и гомерический хохот сидящего в соседней комнате партнера-профессора, выведенного этой тирадой из своего обычного дремотного состояния. Она уже не первый раз на него так кричала. И не последний. Отныне он будет звонить ей тогда, когда обещал, даже если для этого придется провисеть на телефоне весь день.

Он сходил на террасу, сфотографировался там вместе со львенком, написал на карточке: «Я нашел тебе пару» — и, вложив снимок в конверт, отправил Констанс. Срочно.

Пора было ехать на ленч к Мэрфи. Он вышел к подъезду и спросил швейцара, где его автомобиль. Швейцар был занят с сидевшим в «бентли» облезлым, лысым стариком и не обращал на Крейга внимания. На стоянке перед гостиницей было полно машин, лучшие места занимали «феррари», «мазерати» и «роллс-ройсы». «Симку», взятую Крейгом напрокат, швейцар загонял подальше, чтобы она не торчала на виду. Случалось (когда наплыв дорогих лимузинов бывал особенно велик), что Крейг находил свой автомобиль где-нибудь в переулке, на расстоянии целого квартала от гостиницы. Когда-то он увлекался «альфами» и «лансиями», но те времена давно прошли. Теперь ему все равно, какая у него машина, лишь бы были колеса, но сегодня, когда швейцар, наконец, сказал ему, что его автомобиль стоит где-то позади гостиницы, и когда он пошел вдоль теннисных кортов по направлению к той части улицы, где околачивались проститутки, ему стало обидно. Казалось, служащие гостиницы были таинственным образом наслышаны о нем и их пренебрежительное отношение к его скромной прокатной машине показывало, что в действительности они не считают его достойным жить во дворце, стены которого охраняют.

«Ну, ладно, дождетесь вы от меня чаевых»,— со злостью подумал Крейг. Он завел машину и поехал на Антибский мыс, где ему предстоял ленч с Брайаном Мэрфи.

4

Портье сказал Крейгу, что мистер и миссис Мэрфи ждут его в пляжном домике.

Он прошел по парку, напоенному запахом сосны, к морю. Слышны были только его собственные шаги по тенистой дорожке да стрекот прятавшихся в зелени цикад.

Не дойдя до домика, он остановился. Мэрфи были не одни. В ма-

леньком патио сидела молодая женщина. Она была в розовом купальном костюме, едва прикрывавшем наготу, по спине ее сбегали, блестя на солнце, длинные волосы. Когда она повернулась немного в его сторону, он увидел знакомые темные очки.

Мэрфи в цветастых плавках что-то ей говорил. Соня Мэрфи лежала в шезлонге.

Крейг решил вернуться в гостиницу и оттуда вызвать Мэрфи по телефону, объяснив, что ему не нравится эта компания, но в этот миг Мэрфи увидел его.

— Эй, Джесс! — крикнул Мэрфи вставая.— Мы здесь.

Гейл Маккиннон при его приближении тоже встала, но не обернулась.

— Привет, Мэрф,— сказал Крейг, протягивая руку.

— Здравствуй, дружище.

Крейг наклонился и поцеловал Соню Мэрфи в щеку. Ей было пятьдесят, но выглядела она не старше тридцати пяти — ее молодили подтянутая фигура и не по-голливудски мягкое, без морщин, лицо. Предохраняясь от солнца, она накинула на плечи купальное полотенце и надела широкополую соломенную шляпу.

— Давно мы не виделись, Джесс,— сказала она.

— Очень давно,— согласился Крейг.

— А эта барышня,— Мэрфи указал на Гейл Маккиннон,— говорит, что знает тебя.

— Да, мы знакомы,— подтвердил Крейг.— Здравствуйте, мисс Маккиннон.

— Здравствуйте.— Девушка сняла очки нарочитым движением, точно опускала карнавальную маску. Ее голубые, как алмазы, глаза были широко раскрыты, но взгляд их показался Крейгу каким-то ускользающим, неопределенным, настороженным. На вид ей можно было дать лет шестнадцать-семнадцать: серьезное, открытое лицо, не совсем еще развитые формы, шелковистая кожа. У него было странное ощущение, будто лучи солнца сосредоточились только на ней, заливая ее потоками света, он же стоял где-то поодаль, затененный темной дождевой тучей. В эту минуту она была похожа на прекрасное изваяние, стоящее на фоне моря, которое блестело и искрилось, радуясь ее молодости, свежести ее кожи, ее почти угловатой стройности.

В голове шевельнулась тревожная мысль: где-то он уже видел этот образ девушки, озаренной солнцем на фоне моря. Трудно было сказать, огорчило это его или обрадовало.

Она нагнулась — не слишком грациозно, длинные волосы накрыли лицо — к стоявшему у ее ног магнитофону, и он невольно обратил внимание на мягкую округлость ее живота над розовой полоской бикини и на широкие бедра с выступающими, как у подростков, тазобедренными суставами. «Непонятно,— подумал он,— зачем ей вчера утром понадобилось уродовать себя дурацкой, непомерно широкой рубашкой и этими неестественно огромными, во все лицо, темными очками».

— Она меня интервьюировала,— сообщил Мэрфи.— Против моей воли.

— Ну, разумеется,— усмехнулся Крейг. Мэрфи славился как раз тем, что давал интервью кому угодно и отвечал на любые вопросы. Это был рослый, грузный, крепкого сложения шестидесятилетний человек с копной черных крашеных волос, одутловатым от виски лицом и живыми, хитрыми глазами. В общении он был по-ирландски прост и грубовато-добродушен. Среди кинодельцов он имел репутацию одного из самых неуступчивых посредников, и это весьма благо-

творно сказывалось как на его собственном финансовом положении, так и на положении его клиентов. Контракта с Крейгом он не подписывал — их соглашение было скреплено только рукопожатием,— но представлял его интересы на протяжении двадцати с лишним лет. С тех пор как Крейг перестал выпускать фильмы, они встречались очень редко. Они были друзьями. «Но не такими близкими,— с горечью думал Крейг,— как в прежние времена, когда дела у меня шли хорошо».

— Как твои дочки, Джесс? — спросила Соня.

— По последним сведениям, вроде бы в порядке. Насколько могут быть в порядке девушки в их возрасте. Марша, говорят, пополнела.

— Если они не попали под суд за распространение или хранение наркотиков — считай, что тебе как отцу повезло,— пошутил Мэрфи.

— Я считаю, что мне повезло,— сказал Крейг.

— Ты что-то бледноват,— сказал Мэрфи.— Надевай плавки и побудь немного на солнце.

Крейг покосился на стройное загорелое тело Гейл Маккиннон.

— Нет, благодарю. Мой купальный сезон еще не начался. Соня, пойдем прогуляемся, пусть они спокойно заканчивают свое интервью.

— Уже все,— сказала Гейл Маккиннон.— Он говорил полчаса.

— Сообщил ей что-нибудь интересное? — спросил Крейг.

— Ты имеешь в виду, говорил ли я ей какие-нибудь сальности? Нет, не говорил.

— Мистер Мэрфи дал мне очень содержательное интервью,— сказала Гейл Маккиннон.— Он сказал, что киноиндустрия обанкротилась. Не осталось ни денег, ни талантов, ни мужества.

— Такое заявление здорово поможет тебе при заключении очередного контракта,— сказал Крейг.

— А мне наплевать,— махнул рукой Мэрфи.— Свое я уже заработал. Чего мне бояться? Могу, когда есть настроение, позволить себе удовольствие говорить правду. Вот, например, собираются снимать фильм, который финансируют индейцы племени апачей. Разве это дело — ждать, чтобы сценарий утвердили индейцы-апачи? На ленч мы заказали омаров. Ты не против?

— Нет.

— А вы? — обратился он к девушке.

— Я люблю омаров,— ответила она.

«Стало быть, она остается на ленч». Крейг сел на складной брезентовый стул лицом к ней.

— Она,— Мэрфи ткнул пальцем в сторону девушки,— все про тебя расспрашивала. И знаешь, что я ей сказал? Я сказал ей, что одним из пороков киноиндустрии сегодня является то, что она выбивает из колеи таких людей, как ты.

— Впервые слышу, что я выбит из колеи.

— Ты же понимаешь, Джесс, что я хотел этим сказать. Кино перестало привлекать тебя. Какая разница?

— Он очень хвалил вас,— сказала Гейл Маккиннон.— Я бы от таких похвал смутилась.

— Он же мой агент,— сказал Крейг.— Разве вы ждали от него чего-нибудь другого? Если б вы послушали, что моя мать обо мне говорила, когда была жива, вам бы тоже понравилось.

— Я в этом уверена.— Девушка нагнулась к магнитофону.— Включать?

— Не сейчас.— Он заметил на ее губах легкую усмешку. Она опять надела темные очки, придававшие ее лицу такой отчужденный, недоброжелательный вид.

— Гейл говорит, что у тебя каменное сердце,— сказал Мэрфи. У него была привычка называть девушек по имени, даже если он только что с ними познакомился.— Почему ты не хочешь дать ей шанс?

— Когда у меня будет что сказать, она услышит это первой.

— Это уже обещание, мистер Крейг,— сказала девушка.

— Ты правильно делаешь, Джесс, оставляя свои мысли при себе,— сказала Соня.— Я целых полчаса слушала тут разглагольствования мужа и, если бы могла, заткнула бы ему рот пробкой.

— Уж эти мне жены,— проворчал Мэрфи. Но в тоне его звучала нежность. Они были женаты двенадцать лет и если ссорились когда-нибудь, то не на людях. «Вот в чем преимущество поздних браков»,— подумал Крейг.

— Слишком уж много задают люди вопросов,— сказала Соня. Она говорила спокойным, материнским тоном.— И слишком часто им отвечают. Что до меня, то если бы эта милая барышня спросила меня сейчас, где я покупала губную помаду, я ей и этого бы не сказала.

— Миссис Мэрфи, где вы покупаете губную помаду? — спросила Гейл Маккиннон.

Все засмеялись.

— Слушай, Джесс,— сказал Мэрфи.— Может, нам пойти с тобой в бар, а женщин оставить одних? Пусть позлословят немного на досуге перед ленчем.— Он встал, Крейг тоже.

— Мне тоже хочется выпить чего-нибудь,— сказала Соня.

— Скажу официанту, чтобы принес. А вы, Гейл? Что вы хотите?

— Я днем не пью,— ответила девушка.

— В мое время журналисты были не такие,— сказал Мэрфи.— И в купальных костюмах они выглядели иначе.

— Перестань флиртовать, Мэрфи,— сказала Соня.

— Чудище с зелеными глазами.— Мэрфи поцеловал жену в лоб.— Пошли, Джесс. Время аперитива.

— Не больше двух,— напомнила Соня.— Не забудь, что ты в тропиках.

— Как только я собираюсь выпить, моей жене кажется, что тропики начинаются от самого Лабрадора,— сказал Мэрфи. Он взял Крейга под руку и повел его по дорожке между флагштоками к бару.

Перед одним из пляжных домиков на матрасе ничком лежала полная женщина. Она широко раскинула ноги, подставляя их солнцу.

— Ну и ну,— пробормотал Мэрфи, уставившись на женщину.— Опасный здесь континент, дружище.

— Я тоже об этом подумал,— сказал Крейг.

— Эта девица нацелилась на тебя. Эх, мне бы твои сорок восемь!

— Она не затем на меня нацелилась.

— А ты пробовал?

— Нет.

— Послушайся совета старика. Попробуй.

— Каким образом она у тебя оказалась? — спросил Крейг, которого всегда коробили откровенные разговоры Мэрфи о женщинах.

— Очень просто. Позвонила мне сегодня утром по телефону, и я сказал: приходите. Я ведь не то, что некоторые мои приятели. Ложной скромностью не страдаю. А когда увидел, какая она из себя, то спросил, не прихватила ли она с собой купального костюма.

— А она как раз прихватила.

— Совершенно случайно.— Мэрфи засмеялся.— Я не юбочник.— Соня это знает,— но мне нравится бывать в обществе смазливых девчонок. Невинная стариковская слабость.

Они подошли к маленькому павильону. Официант при их приближении встал.

— Bonjour, messieurs[1].

— Une gin fizz per la donna cabana numero quarante-due, per favore[2],— сказал Мэрфи. В годы войны он был в Италии и научился немного говорить по-итальянски. Это был единственный иностранный язык, который он знал, и, покидая пределы Америки, он в любой стране обрушивал на местных жителей свой итальянский. Крейг восхищался вежливой самонадеянностью, с какой Мэрфи навязывал чужим людям свои привычки.

— Si, si, signore[3],— проговорил официант с улыбкой, вызванной то ли произношением Мэрфи, то ли предвкушением щедрых чаевых, которые оставит ему этот клиент.

По дороге в бар они проходили мимо плавательного бассейна в скале над морем. С края стояла молодая белокурая женщина и наблюдала за маленькой девочкой, учившейся плавать. Волосы у ребенка были того же цвета, что у женщины, и было видно, что это мать и дочь. Мать давала инструкции на каком-то незнакомом Крейгу языке. В голосе ее — ласковом, подбадривающем — звучали смешливые нотки. Кожа у нее только еще начинала розоветь от солнца.

— Датчанки,— сказал Мэрфи.— Слышал за завтраком. Надо как-нибудь съездить в Данию.

В стороне от лестницы, ведущей к морю, растянувшись ничком на надувных матрасах, нежились на солнце две девушки. Они сбросили с себя бюстгальтеры, не желая, чтобы на их красивых загорелых юных спинах остались предательские белые полосы. Смуглость гладкой кожи придавала их крестцам и длинным, стройным ногам особую привлекательность. Их бикини были не более чем символической уступкой общественной благопристойности. Девушки напоминали своим видом два свежеиспеченных батона — теплых, аппетитных, сытных. Между ними сидел молодой человек — Крейг узнал в нем актера, которого видел в двух-трех итальянских фильмах. Актер, такой же загорелый, в узеньких плавках, был худощав, но мускулист, на его безволосой груди висела ладанка на золотой цепочке. Черноволосый красавец, великолепное животное с очень белыми зубами, которые он обнажил в хищной, как у леопарда, улыбке.

Крейг заметил, что Мэрфи не сводит с этого трио глаз.

— С такой внешностью, как у него, я бы тоже улыбался,— сказал Крейг.

Мэрфи громко вздохнул.

В баре Мэрфи заказал себе «Мартини», что бы там жена ни говорила о тропиках. Крейг попросил пива.

— Ну...— Мэрфи поднял стакан.— За тебя, дружище.— Он отпил треть своего коктейля.— Как замечательно, что мы встретились наконец. В письмах ты не очень-то щедр на информацию, а?

— Да не о чем, собственно, было и писать. Не стану же я докучать тебе рассказами о своих бракоразводных делах.

— После стольких лет.— Мэрфи грустно покачал головой.— Кто бы мог подумать? Ну, что ж, если не было другого выхода... Говорят, в Париже у тебя новая женщина?

— Не такая уж она новая.

— Счастлив?

---

[1] Добрый день, господа *(франц.)*.

[2] Джин с шипучкой для дамы в кабину сорок два, пожалуйста *(искаж. итал.)*.

[3] Да, да, синьоры *(итал.)*.

— Не настолько ты молод, Мэрфи, чтобы задавать такие вопросы.

— Удивительно, я чувствую себя не старше, чем после демобилизации. Глупее, но не старше. Ну, ладно, не будем касаться этой темы. Грустно становится. Ну, как ты? Что тут поделываешь?

— Да так. Бью баклуши.

— Эта девчонка, Гейл Маккиннон, все добивалась у меня, зачем ты приехал в Канн. Хочешь снова работать? — Мэрфи смотрел на него испытующе.

— Не исключено,— сказал Крейг.— Если подвернется что-нибудь подходящее. И если найдется дурак, который даст мне денег.

— Не ты один этого хочешь. Но сейчас, чтобы всаживать деньги в фильм, почти в любой, надо и впрямь быть дураком.

— Иными словами, никто в твою дверь не ломится и не просит уговорить меня идти к нему работать.

— Видишь ли,— уклончиво ответил Мэрфи,— согласись, что ты давно уже не у дел. Если ты серьезно думаешь работать, то я хочу пробить один фильм... Может, что и выйдет. Я думал о тебе, только не хотел зря беспокоить письмами, пока не выясню более конкретно. К тому же и денег это больших не сулит. И сценарий дрянной. И снимать надо в Греции, а ведь я знаю тебя и твои политические взгляды...

Крейг засмеялся, слушая эти бесконечные оговорки:

— Одним словом, во всех отношениях — блестящий проект.

— Ну,— сказал Мэрфи,— я же помню, как ты в свой первый приезд в Европу не захотел ехать в Испанию из-за того, что тебя не устраивала тамошняя политическая обстановка, так что...

— Тогда я был моложе,— прервал его Крейг, подливая себе пива.— Теперь стало модно снимать фильмы в странах, политика которых тебя не устраивает, иначе мало шансов попасть на экран. Вели не станешь же ты снимать картину в Америке, правда?

— Не знаю,— ответил Мэрфи.— Моя политика — схватил деньги и давай бог ноги.— Он жестом показал официанту, что хочет еще «Мартини».

— Ну, так как же? Звонить тебе, если эта греческая штука сдвинется с места?

— Нет,— ответил Крейг, взбалтывая в стакане пиво.

— Не то сейчас время, чтобы зазнаваться, Джесс.— Мэрфи нахмурился.— Ты давно уже в этом соку не варился, так что тебе, наверное, не понять. Кинематограф — это зона бедствия. Те, кто раньше огребал по семьсот пятьдесят тысяч за одну картину, теперь готовы работать за пятьдесят. И получают отказ.

— Почему же не понять.

— Если тебе за тридцать, то тебе не говорят: «Позвоните нам», а говорят: «Мы вам позвоним».— Мэрфи отпил из стакана.— Все ищут какого-нибудь никому не известного патлатого мальчишку, который сделал бы для них еще одного «Беспечного ездока» меньше чем за сто тысяч. Прямо напасть какая-то.

— Это всего лишь кино, Мэрф,— сказал Крейг.— Твое любимое развлечение. Не принимай так близко к сердцу.

— Ничего себе развлечение,— мрачно сказал Мэрфи.— Но я за тебя тревожусь. Не люблю говорить на неприятные темы, особенно во время отдыха, но ведь денежный вопрос именно сейчас тебя и беспокоит...

— Именно сейчас,— сказал Крейг.

— Адвокаты твоей жены рыщут по всей стране, двое из них были у меня с исполнительным листом, просматривали бухгалтерские документы. Хотели проверить, не передаю ли я тебе гайком какие-нибудь суммы, на которые она еще не наложила лапу. Я знаю, что она

претендует на половину твоего капитала плюс дом. А твои ценные бумаги...— Мэрфи пожал плечами.— Ты же знаешь положение дел на бирже. Уже пять лет, как ты не получаешь никаких доходов. Черт побери, Джесс, если мне удастся пробить этот греческий фильм, я хочу, чтобы его делал ты. Заработал бы пока на текущие расходы, а там, может, что и подвернется. Ты меня слушаешь?

— Конечно.

— Но тебе это как об стенку горох. Слишком тяжело ты все воспринял, Джесс. Ну, были у тебя неудачи. Что из этого? У кого их не было? Когда я узнал, что ты едешь в Канн, то обрадовался. «Наконец-то,— думаю,— он перестанет хандрить». Спроси Соню, она подтвердит. А ты вот стоишь здесь и смотришь на меня тусклыми глазами, хотя я стараюсь говорить дело.— Он допил «Мартини» и заказал еще.— В прежние времена, погерпев неудачу, ты на другое же утро приходил с кучей новых идей.

— Так то — в прежние времена,— сказал Крейг.

— А по нынешним временам знаешь, что надо делать? — спросил Мэрфи.— Пусть ты талантлив, и опытен, и благовоспитан, но не можешь же ты сидеть сложа руки и ждать, когда к тебе придут люди и станут умолять взять у них десять миллионов долларов, лишь бы ты сделал им картину. Нет, у тебя должна быть своя идея. Умей отстоять ее и разработать. Найди сценарий. Чтоб это был чертовски хороший сценарий. И режиссера. И актера. Такого, которого кто-то еще хочет видеть на экране. Таких актеров осталось примерно двое. И не меньше миллиона долларов. Вот тогда я могу начать с тобой деловой разговор. Не раньше. Таковы факты, Джесс. Они неприятны, но что делать. И лучше тебе посмотреть им в лицо.

— Ладно, Мэрф,— сказал Крейг.— Я, пожалуй, готов посмотреть им в лицо.

— Так-то лучше. Эта девочка говорит, что видела у тебя на столе рукопись.

— Надо полагать, в отеле «Карлтон» на сотне столов лежат сейчас рукописи,— сказал Крейг.

— Давай поговорим о той, что на твоем столе,— настаивал Мэрфи.— Что это — сценарий?

— Ага. Сценарий.

— Она спрашивала, знаю ли я что-нибудь про эту рукопись.

— Что ты ей ответил?

— Какого дьявола мог я ей ответить? — с досадой пробурчал Мэрфи.— Ничего я не знаю. Ты заинтересовался каким-то сценарием?

— Можно сказать и так. Да.

— Чей он? — недоверчиво спросил Мэрфи.— Если какая-то студия уже отклонила его, то не связывайся. Пустая грата времени. Информацию нынче с помощью лазерных лучей передают.

— Этот сценарий никем еще не отклонялся. И никто его, кроме меня, не читал.

— Автор кто?

— Один парень. Ты его не знаешь. И никто не знает.

— Как его зовут?

— Пока не скажу.

— Даже мне?

— Тебе в особенности. Ты тут же растрезвонишь. Сам это знаешь. Я не хочу никого к нему подпускать.

— Ну, что ж,— с сожалением согласился Мэрфи.— В этом есть резон. Он тебе принадлежит? Я имею в виду сценарий.

— Я приобрел на него права. На шесть месяцев.

— Сколько ты за него заплатил?

— Пустяки.

— Его герои — моложе тридцати и много откровенных сцен?

— Нет.

Мэрфи тяжело вздохнул.

— О, господи. Уже два очка не в твою пользу. Ну, ладно, дай мне почитать, потом подумаем, что можно сделать.

— Подожди несколько дней,— сказал Крейг.— Хочу еще раз пройтись по тексту, чтобы уж подготовить его как следует.

Мэрфи долго смотрел на него, не говоря ни слова, и Крейг был почти убежден, что он ему не верит. Может, не догадывается, что именно и зачем он скрывает, но не верит.

— Хорошо,— сказал наконец Мэрфи.— Когда я тебе понадоблюсь, я тут. А пока, если у тебя есть на плечах голова, поговори с этой девчонкой. Подробнее. И вообще — не упускай ни одного газетчика. Пусть люди знают, что ты еще жив, черт побери.— Он прикончил свой «Мартини».— А теперь пошли обедать.

Ленч им привезли к пляжному домику. Холодные омары оказались весьма удачными. Мэрфи заказал две бутылки белого вина, бо́льшую часть которого сам же и выпил. Говорил он тоже больше всех. Грубовато, но добродушно — по крайней мере вначале — подшучивал над Гейл Маккиннон: «Я хочу выяснить, чего добивается это чертово молодое поколение, пока оно еще не перерезало мне горло».

Гейл Маккиннон отвечала на его вопросы прямо, без обиняков. Уж в чем, в чем, а в застенчивости ее упрекать было нельзя. Выросла она в Филадельфии. Ее отец живет по-прежнему там. Она — единственный ребенок в семье. Родители в разводе. Отец женат вторично. Он адвокат. Она училась в Брин-Море, но ушла со второго курса. Пошла работать на филадельфийское радио и вот уже полтора года в Европе. Их корреспондентский пункт — в Лондоне, но условия работы позволяют ей много путешествовать. В Европе ей нравится, но она все равно будет жить в Штатах. Предпочтительно в Нью-Йорке.

Такая же, как сотни других американских девушек, встречавшихся Крейгу в Европе,— полных надежд, энтузиазма и обреченных на неудачу.

— А мальчик у вас есть? — спросил Мэрфи.

— Настоящего — нет,— ответила она.

— Поклонники?

Девушка засмеялась.

— Мэрф,— укоризненно сказала Соня.

— Не я же изобрел общество вседозволенности, а они,— сказал Мэрфи.— Молоды, черт их дери.— Он снова повернулся к девушке: — А мужики все к вам пристают, когда вы их интервьюируете?

— Не все,— с улыбкой ответила она.— Самым интересным был старый раввин из Кливленда, он летел через Лондон в Иерусалим. В гостинице «Беркли» мне пришлось отчаянно от него отбиваться. К счастью, через час у него улетал самолет. У него была шелковистая борода.

Слушать этот разговор Крейгу было неловко. Слишком напоминала эта девушка его дочь Энн. Ему претила мысль, что и Энн может вот так разговаривать со старшими в его отсутствие.

Мэрфи заговорил об упадке кинопромышленности.

— Возьмите, к примеру, фирму «Уорнер». Знаете, кто ее купил? Похоронная компания. Как вам нравится символ из черного крепа? Или вот еще возраст. Болтают о революциях, которые пожирают молодых. А у нас там — тоже революция, только она пожирает старых.

Вы-то, конечно, считаете это правильным, мисс Умница.— От вина он делался агрессивным.

— Отчасти,— спокойно сказала Гейл Маккиннон.

— Едите моего омара и говорите «отчасти».

— Смотрите, до чего довели нас старшие,— сказала она.— Хуже того, что они сделали, молодые не могут.

— Знаю я эту песню,— сказал Мэрфи.— У меня-то, слава богу, нет детей, а вот у моих друзей есть, и я послушал, что они говорят. «Молодые хуже не могут». Если хотите знать, умница Гейл,— могут и хуже. Гораздо хуже. Включайте магнитофон, я добавлю это к своему интервью.

— Да ешь ты, Мэрф,— вмешалась Соня.— Бедная девочка и так уж наслушалась твоей болтовни.

— Я замолкаю,— проворчал Мэрфи.— Присутствую, но молчу. Таков мой девиз. Теперь они все решают. Рушатся основы.

Когда ленч закончился, Крейг облегченно вздохнул.

— Ну, что ж,— сказал он вставая.— Спасибо за харч. Мне надо ехать.

— Джесс, ты не можешь подвезти мисс Маккиннон в Канн? — спросила Соня.— Если она у нас побудет еще немного, то Мэрф договорится до того, что иммиграционные власти не пустят его, когда он надумает вернуться в Соединенные Штаты.

Гейл Маккиннон смотрела на Крейга угрюмо, и ему вспомнились собственные дочери. Они вот так же ждали, когда он повезет их после детского утренника домой.

— А как вы сюда добирались? — невежливо спросил он.

— Один знакомый подбросил. Если вы против, я такси возьму.

— Такси ужасно дорого. Грешно тратить такие деньги, когда можно доехать с Джессом. Пойди оденься, дитя мое,— решительно сказала Соня.— Джесс подождет.

Гейл Маккиннон вопросительно взглянула на Крейга.

— Разумеется, подожду,— сказал он.

Она встала.

— Я быстро,— сказала она и пошла в домик переодеваться.

— Умная девочка,— сказал Мэрфи, выливая остатки вина в стакан.— Нравится она мне. Я ей не доверяю, но она мне нравится.

— Говори тише, Мэрф,— прошептала Соня.

— Пусть знают, что я чувствую,— сказал Мэрфи.— Пусть знают, на чем стою.— Он допил вино.— Дай мне почитать этот сценарий, Джесс. Чем скорее, тем лучше. Если он годится, я тебе все устрою. Пара телефонных звонков — и дело в шляпе.

«Пара телефонных звонков»,— подумал Крейг. Несмотря на все его рассуждения, после ленча и двух бутылок вина Мэрф забыл, что сейчас уже не 1960 год и что Брайан Мэрфи не тот Брайан Мэрфи, а Джесс Крейг — не тот Джесс Крейг. Он с опаской посмотрел на тонкую деревянную дверь домика, за которой одевалась девушка.

— Возможно, дня через два, Мэрф,— сказал он.— До этого никому ничего не говори, прошу тебя.

— Могила, дружок. Как у фирмы «Уорнер».— Мэрфи засмеялся, шутка показалась ему удачной.— Сегодня я хорошо провел время. Старые друзья, новые девушки, омар на ленч и голубое Средиземное море. Неужели богатые живут лучше нас, Джесс?

— Да, лучше,— ответил Крейг.

Гейл Маккиннон вышла, на плече у нее висела сумка. На ней были белые, приспущенные на бедрах, джинсы и синяя спортивная рубаш-

ка. Бюстгальтера она не носила. Крейг обратил внимание на ее небольшие круглые груди, упруго выпиравшие под синей бумажной тканью. Очки она сняла и казалась морским созданием — свежим, чистым и неопасным. Она скромно и вежливо поблагодарила хозяев и хотела было поднять с земли магнитофон, но Крейг опередил ее и сказал:

— Я возьму его.

Когда они пошли вверх по дорожке к бассейну и стоянке автомобилей, Мэрфи стал укладываться на отдых. Толстуха, мимо которой Крейг и Мэрфи проходили по дороге в бар, все еще лежала на животе под палящим солнцем, широко и зазывно раскинув ноги. Но вот она тяжело, как больная, вздохнула, перевернулась на спину и уставилась с кислым видом на Крейга и девушку, нарушивших ее уединение. Лицо у нее было опухшее и сильно накрашенное, по нему стекала синяя тушь, смешиваясь с потом. Женщина была уже немолода, черты ее были отмечены эгоизмом, алчностью, мелкой и развращенной суетностью и поразительно контрастировали со здоровой крестьянской полнотой ее тела. Крейгу стало противно, и он отвел от нее глаза. Услышать в эту минуту ее голос было бы для него невыносимо.

Он пропустил Гейл Маккиннон вперед и пошел сзади, как бы охраняя ее. Она бесшумно ступала по гладким камням. Ее длинные чистые волосы развевались на морском ветру. Теперь он понял, что встревожило его в патио у Мэрфи, когда он увидел ее на берегу в лучах солнца. Она напомнила ему жену Пенелопу — такой же юной и розовой он видел ее однажды июньским днем на Лонг-Айленде во время прилива, когда она стояла на дюне, вырисовываясь силуэтом на фоне набегающих волн.

Мать-датчанка читала у бассейна, привалившись спиной к скале, девочка сидела рядом, прислонив к ее плечу белокурую головку.

Опасный континент.

Послушайся совета старика. Попробуй.

Подходя к машине, Гейл Маккиннон опять надела свои нелепые темные очки.

5

Выехав за ворота гостиницы, он повернул не в сторону Жюан-ле-Пена и Канна, а по старой памяти в сторону Антиба. Через год после женитьбы он снимал на лето виллу у берега моря между мысом и городом, и привычка поворачивать в ту сторону, с грустью отметил он про себя, сохранилась до сих пор.

— Надеюсь, вы никуда не торопитесь,— сказал он.— Я хочу поехать длинным путем.

— Сегодня у меня нет лучшего занятия, чем ехать длинным путем с Джессом Крейгом,— сказала Гейл Маккиннон.

— В этих местах я жил когда-то. Тогда здесь было лучше.

— Здесь и сейчас хорошо.

— Да, пожалуй. Только домов прибавилось.— Он ехал медленно. Дорога извивалась по самому берегу моря. Вдали, на голубой воде, поблескивали паруса регаты. У берега среди камней стоял старик в полосатой рубашке и удил рыбу. Над головой пролетела, снижаясь для посадки в Ницце, «каравелла».

— В каком году вы здесь были? — спросила Гейл Маккиннон.

— Я был здесь не один раз. Впервые — еще в сорок четвертом году, во время войны...

— Что вы тогда здесь делали? — с удивлением спросила она.

— Вы же сказали, что хорошо подготовились,— поддразнил он.— Я думал, что мое прошлое для вас — открытая книга.

— Не до такой степени.

— Я ездил тогда на джипе в группе военных кинооператоров. Седьмая армия высадилась на юге Франции, и нас послали сюда из Парижа снять небольшой документальный фильм. Линия фронта проходила близ Ментоны, всего в нескольких милях отсюда. С той стороны Ниццы была слышна орудийная пальба...

«Разболтался, старый солдат»,— подумал он и замолчал. Древняя история. *Цезарь приказал разбить лагерь на холмах, возвышающихся над рекой. Боевые порядки гельветов расположились на другом берегу.* Для девушки, сидевшей рядом с ним, линия фронта молодых американцев под Ментоной так же терялась во мгле веков, как и линия фронта Цезаря. Да и обучают ли их теперь латыни?

Он искоса посмотрел на нее. Его раздражали ее очки — сквозь них она могла разглядывать его, не показывая себя. Раздражала ее молодость. Раздражало ее простодушное невежество, причиной которого была все та же молодость. Слишком уж много на ее стороне преимуществ.

— Зачем вы носите эту дурацкую штуку? — спросил он.

— Вы имеете в виду защитные стекла?

— Да. Очки.

— Они вам не нравятся?

— Нет.

Она сорвала очки, выбросила их в окно и улыбнулась.

— Так лучше?

— Намного.

Оба они засмеялись. Он уже не жалел, что Соня Мэрфи заставила его взять эту девушку с собой в Канн.

— А зачем вам понадобилась вчера эта ужасная рубашка? — спросил он.

— Для эксперимента. Я нарочно меняю обличья.

— Какое же обличье вам хотелось принять сегодня? — Разговор этот начинал его забавлять.

— Я хотела казаться привлекательной, умытой, невинно-кокетливой в духе современной эмансипированности,— ответила она.— Все это предназначалось для мистера Мэрфи и его жены.— Она раскинула руки, точно хотела обнять море. и скалы, и сосны, затеняющие дорогу, и все пространство вокруг.— Я никогда в этих местах не была, но мне кажется, я знаю их с детства.— Она влезла на сиденье с ногами и повернулась к нему лицом.— Я буду приезжать сюда много-много раз, пока не стану старухой в большой широкополой шляпе и с тростью в руке. Думали вы во время войны, что когда-нибудь вернетесь сюда?

— Когда я был здесь во время войны, то думал лишь о том, как бы живым вернуться домой.

— Вы знали тогда, что будете работать в театре и в кино?

— По правде говоря, не помню.— Он попробовал восстановить в памяти тот давний сентябрьский день, когда четыре солдата в касках, гремя кинокамерами и карабинами, мчались в джипе на звуки орудийных выстрелов по живописному безлюдному берегу, которого ни один из них прежде не видел, мимо взорванных досов [1] и замаскированных вилл с окнами на море. Как звали трех солдат, что ехали с ним в джипе? Фамилия водителя была Харт. Это он помнил. Малкольм Харт. Его убили два месяца спустя в Люксембурге. Имена остальных двоих он не мог вспомнить. Их не убили.

[1] Долговременное огневое сооружение.

— Кажется,— сказал он,— у меня действительно была мысль после войны пойти работать в кино. Тем более что у меня в руках уже была кинокамера. В армии меня научили снимать. В войсках связи было полно людей, которые до этого работали в Голливуде. Но оператор я был не бог весть какой. Просто меня им сделали на время войны. Я знал, что после войны уже не смогу этим заниматься.— С чувством сладкой грусти ворошил он в памяти далекое прошлое, когда он был молодым человеком в американской военной форме, которому не угрожала пуля — по крайней мере, не угрожала в тот день.— В сущности,— продолжал он,— в театр я попал случайно. Возвращаясь на военном транспорте из Гавра в Штаты, я познакомился с Эдвардом Бреннером — мы вместе играли в покер. Мы подружились, и он сказал мне, что пока их часть готовили в Реймсе к отправке на родину, сочинил пьесу. Благодаря отцу, который водил меня на спектакли с девятилетнего возраста, я смыслил кое-что в театре и попросил Бреннера дать мне почитать ее.

— Та партия в покер оказалась счастливой,— сказала девушка.

— Видимо, да,— ответил Крейг.

Но по-настоящему они сошлись не во время покера, а потом, когда встретились в один из солнечных дней на палубе. Крейг нашел местечко, защищенное от ветра, и сел читать сборник «Лучшие американские пьесы 1944 года», который прислал ему отец. (Какой был у него номер полевой почты? Когда-то Крейг думал, что этот номер останется у него в голове на всю жизнь.) Бреннер дважды прошел мимо Крейга, взглянул на книгу в его руках, наконец, остановился, присел перед ним по-крестьянски на корточки и спросил:

«Нравятся? Пьесы, я имею в виду».

«Так себе»,— ответил Крейг.

Они разговорились. Выяснилось, что Бреннер родом из Питтсбурга, где до призыва в армию — он был старше, чем выглядел,— учился в Технологическом институте Карнеги и, прослушав курс истории драмы, заинтересовался театром. На следующий день он показал Крейгу свою пьесу.

Бреннер был неказист — худой, болезненный с виду парень с печальными темными глазами. Говорил он сдержанно, слегка заикаясь. В толпе ликующих горластых людей, возвращавшихся на родину, ему было не по себе, плохо пригнанная форма придавала ему вид невоенный и какой-то неуверенный, словно он удивлялся, как это ему посчастливилось уцелеть после трех кампаний, и, уж конечно, твердо знал, что не уцелеет после четвертой. Крейг брался за чтение пьесы не без опаски, он наперед придумывал смягчающие слова, которые не задели бы самолюбие Бреннера. Он никак не думал, что в первом драматическом произведении рядового пехотинца обнаружит столько эмоциональной силы при полном отсутствии всякой сентиментальности и такую композиционную строгость. Хотя сам он не был причастен к театральному искусству, но посмотрел в своей жизни достаточно спектаклей, чтобы возомнить себя, как это свойственно молодым людям, обладателем тонкого художественного вкуса. Делясь с Бреннером своими впечатлениями, он не скупился на похвалы; к тому времени, как их транспорт миновал статую Свободы, они сделались близкими друзьями, и Крейг обещал Бреннеру через отца познакомить с пьесой нью-йоркских продюсеров.

Бреннер должен был ехать в Пенсильванию, чтобы демобилизоваться и возобновить занятия в Технологическом институте Карнеги, Крейг же остался в Нью-Йорке и делал вид, что ищет работу. Связь

с Бреннером он поддерживал только по почте. Сообщать особенно было нечего. Отец Крейга добросовестно обошел всех знакомых продюсеров, но ни один из них пьесу не взял.

«Никто, говорят они, и слышать не хочет о войне,— писал Крейг в Питтсбург.— Все они идиоты. Не отчаивайся. Так или иначе пьеса пойдет».

В конце концов Крейг оказался прав, потому что отец его умер и оставил ему в наследство двадцать пять тысяч долларов. «Я знаю, что это безумная затея,— писал он Бреннеру.— Я ничего не смыслю в театральном деле, но думаю, что в пьесах разбираюсь лучше, чем те болваны, которые отклонили «Пехотинца». А его-то я изучил теперь досконально. Если ты готов поставить на карту свой талант, то я готов поставить свои деньги».

Через два дня Бреннер приехал в Нью-Йорк — и там остался. Не имея ни гроша, он поселился у Крейга в номере гостиницы «Линкольн», так что в течение пяти месяцев, пока ставилась пьеса, они были неразлучны. После года переписки, в процессе которой Крейг и Бреннер постоянно возвращались к рукописи, выверяли и взвешивали каждую строчку, пьеса стала их общим достоянием, поэтому они удивлялись, когда в ходе работы над спектаклем их мнения изредка в чем-то не совпадали.

Однажды режиссер, молодой человек по фамилии Баранис, имевший некоторый опыт работы в театре и рассчитывавший на уважительное отношение со стороны этих новичков, воскликнул, когда они без всякого предварительного обсуждения спокойно отвергли какое-то его мелкое замечание: «Господи, да вы, наверно, и сны одни и те же видите!»

Но однажды они все же поспорили серьезно, причем любопытно отметить, что предметом их спора явилась Пенелопа Грегори, впоследствии ставшая Пенелопой Крейг. Один агент-посредник рекомендовал ее для исполнения маленькой роли, и она произвела на Бараниса и Крейга хорошее впечатление своей красотой и мягким, грудным голосом. Но Бреннер был непреклонен. «Верно, она красива,— соглашался он.— Верно, у нее сильный голос. Но есть в ней что-то не внушающее доверия. А что — я не знаю».

Они попросили Пенелопу снова прочесть текст, но Бреннер стоял на своем, и в конце концов им пришлось взять девушку попроще.

На репетициях Бреннер так волновался, что терял аппетит, поэтому Крейгу приходилось не только пререкаться с художником, вести переговоры с профсоюзом рабочих сцены и следить, чтобы исполнитель главной роли не запил, но еще заманивать Бреннера в рестораны и запихивать в него какую-то еду, иначе он не дотянул бы до премьеры.

В день, когда у входа в театр расклеили афиши, Крейг нашел Бреннера на тротуаре. Одетый в свой грязный плащ — пальто у него не было,— он с удивлением смотрел на надпись: «Эдвард Бреннер. **Пехотинец**» и дрожал, как в приступе малярии. Увидев Крейга, он дико захохотал. «Слушай, это невероятно. Просто невероятно. Мне кажется, что кто-то вот-вот тронет меня за плечо и я проснусь и опять окажусь в Питтсбурге».

Не переставая дрожать, он позволил Крейгу увести себя в ближайший магазин заказать молочный коктейль. «У меня раздвоение личности,— признался он, стоя со стаканом в руке.— Жду не дождусь премьеры и в то же время не хочу ее. И не только потому, что боюсь провала. Мне просто жаль, что ничего этого уже не будет.— Он сделал неопределенный жест в сторону автомата с газированной водой.— Ни репетиций. Ни этого чертова номера в гостинице «Лин-

кольн». Ни Бараниса. Не услышу я больше твоего храпа в четыре часа утра. Все это никогда уже не вернется. Ты меня понимаешь?»

«Вроде бы,— ответил Крейг.— Допивай свой коктейль».

Когда вечером после премьеры по телефону стали сообщать первые отклики прессы, Бреннера начало рвать. Он испачкал в номере весь пол, потом извинился и сказал: «Я буду любить тебя до самой смерти». Он выпил два стакана виски и потерял сознание. Крейг разбудил его только днем, когда принесли вечерние газеты.

— Какой он был тогда? — спросила Гейл Маккиннон.— Эдвард Бреннер? Когда вы впервые встретились с ним.

— Обычный солдат, переживший тяжелую войну,— ответил Крейг. Он сбавил газ и показал налево, на стоявшую среди сосен белую виллу.— Вот где я жил. Летом сорок девятого года.

Девушка внимательно посмотрела на широкое низкое здание с террасой под оранжевым навесом, защищавшим садовую мебель от яркого солнца.

— Сколько лет вам тогда было?

— Двадцать семь.

— Неплохо иметь такой дом в двадцать семь лет,— сказала она.

— Да,— сказал Крейг.— Неплохо.

Что осталось у него в памяти от того лета?

Только отдельные эпизоды.

...Пенелопа на водных лыжах в заливе Ла-Гаруп — тонкая, загорелая, с развевающимися волосами, подчеркнуто грациозная в своем черном купальном костюме — мчится зигзагами в кильватере быстроходного катера. В катере рядом с ним — Бреннер, он снимает Пенелопу любительской камерой, а та отважно дурачится, выделывая антраша, и машет рукой кинокамере.

...Бреннер пытается научиться воднолыжному спорту, упрямо снова и снова встает на лыжи, но все падает, его худое, неуклюжее, из одних костей и сухожилий тело, длинный унылый нос и исхудалые, чуть не до крови сожженные солнцем плечи то появляются, то исчезают; в конце концов его, порядком нахлебавшегося воды, втаскивают на борт, и он говорит: «Ни на что я, проклятый интеллигент, не годен». А Пенелопа смеется, покачиваясь вместе с катером, и целится в него из кинокамеры.

...Бархатный вечер на открытой площадке города О-де-Кань, обнесенного крепостной стеной, под дребезжащую французскую музыку танцуют пары, двигаясь то в полумраке, то при свете фонарей, висящих вдоль старых каменных стен; Пенелопа, маленькая, опрятная, невесомая в его руках, целует его ниже уха — от нее веет запахом моря и жасмина — и шепчет: «Давай останемся здесь навсегда». А Бреннер сидит за столиком, он стесняется танцевать, наливает в бокал вино и пытается объясниться с некрасивой французской дамой, которую подцепил накануне вечером в казино Жюан-ле-Пена, с трудом выговаривая одну из десяти заученных после приезда фраз: «Je suis un fameux écrivain à New York»[1].

...Предрассветная зеленая мгла, они едут в маленькой машине с открытым верхом домой из Монте-Карло, где они вместе выиграли в рулетку сто тысяч франков (доллар стоил 650 франков). Крейг за рулем, с ним рядом Пенелопа, она между двумя мужчинами, ее голова на плече Крейга, Бреннер выкрикивает своим каркающим голосом навстречу ветру: «Вот мы здесь, на Большом Карнизе!» Потом они

[1] Я известный писатель в Нью-Йорке *(франц.)*.

вместе пробуют спеть песню «Опавшие листья», впервые услышанную накануне вечером.

...Ленч на террасе у белой виллы под огромным оранжевым навесом, все трое только что освежились утренним купанием, нарядная Пенелопа в белых бумажных брюках и синей магроске с мокрыми зачесанными кверху волосами, нежная и неотразимо чувственная, перебирает цветы в вазе на белом железном столе, накрытом для ленча, ее мягкие загорелые руки прикасаются к бутылке в ведерке со льдом, проверяя, охладилось ли вино, а в это время старуха, постоянно работающая при доме кухаркой, входит, шаркая ногами, с холодной рыбой и салатом на большом глиняном блюде, купленном по соседству в Валлорисе. Как звали эту старуху? Элен? Всегда одетая в черное в знак траура по десяти поколениям родных, умерших в стенах Антиба, она любовно заботилась о троих американцах, которых называла «Mes trois beaux jeunes Américains»[1] и из которых ни один никогда прежде не имел прислуги, и украшала их стол красными, белыми и синими цветами по случаю Четвертого июля и Дня взятия Бастилии.

...Острый, крепкий запах разморенного солнцем соснового бора за домом.

...Послеполуденные сиесты, Пенелопа в его объятиях на огромной кровати в полутемной спальне с высоким потолком, исчерченной там и сям узкими полосками от жалюзи, опущенных, чтобы не проникал зной. Ежедневные любовные утехи, неудержимые, страстные, нежные — два сплетенных благодарных знакомых молодых тела, чистых и просоленных, радость взаимного обладания, фруктовый аромат вина на губах при поцелуе, тихие смешки и перешептывание в благоуханном сумраке спальни, коварное, возбуждающее прикосновение длинных ногтей Пенелопы, когда она шаловливо водит рукой по его упругому животу.

...Августовским вечером после ужина они сидели с Пенелопой на террасе, внизу — спокойное, освещенное луной море, сзади — притихший сосновый бор, Бреннера не было, он ушел куда-то с одной из своих девушек, и Пенелопа сказала ему, Крейгу, что она беременна.

«Рад или огорчен? — спросила она низким встревоженным голосом. Он нагнулся, поцеловал ее.— Думаю, что это и есть ответ»,— сказала она.

Он пошел на кухню, взял со льда бутылку шампанского, они выпили при свете луны и решили, вернувшись в Нью-Йорк, купить дом: после прибавления семейства им уже будет тесно в их теперешней квартире в Гринич-Виллидже.

«Только ты Эду не говори»,— попросила она.

«Почему?»

«Он завидовать будет. Никому не говори. Все будут завидовать».

...Утренняя обыденщина. После завтрака они с Бреннером усаживаются в плавках на солнце, раскладывают на столе рукопись новой пьесы Бреннера, и тот говорит:

«А что, если так: в начале второго акта, когда поднимается занавес, на сцене темно, она входит, направляется к бару — мы видим только ее силуэт,— наливает себе виски, всхлипывает, потом залпом выпивает...»

Они щурятся на яркое море, представляя себе актрису на темной сцене перед притихшим полным залом в холодный зимний вечер в приветливом городе за океаном... Они перерабатывали тогда вторую пьесу Бреннера, премьеру которой Крейг уже объявил на ноябрь.

[1] Мои три молодых красавца американца *(франц.)*.

После «Пехотинца» Крейг выпустил еще два спектакля, и оба имели успех. Один из них шел до сих пор, так что он решил наградить себя курортным сезоном во Франции — пусть это будет для него и Пенелопы запоздалым медовым месяцем. Бреннер уже истратил бóльшую часть своего гонорара за «Пехотинца» — гонорар оказался скромнее, чем ожидалось,— и опять сидел без гроша, но они возлагали много надежд на новую пьесу. Впрочем, в тот год у Крейга было достаточно денег на всех троих, и он понемногу начинал привыкать к роскоши.

Из дома доносится приглушенный голос Пенелопы, которая для практики говорит по-французски с кухаркой, и изредка — телефонные звонки друзей или очередной подружки Бреннера; Пенелопа неизменно отвечает: мужчины работают, просьба не мешать. Удивительно, как много друзей узнало, где они проводят лето, и скольким девицам известен телефон Бреннера.

В полдень выходит в купальном костюме Пенелопа и объявляет: «Пора купаться».

Они купаются, ныряя со скал перед домом, в глубокой холодной прозрачной воде, обдают друг друга брызгами; Пенелопа и Крейг, отличные пловцы, держатся поближе к Бреннеру, который однажды совсем было начал тонуть: он вскидывал руки и отчаянно отфыркивался, делая вид, что дурачится, хотя, в сущности, его надо было спасать. Когда они вытащили его, розового и скользкого, на берег, он полежал немного на камнях, потом сказал:

«Это вы, аристократы, все умеете и ни за что не утонете».

Приятные картины.

Разумеется, память, если дать ей волю, обманчива. Никакой отрезок времени — даже месяц или неделя, о которой вспоминаешь потом как о самом счастливом периоде своей жизни,— не может состоять из одних лишь удовольствий.

Была, например, ссора с Пенелопой поздним вечером недели через две-три после того, как они поселились в вилле. Из-за Бреннера. Они сидели в своей спальне с опущенными жалюзи и говорили шепотом, боясь, как бы Бреннер их не услышал, хотя комната его находилась по другую сторону холла и стены были толстые.

«Он когда-нибудь от нас уедет? — спросила Пенелопа.— Надоело мне это длинное унылое лицо. Куда ни повернись, везде оно».

«Тише, прошу тебя».

«Все тише да тише. Почему мы должны шептаться? — Она сидела нагая на краю кровати и расчесывала свои белокурые волосы.— Словно я не у себя дома».

«А я думал, он тебе нравится,— удивленно сказал он. Он почти спал уже и только ждал, когда она кончит возиться с волосами и, погасив свет, ляжет рядом.— Думал, вы с ним друзья».

«Он мне нравится.— Пенелопа яростно расчесывала щеткой волосы.— И я его друг. Но не круглые сутки. Я замужняя женщина, и никто не предупреждал меня, что я выхожу за целую команду».

«Ну, какие там круглые сутки,— возразил Крейг, но тут же понял, что сказал глупость.— Во всяком случае, он, вероятно, уедет, как только будет готова пьеса».

«Эта пьеса не будет готова до истечения срока аренды,— в сердцах сказала она.— Я же его знаю».

«Не очень-то дружески ты к нему относишься, Пенни».

«Да и не такой уж он мне друг. Думаешь, я не знаю, по чьей вине мне не дали тогда роль в его пьесе?»

«Тогда он даже не был с тобой знаком».

«Ну, так теперь знаком.— Пенелопа продолжала энергично работать щеткой.— Но не станешь же ты утверждать, что теперь он

считает меня величайшей актрисой в Нью-Йорке после Этель Бэрримор».

«На эту тему мы с ним не говорили,— смущенно сказал он.— Только не надо так кричать».

«Разумеется, не говорили. Вы много о чем не говорили. И вообще вы игнорируете меня, когда разговариваете о чем-нибудь серьезном».

«Неправда, Пенни».

«Нет, правда, и ты это знаешь. Два великих ума при полном совпадении взглядов решают судьбы мира, плана Маршалла, очередных выборов, атомной бомбы, системы Станиславского...— Щетка замелькала в руке Пенелопы, как поршень в цилиндре.— А когда я заговариваю, то слушают меня снисходительно, точно слабоумного ребенка...»

«Ты совершенно иррациональна, Пенни».

«Я иррационально рациональна, Джесс Крейг, и ты это знаешь».

Он невольно рассмеялся, она — тоже. Он сказал:

«Да брось ты эту чертову щетку и ложись наконец».

Она моментально подчинилась, выключила свет и легла.

«Не заставляй меня ревновать, Джесс,— прошептала она, прижимаясь к нему.— Не отстраняй от своих дел. Ни от каких».

Дни, как и прежде, шли своей чередой, словно и не было того ночного разговора в спальне. Пенелопа по-прежнему относилась к Бреннеру нежно, как сестра, заставляла его есть, «чтобы кости обросли мясом», вела себя тихо и скромно, не вмешиваясь в разговоры мужчин, незаметно вытряхивала пепельницы, подливала в стаканы, осторожно подшучивала над Бреннером и его девицами, которые навещали его и иногда оставались ночевать, а наутро выходили к завтраку и просили одолжить им купальный костюм, чтобы выкупаться перед отъездом в город.

«Что делать, любят меня женщины Лазурного берега,— смущенно говорил Бреннер, польщенный подшучиванием.— Ни в Пенсильвании, ни в форте Брэгге этого не было».

Потом — неприятный вечер в конце августа, когда Крейг складывал вещи и собирался отправиться ночным поездом в Париж, где ему предстояло встретиться с руководителем киностудии и договориться об условиях продажи пьесы, которая все еще шла в нью-йоркском театре.

Пенелопа, только что из ванной, куталась в халат, ее карие глаза, обычно добрые, сделались вдруг жесткими и угрожающими. Она смотрела, как он бросает в чемодан рубашки.

«Надолго уезжаешь?»

«Дня на три, не больше».

«Возьми этого сукина сына с собой».

«О чем ты говоришь?»

«Знаешь, о чем. О ком».

«Шш-ш».

«Нечего на меня шипеть. Я у себя дома. Я не собираюсь быть три дня нянькой у этого гениального автора единственной стоящей пьесы, у этого... донжуана из города металлургов, пока ты развлекаешься в ночных барах Парижа...»

«Я не собираюсь нигде развлекаться,— возразил Крейг, стараясь говорить спокойно.— Ты прекрасно это знаешь. А он занят третьим актом, и я не хочу отрывать его...»

«Хорошо бы ты к жене своей относился так же внимательно, как к этому своему святому другу-приживальщику. За все время, что он здесь живет, пригласил он нас куда-нибудь поужинать? Хотя бы один раз?»

«Что толку, если бы и пригласил. Ты же знаешь, что у него нет денег».

«Разумеется, знаю. Он только и делает, что старается нас в этом убедить. А где он берет деньги на гулянки с девками по пять раз в неделю? Или ты оплачиваешь и эти его расходы? Тебе что, доставляют удовольствие его жалкие, ничтожные победы?»

«У меня грандиозная идея,— невозмутимо сказал Крейг. — Почему бы тебе не поехать со мной в Париж?»

«Бежать из собственного дома из-за какой-то наглой похотливой твари вроде Эдварда Бреннера? — Пенелопа говорила громко, не обращая внимания на предостерегающие жесты мужа.— Нет уж. Я не позволю ему устраивать тут дом терпимости, чтобы расхаживали дешевые шлюхи раздетыми, насколько позволяет закон. Ты должен предупредить его: пусть он ведет себя как полагается. Хватит с меня разыгрывать роль хозяйки его персонального борделя, записывать номера телефонов и говорить: «Мистер Бреннер сейчас занят, Иветта-Одилия-мисс Большое Вымя. Может ли он вам позвонить?»

«А ведь она ревнует,— с удивлением подумал Крейг.— Вот и пойми этих женщин». Но он сказал только: «Это же буржуазные взгляды, Пенни. Они канули в прошлое вместе с первой мировой войной».

«Пусть буржуазные. Да, да.— Она заплакала.— Теперь ты в этом убедился. Иди жалуйся своему благородному другу. Он посочувствует. Великий богемный художник, который никогда ни за что не платит, выразит свои соболезнования».

Она бросилась в ванную, заперла за собой дверь и не выходила так долго, что Крейг уже боялся опоздать на поезд. Но как только он услышал автомобильный гудок, поданный Бреннером у подъезда, дверь ванной открылась и появилась Пенелопа — веселая, улыбчивая и уже одетая. Она сжала Крейгу руку выше локтя и сказала:

«Прости мне эту вспышку. Что-то я нервная стала в последние дни».

Поезд тронулся со станции в Антибе, и Крейг, высунувшийся из окна спального вагона, видел, как Пенелопа и Бреннер стояли бок о бок на платформе и в сумраке махали ему рукой.

Когда Крейг вернулся из Парижа, Бреннер отдал ему законченную рукопись пьесы и заявил, что должен уехать в Нью-Йорк. Они договорились встретиться в Нью-Йорке в конце сентября и устроили прощальный ужин. Когда Крейг и Пенелопа посадили его в поезд, он сказал, что провел время прекрасно, как никогда в жизни.

После отъезда Бреннера Крейг сел читать окончательный вариант пьесы. Перелистывая знакомые страницы, он испытывал растущее беспокойство, перешедшее в конце концов в ощущение какой-то безбрежной гулкой пустоты. То, что в процессе работы казалось смешным, живым, волнующим, теперь выглядело на бумаге мертвым и безнадежно плохим. Он понял, что заблуждался, что его обманула чудесное лето, восхищение настоящим талантом друга, радостная увлеченность работой. И вот сейчас, трезво оценив пьесу, он увидел, что она мертва и спасти ее невозможно. Дело не только в том, что пьесу не ждал коммерческий успех. В конце концов, если бы она нашла немногочисленного, но квалифицированного зрителя, то и это принесло бы ему как соавтору какое-то удовлетворение. Беда заключалась в том, что пьесу — он был в этом уверен — ждало полное забвение. Если бы ее написал кто-то другой, Крейг отказался бы от нее не раздумывая. Но как быть с Бреннером?.. Дружба дружбой, но если пьеса пойдет, Бреннеру придется худо. Очень худо.

Ничего не говоря, он дал рукопись Пенелопе. Та, разумеется, слышала их разговоры об этой пьесе, имела представление о ее содержании, но читать не читала. Посредственная актриса, Пенелопа тем не менее, когда речь заходила о театре, могла быть проницательным, зорким и беспощадным судьей. Кончив читать, она сказала:

«Не пойдет. Верно?»

«Да».

«Его уничтожат. И тебя тоже».

«Я-то выживу».

«Что будешь делать?»

Он тяжело вздохнул.

«Буду выпускать».

Больше на эту тему она с ним не заговаривала, и он ценил ее такт. Но он не сказал ей, что не собирается рисковать чужими деньгами и все расходы возьмет на себя.

Репетиции были для него сплошным кошмаром. Он не сумел привлечь ни актеров, которых хотел, ни режиссера, ни даже художника, потому что пьеса никому не понравилась. В результате пришлось брать либо мало уже на что годных стариков, либо неопытных новичков, а по ночам в муках придумывать для Бреннера, во спасение его самолюбия, одну ложь за другой, чтобы как-то объяснить эти бесчисленные отказы. Такому-то пьеса понравилась, но он уже подписал контракт с Голливудом, такой-то связал себя обещанием дожидаться новой пьесы Уильямса, такой-то занят на телевидении. Бреннер же был спокоен: он не сомневался в успехе. После удачного дебюта он считал себя застрахованным от провала. Он даже вздумал жениться в самый разгар репетиций. На тихой, простой женщине по имени Сьюзен Локридж, которой прямые черные волосы, собранные в тугой пучок, придавали сходство с учительницей. В театре она ничего не смыслила, на репетициях сидела как зачарованная, полагая, что так же репетируют и все другие спектакли. На свадьбе Крейг был шафером, он устроил банкет и в поте лица старался, изображая веселого, уверенного в себе хозяина, снова и снова поднимая бокал за здоровье новобрачных и за успех спектакля. Пенелопа на свадьбу не пришла. Она была на четвертом месяце, ее часто тошнило, так что причина у нее была вполне уважительная.

За неделю до премьеры Крейг отвел Сьюзен Бреннер в сторону и сказал ей, что провал неминуем и что единственно разумный выход — отменить спектакль.

«Если я все скажу Эдди, как он это воспримет?» — спросил Крейг.

«Он умрет»,— ответила она не раздумывая.

«Да бросьте вы».

«Вы слышали, что я сказала».

«Ладно,— вяло сказал Крейг.— Будь что будет. Остается надеяться на чудо».

Но чуда не произошло. Когда занавес после первого спектакля опустился, зал был полупустым. В ресторане «У Сарди», где они решили подождать первых откликов прессы, Бреннер сказал Крейгу:

«Сволочь ты. Нарочно вредил. Сьюзен ведь передала мне, что ты ей говорил. Ты с самого начала не верил в успех и все делал кое-как. И вот результат...»

«Зачем же мне было вредить?» — спросил Крейг.

«Сам знаешь зачем, дружок.— Бреннер встал.— Пошли отсюда, Сьюзен».

Лишь много лет спустя, когда у них росли уже и Энн и Марша,

Крейг догадался, на что намекал в тот вечер Бреннер. Во время одной из ссор с Пенелопой — у них уже больше года были плохие отношения — после вечеринки, на которой, как она заявила, он обхаживал смазливую молодую актрису, пользующуюся дурной славой, она «проговорилась». Тем летом, когда они жили в Антибе, она воспользовалась его трехдневной поездкой в Париж и переспала с Эдвардом Бреннером. Она хотела причинить ему боль и добилась своего.

Он сидел за рулем в лучах яркого послеполуденного солнца, внизу, справа от него, синело море, а сзади белела, все удаляясь, вилла. Он обернулся, чтобы взглянуть на дом в последний раз.

Неплохо иметь такой дом в двадцать семь лет. В нем они зачали Энн. На большой кровати в прохладной спальне с высоким потолком и видом на море — той самой спальне, в которой они блаженствовали в течение трех чудесных, как сон, месяцев. Он не рассказал Гейл Маккиннон ни об Энн, ни о Бреннере, ни об этих трех месяцах, ни о том, как кончилась дружба и погибла любовь. Что случилось с любительскими фильмами, которые они снимали в то лето? Он понятия не имел, куда девались катушки старой хрупкой пленки. Валяются где-нибудь в груде старых театральных программ, журналов, сломанных теннисных ракеток в подвале дома на Семьдесят восьмой улице, который он купил в связи с предстоящим рождением Энн, дома, где он ни разу не был с тех пор, как объявил Пенелопе о решении развестись с ней; дома, по которому он, наверно, до конца дней своих будет в состоянии свободно передвигаться с закрытыми глазами.

Он прибавил газа, и вилла исчезла за поворотом шоссе. *Вот тебе урок: держись подальше от мест, где ты был счастлив.*

Девушка, помолчав немного, сказала:

— Мэрфи говорит, у вас очень красивая жена.— Можно было подумать, что она прочла мысли Крейга.

— Была,— ответил Крейг.— Наверно, и сейчас еще. Да, и сейчас.

— Вы расстаетесь мирно?

— Развод есть развод.

— Мои родители расстались тихо и вежливо,— сказала Гейл Маккиннон.— Мерзость какая-то. Мать взяла и ушла. Мне тогда было шестнадцать. Она и до этого уходила. Только на этот раз уже не вернулась. Когда мне исполнилось восемнадцать, я спросила отца, в чем дело. Он сказал: «Она что-то ищет. Не меня».— Девушка вздохнула.— Раз в год, на рождество, она присылает мне открытки. Из разных частей света. Как-нибудь попробую разыскать ее.— Она вдруг умолкла и откинулась на спинку сиденья. Потом спросила: — Мэрфи не похож на голливудского посредника, каким себе его представляешь, правда?

— Вы имеете в виду, что он не низкого роста, не толстый, не еврей и в речи его нет ничего странного?

Девушка засмеялась.

— Я рада, что вы так внимательно прочли меня. А то, что я оставила вам сегодня утром,— видели?

— Да.

— Есть замечания?

— Нет.

Она снова немного помолчала.

— Он очень неглуп, этот мистер Мэрфи,— сказала она.— Перед вашим приходом он сказал мне, что если бы вы выпустили свою последнюю картину сегодня, она имела бы большой успех. Она опередила время, сказал он.

Крейг внимательно следил за дорогой и притормозил, давая перей-

ти через шоссе мужчине, женщине и их детям. Все они были в купальных костюмах.

— Я согласилась с ним,— продолжала девушка.— Боевиком она, возможно, и не стала бы, по крайней мере в том смысле, какой придает этому слову мистер Мэрфи, но зрители, во всяком случае, оценили бы ее оригинальность.

— Вы ее видели? — Крейг не мог скрыть удивления.

— Да. Мистер Мэрфи говорит, что вы допустили большую ошибку, не став режиссером. Говорит, что режиссер сегодня — главная фигура в кино.

— Возможно, он прав.

— Мистер Мэрфи сказал, что до шестьдесят пятого года вам как режиссеру было бы очень легко найти работу.

— Может быть.

— Было у вас такое желание?

— Нет.

— Почему?

— Вероятно, потому, что ленился.

— Вы же знаете, что это неправда.— Девушка была явно раздосадована его нежеланием говорить откровенно.

— Ну, если вам это так уж интересно,— сказал Крейг,— я думал, что мне не хватает таланта. Самое бóльшее из меня получился бы сносный режиссер. Нашлось бы с полсотни режиссеров лучше меня.

— А среди продюсеров не найдется полсотни лучше вас? — В голосе девушки послышался вызов.

— Может, найдется пятеро. Но и эти, если повезет, перемрут, или сопьются, или в струю не попадут.

— Если бы вам пришлось начинать все сначала, выбрали бы вы себе другое занятие?

— Ну кому не приходится начинать все сначала,— сказал Крейг.— А теперь любуйтесь, пожалуйста, пейзажами.

— Ну, что ж,— спокойно сказала девушка.— Ленч, во всяком случае, был приятный.

После этого она уже не задавала вопросов и молчала всю дорогу, пока они ехали по берегу моря, через сонный, залитый солнцем Антиб и возвращались в Канн по оживленному шоссе.

Он предложил довезти ее до гостиницы, но она сказала, что в этом нет надобности, потому что от «Карлтона» всего две минуты ходьбы, к тому же она любит ходить пешком.

Перед «Карлтоном», между «ягуаром» и «альфой», было свободное место. Он поставил свою «симку» и выключил мотор. Когда ему снова понадобится машина, на этом месте он ее, конечно, уже не найдет.

— Благодарю вас за прогулку,— сказала девушка, вылезая из машины.— Ваши друзья Мэрфи мне нравятся. Уверена, что и вы понравитесь, если у меня будет возможность узнать вас поближе.

Он улыбнулся, оценив ее такт.

— Мы же соседи,— уклончиво ответил он.

Он смотрел, как она идет по набережной, неся в руке магнитофон с записью голоса Мэрфи. Ее длинные каштановые волосы блестели на фоне синей спортивной рубашки. Он стоял под ярким солнцем, чувствуя себя покинутым. Сегодня ему не хотелось оставаться одному и вспоминать о тех днях, когда ему было двадцать семь. Догнать бы ее сейчас, тронуть за руку, пойти рядом. Но он подавил в себе этот порыв. Он зашел в бар, выпил анисовой водки, потом нехотя поплелся на Антибскую улицу и посмотрел половину порнографического фильма. Фильм был снят в Германии, действующие лица — грудастые

лесбиянки в высоких кожаных сапогах Снимали их за городом, среди солнечных полян и водопадов. В зале было полно народа. Он вышел и отправился к себе в гостиницу.

Две проститутки с грубыми лицами, стоявшие на углу, близ теннисных кортов, вызывающе уставились на него. «Подойти?» — подумал он. Может, это как раз ему и нужно.

Но он лишь вежливо им улыбнулся и прошел мимо. С теннисных кортов донеслись аплодисменты, и он заглянул туда. Шли соревнования среди юношей. Ребята играли бестолково, но передвигались невероятно быстро. Он понаблюдал за ними несколько минут, пытаясь вспомнить время, когда бегал с такой же быстротой.

Выйдя с кортов, он повернул за угол и пошел прямо в гостиницу, минуя террасу, где уже начали собираться посетители: наступило время вечерней выпивки.

Когда он брал ключ от номера, портье передал ему несколько записок, поступивших в его отсутствие. Было также заказное письмо от жены, пересланное администрацией его парижского отеля. Он расписался в получении и, не читая, сунул записки и письмо в карман.

В лифте какой-то пузан в оранжевой рубашке сказал хорошенькой молоденькой девчонке:

— Худший фестиваль за всю историю.

Девчонка эта могла быть и секретаршей, и киноактрисой, и шлюхой, и дочерью этого мужчины.

Поднявшись к себе в номер, Крейг вышел на балкон, сел и немного полюбовался морем. Затем достал из кармана записки и стал читать. Письмо жены он оставил напоследок. На десерт.

Мистер Б. Томас с супругой приглашают мистера Крейга сегодня поужинать. Не будет ли любезен мистер Крейг позвонить? Они остановились в отеле «Мартинес» и будут ждать до семи.

Брюса Томаса он знал недостаточно, но относился к нему с симпатией. Томас — режиссер, у него вышло подряд три боевика. Ему около сорока лет. Это его, в частности, имел в виду Крейг, когда объяснял Гейл Маккиннон, почему не соблазнился карьерой режиссера. Завтра он скажет Томасу, что не смог ему позвонить, так как слишком поздно вернулся в гостиницу. Сегодня у него нет настроения ужинать с человеком, у которого вышло подряд три боевика.

Звонил Сидней Грин и приглашал мистера Крейга выпить сегодня вечером перед ужином. В восемь часов он будет в баре. Сидней Грин — тоже режиссер, он снял три или четыре фильма и имел контракт с одной независимой компанией еще на несколько картин. Месяц назад эта независимая компания прекратила все съемки, и Грин поехал в Канн искать работу, умоляя каждого встречного замолвить за него словечко. Сегодня ему придется пить одному.

Звонила мисс Натали Сорель и просила мистера Крейга позвонить ей. Натали Сорель — одна из тех двух великолепно одетых дам, что привлекли внимание Гейл Маккиннон накануне вечером на приеме. Довольно известная актриса родом из Венгрии, она исполняет роли на трех-четырех языках. Лет пять-шесть назад в течение нескольких месяцев она была его любовницей — он тогда снимал в Париже фильм,— но потом он потерял ее из виду. Хотя теперь ей уже под сорок, она по-прежнему выглядит роскошной красавицей; когда Крейг увидел ее на приеме, ему показалось странным, что он с ней порвал. Однажды — это было уже после курортного сезона — он провел с ней субботу и воскресенье в Болье, и воспоминание об этих днях было одним из самых приятных в его жизни. На приеме она объявила ему, что собирается замуж. «Значит,— решил он,— с именем мисс Натали Сорель связано сейчас слишком много сложностей». Звонить он ей не будет.

Была еще записка от Йэна Уодли. Когда-то они провели вместе несколько пьяных вечеров в Нью-Йорке и Голливуде. Уодли написал роман, получивший в начале пятидесятых годов широкое признание. Он был шумлив, остроумен и любил спорить с незнакомыми людьми в баре. С тех пор он написал несколько неудачных романов и участвовал в работе над множеством киносценариев, трижды женился и разводился и стал пьяницей. Крейг уже много лет не встречал имени Уодли ни в газетах, ни на экране и удивился, увидев на записке его подпись.

«Дорогой Джесс,— гласили каракули,— я узнал, что ты здесь, и подумал, что неплохо бы в память старой дружбы тяпнуть нам с тобой по стаканчику. Я снимаю берлогу недалеко от старого порта, где влачат свою недолгую, мерзкую, скотскую жизнь бедняки, но они неплохо справляются с поручениями. Звони, когда будет время. *Йэн.*

«Зачем Уодли приехал в Канн? Впрочем, не так уж это интересно»,— подумал Крейг и не стал звонить по телефону, указанному в записке.

Он вскрыл заказное письмо жены, напечатанное на ее машинке. Она сообщала, что срок получения от него ежемесячного чека истек два дня назад, о чем она собирается известить своего и его адвокатов. Если через день она не получит чека, то даст указание адвокату принять соответствующие меры.

Он скомкал бумажки, сунул их в карман и откинулся на спинку кресла.

Солнце уже зашло, над морем сгущались сумерки. Небо заволокло тучами, море посерело, заморосил дождь. Поднялся ветер, листья пальм на берегу зашевелились, издавая дробные механические звуки. Белая яхта с зажженными ходовыми огнями, качаясь на волнах, спешила в старую гавань.

Он ушел с балкона в гостиную и повернул выключатель. Лампы загорелись бледным, водянистым светом. При желтоватом освещении комната казалась убогой и неуютной. Он достал чековую книжку и выписал чек на имя жены. Он уже много недель не подсчитывал остатка, не стал этого делать и сейчас. Вложил чек в конверт и надписал адрес. Адрес чужого дома, хотя в нем полно его книг, бумаг и мебели, накопившихся за многие годы жизни.

Он выдвинул ящик стола и достал рукопись — один из шести лежавших там экземпляров. Рукопись была без обложки, на первой странице стояло название: «Три горизонта». Имени автора не было. Крейг взял авторучку и склонился над столом. Подумав немного, написал: «Малкольм Харт». Имя как имя, не хуже любого другого. Пусть оценивают произведение неизвестного автора по его достоинствам. Лучше, когда судят о вещи в чистом виде. Друзьям не придется тогда давать снисходительные отзывы, у врагов же не будет лишнего повода позлословить. В этом есть, конечно, элемент малодушия, но есть и здравый смысл, расчет на точность суждений.

Он достал остальные пять экземпляров и на каждом сделал такую же надпись. Затем вложил один из них в манильский конверт и написал на нем имя Брайана Мэрфи.

Он подумал, не позвонить ли Констанс. Сейчас она должна быть дома. Она после утренней вспышки, наверно, уже успокоилась. Но если окажется, что ее нет дома, то это огорчит его, и он решил не звонить.

Он спустился в переполненный холл, равнодушно улыбнулся двоим знакомым и прошел мимо — ему не хотелось ни с кем разговаривать. Подойдя к стойке портье, он велел отправить конверт

с чеком для жены почтой, а рукопись немедленно доставить с курьером Брайану Мэрфи в «Отель на мысу». Затем послал Энн телеграмму, в которой предлагал вылететь первым же самолетом в Ниццу. Уж если и жертвовать ради кого-то своими удобствами, так хоть ради собственной плоти и крови.

6

Ужинал он в небольшом ресторане в старом порту. Один. За день он и так уже достаточно наговорился с людьми. Ресторан — один из лучших в городе, дорогой и обычно многолюдный. Но в этот вечер в зале были только он да две шумные компании англичан — розовощекие мужчины с модными прическами и безвкусно одетые, увешенные драгоценностями женщины. Они не имели отношения к фестивалю и в Канн приехали только развлекаться. Крейг видел их всех накануне вечером в казино; женщины, как и мужчины, играли по-крупному. Женщины рассказывали тонкими, визгливыми голосами о других курортах — Сардинии, Монте (как они сокращенно называли Монте-Карло), Капри, Сен-Морисе — непременных обиталищах богачей. Мужчины жаловались на лейбористское правительство, валютные ограничения, курс фунта, девальвацию — их голоса гудели, покрывая трели их жен.

«Англия всегда будет Англией»,— подумал Крейг, принимаясь за салат по-ниццки.

Вошел Пабло Пикассо с компанией из пяти человек, и хозяйка ресторана, красивая женщина, суетливо усадила его за столик у противоположной стены. Крейг посмотрел на него, с восхищением подумал о том, какую бычью энергию излучает его невысокая плотная фигура, большая лысая голова, темные глаза, нежные и жесткие одновременно, и тут же отвел взгляд. Пикассо, конечно, гордится своей славой, но почему, когда он ест суп, за каждым его движением должен следить какой-то немолодой американец, чья претензия на внимание художника обусловлена только тем, что у него в доме, который, в сущности, уже не его, висит литография с изображением голубя.

Англичане лишь мельком, без любопытства взглянули на Пикассо и его компанию, когда те входили в ресторан, и опять занялись своими бифштексами и шампанским.

Позже хозяйка подошла к столику Крейга и тихо спросила:

— Вы ведь знаете, кто это, да?

— Конечно.

— А вот они...— Она язвительно улыбнулась, слегка кивнув головой на своих английских клиентов.— Они не знают.

— Искусство вечно — признание быстротечно.

— Comment? [1]— озадаченно посмотрела на него хозяйка.

— Американская шутка,— пояснил Крейг.

Когда он закончил ужин, хозяйка подала ему к кофе коньяку. За счет ресторана. Если бы англичане узнали Пикассо, то ему пришлось бы платить за этот коньяк самому.

Выходя из ресторана, Крейг посмотрел на Пикассо, их глаза встретились. Он подумал: «Каким увидел меня этот старик? Как абстракцию, угловатый, безобразный продукт американской системы? Убийцу, склонившегося над умерщвленным азиатским крестьянином и подсчитывающего трупы? Скорбного, бесприютного клоуна на печальном чужом карнавале? Одинокое человеческое существо, с трудом пере-

[1] Что? *(франц.)*

двигающееся по пустому холсту?» Он с грустью подумал об условностях, которым подчинено его поведение. Как хорошо было бы сейчас подойти к этому старику и сказать: «Вы сделали мою жизнь богаче».

Выйдя из ресторана, он перешел улицу и оказался на набережной, где у причалов стояли яхты, покачиваясь на тихой черной воде. «Почему вы не в море?» — мысленно спросил он.

Уже почти дойдя до поворота гавани, он увидел при свете фонарей двигавшуюся ему навстречу знакомую фигуру. Это был Иэн Уодли, он шел, опустив голову, развинченной, усталой походкой. В последнюю секунду Уодли заметил его, встрепенулся, и на лице его появилась улыбка. Он располнел и явно не влезал в свой давно не глаженный костюм. Ворот рубашки он расстегнул, чтобы не сдавливать толстую, дряблую шею; наполовину развязанный галстук сбился набок и свисал на измятую рубашку. Он давно не стригся, густые нечесаные волосы торчали в разные стороны, открывая высокий выпуклый лоб. Он был похож на пророка-отшельника.

— Вот кого я хотел видеть,— громко сказал Уодли.— Мой друг, вундеркинд.— Уодли познакомился с Крейгом, когда тому только что исполнилось тридцать лет. В эту фразу он вкладывал обидный смысл, и Крейг так именно ее и воспринял.

— Привет, Йэн.— Крейг пожал потную ладонь Уодли.

— Я же записку тебе оставил,— сказал Уодли тоном упрека.

— Я собирался звонить тебе завтра.

— Кто знает, где я буду завтра.— Голос у Уодли немного сел. Он был под хмельком. Как обычно. Пить он стал с тех пор, как начались неудачи с его книгами. Или наоборот, неудачи начались с тех пор, как он стал пить. Причина и следствие в одном лице.

— Разве ты здесь не на весь период фестиваля? — спросил Крейг.

— Я нигде ни на какой период.— Уодли оказался пьянее, чем Крейгу вначале показалось.— Что ты делаешь?

— Когда?

— Сейчас.

— Гуляю.

— Один? — Уодли недоверчиво осмотрелся вокруг, словно подозревая, что на темной набережной среди перевернутых плоскодонок и рыбачьих снастей Крейг прячет какую-нибудь сомнительную личность.

— Один,— подтвердил Крейг.

— Одинокий продюсер. Ну, так я погуляю с тобой. Пойдем, как два ветерана, товарища по отступлению с бульвара Заходящего Солнца.

— Ты всегда выражаешься титрами, Йэн? — спросил Крейг, раздраженный тем, что этот писатель считает его товарищем по несчастью.

— Что делать, кино — искусство сегодняшнего дня,— сказал Уодли.— Печатное слово мертво. Почитай любого канадского философа. Отведи меня в ближайший бар, вундеркинд.

— Я уже достаточно выпил сегодня.

— Счастливчик. Что ж, пройдусь с тобой и так. Твоя-то дорога вернее моей.

Они пошли рядом. Уодли держался подчеркнуто прямо, шагал пружинящей походкой. Его некогда красивое, открытое, худое лицо теперь заплыло жиром и превратилось в лицо алкоголика и человека, которому очень жаль самого себя.

— Расскажи мне, вундеркинд, что ты делаешь в этом нужнике,— сказал он.

— Да вот, решил посмотреть несколько фильмов,— ответил Крейг.

— А я в Лондоне живу. Ты это знал? — Он спросил резким тоном, явно намекая, что Крейг потерял всякий интерес к судьбе своего бывшего приятеля.

— Да,— сказал Крейг.— Ну, что Лондон?

— Город Шекспира и Марло, королевы Елизаветы и Диккенса, Твигги и Йэна Уодли. Еще один нужник. Вообще-то я приехал написать статью о фестивале для журнала английских гомиков. Никакой гарантии, они оплачивают мне только гостиницу. Если возьмут что-нибудь — подкинут пару фунтов. Хотят украсить свою обложку волшебным именем Йэна Уодли. Когда увидят статью, то их, наверно, стошнит. Все, что я здесь видел,— дерьмо. Так и напишу. Вот уж начнут возмущаться! Редактор отдела кино и театра у них вообще полуграмотный, поэтому он убежден, что кино — это искусство сегодняшнего дня. Музыка сфер, так сказать. Думает, что Годар ежегодно накручивает по четыре новых Сикстинских капеллы. Господи, да он и антониониевский «Крупным планом» считает шедевром! Ты сам-то что думаешь обо всей этой ерунде, что здесь показывают?

— Есть фильмы хорошие, есть и плохие,— ответил Крейг.— Думаю, что до конца фестиваля штук шесть хороших наберется.

— Шесть! — фыркнул Уодли.— Когда составишь список, пришли мне. Я упомяну их в своей статье. Свобода печати. «Великий в прошлом деятель кино назвал шесть лучших фильмов».

— Шел бы ты лучше домой, Йэн. Ты меня раздражаешь.

— Извини.— В голосе Уодли прозвучало искреннее раскаяние.— Разучился я вести себя, как люди. Да и все у меня скверно. А в гостиницу я не хочу. Ничто там меня не ждет, кроме коллекции блох и недописанной рукописи книги, которую я, наверно, так и не кончу. Я зол, я это знаю, но зачем изливать свою желчь на старых друзей? Прости меня. Простишь, а? — В голосе Уодли слышалась мольба.

— Конечно.

— Мы ведь были друзьями, правда? Были у нас с тобой веселые денечки. Немало мы с тобой покутили. Что-нибудь да осталось у нас от той дружбы, а, Джесс?

— Конечно, осталось, Йэн,— сказал Крейг, хотя это была неправда.

— Меня что́ убивает? — сказал Уодли.— Меня убивает теперешняя манера писать. Особенно для кино. Все чего-то ноют, брюзжат и говорят: «Ага», «Вроде», «Ты мне подходишь, малышка» и «Давай переспим». И это называется диалог, так, мол, и должно благородное животное, именуемое «человеком», обращаться к себе подобным перед очами господними. Люди, которые так пишут, зарабатывают по сто тысяч за картину, получают Оскаров и имеют столько девочек, сколько душе угодно. Мне же вот приходится писать грошовую статейку для журнала английских гомиков, да и неизвестно еще, напечатают ли ее.

— Брось хандрить, Йэн. У всякого художника бывают свои взлеты и падения. Почти у каждого писателя так: то он в моде, то нет. И так всю жизнь. Если, конечно, он достаточно долго протянет.

— Я буду снова в моде через пятьдесят лет после своей смерти,— сказал Уодли.— Любимец потомков Йэн Уодли. Ну, а ты как? Давненько я не видел в воскресных газетах статей о твоих замечательных успехах.

— Я в академическом отпуске,— пошутил Крейг.— Отдыхаю от славы.

— Что-то затянулся твой академический отпуск, черт побери.

— Верно.

— Кстати, вспомнил. Есть тут одна девица, Гейл Маккиннон, она

вроде корреспондентки. Все о тебе допытывается. Задает мне разные вопросы. О женщинах. О девушках. О твоих друзьях. О твоих врагах. Кажется, она знает о тебе больше, чем я. Ты с ней говорил?

— Немного.

— Поостерегись ее. Что-то мне в ней не понравилось.

— Хорошо, поостерегусь.

У поворота их догнал «фиат», в котором сидели две женщины. Машина замедлила ход, женщина, сидевшая ближе, высунулась из окна и сказала:

— Bonsoir[1].

— Катись ко всем чертям,— буркнул Уодли.

— Sal juif,— сказала женщина. Машина рванулась с места и ушла.

— «Грязный еврей»,— повторил Уодли.— Неужели я настолько плох с виду?

Крейг засмеялся.

— С французскими дамами повежливей надо обращаться. Они все в монастырях воспитываются.

— Шлюхи,— сказал Уодли.— Всюду шлюхи. В зрительном зале, на экране, на улице, в зале заседаний жюри. Правда, Джесс, это же — всемирная столица проституции! Каждый год в дни фестиваля. Раздвинь ноги и бери деньги. Эти слова, как девиз, надо напечатать на каждом бланке под печатью города Канна. Или вот, взгляни. Вон там.— Он показал рукой через бульвар: четыре молодых парня красноречиво улыбались прохожим мужчинам.— Как тебе это нравится?

— Не очень,— ответил Крейг.

— Теперь без программы не скажешь, что за актеры играют в картине. Вот погоди, увидишь мою статью.

— Я не могу ждать,— сказал Крейг.

— Да, лучше я пришлю тебе рукопись. Не напечатают ее мои гомики. Или и мне стать проституткой и написать то, что редактору понравится? Если я ничего не заработаю, то не знаю, на что буду жить.

— Может, то же самое говорят себе и эти девицы в автомобиле, и эти парни на углу: «Если я ничего не заработаю, то не знаю, на что буду жить».

Уодли выругался.

— Слишком уж много у тебя христианского смирения, Джесс. Не думай, что это добродетель. Из-за этого смирения мир и так летит к чертям собачьим. Грязные фильмы, грязный бизнес, грязная политика. Все допустимо. Все прощается. Всему найдется десяток оправданий.

— Что тебе надо, Йэн, так это хорошо выспаться,— сказал Крейг.

Уодли остановился на тротуаре.

— Что мне надо, так это пять тысяч долларов. Можешь ты мне дать пять тысяч долларов?

— Нет,— ответил Крейг.— Зачем тебе пять тысяч долларов?

— В Мадриде снимают фильм. Сценарий, разумеется, скверный, и его надо срочно переделать. Если бы я мог сейчас туда поехать, эта работа почти наверняка досталась бы мне.

— Билет до Мадрида стоит долларов сто, не больше, Йэн.

— А за гостиницу чем платить? А есть мне надо? Не сразу же они подпишут со мной контракт и выдадут аванс. А что послать моей сволочной третьей жене? За неуплату алиментов она собирается наложить арест на книги и пишущую машинку, которые я сдал на хранение в Нью-Йорке.

---

[1] Добрый вечер *(франц.)*.

— Вот здесь ты нащупал мою слабую струнку, дружище,— сказал Крейг.

— Если ты хочешь заключить сделку, а эти мерзавцы знают, что у тебя нет ни гроша, так они в порошок тебя сотрут. Имея же деньги, ты можешь встать и сказать: дело ваше, друзья. И уйти. Ты сам знаешь, как это бывает. Нет, пять тысяч — это, я считаю, минимум.

— Извини, Йэн.

— Ну, ладно, триста ты мне можешь дать? За триста я смогу доехать до Мадрида и прожить там дня два.— Его жирный подбородок дрожал.

Крейг стоял в нерешительности, машинально ощупывая боковой карман пиджака, где у него лежал бумажник. Там было пятьсот долларов в американской валюте и около двух тысяч франков. Память о временах бедности сделала его суеверным, поэтому он постоянно носил с собой крупные суммы денег. Ему всегда бывало мучительно трудно, почти невозможно отказывать в деньгах даже незнакомым людям, и это свойство своего характера он справедливо считал проявлением слабости. Он часто вспоминал «Войну и мир» Толстого, где автор рассматривал обретенную Пьером Безуховым способность отказывать таким просителям как признак зрелости и благоразумия.

— Хорошо, Йэн, я дам тебе триста.

— Пять тысяч было бы лучше.

— Я сказал: триста.— Крейг достал бумажник, вынул три сотенных бумажки и протянул Уодли.

Уодли небрежно сунул деньги в карман.

— Ты ведь знаешь, что я никогда их тебе не верну?

— Знаю.

— И не извинюсь,— со злостью сказал Уодли.

— Я и не требую от тебя извинений.

— Знаешь, почему не извинюсь? Потому что ты должен мне эти деньги. Знаешь, почему должен? Потому что когда-то мы были равны. А сейчас ты что-то значишь, я же — ничего. Меньше чем ничего.

— Желаю тебе приятно провести время в Мадриде,— устало сказал Крейг.— Ну, я иду спать. Спокойной ночи.

Уодли продолжал стоять у фонарного столба, около него крутились проститутки. Он долго смотрел вслед удалявшемуся Крейгу.

Подходя к отелю, Крейг почувствовал, что озяб. Его слегка знобило. Он зашел в бар. Там, как всегда между ужином и окончанием вечернего сеанса, было почти безлюдно. Он сел у стойки и заказал себе горячий грог — с лечебной целью. Пока он пил, бармен показал ему фотографию своего сына. Сын был в старинной форме Escadre Noir[1] французской кавалерийской школы в Сомюре. Молодой человек на снимке сидел верхом на красивом вороном коне и готовился к прыжку через препятствие. Великолепная посадка, уверенная рука. Крейг, чтобы доставить удовольствие отцу, полюбовался фотографией, размышляя о том, как хорошо было бы посвятить свою жизнь чему-нибудь такому же приятному и бесполезному, как служба во французском кавалерийском эскадроне в 1970 году.

Его все еще знобило. Чувствуя, что заболевает, он расплатился за грог, попрощался с отцом кавалериста и пошел в холл за ключом от номера. В его ящике лежал конверт. Почерк Гейл Маккиннон. Ему стало жаль, что он не пригласил ее ужинать. Если бы она была рядом, то Уодли не разговаривал бы с ним таким тоном. Уодли вывел-таки его из равновесия, хотя он в этом и не сознавался. Да и богаче он был бы на триста долларов: при свидетеле Уодли не решился бы

[1] Черный эскадрон *(франц.)*.

просить денег. Рассудку вопреки, он и озноб и простуду склонен был приписать этой встрече. Холодное дыхание каннской бездны.

Поднявшись в номер, он надел свитер и налил себе виски — опять-таки с лечебной целью. Ложиться спать было еще рано, несмотря на простуду. Он вскрыл конверт Гейл Маккиннон и при желтоватом свете люстры стал читать ее письмо:

«Уважаемый м-р Крейг! Я все о том же. Не теряю надежды. Сегодня днем, на ленче и в машине, я почувствовала, что Вы становитесь дружелюбней. В сущности, Вы совсем не такой неприступный, каким хотите казаться. Когда мы проезжали мимо дома на Антибском мысе, где, по Вашим словам, Вы провели одно лето, мне показалось, что Вы хотели сказать больше того, что позволили себе сказать. Вероятно, из осторожности, из боязни сказать под влиянием момента что-нибудь лишнее, о чем потом, когда это появится в печати, Вы будете сожалеть. Так вот: я составила вопросник. Прочтите его на досуге и напишите ответы на вопросы по Вашему выбору и в такой форме, какая Вам угодна. Можете потом отредактировать их так, как Вам хочется, чтобы полностью гарантировать себя от использования каким-нибудь бессовестным газетчиком или газетчицей случайно оброненной фразы. Вот эти вопросы...»

Крейг прочел первый вопрос и задумался. Вопрос простой: «Почему вы в Канне?» «Что ж,— подумал он,— хорошее начало. И хороший конец. Неглупая девочка. Вопрос всеобъемлющий, вечный. Почему вы вообще где-нибудь?» *Ответить на этот вопрос — значит изложить свое общее представление о предмете. На обдумывание ответа — тридцать минут, двадцать четыре часа или сорок восемь лет.*

Почему ты в этом городе, а не в другом? Почему спишь в этой постели, с этой женщиной, а не с какой-нибудь другой? Почему здесь ты один, а там — в толпе людей? Как получилось, что ты стоишь на коленях перед этим алтарем в этот час? Что побудило тебя отказаться ехать в один город и поехать в другой, туда, где ты находишься сейчас? Какие обстоятельства заставили тебя пересечь вчера ту реку, утром сесть на этот самолет, вечером поцеловать этого ребенка? Что привело тебя в эти широты? Какие друзья, враги, успехи, неудачи, ложь, правда, расчеты времени, географические карты, маршруты и шоссе послужили причиной того, что ты оказался в этой вот комнате в этот вечерний час? Прямой вопрос требует прямого ответа.

Он сел за стол, взял лист бумаги и ручку. «Почему я в Канне?» — медленно вывел он и задумался. Затем, не отдавая себе, в сущности, отчета в том, что он делает, написал почти автоматически: «Я в Канне, чтобы спасти свою жизнь».

7

Он долго смотрел на то, что написал. «Это же не мой почерк»,— подумал он. Он положил ручку на стол. Он знал, что ничего больше сегодня уже не напишет. *Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.* Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

В лицо больно ударил яркий свет, где-то раздался пронзительный вой. Он открыл глаза. Прямо на него сквозь влажные полукружья в ветровом стекле неслись две расплывчатые луны. Руки его бессильно лежали на рулевом колесе. Он резко свернул в сторону — совсем

близко от него, всего в нескольких дюймах, промчалась по черной сверкающей дороге встречная машина. Вой ее гудка замер за спиной, как погребальный вопль. Он был спокоен, вел машину осторожно, не останавливаясь, зорко всматриваясь сквозь разрисованное прожилками дождя стекло в извилистую ленту шоссе.

Когда он проехал несколько миль, у него затряслись руки, тело забила мелкая неудержимая дрожь. Он свернул на обочину шоссе, остановил машину и стал ждать, когда пройдет спазм. Он не мог сказать, как долго еще тряслись у него руки, чувствовал только холодный пот на лбу и ледяные ручейки, стекавшие под мышками. Он вынул платок, вытер лоб, сделал четыре глубоких вдоха. В машине пахло болотной сыростью. Куда он попал? Ряды черных деревьев вдоль шоссе ничего ему не говорили. Он вспомнил, что не так давно пересек границу Франции. Значит, он где-нибудь между рекой Бидасоса и Сан-Себастьяном. Из Парижа он выехал утром и ехал весь день, останавливаясь только для того, чтобы заправиться бензином и выпить чашку кофе. *Я едва не погиб в солнечной Испании.* Он намеревался ехать так до самого Мадрида, переночевать там и на следующий день двинуться дальше на юг, в Малагу. На следующий день в Малаге должен был выступать один матадор, его знакомый, пожалуй даже приятель, а точнее — приятель его приятеля. Они познакомились год назад в Аликанте во время трехдневного гулянья. Яркое средиземноморское солнце, марширующие оркестры, фейерверки, южноиспанские костюмы, попойки, длительное, тяжелое похмелье, бесшабашная веселость чужого праздника, мужчины и женщины, с которыми приятно было провести праздничные дни — он знал их достаточно близко,— но которые, в общем, ничего для него не значили, ибо встречался он с ними всего по четыре-пять раз в год, когда бывал на бое быков.

Матадор этот был слишком стар для быков. Он и сам это знал. Он был богат. Какой ему смысл выходить на арену к животным, назначение которых — убить его? «А что мне еще делать? — спрашивал матадор.— Только это развлечение у меня и осталось. Мое единственное поле для игры. Я счастливчик, у меня есть свое поле для игры. У большинства людей его нет. Поэтому я не могу допустить, чтоб меня лишили его».

В Испании можно погибнуть от разных причин. От рогов, от того, что заснешь за рулем.

В тот год Крейг уже третий раз засыпал ночью в машине. Первый раз это было под Зальцбургом. Второй — на автостраде недалеко от Флоренции. Третий — сегодня. Ему везет. Или наоборот? Во всяком случае, он вовремя проснулся и открыл глаза. В последние годы он проезжал без остановки по девятьсот — тысяче миль. Что ему надо было в Зальцбурге, что он собирался смотреть во Флоренции? В течение года его приятель матадор выступает в тридцати разных местах. Какой необходимостью вызывалась поездка в Малагу? Он уже забыл. Ему нравилось ездить ночью, нравилось одиночество, оцепеняющее, гипнотизирующее действие мчащихся навстречу огней, чувство удовлетворения от того, что он покидает город, где, как ему казалось, он пробыл уже слишком долго, радость езды по пустынным, темным улицам нового города, ощущение проделанного пути.

Самоубийство подстерегает человека в каждом гараже. Крейг достаточно ясно отдавал себе в этом отчет.

Он тронул машину, медленно въехал в Сан-Себастьян, нашел гостиницу. Сегодня ночью в Мадрид ему уже не попасть.

Рядом с гостиницей работал бар. Он заказал коньяку, потом еще. Есть не хотелось. За столиком сидели какие-то люди. Они оживленно

разговаривали по-испански. Он прислушался. Их головы склонились над столом, голоса заговорщицки приглушены. Замышляют убить Франко, освободить какого-нибудь священника, бросить бомбу в полицейский участок или попытать счастья в лотерее? Он не понимал испанского, и это действовало на него успокаивающе.

В гостинице он заказал разговор с Парижем. Пока его соединяли, прошло много времени, он разделся, лег в постель и стал ждать звонка. У телефона была Констанс. Он уехал от нее рано утром. На рассвете они предавались любви. Она была сонная и теплая. Страсть ее, как обычно, была пылкой, щедрой, легковозбудимой. Она отдавалась ей вся, и сама брала все, так что не требовалось никаких милостей ни с той, ни с другой стороны, никто не сводил счетов в постели. Она никогда не спрашивала, зачем он уезжает, когда он вдруг заявлял, что отправляется в Цюрих, на баскское побережье или в Нью-Йорк. Если бы она спросила, он не смог бы сказать ей точно.

Иногда они ездили вместе, но то было совсем другое дело. Когда она брала отпуск, их поездки были для него развлечением. Один он никогда не отдыхал, с ней же вел машину медленно, они все время болтали, шутили, любовались видами, часто останавливались у баров. Она любила сидеть за рулем. Водила она рассеянно, но ей везло. Хвасталась, что обошлось без единой аварии, хотя их могли быть десятки. Однажды она на крутом повороте выехала на встречную полосу движения, и он засмеялся. Она не терпела, когда над ней смеялись. Остановила машину, вышла и, заявив, что больше никогда с ним не поедет, пошла пешком обратно в Париж. Он решил подождать. Через полчаса она вернулась, безуспешно пытаясь придать своему лицу надменное выражение, и он разрешил ей снова сесть за руль. Она остановила машину у первого же кафе, и они пошли выпить по рюмке коньяку.

В то утро, выйдя из ее дома, он поехал к себе в гостиницу, уложил вещи и отправился по незагруженной еще трассе на юг. Как-то она спросила его, зачем он оставляет за собой номер в гостинице, если почти каждую ночь, пока живет в Париже, проводит у нее. Он ответил: «Я привык к гостиницам». Больше она его уже не спрашивала.

На столике рядом с постелью зазвонил телефон. Комната у него была огромная, обставленная темной высокой мебелью. Он всегда останавливался в лучших гостиницах города, где не так много постояльцев. Не любил, когда в дорогой гостинице, в каком бы городе это ни было, толчется обычная, заурядная публика.

«Ты уже в Мадриде?» — спросила она. Наверно, он разбудил ее, хотя по голосу никогда не скажешь — это же Констанс. Едва проснувшись, она говорила уже так, словно только что приняла душ.

«Нет,— ответил он.— Заночевал в Сан-Себастьяне».

«Как там в Сан-Себастьяне?»

«Говорят по-испански».

«Удивительно.— Она засмеялась.— Зачем же тебе вздумалось там останавливаться?»

Если бы он был честен, он бы сказал: «Умирать не хотелось». Вместо этого он ответил:

«Дождь пошел».

Вот еще год. Пять лет назад. Он стоял в фойе кинотеатра в Пасадене. Закончился предварительный просмотр последней выпущенной им картины. Фильм снимался во Франции, его герой — молодой лейтенант американской армии, находившийся со своей частью в Германии,— дезертировал и перед тем, как сдаться властям, завел на свою погибель роман с француженкой. Вместе с Крейгом в фойе стоял, уто-

нув в просторном пальто, режиссер Фрэнк Баранис; он был расстроен: публика без конца кашляла, фильм смотрела невнимательно. Они дружили уже почти двадцать лет, с тех пор, как Баранис поставил пьесу Эдварда Бреннера. На свадьбе Крейга Баранис был шафером. Во время съемок этого фильма Крейг получил анонимное письмо, написанное женской рукой, в котором сообщалось, что Баранис спал с Пенелопой до свадьбы, в самый канун свадьбы и, вероятно, после свадьбы тоже. Крейг не придал этому письму значения и не сказал о нем ни Пенелопе, ни Баранису. Нельзя же на основании анонимного письма, написанного, очевидно, какой-нибудь обманутой и мстительной женщиной, спрашивать у человека, твоего друга, почти круглые сутки занятого вместе с тобой сложным и ответственным делом, переспал ли он с твоей женой в канун вашей свадьбы семнадцать лет назад.

Крейг вдруг обратил внимание, какой Баранис старый, как он похож на испуганную высохшую обезьяну. Лицо рябоватое, но зато — большие влажные темные глаза и та пренебрежительная бесцеремонность в обращении с женщинами, которая, как слышал Крейг, очень их привлекает.

«Ну вот мы и отбомбились,— сказал Баранис.— Что теперь?»

«Ничего,— ответил Крейг.— Мы хотели сделать эту картину и сделали ее».

Мимо них проходил какой-то мужчина с женой — они вышли вместе с толпой из зрительного зала. Женщина была низкого роста, в крикливом наряде. Если бы она пошла, как вещь, в продажу, то валялась бы где-нибудь на прилавке универмага в куче уцененных товаров. Мужчина был толстый, в узком костюме. У него был вид футбольного тренера, команда которого только что проиграла: его красное лицо пылало гневом, глаза сверкали за неоправленными стеклами очков.

«Не фильм, а куча дерьма,— сказал он.— Они думают, что нынче все можно сбыть с рук».

«Гарри,— укоризненно сказала женщина. Голос у нее был такой же крикливый, как и наряд.— Как ты выражаешься!»

«Повторяю: куча дерьма».

Крейг и Баранис молча переглянулись. Они работали над фильмом два года. Потом Баранис сказал:

«Видимо, эта картина не для Пасадены. В Нью-Йорке, я думаю, к ней отнесутся иначе».

«Возможно,— согласился Крейг. Затем, раз уж такой выдался вечер, сказал: — Фрэнк. Месяца два назад я получил анонимку. В ней сообщалось, что у тебя была связь с Пенелопой до того, как мы поженились. Что ты спал с ней даже в канун нашей свадьбы. Правда?»

«Да»,— ответил Баранис. Такой уж выдался вечер.

«Почему ты мне не сказал тогда?»

«Ты же не спрашивал. Когда у нас это началось, я не знал, что ты хочешь на ней жениться.— Баранис обмотал шею шарфом и спрятал в нем половину лица. Это придавало ему сходство с маленьким зверьком, погибающим в ловушке.— Но даже если бы я и сказал тебе, ты бы все равно на ней женился. Ее бы простил, а меня возненавидел. И разговаривать перестал бы со мной на всю жизнь».

«Пожалуй, да»,— сказал Крейг.

«Возьми, к примеру, свои отношения с Эдом Бреннером,— сердито сказал Баранис.— С ним-то ты уж больше не общаешься?»

«Нет».

«Вот видишь».

«Ты знал о Бреннере и Пенни?» — вяло спросил Крейг.

«Все знали.— Баранис нетерпеливо передернул плечами.— Какая

польза была бы, если бы я стал хвастать перед тобой?» Баранис еще глубже вобрал голову в плечи.

«Никакой,— благоразумно согласился Крейг.— Ладно, пошли отсюда. Я подвезу тебя домой».

В Нью-Йорке картина была встречена ненамного лучше. В то время фильмы о солдатах, разочаровавшихся в американской армии, еще не отвечали вкусам публики.

Он сидел у себя в конторе за исцарапанным столом из поддельного красного дерева и подписывал чеки. Контора маленькая, обшарпанная, из двух комнат: одна для него, другая для секретарши. Белинда Юэн работала у него со дня первой постановки. Мебель в конторе тоже не менялась с 1946 года. От времени ни Белинда, ни мебель не стали лучше. Белинда, когда он брал ее на работу, была маленькой, темноволосой, очень живой, почти миловидной молодой женщиной. С годами она так и осталась маленькой, темноволосой и живой, но миловидность ее исчезла. Годы избороздили ее лицо резкими прямыми линиями, губы сделались неровными, словно вырезанными тупым ножом. Письменный стол, как и в 1946 году, был из того же поддельного красного дерева, только теперь это стало чуть заметнее.

Пенелопа уговаривала его подыскать для конторы более просторное помещение и сама бралась выбрать мебель. Он отказался. Он не любил, когда в конторе мужчины хозяйничает жена: покупает мебель, толстые ковры, вешает на стены хорошие картины. За годы супружеской жизни Пенелопа неоднократно, по крайней мере раз в год, пыталась заставить его уволить Белинду. «Она ведет себя так, будто в конторе она хозяйка, а не ты,— твердила Пенелопа.— И меня ни во что не ставит.— Не нравилась ей и манера Белинды одеваться.— И наряды нелепые. Такой вид, словно на Кони-Айленд собралась с каким-нибудь матросом. Представляешь, что о тебе думают люди, когда впервые приходят в контору и видят эту женщину в платье всех цветов радуги?» Он мог бы ответить ей, что люди приходят в контору работать с ним, Джессом Крейгом, а не обсуждать туалеты его секретарши, но вместо этого говорил: «Когда она выйдет замуж, я возьму другую женщину, и та будет ходить только в черном».

«Замуж! — фыркнула Пенелопа.— Пока ты жив, она не выйдет замуж».

«Надеюсь, это так и будет»,— сказал он. Разговор этот происходил дома в один из наименее приятных вечеров.

И все же несовместимость зеленых и багровых тонов в новых нарядах Белинды так резко бросалась в глаза, что он иногда от удивления только головой качал. Разумеется, закрыв за собой дверь кабинета.

Иногда Пенелопа в припадке гнева обвиняла мужа в любовной связи с секретаршей. Но он никогда к Белинде не притрагивался. Ему казалось, что стоит погладить ее по щеке, как она с криком бросится вон. Он не понимал также, почему женщина, превосходно справляющаяся с возложенными на нее обязанностями, должна еще уважать жену своего хозяина.

В довершение всего он был суеверен. В этом крохотном, обшарпанном помещении и с этой несимпатичной, нелепо одевавшейся секретаршей он преуспевал; с тех пор, как он арендовал это помещение за восемьдесят долларов в месяц, дела у него пошли хорошо — лучше, чем он когда-либо рассчитывал и мечтал. Какой же смысл искушать судьбу ненужным стремлением к роскоши? Впрочем, сейчас, в предвечерние часы осеннего нью-йоркского дня, после неудачного

предварительного просмотра его картины в Пасадене и столь же неудачной премьеры в Нью-Йорке, когда он сидит за этим вот старым письменным столом и подписывает бесчисленные чеки, вряд ли можно утверждать, что счастье окончательно поселилось в этой комнате с голыми стенами, где он столько лет трудился.

Большинство лежавших перед ним счетов он оплачивал из собственного кармана — это были расходы личные, не деловые: содержание дома, продукты, крепкие напитки, топливо, телефон, жалованье двум горничным, цветы; счет на две тысячи долларов за диван, который Пенелопа отыскала в антикварном магазине на Мэдисон-авеню; счета от «Сакса» с Пятой авеню и «Бергдорфа Гудмена» за платья, купленные Пенелопой; очередной ежемесячный счет на двести долларов от «Чарльза из Рица», где Пенелопа причесывается. Другие счета: за обучение Энн в школе в Лозанне, за обучение Марши в школе в Мериленде; страховка и аренда гаража для машины Пенелопы; счет на сто восемьдесят долларов от массажистки, посещающей Пенелопу три раза в неделю; дикий счет от голливудского доктора за лечение матери Пенелопы, приехавшей навестить дочь вскоре после их свадьбы, когда Крейг работал в Голливуде над своим первым фильмом, и сразу же заболевшей какой-то таинственной болезнью, от которой все никак не умрет (и придумала же где умирать — в самом дорогом месте в мире!).

Крейг попробовал было поручить оплату хозяйственных счетов Пенелопе, но та постоянно просрочивала, а то и вовсе не платила за телефон, так что его вдруг отключали; или платила два раза по одному счету, а потом в течение нескольких месяцев не находила времени для хозяйственных дел вообще. В результате на столе у него накапливались письма, назойливо напоминающие о долгах. После этого он поручил заниматься счетами Белинде и раз в месяц, кипя бессильным бешенством, подписывал чеки сам. Ему было интересно, о чем думает Белинда, печатая чеки в уплату за одежду на суммы, превышающие ее годовое жалованье. Должно быть, задумывалась она и над тем, что можно сделать с женскими волосами на двести долларов в месяц.

Подписав последний чек, он бросил ручку, откинулся на спинку стула и посмотрел в грязное, давно не мытое окно. На противоположной стороне улицы светились окна, там при свете неоновых ламп работали клерки и секретарши. Он подумал: если бы они знали, чем он только что занимался битый час, то имели бы полное право примчаться к нему в контору и разорвать его чековую книжку в клочья. Как минимум, чековую книжку.

Время от времени он заводил с Пенелопой разговор по поводу растущих счетов, пытался увещевать ее, но она при каждом упоминании о деньгах разражалась слезами. Ссоры из-за денег были унизительны. Выходя за него замуж, она не предполагала, что связывает себя на всю жизнь с человеком, который только и думает что о долларах и центах. В ее отчем доме в Чикаго, где она провела детство и юность, о деньгах вообще никогда не говорили. Послушать ее, так можно подумать, что она происходит из семьи потомственных помещиков-аристократов, разбогатевших еще в те достославные времена, когда такими плебейскими делами, как долги и векселя, занимались где-то на стороне скромные служащие. На самом же деле отец ее был коммивояжером галантерейной фирмы и умер в нужде. Его даже хоронили за счет Крейга.

С каждым разом споры становились все возбужденнее, и Пенелопа клялась, что она бережет каждый цент, перечисляла имена других жен и знакомых, которые за один месяц тратят на наряды больше, чем она за целый год (что было правдой), и призывала бога в свиде-

тели, что все ее старания и затраты преследуют одну лишь цель — создать для него приличный дом, следить за собой, чтобы ему не стыдно было появляться с женой на людях, и дать хорошее воспитание детям. Крейг не выносил семейных сцен, особенно из-за денег. В глубине души он понимал, что большие суммы, которые он зарабатывал, не были, в сущности, его, они доставались ему по воле случая, удачи, ибо он делал лишь то, что с удовольствием делал бы и за мизерное вознаграждение. Он не мог спорить о деньгах. Даже в таких делах, как заключение контрактов, он всегда действовал не впрямую, а либо через Брайана Мэрфи в Голливуде, либо через своего бродвейского агента. Не умея торговаться с норовистыми актерами о проценте с прибыли от спектакля или фильма, он тем более не выносил слез жены, когда речь заходила о счете за телефон на шестьсот долларов или о стоимости нового пальто. И все же, вспоминая первые годы, когда он снимал номера в дешевых гостиницах, Крейг спрашивал себя: каким это чудом он выдает теперь жалованье двум горничным, работающим в доме, где он и обедает-то не более двух раз в неделю и где не бывает по пять-шесть месяцев в году.

Крейг уже привык к тому, что всякий раз, когда Белинда приносит ему на подпись чеки, лицо ее принимает непроницаемое выражение; и тем не менее ему было трудно встречаться с ней взглядом. Он делал вид, что занят, и, не поднимая головы, грубовато ронял: «Спасибо, Белинда. Положите на стол. Я подпишу, когда будет время».

Когда они познакомились, Пенелопа была миленькой молодой актрисой средних способностей, умевшей красиво одеваться. Она снимала уютную квартирку в Гринич-Вилледже и жила на девяносто долларов в неделю. Что же с ней случилось? Из бережливой молодой женщины, которая сама стирала себе каждый вечер чулки и белье, она вдруг превратилась в мотовку, стала совершать набеги на галереи и антикварные магазины и рыскать, как мародер, по Пятой авеню; наняла для своих детей двух нянек и заявляет, что жить можно только между 60-й и 81-й улицами в Восточной части Нью-Йорка. «Американка с такой же легкостью транжирит деньги,— думал он,— с какой дельфин подпрыгивает на волнах».

Но от того, что во всем этом он был повинен не меньше жены и сам это понимал, ему не становилось легче, когда он подписывал чеки.

Он подытожил расходы, аккуратно записал сумму в чековую книжку. Девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов. Ничего себе. Немалые расходы для человека, потерпевшего две неудачи.

Когда он работал с Бреннером над его первой пьесой, тот как-то сказал: «Не понимаю, какие серьезные заботы могут быть у человека, зарабатывающего больше пятидесяти долларов в неделю». Тогда Бреннер был молод и придерживался крайних взглядов, но все же интересно, что подумал бы он сейчас, если бы забрел в контору своего старого товарища и увидел на захламленном столе все эти подписанные чеки.

Поддавшись внезапному порыву, он заполнил — собственной рукой — еще один чек на девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов. Имя получателя пока не значилось. Затем Крейг вписал название родильного дома. Это был родильный дом, где появились на свет его дочери.

Потом он написал записку комитету родильного дома по сбору средств, вложил ее вместе с чеком в конверт, надписал адрес и заклеил конверт.

Он еще раз подвел итог расходам. Позвал Белинду. Звонка у них не было: когда-то он собирался провести его, но решил, что это глупо. Он вручил Белинде чеки и запечатанный конверт и сказал:

«На сегодня все. Благодарю вас».

Затем он спустился вниз, зашел в соседний бар и выпил столько, сколько требовалось, чтобы скрасить предстоящий вечер.

Когда он пришел домой, Пенелопа спросила:

«Как ты считаешь, доживу я когда-нибудь до того дня, когда ты явишься к ужину трезвым?»

Только что ушли последние гости. В гостиной повсюду стояли пустые стаканы. Пенелопа ушла на кухню вытряхивать пепельницы. Он посмотрел на часы. Половина второго ночи. Засиделись гости. Он опустился в кресло и скинул ботинки. Ужинало четырнадцать человек. Стол был отличный. Компания скучная. Он выпил слишком много вина.

Теоретически все двенадцать гостей — его друзья. Но настоящими он считал только Роберта и Элис Пейн. Роберт Пейн — вице-президент издательства по коммерческой части, представительный, солидный, высокообразованный человек, неторопливый, вдумчивый собеседник, не любитель праздных разговоров. Крейг познакомился с ним в издательстве, где его просили составить сборник пьес, и сразу же проникся к нему симпатией. Его жена Элис — детский психиатр, крупная женщина с симпатичным лицом и по-мужски остриженной седеющей шевелюрой, обрамлявшей спокойное овальное лицо. Пенелопа считала их нудными, и Крейг знал, что пригласила она их ради него, чтобы он не слишком жаловался на плохую компанию.

Никто из сидевших за столом не работал в театре или кино, но были двое, иногда вкладывавшие деньги в его спектакли. Как обычно, был Берти Фолсом. С тех пор как у него умерла жена, он не пропускал ни одного званого ужина. По обыкновению, он рассказывал о биржевых делах. Подробно. Фолсом на несколько лет старше Крейга. Маленького роста, остролицый, лысеющий, заурядной наружности, безукоризненно одетый, с круглым аккуратным брюшком, он возглавлял крупную маклерскую фирму на Уолл-стрите. Крейг думал: «Чем ниже спускается Берти Фолсом в деловую часть города, тем больше растет его влияние».

Время от времени он давал Крейгу советы насчет акций, и тот время от времени ими пользовался. Иногда советы оказывались полезными. С тех пор как он овдовел, его приглашали в дом Крейга постоянно. Часто он сам звонил в шесть часов и спрашивал, что они сегодня делают. Если ничего особенного у них не намечалось, они приглашали его поужинать вместе с ними в узком семейном кругу. Фолсом всегда помнил, у кого когда день рождения, и приносил подарки для Энн и Марши. Пенелопа говорила, что жалеет его. Капитал Фолсома составляет, по подсчетам Крейга, не меньше двух миллионов долларов. Видимо, надо отдать должное душевной доброте Пенелопы, если она находит время жалеть человека с капиталом в два миллиона долларов. Когда у них бывают званые вечера вроде сегодняшнего, Пенелопа приглашает разных дам — для Фолсома. Дамы эти — обычно разведенные — относятся к тому сорту женщин, что всегда свободны и могут прийти ужинать в любой дом. Когда Крейг занят на работе или выезжает из города, Фолсом сопровождает Пенелопу в театр и в гости. Кто-то однажды сказал, что Фолсом — полезный человек. Вдовец в кругу друзей никогда не помешает.

Берти Фолсом рассказал о биржевых делах. Помимо этого гово-

рили о прислуге, о том, какие скверные в этом сезоне спектакли на Бродвее, о спортивных автомобилях — «феррари», «порше» и «мазерати», о бедах нынешней молодежи, о любовных похождениях — открытых и тайных — отсутствующих друзей, о том, как невозможно стало найти приличное место для отдыха на Карибском море и о сравнительных достоинствах различных курортов с точки зрения условий для катания на лыжах. Оказалось, что все присутствующие каждый год катаются на лыжах. Все, кроме Крейга. Пенелопа провела месяц в Солнечной Долине и Аспене. Одна. Крейг, сидя за столом на хозяйском месте, сделался специалистом по лыжному спорту. В сущности, он ничего не имеет против лыж и жалеет, что в молодости у него не было для них времени, но спортом надо заниматься, а не болтать о нем. Никто не упомянул о его последнем фильме и вообще ни об одном из его фильмов. Никто, кроме Пейнов, которые приехали немного раньше, чтобы поговорить с ним за бокалом вина, пока не явились остальные гости. Им понравилась его последняя картина, хотя буйная сцена в парижском ночном ресторане, где герой ввязался в драку, показалась Элис слишком уж дикой. На это Роберт Пейн дружелюбно заметил: «Элис еще не научилась забывать о том, что она — психиатр, когда идет в кино».

Впрочем, была одна интерлюдия, вызвавшая у Крейга некоторый интерес. Заговорили о женском освободительном движении, и Пенелопа, обычно неразговорчивая в компании, активно включилась в беседу. Она выступала в защиту движения, Крейг поддержал ее. Все женщины, сидевшие за столом,— тоже. Не будь они так заняты примерками, устройством званых ужинов, регулярным посещением парикмахерских и поездками на Карибское побережье и в Солнечную Долину, они, несомненно, оказали бы на движение большое влияние.

Крейг не утруждал себя подбором гостей. Хотя бы потому, что слишком был занят другими делами. Иногда он знакомился с людьми, которые казались ему интересными, и советовал Пенелопе пригласить их, но она почти всегда отвечала ему, что этот мужчина, эта женщина или супружеская пара по той или иной причине, обычно веской, не подходят для компании, которую она в этот день собирает.

Он вздохнул, сам не зная почему, поднялся с кресла и, подойдя в одних носках по толстому светлому ковру к серванту, где стояли бутылки, налил себе виски. Пенелопа вернулась из кухни, взглянула на стакан в его руке. Когда она бросала такие взгляды, он чувствовал себя виноватым. Он опять взял бутылку, добавил виски, плеснул в стакан немного содовой и вернулся к своему креслу. Он наблюдал, как движется Пенелопа по просторной уютной комнате при мягком свете ламп, бросавших неяркие кремовые круги на полированное дерево приставных столиков, на парчовую обивку кресел, на медные вазы, полные цветов. Пенелопа не выносит яркого света. В любом их жилище, даже если это снятый на лето домик, трудно найти место, где можно почитать.

На ней длинное свободное платье из красного бархата, оно грациозно облегает ее изящную, все еще молодую фигуру, когда Пенелопа склоняется, чтобы поправить цветы, положить на место журнал, закрыть крышку серебряной сигаретницы. У нее хороший вкус. От ее прикосновений вещи становятся красивей. В ее доме нет ничего слишком изысканного, яркого. «Зато жить в нем хорошо»,— думал Крейг; он любил этот дом. Он сидел со стаканом виски в руке и, наблюдая, как его жена движется по теплой, уютной комнате, забыл о только что разъехавшихся скучных гостях. В эту минуту, восхищенно глядя на нее в ночной тишине, он почувствовал, что любит ее и нисколько не

жалеет, что женат. Он знает ее недостатки. Она лжива, расточительна, коварна, часто претенциозна; ее дом заполняют люди второго сорта, потому что она боится соперничества блестящих, красивых, умных людей; она изменяла ему и в то же время мучила его своею ревностью; когда случаются неприятности, она неизменно перекладывает ответственность на других, обычно на него; нередко она надоедает ему. И все-таки он любит ее. В конце концов, нет браков без изъяна. Каждый из партнеров должен чем-то поступаться. Он и сам небезупречен. Он был уверен, что в глубине души у Пенелопы к нему гораздо больше претензий, чем может предъявить ей он.

Он поставил стакан, встал, подошел к ней сзади и поцеловал в шею. Она напряглась, точно он испугал ее.

«Пошли спать»,— сказал он.

Она отстранилась от него.

«Иди спи. Я еще не все кончила».

«Я с тобой хочу».

Она быстро прошла в другой конец комнаты и, как бы защищаясь, поставила перед собой стул.

«Я полагала, что с этим кончено».

«Как видишь, нет».

«Для меня — да».

«Что ты сказала?»

«Я сказала, что для меня кончено. Навсегда. Я не хочу спать ни с тобой, ни с кем другим».— Она говорила тихим, ровным, спокойным голосом.

«На что ты теперь злишься?» — Он старался не показать раздражения.

«На тебя. На все. Оставь меня в покое».

Он вернулся к своему креслу, взял стакан и отпил большой глоток виски.

«Утром, когда протрезвишься,— сказала она,— обнаружишь, что твоя страсть находится в самой глубине сейфа. Вместе со многими прочими вещами».

«Я не пьян».

«Пьян каждый вечер».

«Ты серьезно?»

«Да, серьезно».

«Что это вдруг?»

«Не так уж и вдруг.— Пенелопа все еще отгораживалась от него стулом.— Я давно тебе надоела. И ты этого не скрываешь. Сегодня, например. Не хватало только, чтобы ты зевал в присутствии моих друзей».

«Но согласись, Пенни, что сегодняшняя компания была скучная».

«И не подумаю соглашаться».

«Этот чертов Берти Фолсом, например...»

«Многие считают его очень умным, интересным человеком».

«Многие и Гитлера считали умным и интересным человеком».

Он шагнул в ее сторону, но тут заметил, как побелели суставы ее пальцев, сжимавших спинку стула, и остановился.

«Ну, будет, Пенни,— ласково проговорил он.— Не поддавайся мимолетному настроению и не говори того, о чем потом сама будешь жалеть».

«Это не мимолетное настроение.— Она сурово сжала губы. Даже слабое освещение не скрывало теперь ее лет.— Я уже давно об этом думаю».

Он допил виски, сел, посмотрел на нее испытующе. Она выдержала его взгляд, в глазах ее была только неприязнь.

«Ну, что ж,— сказал он.— Значит, развод. Выпьем по этому поводу». Он встал и со стаканом в руке пошел к серванту.

«Можно и не разводиться,— сказала она.— Ты ведь не собираешься опять жениться?»

Он усмехнулся и налил себе виски.

«И я тоже не собираюсь замуж».

«Значит, что же: жить вместе, будто ничего не произошло?» — спросил он.

«Да. Хотя бы ради Марши и Энн. Не так уж это трудно. Ничего особенного у нас не происходит уже сколько лет. Лишь изредка, когда ты не доводишь себя до полного изнеможения, или страдаешь бессонницей, или когда нет под рукой кого-нибудь из твоих девочек, ты вспоминаешь, что у тебя есть жена, и тогда начинаешь пресмыкаться».

«Это слово я запомню, Пенни. «Пресмыкаться».

Она не обратила на его угрозу внимания.

«Четыре-пять ночей в году — вот и все твои супружеские утехи. Не так уж много. Оба как-нибудь обойдемся и без них».

«Мне сорок четыре года, Пенни. Не могу же я всю жизнь оставаться холостяком».

«Холостяком! — Она хрипло засмеялась.— Как будто это имеет для тебя какое-нибудь значение. Можешь поступать как тебе вздумается. Тебе не привыкать».

«Вот и хорошо,— тихо проговорил он.— Завтра я отправлюсь в долгое и приятное путешествие. Европа — самое подходящее для этого место».

«На рождество приезжают девочки,— сказала она.— Дождись хотя бы их приезда. Не вымещай на них своей злости».

«Ладно,— согласился он.— До рождества Европа подождет».

Он слышал, как зазвонил телефон. Еще не окончательно очнувшись, он чуть было не сказал: «Пенни, возьми, пожалуйста, трубку». Потом встряхнулся, осмотрелся вокруг и увидел, что сидит за столом, затейливо отделанным под старину, в номере гостиницы с окнами на море. Он протянул руку к телефону.

— Крейг слушает.

В трубке отдаленно гудели провода и слышались смешанные американские голоса — такие невнятные, что нельзя было разобрать ни одного слова,— неведомо откуда прорвавшийся фортепьянный аккорд, потом щелчок и — тишина. Он нахмурился, положил трубку, посмотрел на часы. Начало первого ночи, на американском континенте — от трех дня до шести вечера. Он ждал еще звонка, но его не было.

Он встал и налил себе виски. Ему показалось, что у него мокрые щеки. Он в недоумении посмотрел на себя в зеркало. На щеках были слезы. Он стер их тыльной стороной ладони, отпил половину виски, бросил злой взгляд на телефон. Кто пытался дозвониться до него, чей голос затерялся в океане?

Может быть, этот голос мог бы все прояснить — на чем он стоит, какой у него актив и пассив, сколько он должен, сколько ему должны, как отнестись с точки зрения религиозной морали к его браку, его дочерям, его карьере. Сказать ему раз и навсегда, является ли он моральным банкротом или этически состоятельным человеком, не растратил ли он свою любовь впустую, и ответить, не обесчестил ли себя тем, что в век войн и неисчислимых бедствий погрузился в мир вымыслов и теней.

Но телефон молчал. Голос из Америки не пробился. Крейг допил свое виски.

Прежде, когда он бывал в отъезде, Пенелопа имела привычку звонить ему почти каждый вечер перед тем, как лечь спать. «Я плохо сплю,— объясняла она,— если не услышу твоего голоса и не узнаю, что ты здоров».

Счета за телефон были огромные.

Порой ее звонки раздражали его, иногда же, наоборот, он проникался супружеской нежностью от ее знакомого низкого, музыкального голоса, доносившегося из далекого города, с другого конца материка. Его раздражало, что жена следит за ним, проверяет его верность, хотя после того, что произошло между ними, он не считал себя обязанным блюсти верность — по крайней мере, верность в *том* смысле. Время от времени он изменял ей. Изменял, не чувствуя за собой вины, внушал он себе. И нельзя сказать, чтобы он не испытывал удовольствия, потакая своим слабостям. Но он никогда не позволял себе увлекаться серьезно другой женщиной. В этом, как ему казалось, проявлялось его желание сохранить брак. По той же причине он не считал нужным интересоваться отношениями жены с другими мужчинами. Он никогда за ней не следил. Жена — он это знал — тайно рылась в его бумагах, выискивая имена женщин, а он никогда не перехватывал адресованных ей писем и не расспрашивал, с кем она встречается и куда ходит. Не слишком вдумываясь в мотивы своего поведения, он тем не менее считал, что любопытство такого рода унизительно для него и больно било бы по самолюбию. В ночных телефонных звонках Пенелопы он видел проявление женской хитрости, но относился к ним в большинстве случаев терпимо, они даже забавляли его и льстили ему. Теперь он понял, что заблуждался. И он и жена избегали смотреть в глаза правде: у них не осталось никакого супружеского чувства.

В то утро он рассердился, получив от нее письмо с требованием денег. Выписывая очередной чек, он осуждал ее за жадность и подлость. Но сейчас, в одинокие ночные часы, когда душа его была охвачена воспоминаниями, пробужденными дневной поездкой по Антибскому мысу мимо дома, а в ушах все еще отзывались эхом невнятные голоса, услышанные им в телефонной трубке, он невольно уносился мыслью к лучшим временам, к более нежным встречам.

Больше всего Крейг ценил супружескую жизнь в минуты крайней усталости, когда возвращался поздно вечером из театра после бестолковой многочасовой суеты на репетициях и яростных столкновений характеров и темпераментов, которые ему, как продюсеру, приходилось смягчать и улаживать. Дома его всегда ждала Пенелопа, готовая и дать ему выпить в красиво обставленной гостиной, и выслушать его рассказ о делах, о трудностях, о маленьких трагедиях и нелепых комических происшествиях дня, об опасениях за завтрашний день, о нерешенных еще спорах. Она слушала его заинтересованно, спокойно и с пониманием. Он мог положиться на ее интуицию и на ее ум. Она была ему неизменной помощницей, самым надежным товарищем, самым полезным советчиком, всегда стоявшим на его стороне. Из всех счастливых воспоминаний его супружеской жизни — лето в Антибе, минуты, проведенные с дочерьми, даже радости долго не увядавшей взаимной страсти — самыми дорогими были воспоминания именно об этих бесчисленных тихих ночных беседах, во время которых они делились друг с другом лучшим, что в них было, и которые составляли в конечном счете истинную основу их брака.

Вот и сегодня проблем накопилось столько, что ему нужен советчик. Да, он, несмотря ни на что, скучал по звуку ее голоса. Когда он написал ей, что подает на развод, она ответила ему длинным письмом, умоляя не расторгать брака во имя сохранения семьи, взывая к его

чувству и разуму. Он лишь мельком пробежал письмо, боясь, очевидно, как бы оно не поколебало его решимости, и холодно написал ей, чтобы она искала себе адвоката.

И вот — это было почти неизбежно — она в руках адвоката и жаждет денег, выгод, сведения счетов. Он пожалел, что не прочел тогда ее письмо более внимательно.

Поддавшись внезапному порыву, он снял трубку, назвал номер телефона в Нью-Йорке и вдруг вспомнил, что Пенелопа сейчас в Женеве,— об этом сообщала в письме дочь.

«Глупая женщина,— подумал он.— Как раз сегодня ей следовало быть дома». Он опять снял трубку и отменил заказ.

8

Он снова налил себе виски и зашагал со стаканом в руке по комнате, сердясь на себя за то, что предался воспоминаниям о прошлом, разбередил старые раны. Ведь не за этим он приехал в Канн. Тут во многом виновата Гейл Маккиннон. «Ну что ж,— подумал он,— раз уж начал вспоминать, то надо вспоминать до конца. Вспомнить все ошибки, все просчеты, все измены. Если в порядке дня мазохизм — наслаждайся им. Слушай, что говорят призраки, вспоминай, какая была погода в другие времена года...»

Он отхлебнул виски, сел за стол и вновь погрузился в прошлое.

Он у себя в конторе после трехмесячного пребывания в Европе. Поездка не была ни удачной, ни неудачной. Он жил — не без удовольствия — как бы вне времени и откладывал все решения.

На столе — куча рукописей. Он перелистал их без всякого интереса. До разрыва или полуразрыва с Пенелопой он завел обычай читать в небольшом кабинете, который устроил себе наверху, под самой крышей; там не было телефона и никто ему не мешал. Но по возвращении из Европы он снял неподалеку от конторы номер в гостинице и домой заходил не часто. Он не вывез ни своей одежды, ни книг, поэтому, когда приезжали дочери, что случалось редко, он оставался с ними. Он не знал, насколько они осведомлены о размолвке родителей; во всяком случае, не было никаких признаков того, что они заметили перемену. Они так были заняты собственными заботами — свидания, занятия, диета,— что, казалось Крейгу, едва ли обратили бы внимание на своих родителей, даже если бы те разыграли у них на глазах, прямо в гостиной, сцену из «Макбета», употребив настоящий кинжал и пролив настоящую кровь. Ему казалось, что внешне они с Пенелопой ведут себя почти так же, как всегда, только относятся друг к другу чуточку вежливей прежнего. Ни скандалов, ни пререканий в доме больше не было. Они не спрашивали друг друга, куда кто уходит. Это был период, когда он чувствовал себя странно умиротворенным, как это бывает у больного, который очень медленно поправляется после длительной болезни и понимает, что его не заставят выполнять тяжелую работу.

Время от времени они выезжали вместе. В день его сорокачетырехлетия Пенелопа сделала ему подарок. Они ездили в Мериленд посмотреть школьный спектакль, в котором Марша исполняла небольшую роль. Ночевали они в одном номере городской гостиницы.

Ни одна из предложенных ему пьес, по его мнению, не заслуживала внимания, хотя он был уверен, что некоторые из них пользовались бы успехом у публики. Но когда за такие пьесы брались другие

и спектакли становились боевиками, он не испытывал ни огорчения, ни чувства упущенной возможности.

Он уже не читал больше театральной хроники и не подписывался на специальную периодику. Избегал ресторанов типа «У Сарди» и «Дауни», которые когда-то любил посещать и в которых всегда полно людей из мира кино и театра — большинство их он знал в лицо.

После просмотра в Пасадене он ни разу не был в Голливуде. Время от времени звонил Брайан Мэрфи и сообщал, что посылает ему рукопись или книгу, которая, возможно, заинтересует его. Крейг добросовестно прочитывал то, что ему присылали, и по телефону отвечал Мэрфи, что его это не интересует. В последний год Мэрфи стал звонить лишь для того, чтобы справиться о его здоровье. Крейг всегда отвечал, что чувствует себя хорошо.

В дверь постучали, и вошла Белинда с рукописью пьесы и подколотым к ней запечатанным конвертом. У нее было какое-то странное, настороженное выражение лица.

«Только что принесли,— сказала она.— Лично.— Она положила рукопись на стол.— Новая пьеса Эдди Бреннера».

«Кто принес?» — Крейг старался говорить спокойно.

«Миссис Бреннер».

«Что же она не зашла поздороваться?»

«Я приглашала. Но она не захотела».

«Благодарю»,— сказал он и вскрыл конверт.

Белинда вышла, тихо закрыв за собой дверь.

Письмо было от Сьюзен Бреннер. Она ему нравилась, и он жалел, что обстоятельства не позволяли ему больше встречаться с ней. Он прочел письмо.

«Дорогой Джесс! — писала Сьюзен Бреннер.— Эд не знает, что я повезла его пьесу к Вам, и если узнает, целых полчаса будет меня упрекать. Ну и пусть. Что бы там у Вас с ним ни произошло, это кануло в прошлое, я же хочу только одного: чтобы его пьеса попала в надежные руки. В последние годы он связывал себя с людьми заурядными, оказавшими на его работу дурное влияние, так что приходится что-то предпринимать, чтобы вырвать его, наконец, из этого окружения.

Мне кажется, эта вещь — лучшее из всего, что он написал после «Пехотинца». В какой-то степени они сходны по настроению. Прочтете — увидите сами. Единственно, когда пьесы Эда находили достойное сценическое воплощение,— это в период его сотрудничества с Вами и Фрэнком Баранисом, и я надеюсь, что вы трое сойдетесь опять. Возможно, настало именно то время, когда вы снова друг другу нужны.

Я верю в Ваш талант, в Вашу честность и в Ваше стремление показывать в театре лишь то, что достойно внимания. Убеждена, что Вы — слишком благоразумный и благородный человек, чтобы позволить горькому воспоминанию встать на пути Вашей любви к совершенству.

Когда прочтете пьесу, пожалуйста, позвоните мне. Звоните утром, часов в десять. Эд снимает недалеко от нас кабинетик и к этому времени уже уходит. Как всегда ваша *Сью*».

«Преданная, наивная, полная оптимизма жена,— подумал Крейг.— *Как всегда*». Жаль, что в то лето ее не было с ними в Антибе. Он долго смотрел на рукопись. Текст напечатан непрофессиональной рукой. И переплет неумелый. Наверно, печатала самоотверженная жена — Сьюзен Бреннер. Вряд ли Бреннер в состоянии опла-

чивать машинистку. «Горькое воспоминание»,— пишет Сьюзен Бреннер. Какое там воспоминание. Оно погребено под таким множеством других — горьких и сладких — воспоминаний, что теперь это всего лишь анекдот о ком-то, до кого ему, Крейгу, и дела нет.

Он встал и открыл дверь. Белинда сидела за столом и читала роман.

«Белинда, ни с кем меня не соединяйте, пока я сам не попрошу».

Она кивнула. В действительности в последнее время в контору звонили редко. Эти слова вырвались у него по старой привычке.

Он сел за стол и прочел неровно напечатанный текст. Это отняло у него меньше часа. Он хотел, чтобы пьеса ему понравилась, но, кончив чтение, пришел к выводу, что браться за нее не станет. Как и первая пьеса Бреннера, она была о войне. Но не о боевых действиях, а о войсковом подразделении, которое, отвоевавшись в Африке, было переброшено в Англию и готовилось к высадке в Европе. Замысел автора показался Крейгу слишком широким, а его воплощение — слишком бедным. Действующие лица — с одной стороны, ожесточенные или надломленные войной ветераны, а с другой — свежее пополнение из новичков, которых муштровали и держали в страхе перед старшими и которые не знали, хватит ли у них мужества и как они поведут себя, когда настанет время идти в огонь. Конфликты, возникавшие между ветеранами и новичками, дополнялись эпизодами с участием англичан — девушек, английских солдат, их родственников. На основе этого Бреннер попытался проанализировать различия между двумя обществами, представителей которых война свела на несколько месяцев в одном лагере. Стилистически Бреннер переходил от трагедии к мелодраме, а то и к грубому фарсу. Первая пьеса Бреннера была простая и цельная, беспощадно реалистичная, она прямо подводила героев к неизбежному кровавому концу. Новая пьеса блуждала, морализировала, настроения и место действия в ней менялись почти случайно. «Если нынешний период в жизни Бреннера называется зрелостью, то эта зрелость не пошла ему на пользу,— думал Крейг.— Она лишила его неповторимой юношеской непосредственности. Да, разговор со Сьюзен Бреннер по телефону будет не из приятных». Он снял было трубку, но раздумал. Нет, лучше перечитать пьесу еще раз и сообщить свое мнение завтра. Надо еще подумать.

Но прочитав пьесу на следующий день снова, он не стал о ней лучшего мнения. Откладывать разговор уже не было смысла.

«Сьюзен,— сказал он, услышав в трубке ее голос,— боюсь, что не могу за нее взяться. Хотите знать почему?»

«Нет,— ответила она.— Оставьте рукопись у вашей секретарши Я возьму ее по дороге».

«Зайдите хоть поздороваться».

«Нет,— сказала она.— Не испытываю желания».

«Я очень сожалею, Сью».

«Я тоже. Я думала о вас лучше».

Он медленно положил трубку. Начал было читать другую пьесу, но в голову ничего не лезло. Поддавшись внезапному порыву, он снял опять трубку и попросил Белинду соединить его с Брайаном Мэрфи, который находился в это время на Западном побережье.

После того как они обменялись приветствиями и Крейг узнал, что Мэрфи чувствует себя превосходно и уезжает на субботу и воскресенье в Палм-Спрингс, Мэрфи спросил:

«Чему обязан?»

«Я насчет Эда Бреннера, Мэрф. Не можешь ли ты подыскать ему работу? Дела у него неважно складываются».

«С каких это пор ты стал таким добрым приятелем Эда Бреннера?»

«Ничего подобного. Я даже не хочу, чтобы он знал, что я тебе звонил. Устрой ему работу».

«Я слышал, он пьесу заканчивает»,— сказал Мэрфи.

«Все равно дела у него неважные».

«Ты читал ее?»

Крейг замялся.

«Нет»,— сказал он наконец.

«Значит, читал. И она тебе не понравилась».

«Говори тише, Мэрф. И пожалуйста, никому ничего не рассказывай. Ну, так сделаешь что-нибудь?»

«Попытаюсь,— сказал Мэрфи.— Но ничего не обещаю. Здесь и так полным-полно. Может, тебе самому что нужно?»

«Нет».

«Чудесно. Впрочем, вопрос этот — риторический. Передай привет Пенни».

«Хорошо, передам».

«Знаешь что, Джесс?»

«Что?»

«Люблю, когда ты мне звонишь. Единственный клиент, который не относит телефонные звонки на мой счет».

«Значит, я расточительный человек»,— сказал Крейг и положил трубку. Он был уверен: сто шансов против одного, что никакой работы для Эда Бреннера на Западном побережье Мэрфи не подыщет.

Он не пошел на премьеру пьесы Бреннера, хотя и купил билет, потому что утром того дня ему позвонили из Бостона. Его приятель, режиссер Джек Лотон, поставивший там музыкальную комедию, сообщил по телефону, что спектакль не получился, и просил приехать и посоветовать, что делать.

Крейг отдал билет на премьеру Белиндѐ, а сам вылетел в тот же день в Бостон. До начала спектакля ни с Лотоном, ни с другими людьми, причастными к постановке, он не стал встречаться — лучше посмотреть сначала самому, свежим глазом. Ему не хотелось выслушивать жалобы продюсеров на режиссера, режиссера — на продюсеров и актеров, актеров — на тех и других, обычную грызню из-за того, что не удался спектакль.

То, что он увидел на сцене, вызвало в нем чувство жалости. Жаль было авторов, композиторов, певцов и танцоров, актеров, музыкантов, зрителей и тех, кто вложил свои деньги в это зрелище, стоившее триста пятьдесят тысяч долларов. Несколько лет трудились талантливые люди, и вот спектакль увидел свет. Танцоры показывали чудеса виртуозности, певцы, которые в других спектаклях пользовались неизменным успехом, превзошли самих себя. И никакого эффекта. На сцене появлялись и исчезали оригинальные декорации, оркестр извергал вакханалии звуков, актеры стоически и безнадежно улыбались, произнося остроты, над которыми никто не смеялся, в глубине зала с потерянным видом метались продюсеры, Лотон, сидя в последнем ряду, диктовал что-то измученным, охрипшим голосом секретарше, а та записывала в отрывной блокнот карандашом, в который был вделан электрический фонарик. И все-таки никакого эффекта.

Крейг ерзал в кресле, ему казалось, что провал висит в воздухе. Ему хотелось встать и уйти, он со страхом думал о той минуте, когда все соберутся в номере гостиницы и обратятся к нему с вопросом: «Ну, что вы скажете?»

Занавес опустился. Жиденькие аплодисменты прозвучали как пощечина всем, кто причастен к его профессии, а застывшие улыбки кланявшихся исполнителей были похожи на гримасы измученных пытками людей.

Крейг не пошел за кулисы, а отправился прямо в гостиницу и, подкрепившись у себя в номере двумя порциями виски, поднялся наверх, где его ждали тонкие, как листки бумаги, сандвичи с курицей, стол, уставленный бутылками, и злые, одутловатые физиономии мужчин, уже три месяца не выходивших на свежий воздух.

Крейг не стал откровенничать в присутствии продюсеров, автора, композитора и художника. Он не питал к ним симпатии и не был связан с ними никакими обязательствами. Не они, а Лотон просил его сюда приехать, так что пусть эти люди сначала уйдут, а потом уж он честно выскажет свое мнение. А пока он ограничился несколькими успокоительными пожеланиями: сократить танец, слегка изменить песенный номер, иначе осветить любовную сцену. Люди поняли, что ничего существенного он им не скажет, и разошлись по домам.

Последними ушли продюсеры. Оба небольшого роста, злые, вспыльчивые, наигранно энергичные, они грубили Лотону и почти не скрывали неприязни к Крейгу, который тоже подвел их.

Когда дверь за продюсерами, приехавшими в Бостон с большими надеждами на блестящий успех, закрылась, Лотон сказал:

«Наверно, сейчас начнут названивать сразу десятерым режиссерам, чтобы ехали сюда на мое место.— Лотон был высокий болезненного вида человек в очках с толстыми стеклами. Всякий раз, когда он ставил пьесу, у него начиналось обострение язвы желудка независимо от того, хорошо или плохо шло дело. Он беспрестанно потягивал из стакана молоко и каждые пять минут принимал микстуру «Маалокс».— Ну, что скажешь, Джесс?»

«Думаю, надо свертывать дело».

«Так плохо?»

«Так плохо».

«Но ведь есть еще время доработать»,— возразил Лотон, словно оправдываясь.

«Не поможет, Джек. Не пытайся оживить дохлую лошадь».

«Боже ты мой,— пробормотал Лотон.— Удивительно, сколько неприятностей может сразу обрушиться на голову.— Он был уже не молод, поставил более тридцати спектаклей, получивших весьма лестные отзывы. У него сказочно богатая жена, а он сидит здесь, скорчившись от боли, и трясет головой, как генерал, бросивший в бой последние резервы и потерявший их за один вечер.— Господи, хоть бы в животе отпустило».

«Брось ты это дело, Джек».

«Ты имеешь в виду спектакль?»

«Нет, вообще. Так ты и в больницу попадешь. Ничто же тебя не вынуждает проходить через все это».

«Верно,— сказал Лотон.— Пожалуй, так». Казалось, он удивился своему открытию.

«Ну?»

«Чем же мне тогда заниматься? Сидеть со стариками в Аризоне и греться на солнышке? — Лицо его искривилось от нового приступа боли, и он прижал руку к животу.— Это единственное, что я умею. Единственное, чем я хочу заниматься. Пусть вот хоть этим дурацким, пустым спектаклем».

«Ты спрашивал мое мнение»,— сказал Крейг.

«И ты его высказал. Спасибо».

Крейг встал.

«Иду спать. И тебе советую».

«Да, да, конечно,— почти с нетерпением сказал Лотон.— Вот только запишу пару мыслей, пока из головы не вылетели. На одиннадцать я назначил репетицию».

Не успел Крейг выйти, как тот склонился над текстом пьесы и лихорадочно застрочил карандашом, как будто от этого вдруг все переменится и к началу утренней репетиции остроты станут смешными, музыка — живой, танцы — зажигательными, аплодисменты — оглушительными и даже Бостон его стараниями и муками к вечеру следующего дня станет другим городом.

Наутро, когда Крейг пришел к себе в контору, Белинда положила ему на стол рецензии на пьесу Бреннера. Он мог и не читать их. По выражению ее лица было видно, что дела плохи. Прочитав же рецензии, он понял, что спектакль безнадежно провалился и в субботу его, наверное, снимут. Даже в Бостоне было лучше.

В субботу он пошел на последнее представление. Зал был заполнен только наполовину, да и то, как Крейг догадался, в основном контрамарочниками. Бреннера, к счастью, в зале не было.

Когда занавес поднялся и прозвучали первые слова диалога, он испытал странное чувство, что находится в преддверии чего-то прекрасного. Актеры играли сосредоточенно, с увлечением, заражая верой в ценность и важность слов, которые Бреннер заставлял их говорить. Казалось, никого из них не удручало, что всего лишь три дня назад критики разругали пьесу, назвав ее скучной и путаной, и что как только опустится занавес, все будет кончено: декорации разберут, театр погрузится во мрак, а сами они окажутся на улице, без работы. В их верности своей профессии было внутреннее благородство, и это заставило Крейга прослезиться, хотя он видел ошибки и в подборе исполнителей, и в режиссуре, и в трактовке, скрывшей от зрителя тонкий, сложный замысел пьесы,— ошибки, которые и навлекли на голову Бреннера гнев критиков.

Сидя в темном зале, впереди зияющих пустотой рядов кресел, и смотря этот, бесспорно, слабый, неполноценный спектакль, Крейг понял, что его первая оценка пьесы Бреннера была, видимо, ошибочной. Впервые за долгое время в нем по-настоящему пробудился интерес к театру. В голове у него сам собой начал складываться план: как улучшить пьесу, выявить ее достоинства и устранить недостатки.

Когда спектакль кончился, в зале раздались редкие аплодисменты, но Крейг, тронутый и взволнованный, поспешил за кулисы, чтобы найти Бреннера и сказать ему хвалебные, ободряющие слова.

Старик, дежуривший на служебном подъезде, узнал Крейга и мрачно сказал:

«Какой позор, мистер Крейг».

Они обменялись рукопожатием. Старик сказал, что Бреннер на сцене, прощается с актерами и благодарит их, и Крейг подождал в кулисе, пока тот не закончил свою короткую речь и актеры не начали, громко переговариваясь, расходиться по своим уборным при тусклом свете лампочек.

С минуту Крейг не шевелился, наблюдая за Бреннером, одиноко стоявшим среди декораций, которые изображали угол временной обшарпанной казармы в Англии военных лет. Лицо у него было в густой тени, и Крейг не видел его выражения. Бреннер сильно похудел с тех пор, как они виделись в последний раз. На нем был мешковатый твидовый пиджак, шея обмотана длинным шерстяным шарфом. Он походил на немощного старика, который, боясь упасть, вынужден следить

за каждым своим шагом. Волосы у него поредели, на темени блестела плешина.

Медленно поднялся занавес. Бреннер выпрямился и посмотрел в пустой темный зал. Рядом с Крейгом послышался шорох — мимо прошла Сьюзен Бреннер. Она подошла к мужу, взяла его руку в свою и поцеловала. Он обнял ее за плечи, и так они стояли, не произнося ни слова. Крейг вышел из кулисы.

«Привет»,— сказал он.

Те взглянули на него, но не ответили.

«Я смотрел сегодня спектакль,— продолжал Крейг.— Сознаюсь, я ошибся, когда читал пьесу».

Бреннеры по-прежнему молчали.

«Прекрасная пьеса. Лучшая из всего, что ты написал».

Бреннер засмеялся каким-то странным, сдавленным смехом.

«Вы были правы, Сьюзен. За эту пьесу надо было браться мне и Баранису».

«Спасибо, что хоть вспомнили»,— сказала Сьюзен. При желтоватом свете ламп она выглядела худой и изможденной, ненакрашенное лицо было бледно.

«Выслушай меня, пожалуйста,— горячо заговорил Крейг.— Твою пьесу неправильно поставили. В таком виде она не дошла до зрителя. Но это вовсе не конец. Отложи ее на год, поработай еще, подбери подходящих исполнителей. Нечего было и надеяться на успех с такими затейливыми, пышными декорациями и с таким актером, который слишком стар для героя и слишком многозначителен. Через год мы сможем поставить ее где-нибудь в центре, не на Бродвее—для Бродвея она все равно не подходит, заменим актеров, дадим больше света, упростим декорации, добавим музыку — пьеса требует музыки,— достанем записи речей политических деятелей, генералов, радиодикторов и будем крутить их между картинами, рассчитав по времени...— Он замолчал, чувствуя, что говорит слишком быстро, что Бреннер в его теперешнем состоянии вряд ли уследит за ходом его мысли.— Ты понял меня?» — спросил он, запнувшись.

Бреннеры тупо уставились на него. Потом Бреннер издал тот же сдавленный смешок.

«Через год»,— проговорил он наконец. В голосе его звучала ирония.

Крейг понял, о чем думал Бреннер.

«Я выдам тебе аванс. Достаточно, чтобы прожить. Я...»

«Значит, Эд получит еще одну возможность переспать с вашей женой, мистер Крейг? — сказала Сьюзен.— Это входит в аванс?»

«Подожди, Сью,— устало сказал Бреннер.— Наверно, ты прав, Джесс. Наверно, мы наделали кучу ошибок, готовя эту постановку, и многие — по моей вине. Согласен — пьесу надо было ставить не в бродвейском театре. Наверно, Баранис лучше понял бы мой замысел. Думаю, у нас получилось бы...— Он глубоко вздохнул.— И я думаю также, что лучше тебе уйти отсюда, Джесс. Не лезь ты больше в мою жизнь. Пошли, Сью. — Он взял жену за руку.— Я оставил в уборной портфель. Сюда мы уже больше не вернемся, так что давай захватим его с собой».

Взявшись за руки, Бреннеры сошли со сцены. Крейг только сейчас заметил, что на чулке у Сьюзен низко спустилась петля.

Элис Пейн ждала его в полупустом баре. Он удивился, когда она позвонила ему и, сказав, что находится поблизости от его конторы, спросила, есть ли у него время выпить с ней. Прежде они никогда

не встречались в отсутствие ее мужа, разве только случайно. Кроме того, он ни разу не видел, чтоб она выпивала больше рюмки спиртного за вечер. Она была не из тех женщин, которых можно встретить в баре в три часа дня.

Когда он подходил к ее столику, она допивала «Мартини». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Элис подняла на него глаза и улыбнулась. Крейгу показалось, что она немного волнуется. Он сел рядом с ней на скамью и подозвал официанта.

«Виски с содовой, пожалуйста. А вам, Элис?»

«Пожалуй, еще «Мартини».

Крейгу вдруг пришла мысль, что Элис что-то скрывала все эти годы от него и от остальных своих друзей. В руках у нее были перчатки, ее сильные, без маникюра пальцы беспокойно теребили их.

«Надеюсь, я не отвлекла вас от какого-нибудь важного дела»,— сказала она.

«Нет. Ничего важного в конторе сейчас не происходит».

Она положила руки на колени.

«Со дня моей свадьбы не было случая, чтоб я пила в дневное время».

«Жаль, что я не могу сказать этого же о себе».

Она быстро взглянула на него и спросила:

«Не слишком ли вы много пьете в последнее время, Джесс?»

«Не больше обычного. А вообще — много».

«Смотрите, как бы вас кто-нибудь не назвал алкоголиком». В ее речи появилась какая-то торопливость, голос чуть задрожал.

«Почему? Вам кто-нибудь говорил, что я алкоголик?»

«В сущности, нет,— ответила она.— Только вот Пенелопа... Она иногда так говорит, что...»

«Каковы жены!»

Официант принес виски и «Мартини». Они подняли стаканы.

«Ваше здоровье»,— сказал Крейг.

Элис отпила немного и поморщилась.

«Я, наверно, никогда не пойму, что люди в этом находят».

«Мужество. Успокоение,— сказал Крейг. Теперь уж он окончательно понял, что Элис вызвала его сюда неспроста.— Что случилось, Элис?»

«Уф! — вздохнула она, вертя в руках стакан.— Не знаю даже, с чего начать».

Он был уверен, что и этот вздох — первый со дня ее свадьбы. Не такая она женщина. И не из тех, кто не знает, с чего начать.

«А вы начните с середины,— посоветовал он.— Потом разберемся». Ее волнение передалось и ему.

«Вы верите, что мы ваши друзья — мы с Робертом?»

«Конечно».

«Это важно,— сказала она.— Я не хочу, чтобы вы считали меня навязчивой или злой женщиной».

«Вы даже и при желании не могли бы быть навязчивой или злой». Он уже жалел, что ее звонок застал его в конторе.

«Вчера мы ужинали в вашем доме,— резко сказала она.— Роберт и я».

«Надеюсь, вас хорошо покормили».

«Превосходно. Как обычно. Только вот вас там не было».

«В последнее время я не часто бываю дома».

«Я так и поняла».

«Что за компания собралась?»

«Не самая лучшая».

«Как обычно»,— сказал Крейг.

«Был Берти Фолсом».

«Тоже как обычно».

Она бросила на него быстрый взгляд.

«Люди разное начинают болтать, Джесс».

«Люди всегда болтают разное»,— сказал он.

«Не знаю характера ваших отношений с Пенелопой,— сказала Элис,— но их всегда видят вместе».

«Я и сам не знаю характера наших отношений. Я думаю, вы можете считать, что у нас вообще нет никаких отношений. Вы это пришли мне сказать? Что видели Пенелопу и Берти вместе?»

«Нет,— ответила она,— не только. Прежде всего, я хочу сказать вам, что мы с Робертом больше в ваш дом не пойдем».

«Жаль. Почему?»

«Это старая история. Точнее, ей уже четыре года».

«Четыре года? — Он нахмурился.— А что было четыре года назад?»

«Можно мне еще «Мартини»?» — спросила она тоном девочки, которой захотелось еще порцию мороженого.

«Конечно». Он помахал рукой официанту и заказал еще виски и «Мартини».

«Вы были тогда в отъезде,— сказала Элис.— А мы с Робертом устраивали небольшой ужин. Ну и пригласили Пенелопу. Для стола не хватало одного мужчины, и этим мужчиной почему-то оказался Берти Фолсом. Как всегда».

«Что еще?» — равнодушно спросил Крейг.

«Беда таких рослых людей, как вы,— сурово заметила Элис,— что они никогда не принимают маленьких людей всерьез».

«Это верно,— согласился Крейг.— Он действительно человек очень маленький. Итак, он сидел за столом рядом с Пенелопой».

«Потом проводил ее домой».

«Черт возьми! Он проводил ее домой».

«Вы считаете меня глупой сплетницей...»

«Нет, Элис,— ласково возразил он.— Просто я...»

«Тише»,— прервала она его и кивнула на официанта, подходившего к ним с подносом в руках.

Они молчали до тех пор, пока тот не вернулся к себе за стойку.

«Ну, хорошо,— сказала Элис.— Вот что произошло потом. На следующее утро я получила дюжину красных роз. Анонимно. Без визитной карточки».

«Это могло означать что угодно»,— сказал Крейг, хотя теперь он был убежден, что это не могло означать что угодно.

«И теперь каждый год пятого октября я получаю дюжину красных роз. Анонимно. Разумеется, он знает, что я знаю, кто их шлет. Он *хочет*, чтобы я знала. Это так противно. Всякий раз, когда я прихожу в ваш дом и вижу, как он ест ваши закуски и пьет ваши вина, я чувствую себя запачканной, точно я его сообщница. Мне было стыдно своего малодушия. Почему я ничего не сказала ему и не сказала вам? И вчера вечером, увидев, как он сидит во главе стола, наливает вино и вообще ведет себя по-хозяйски, как он проводил всех гостей, а сам остался, я поговорила с Робертом. И он со мной согласился: я не могу больше молчать».

«Благодарю за компанию». Он поцеловал ее в щеку и встал.

«Я не знаю, каким моральным кодексом мы сейчас руководствуемся,— сказала Элис.— Может, нам и не надо так уж серьезно относиться к адюльтеру — мы смеемся, когда узнаем, что кто-то из наших друзей завел любовную интрижку. Я и про вас кое-что слышала».

«Ну, конечно, слышали,— согласился Крейг.— И, разумеется, в этом много правды. Мой брак — давно уже не образец супружеского счастья».

«Но то, что делает она, ни с чем не сравнимо,— сказала она прерывающимся голосом.— Вы замечательный человек. Настоящий друг. А этого ужасного коротышку я терпеть не могу. Сказать по правде, мне и Пенелопа начинает не нравиться. При всем ее очаровательном гостеприимстве, есть в ней что-то фальшивое и грубое. Уж если говорить о каком-то моральном кодексе, то для меня, например, он состоит в том, чтобы прийти на помощь другу, если он незаслуженно страдает. Вы недовольны, Джесс, что я все это вам рассказала?»

«Еще не знаю,— в раздумье сказал он.— Во всяком случае, теперь я позабочусь о том, чтобы розами вам больше не докучали».

На следующий день он известил жену письмом, что возбуждает дело о разводе.

Другой бар. На этот раз — в Париже. В отеле «Крийон», совсем рядом с посольством. Он усвоил привычку встречаться с Констанс здесь — после окончания ее рабочего дня. Здесь было его постоянное дневное пристанище. Все остальное время он бродил по городу, осматривал картинные галереи, толкался на рынках и среди молодежи Латинского квартала, заходил в магазины попрактиковаться в языке, сидел в кафе, читая газеты, иногда обедал с кем-нибудь из тех, кто работал с ним над фильмом, снимавшимся во Франции, и проявлял достаточно такта, чтобы не спрашивать, чем он занимается теперь.

Он любил этот бар, где собирались у стойки оживленные, шумные группы английских и американских журналистов, любил наблюдать непрерывную смену вежливых, элегантно одетых пожилых американцев, которые еще до войны постоянно останавливались в этом отеле. Нравились ему и восхищенные взгляды, которые бросали на Констанс другие посетители, когда она, войдя в бар, шла к нему торопливым шагом.

Он встал ей навстречу и поцеловал в щеку. Несмотря на то, что она просиживала целые дни в прокуренной конторе, от нее всегда веяло свежестью, словно она только что гуляла в лесу.

Она заказала себе шампанского,— «чтобы удалить изо рта привкус молодости», как она выражалась.

«Всегда удивляюсь,— заметила она, потягивая шампанское,— когда вхожу и вижу, что ты здесь».

«Я же сказал, что приду».

«Да. И все равно удивляюсь. Каждое утро, расставаясь с тобой, я думаю: ну вот, уж сегодня-то он наверняка встретит какую-нибудь неотразимую красавицу или вдруг вспомнит, что вечером ему непременно надо быть в Лондоне, Загребе или Афинах, где выступает знакомый актер или актриса».

«Ни в Лондоне, ни в Загребе, ни в Афинах нет никого, с кем я хотел бы встретиться, и единственная неотразимая красавица — это ты. Других я нынче не встречал».

«Какой ты милый.— Констанс сияла. Она по-детски любила комплименты.— Ну, рассказывай, чем ты сегодня занимался».

«Три раза я занимался любовью с женой перуанского оловянного магната...»

«Вот как».— Она засмеялась. Ей нравилось, когда ее дразнили. Но не слишком.

«Подстригся. Обедал в итальянском ресторанчике на улице Гренель, читал «Монд», зашел в три галереи и чуть было не купил три картины, выпил стакан пива в кафе «Флора», потом вернулся в гостиницу и...» Он замолчал, видя, что она не слушает. Констанс не сводила глаз с молодой американской пары, проходившей в глубь зала мимо их столика. Мужчина был высок ростом, на его приятном, открытом лице было такое выражение, словно он никогда ни в чем не сомневался, не знал никаких неприятностей и не представлял себе, что могут существовать люди, которые желали бы ему зла. Девушка, бледная высокая красавица с черными как смоль волосами, с темными, широко поставленными глазами, выдававшими ирландское или испанское происхождение, передвигалась с неторопливой грациозностью, ее темная соболья шуба ниспадала мягкими складками. Она улыбнулась каким-то словам своего мужа, взяла его под руку, и они пошли между стойкой и столиками, расположенными вдоль окон. Казалось, они никого в зале не замечали. Но не из-за неумения вести себя. Они просто были так заняты собой, что даже небрежный, мимолетный взгляд, необходимость увидеть или, может быть, узнать чье-то лицо были бы для них расточительством, потерей драгоценного мига общения друг с другом.

Констанс смотрела им вслед до тех пор, пока они не скрылись в ресторане.

«Прости меня,— сказала она, повернувшись к Крейгу.— Кажется, я тебя не слушала. С этими людьми я когда-то была знакома».

«Прекрасная пара».

«О, да».

«Сколько лет этой девушке?»

«Двадцать четыре. По ее вине умер один мой знакомый».

«Что, что?» — удивился Крейг. Не так-то часто можно услышать такую новость в баре отеля «Крийон».

«Не пугайся,— сказала Констанс.— Люди все время бывают виновниками смерти других людей».

«Но эта-то мало похожа на рядового убийцу».

Констанс засмеялась.

«Да никакая она не убийца. Тот мой знакомый был влюблен в нее. Однажды он прочитал в газете, что она вышла замуж, и через три дня скончался».

«Что за старомодная история»,— сказал Крейг.

«Он и сам был старомоден. Восемьдесят два года».

«Как оказался восьмидесятидвухлетний старик твоим знакомым? — спросил Крейг.— Я, конечно, знаю, что тебе нравятся мужчины в возрасте, но не в таком же все-таки».

«Этого старика звали Кеннет Джарвис».

«Железные дороги».

«Железные дороги,— кивнула она.— В том числе. Среди многого другого. У меня был поклонник, работавший с внуком Джарвиса. Не смотри так сердито, милый. Это было до того, как мы с тобой встретились, задолго до того. Старик любил окружать себя молодежью. У него в Нормандии был огромный дом. Одно время он владел конюшнями скаковых лошадей. На субботу и воскресенье к нему съезжались гости — по двадцать-тридцать человек. Обычные развлечения: теннис, плавание, парусные лодки, выпивка, флирт и тому подобное. С ними всегда было весело. Только не со стариком. Когда я познакомилась с ним, он был уже дряхлый. Ел неряшливо, забы-

вал застегнуть брюки, за столом дремал и даже храпел, по нескольку раз рассказывал одну и ту же историю».

«Это была плата за развлечение»,— сказал Крейг.

«Те, кто знал его раньше, казалось, не обращали внимания. Когда-то он был обаятельным, щедрым, воспитанным человеком. Большой любитель книг, картин, хорошеньких женщин. Его жена умерла, когда они оба были еще молоды, и с тех пор он уже не женился. Человек, с которым я туда ездила, говорил, что надо же чем-то платить за удовольствия, которыми этот человек всю жизнь одаривает людей. В конце концов, не такая уж это дорогая цена — смотреть, как у него течет слюна на галстук, или слушать по нескольку раз одну и ту же историю. Особенно если учесть, что в этом доме тебя, как всегда, и накормят, и напоят, и предоставят всевозможные развлечения. А посмеивались над ним втихомолку только дураки».

«Избави меня боже дожить до восьмидесяти»,— сказал Крейг.

«А ты дослушай до конца. Однажды к нему приехала старая любовница. И с ней дочь. Вот эта самая девушка, которую ты только что видел с мужем».

«Избави меня боже дожить до семидесяти».

«И он в нее влюбился,— сказала Констанс.— Это была настоящая, старомодная любовь. Каждый день письма, цветы, приглашения матери и дочери на яхту и прочее».

«Зачем это нужно было матери? И дочери? Из-за денег?»

«Нет. Они были достаточно хорошо обеспечены. По-моему, их интересовало общение с людьми, которых в другом кругу не встретишь. Мать никаких вольностей девушке не позволяла. Ее единственный козырь. Когда я с ней познакомилась, ей было девятнадцать лет, а держалась она как пятнадцатилетняя. Когда ей кого-нибудь представляли, то казалось, что она вот-вот сделает книксен. Джарвис помог ей повзрослеть. Да и лестно к тому же выступать хозяйкой на больших званых ужинах, быть в центре внимания, уйти из-под контроля матери. Быть предметом обожания человека, который в свое время всех знал, обо всех рассказывал анекдоты, распоряжался жизнями тысяч людей и крутил романы со всеми знаменитыми красавицами. Ей нравился этот старик — возможно, она по-своему его даже любила, власть над ним доставляла ей удовольствие. И вот он как-то вдруг переменился, помолодел, ожил. Ничего не забывал, при ходьбе держался прямо, не шаркал ногами, голос его окреп и перестал хрипеть, он стал безупречно одеваться, мог всю ночь напролет бодрствовать, а утром был подтянут и полон энергии.

Ну, разумеется, кое-кто посмеивался. Восьмидесятидвухлетний старик, ослепленный любовью к девятнадцатилетней девушке, словно это его первая любовь и он пригласил ее на первый в ее жизни бал... Но я не так часто видела его, и меня это тронуло. Казалось, произошло чудо и время для него пошло вспять. Он снова стал молодым. Не совсем, конечно, не двадцати- или тридцатилетним, но лет пятьдесят пять — шестьдесят ему можно было дать».

«Ты же сказала, что он умер»,— сказал Крейг.

«Да. Она познакомилась с молодым человеком, которого ты только что видел, и перестала встречаться с Джарвисом. Об их свадьбе он узнал только из газеты. Прочтя эту новость, он уронил газету на пол, лег на кровать лицом к стене и через три дня скончался».

«Красивая, трогательная история»,— сказал Крейг.

«По-моему, да. На похоронах один его друг сказал: «Ну разве это не замечательно? В наш век, в наше время быть способным умереть от любви в восемьдесят два года».

«В наш век, в наше время».

«Мог ли этот старик желать чего-нибудь лучшего? — спросила Констанс.— Месяцев восемь славной, легкомысленной, веселой жизни — и такой благородный уход. Ни кислородной палатки, ни возни врачей, ни трубок и искусственных почек, ни переливания крови. Только любовь. Никто, конечно, девушку не обвинял. Только мужу ее завидовали. И старику. Обоим. У тебя как-то странно засветились глаза».

«Я думаю».

«О чем?»

«Если бы кто-нибудь принес мне пьесу или киносценарий, основанный на истории этого старика, я бы, наверно, взялся за него. Только никто не несет».

Констанс допила свое шампанское.

«А почему бы тебе самому не написать?» — спросила она.

Это был первый случай, когда она попыталась подсказать ему, что делать, и первый случай, когда он понял: она знает, что ему уже нельзя продолжать жить так, как он жил.

«Надо подумать»,— ответил он и заказал еще шампанского.

Утром он прошелся по набережной Сан-Себастьяна. Дождь перестал. Дул сильный ветер, воздух был чист, вдали, в заливе, маячила высокая скала, об нее бились волны, она была похожа на осажденную крепость. Проходя по мосту, он видел, как пенится разъяренная река: здесь, у ворот земли, океан сталкивался с сушей.

Вспоминая места, знакомые ему по предыдущим поездкам, Крейг побрел в сторону большой арены для боя быков. Огромная, пустая— здесь сезон уже кончился,— она походила на заброшенный храм какого-нибудь забытого кровавого божества. Ворота были отперты. Где-то стучали молотки, их удары гулко отдавались в темных углах под трибунами.

Он поднялся по проходу, облокотился на barrera. Песок на арене был не золотистого, как в других местах, а пепельного цвета. Цвета смерти. Он вспомнил слова матадора: «Только это развлечение у меня и осталось. Мое единственное поле для игры». Сегодня вечером, на несколько сот миль южнее, этот человек, приятель Крейга, слишком старый для быков, со шпагой в руке, со следами крови на ярком костюме, с застывшей восторженной улыбкой на красивом молодом — и старом — изрубцованном лице, выйдет навстречу рогам. Придется послать ему телеграмму: «Желаю много ушей. Abrazo [1]».

Телеграммы по случаю премьеры. Разные культуры — разные клише.

Послать бы еще телеграммы Джеку Лотону, страдающему в Бостоне от язвы желудка, Эдварду Бреннеру, стоящему в обнимку с женой на темной сцене в Нью-Йорке, Кеннету Джарвису, покупающему девятнадцатилетней девушке цветы,— каждый на своей арене, у каждого свои быки, свое единственное поле для игры

На противоположной стороне арены появился сторож, одетый в какое-то подобие формы. Он угрожающе замахал руками, поднял над головой кулак и стал кричать что-то тоном приказания, словно боялся, как бы Крейг, этот полоумный пожилой espontaneo[2], не перепрыгнул через перила, не нарушил призрачного порядка и не вздумал вызывать на арену быка, которого здесь нет и не будет еще два месяца.

---

[1] Обнимаю *(исп.)*.

[2] Чудак *(исп.)*.

Крейг приветливо помахал ему рукой — перед тобой, мол, любитель fiesta brava[1], который уважает правила игры и совершает паломничество по ее святым местам,— повернулся и вышел из-под трибун на солнце.

Пока он шел в гостиницу, в голове у него созрело решение.

Возвращаясь во Францию, он вел машину медленно, осторожно и не стал останавливаться на том месте, где накануне вечером едва не разбился. Прибыв в Сен-Жан-де-Люз, тихий в этот межсезонный период, он снял номер в небольшой гостинице, вышел на улицу и купил стопу бумаги. «Теперь я вооружен,— подумал он, неся бумагу в гостиницу.— Возвращаюсь на свое поле для игры. Через другие ворота».

Он прожил в Сен-Жан-де-Люзе два месяца, работая медленно и трудно, пытаясь воссоздать историю Кеннета Джарвиса, который умер в восемьдесят два года через три дня после того, как прочитал в газете, что девятнадцатилетняя девушка, которую он любил, вышла замуж за другого. Сначала он хотел сочинить пьесу, но постепенно эта история обрела иную форму, так что ему пришлось начать все заново. Он решил написать киносценарий.

В театре ему с самых первых дней пришлось работать с писателями, предлагать изменения, перерабатывать целые сцены, добавлять новые сюжетные линии, но одно дело — работать над чужим сочинением и совсем другое — сидеть перед листом чистой бумаги, в который только ты способен вдохнуть жизнь.

Два раза приезжала к нему на субботу и воскресенье Констанс, все же остальное время он провел один, просиживая долгие часы в гостинице за письменным столом, гуляя по пляжу и по набережной, обедая в ресторане, где он никогда не искал компании.

Он рассказал Констанс о своей работе. Та не высказала ни одобрения, ни неодобрения. Он не показал ей написанного. Даже после двух месяцев труда показывать было, в сущности, еще нечего — разрозненные сцены, голые мысли, наброски последовательного ряда кадров, заметки по отдельным ролям.

К концу второго месяца он понял, что рассказать историю о старике и молоденькой девушке — это еще не все. Не все, потому что в этой истории не остается места для него, Джесса Крейга. Не Джесса Крейга во плоти, не обстоятельств, которые заставили его сидеть изо дня в день за столом в тихом гостиничном номере, а его убеждений, его характера, его надежд, его суждений о времени, в которое он жил. Без этого все, что бы он в конце концов ни создал, окажется незавершенным, бесполезным.

Тогда он придумал несколько новых действующих лиц, новых любовных пар, которых поселил на лето в большом доме на северном побережье Лонг-Айленда, где и должно было развернуться действие фильма. Он не хотел, чтобы местом действия была Нормандия, потому что плохо знал ее. А Лонг-Айленд знал хорошо. В число персонажей он включил также девятнадцатилетнего внука, одержимого первой любовью к неразборчивой девице на три-четыре года старше его. Желая придать фильму более современный вид, он добавил в сценарий сорокалетних мужа и жену, для которых супружеская верность — устаревшее понятие.

---

[1] Шумных празднеств *(исп.)*.

Опираясь на знания, накопленные в процессе чтения и обработки чужих пьес и сценариев, используя собственные наблюдения над друзьями, врагами, знакомыми, он старался показать своих героев в естественной драматической взаимосвязи — так, чтобы к концу фильма они, без видимого авторского участия, своими словами и поступками раскрыли перед зрителем его, Джесса Крейга, представление о том, что значит для американцев второй половины двадцатого века— молодого мужчины и молодой женщины, мужчины и женщины средних лет и старика, стоящего на пороге смерти,— что значит для них любовь со всеми интригами, компромиссами и унижениями, на которые человека толкают деньги, моральные принципы, власть, положение, принадлежность к определенному классу, красота и отсутствие красоты, честь и бесчестие, иллюзии и разочарования.

Два месяца спустя в городке стало многолюднее, и он решил, что пора уезжать. Дорога на север, в Париж, была дальняя. Сидя за рулем, он раздумывал о работе, проделанной за эти два месяца, и пришел к выводу: счастье, если он закончит сценарий хотя бы через год. Если вообще когда-нибудь закончит.

Сценарий отнял у него полных двенадцать месяцев. Крейг писал его по частям то в Париже, то в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. Всякий раз, когда он достигал такой точки, с которой никак не мог сдвинуться, он складывал вещи и, словно гонимый, мчался куда глаза глядят. Но за все это время он ни разу не заснул за рулем.

Даже закончив рукопись, он никому ее не показывал. Ему, решавшему судьбы произведений сотен других авторов, невыносимо было даже думать о том, что кто-то посторонний прочтет его писания. А посторонним он считал любого читателя. Посылая рукопись машинистке, он не проставил на титульном листе имени автора. Только надпись: «Собственность Джесса Крейга». Джесса Крейга, когда-то считавшегося вундеркиндом Бродвея и Голливуда и тонким ценителем искусства театра и кино. Джесса Крейга, который не знает, достойны ли плоды его годичного труда чьего-нибудь двухчасового внимания, и который боится услышать «да» или «нет».

Когда он, собираясь лететь в Канн, укладывал в чемодан шесть экземпляров сценария под названием «Три горизонта», имя автора на титульном листе все еще не значилось.

Зазвонил телефон. Он ошалело тряхнул головой, точно его вдруг пробудили от тяжелого сна. Опять ему пришлось вспоминать, где он находится и где стоит телефон. «Я в своем номере в отеле «Карлтон», а телефон на столике, с той стороны кресла». Телефон опять зазвонил. Он взглянул на часы: тридцать пять минут второго. Он помедлил, думая, надо ли брать трубку. Ему не хотелось больше слушать бессвязное бормотание из Америки. Но он все же решил взять.

— Крейг слушает.

— Привет, Джесс.— Это был Мэрфи.— Надеюсь, я не разбудил тебя.

— Нет, не разбудил.

— Только что прочел твой сценарий.

— Ну, как?

— Этот парень Харт умеет писать. Только слишком уж он насмотрелся старых французских фильмов. Кому, черт возьми, нужен восьмидесятидвухлетний старик? Ничего из этого не получится,

Джесс. Брось. Не советую никому и показывать. Поверь, что это тебе только повредит. Откажись от прав на рукопись и забудь про нее. Лучше я устрою тебе тот греческий фильм. А там, глядишь, подвернется что-нибудь и получше.

— Спасибо, что прочел, Мэрф,— сказал Крейг.— Завтра я тебе позвоню.

Он повесил трубку и долго смотрел на телефон, потом вернулся к письменному столу, за которым только что сидел. Посмотрел на вопросник, присланный Гейл Маккиннон, и еще раз прочел первый вопрос: «Почему вы в Канне?» Он усмехнулся, взял со стола листки и, разорвав их на мелкие кусочки, бросил в корзину. Снял с себя свитер, надел пиджак и вышел. Взял такси и поехал в казино, где — он это знал — бар ночью не закрывался. Купил себе фишек, подсел к столу, за которым играли в chemin de fer и заказал двойную порцию виски. Он пил и играл до шести утра и выиграл тридцать тысяч франков, то есть почти шесть тысяч долларов. Бóльшая часть денег перешла к нему от тех двух англичан, которых он видел вечером в ресторане, где был Пикассо. Йэну Уодли не повезло — он не прогуливался по бульвару Круазетт, когда Крейг, окутанный предрассветной мглой, возвращался, почти не шатаясь, в свой отель. В тот час Уодли получил бы пять тысяч долларов, нужные ему для поездки в Мадрид.

9

Полицейские с электрическими фонариками в руках указывали автомобилям дорогу к открытой площадке, где уже стояло много машин. Было сыро и холодно. Крейг выключил зажигание, открыл дверцу и ступил на траву. Под ногами хлюпала вода. Выбравшись на дорожку, он зашагал к большому, похожему на замок дому, откуда доносились звуки оркестра. Дом стоял на холме за Мужэном и возвышался, точно маленькая крепость, над окружающей местностью.

Он пожалел, что Энн еще не приехала. Ей было бы приятно пройтись по такой вот дорожке вместе с отцом под звуки французской песенки, в сопровождении полицейских, которые охотно освещают вам дорогу под старыми темными деревьями, радуясь, что им не надо кидать бомбы со слезоточивым газом перед зданием правительства. Телеграмма Энн лежала у него в кармане. Он с удивлением узнал, что она все же решила сначала навестить в Женеве мать и только на следующий день приехать в Канн.

Уолтер Клейн, хозяин, стоял в передней и встречал гостей. Он арендовал этот дом на один месяц, выбрав его потому, что в нем достаточно места для балов. Клейн был крепкий, коренастый человек с моложавым и обманчиво беспечным лицом. В последние годы многие посреднические фирмы прекращали существование и сливались с другими фирмами; одну из таких распадающихся организаций Клейн своевременно оставил, уведя с собой ряд известных актеров и режиссеров, так что, пока другие посреднические фирмы и компании горели, он ловко приспосабливался к новым условиям. Это позволило ему сохранить за собой значительную долю участия в фильмах, готовившихся или снятых в Америке и Англии; во всех ключевых точках у него были клиенты или должники, чьи картины он либо финансировал, либо распространял. В то время как другие впадали в панику, он говорил: «Ребята, дела у нас идут лучше, чем когда-либо». В отличие от Мэрфи, разбогатевшего в менее трудные времена и высокомерно державшегося в течение этих двух недель

в стороне от фестивальной нервозности, Клейн не чурался людей. Его всегда можно было увидеть сосредоточенно беседующим где-нибудь в уголке с продюсерами, агентами, финансистами, режиссерами, актерами и обсуждающим всевозможные финансовые сделки, что-то обещающим, что-то подписывающим. Себе в помощники он выбрал спокойных, представительных молодых людей, не избалованных легкой жизнью в старые времена, алчных и честолюбивых, как их хозяин, и умевших, подобно хозяину, под внешним обаянием скрывать свои хищные повадки.

Некоторое время назад Клейн встретил Крейга в Нью-Йорке и полушутя спросил: «Джесс, когда же вы оставите этого старого динозавра Мэрфи и заглянете ко мне в контору?» «Наверно, никогда, Уолт,— ответил Крейг.— Наша дружба скреплена кровью». Клейн засмеялся. «Ваша верность делает вам честь, Джесс. Только жаль, что давно уж я не встречаю вашего имени на серебристом экране. Если все же решите заняться настоящим делом, заходите».

Клейн стоял в мраморной передней особняка и разговаривал с кем-то из только что прибывших гостей. На нем был черный бархатный пиджак, рубашка в оборочках и ярко-красный галстук-бабочка. Рядом с ним стояла, заметно волнуясь, женщина, ведавшая в его фирме отделом рекламы и информации. Это она рассылала приглашения на прием. Вид Крейга, одетого в синий фланелевый спортивный костюм, ей явно не понравился. Многие гости, хотя и не все, пришли в вечерних костюмах, и по лицу этой женщины Крейг понял, что в его небрежении одеждой она усматривает некоторую нарочитость.

Клейн крепко пожал ему руку и улыбнулся.

— А вот и наша знаменитость. Я боялся, что вы не придете.— Он не объяснил, почему боялся, что Крейг не придет, но представил его гостям, с которыми только что разговаривал.— Тонио Корелли. Вы его, конечно, знаете, Джесс?

— Только издали.— Корелли — это тот самый молодой красавец — итальянский актер, которого Крейг видел у плавательного бассейна «Отеля на мысу». На нем был великолепный черный смокинг от римского портного. Они обменялись рукопожатием.

— Может, вы познакомите его со своими дамами, carino[1]? — предложил Клейн.— Я не разобрал ваших имен, душеньки, — добавил он извиняющимся тоном.

— Это Николь,— сказал Корелли,— а это Айрин.

Николь и Айрин покорно улыбнулись. Такие же хорошенькие, загорелые и стройные, каких Крейг видел с Корелли у бассейна, только это были уже не те девушки, а другие. «У него каждая пара — под цвет костюма,— подумал Крейг.— Каждой — свое время». Он чувствовал, что завидует. Да и кто не позавидует?

— Дорогая,— сказал Клейн, обращаясь к своей помощнице по рекламе и информации,— проводите их в дом и дайте чего-нибудь выпить. Если хотите танцевать,— обратился он к девушкам,— то смотрите, как бы не простудиться. Оркестр играет на открытом воздухе. Я ничего не мог сделать с погодой, и вот — зима к нам вернулась. Веселый месяц май.

Трио, сопровождаемое помощницей Клейна, грациозно удалилось.

— Все, что требуется,— это родиться итальянцем,— с улыбкой сказал Клейн.

— Я вас понял,— сказал Крейг.— Только вы и так неплохо жи-

[1] Милый *(итал.)*.

вете.— Он показал рукой на роскошное убранство дома, за аренду которого на один месяц, как он слышал, с Клейна взяли пять тысяч долларов.

— Да я не жалуюсь. Плыву себе по течению,— сказал, ухмыляясь, Клейн. Он не скрывал, что гордится своим богатством.— Берлога довольно уютная. Ну вот, Джесс, мы и снова встретились. Я очень рад. Как дела?

— Прекрасно,— ответил Крейг.— Просто прекрасно.

— Я пригласил Мэрфи и его фрау,— сказал Клейн,— но они, поблагодарив, отказались. С мелкой сошкой не знаются.

— Они отдыхать сюда приехали,— солгал за своего друга Крейг.— Предупреждали меня, что всю эту неделю будут рано ложиться спать.

— Великий был человек этот Мэрфи. В свое время. Вы, конечно, с ним еще не порвали?

— Конечно.

— Я уже как-то говорил, что ваша верность делает вам честь. Вы с ним сейчас чем-нибудь связаны? — Клейн задал этот вопрос как бы невзначай, глядя в сторону, на гостей, проходивших под аркой в большую гостиную.

— Насколько я знаю, нет,— ответил Крейг.

— А у вас у самого есть какие-нибудь планы? — Клейн повернулся к Крейгу.

Крейг помолчал.

— Возможно.— Он никому еще, кроме Констанс и Мэрфи, не говорил, что у него снова зародилась мысль о собственной картине. Но Мэрфи ясно — более чем ясно — определил свою позицию. Так что слово «возможно» Крейг обронил не случайно. Из тех, кто приехал на фестиваль, самым полезным мог бы быть Клейн с его энергией и обширными связями.— Есть у меня одна идейка.

— Вот это новость! — Восторг, прозвучавший в голосе Клейна, казался почти естественным.— Слишком уж надолго вы оторвались от дел, Джесс. Если вам нужна будет помощь, вы ведь знаете, к кому за ней обратиться? — Клейн ласково коснулся его плеча.— Для друга ничего не жалко. Мы сейчас такие дела делаем, что даже *у меня* голова кружится.

— Слыхал. Поговорим на этих днях. Я вам позвоню.

Вот уж обиделся бы Мэрфи, услышав этот разговор. Он гордился своей проницательностью и сердился, если его клиенты или друзья не слушались его совета. К Клейну он относился с презрением и говорил о нем: «Этот несчастный маленький пройдоха» и «Через три года от него и следа не останется». Но Мэрфи не делает ничего такого, от чего кружилась бы голова.

— Здесь в саду есть плавательный бассейн,— сказал Клейн.— Приходите в любое время. Даже без предварительного звонка. В этом доме вам всегда будут рады.— Клейн снова ласково потрепал Крейга по плечу и повернулся к вновь прибывшим гостям. А Крейг отправился в гостиную.

Там было полно народу: в сад, где играл оркестр, из-за холода никто не хотел идти. Крейгу пришлось несколько раз извиниться, прежде чем он протиснулся к бару между креслами и диванами, вокруг которых теснились гости. Он попросил шампанского. Возвращаться в Канн надо было в машине, и если весь вечер пить виски, то ехать потом по темным извилистым дорогам между холмами рискованно.

Корелли и две его девицы стояли у бара.

— Лучше нам было пойти сегодня к французам,— сказала одна

из них. Она говорила с английским акцентом.— Здесь одни старики. Средний возраст — сорок пять.

Корелли улыбнулся, осветив зал блеском своих зубов. Крейг отвернулся от бара и стал смотреть на публику. Вон Натали Сорель сидит в дальнем углу и увлеченно беседует о чем-то с мужчиной, присевшим на подлокотник ее кресла. Крейг знал, что она близорука, поэтому на расстоянии не увидит его. Но сам-то он видит достаточно хорошо и, что бы там ни говорила английская девушка, никак не назовешь Натали Сорель старухой.

— Мне рассказывали, что каннские балы не такие,— продолжала англичанка.— Буйные. Все бьют посуду, пляшут голышом на столах и устраивают оргии в плавательных бассейнах. Римская империя периода упадка.

— Так было в старые времена, сага[1],— сказал Корелли. Он говорил с сильным акцентом. Крейг видел его в нескольких английских фильмах и теперь понял, что Корелли озвучивают другие актеры. Не исключено, что у него и зубы не свои. От этой мысли ему стало легче.

— Этот вечер такой же буйный, как чаепитие в доме священника,— сказала девушка.— Хорошо бы нам сейчас сделать реверанс, попрощаться и уйти.

— Это невежливо, carissima,— возразил Корелли.— Кроме того, здесь полно влиятельных людей, которых молодые актеры не должны обижать.

— Как это скучно, милый.

Крейг окинул гостиную взглядом, высматривая друзей, врагов, нейтралов. Помимо Натали здесь была французская актриса Люсьен Дюллен; словно повинуясь какому-то инстинкту, она расположилась в самом центре зала в кругу постоянно сменявшегося почетного караула молодых людей. Красивейшая из женщин, каких Крейг когда-либо встречал. На ней простое открытое белое платье, волосы, туго зачесанные назад, выгодно подчеркивают тонкие черты лица и изящные длинные линии шеи, нисходящие к прелестным плечам. Неплохая актриса, но для женщины с ее внешностью этого мало. Она должна быть второй Гарбо. Крейг не был с ней знаком и не хотел знакомиться, но ему доставляло огромное удовольствие смотреть на нее.

Вон огромный толстый англичанин. Молодой еще, ему чуть больше тридцати. Его, как и Корелли, сопровождают две молодые женщины. Истерически смеются какой-то его шутке. Крейгу показывали этого англичанина на пляже. Он банкир. Рассказывали, будто всего месяц назад он лично вручил Уолту Клейну (в Лондонском банке, где он является президентом) чек на три с половиной миллиона долларов. Теперь понятно, почему эти две дамочки вьются около него и почему они так смеются его остротам.

Возле камина Брюс Томас разговаривает с тучным лысым мужчиной. В нем Крейг узнал Хеннесси, режиссера фильма, намеченного к показу на фестивале в конце недели. Томас снял картину, которая уже полгода идет на экранах Нью-Йорка, а фильм Хеннесси, его первый боевик, пользуется небывалым успехом в кинотеатре на Третьей авеню. На фестивале ему уже сейчас прочат премию.

Йэн Уодли — он так и не уехал в Мадрид — стоит и беседует с Элиотом Стейнхардтом и каким-то еще человеком — статным мужчиной в темном костюме, с бронзовым от загара лицом и копной черных с проседью волос. Человек этот показался Крейгу знакомым, но он никак не мог вспомнить его имени. Уодли выпирает из своего смо-

[1] Дорогая *(итал.)*.

кинга — сразу видно, что он покупал его в лучшие, более молодые годы. Он еще не пьян, но раскраснелся и говорит быстро. Элиот Стейнхардт благосклонно слушает, губы его изогнулись в легкой усмешке. Ему около шестидесяти пяти лет, он небольшого роста, насмешливый, с резкими, лисьими чертами лица и ехидными глазами. У него на счету десятка два фильмов, имевших огромный успех еще в середине тридцатых годов, и хотя нынешние критики высокомерно называют его старомодным, он спокойно продолжает выпускать один боевик за другим, как будто успех сделал его неуязвимым для клеветы и смерти. Крейг относился к нему с симпатией и уважением. Если бы не присутствие Уодли, он подошел бы к нему и поздоровался. «Подойду после, когда он будет один».

На большом диване сидит Мэррей Слоун, критик, пишущий для специальной киногазеты. Как ни странно, придерживается авангардистских взглядов. Больше всего волнуется, когда смотрит фильмы. Сейчас он беседует с каким-то незнакомцем. Круглолицый, коричневый от загара, улыбчивый, Слоун так влюблен в свою профессию, что порвал (он сам признался в этом Крейгу) с женщиной, с которой сошелся на Венецианском фестивале, поскольку она не слишком ценила талант Бунюэля.

«Что ж,— подумал Крейг, оглядывая зал.— Не знаю, умна или не умна эта английская красотка, но она права в том отношении, что здесь ничто не говорит об упадке Римской империи. Богатая, пристойная, приятная публика. Какие бы встречные течения ни сталкивались в этом зале, какие бы пороки ни скрывались под элегантными нарядами, все тщательно прикрыто. Любимые и нелюбимые, состоятельные и несостоятельные — все соблюдают вечернее перемирие. Честолюбие вежливо соседствует с безысходностью.

В старое время в Голливуде званые вечера были не такие. Те, кто зарабатывал по пять тысяч долларов в неделю, не приглашали к себе тех, кто зарабатывал меньше. Новое общество, возникшее из пепла старого. Движение пролетариата к «Моэту», «Шандону» и к блюду с икрой».

Он заметил, что человек, разговаривавший с Уодли и Элиотом Стейнхардтом, посмотрел в его сторону, улыбнулся, помахал рукой и пошел к нему. Крейг на всякий случай улыбнулся в ответ, стараясь вспомнить, где же он встречал этого человека и как его зовут.

— Здравствуй, Джесс,— сказал человек, протягивая руку.

— Привет, Дэвид,— ответил Крейг. Они обменялись рукопожатием.— Хочешь верь, хочешь нет, а я тебя не сразу узнал.

Человек засмеялся:

— Это из-за шевелюры. Меня никто не узнает.

— Да и не удивительно,— сказал Крейг.

Дэвид Тейчмен, один из первых знакомых Крейга по Голливуду, в те годы был лыс.

— Это парик,— объяснил Тейчмен, самодовольно поглаживая себя по волосам.— В нем я выгляжу лет на двадцать моложе. Чтоб женщины любили. По второму кругу. Кстати, о женщинах: в Париже я ужинал с твоей приятельницей. Это она сказала мне, что ты здесь, и я решил разыскать тебя. Я приехал только сегодня утром и весь день играл в карты. Подружка у тебя — ого! Поздравляю.

— Спасибо,— сказал Крейг.— Ты не сердишься, когда люди спрашивают, зачем тебе понадобилась эта грива?

— Нисколько. Мне сделали на черепке маленькую операцию, и док на память о себе оставил в нем две дырки. Так что пришлось их прикрыть. Что и говорить, хорошего в этой косметике мало, однако не пугать же мне, старику, малых детей и юных девиц. Это —

лучшее, что могли предложить мне студийные парикмахеры. Единственное, что эта чертова студия создала хорошего за последние пять лет.

При упоминании студии Тейчмен крепко стиснул свои вставные зубы. Его уже более года отстранили от руководства ею, но он все еще говорил о студии как о своей вотчине. Двадцать пять лет он безраздельно господствовал там, и избавиться от привычки командовать было нелегко. Лысая голова придавала ему весьма внушительный вид, она чем-то напоминала осадное орудие. Лицо мясистое, грубое — то ли римский император, то ли шкипер торговой шхуны,— с глубокими морщинами на дубленой коже, как у человека, который круглый год проводит с солдатами в походах или с матросами на палубе судна. Голос у него под стать внешности — грубый и властный. В счастливую пору расцвета его студия выпускала фильмы изящные, грустно-комические — еще одна неожиданность в этом удивительном городе. В парике же он выглядел совсем иначе — ласковым, беззлобным, и голос его, как бы приспособившись к его новому облику, стал тихим и грустным.

Тейчмен огляделся вокруг и, тронув Крейга за рукав, сказал:

— Ой, Джесс, не нравится мне здесь. Будто стая стервятников на скелетах гигантских животных. Вот во что превратился нынче кинематограф, Джесс. Громадные старые скелеты с уцелевшими кусочками мяса и эти птицы, клюющие их. Что они снимают в погоне за Всемогущим Долларом? Варьете с голыми девками. Порнографию и кровопролитие. Ехали бы в Данию и смотрели бы все это там. И театр не лучше. Мерзость. Что такое сегодня Бродвей? Сводники, проститутки, торговцы наркотиками, фигляры. Я понимаю, почему ты от всего этого бежал.

— Ты, как обычно, преувеличиваешь, Дэвид,— сказал Крейг. Он работал на студии Тейчмена в пятидесятые годы и еще тогда знал за стариком склонность к риторике, проявлявшуюся обычно тогда, когда он хотел переспорить какого-нибудь умного оппонента.— И теперь делают неплохие картины, а на Бродвее и вне Бродвея есть немало способных молодых драматургов.

— Назови хотя бы одну. Одну хорошую картину.

— Почему одну, я две назову. И даже три,— весело сказал Крейг.— Причем их авторы здесь, в этом зале. Возьмем Стейнхардта, Томаса и вон того новенького, который разговаривает сейчас с Томасом. Хеннесси.

— Стейнхардт не в счет,— возразил Тейчмен.— Он из старой гвардии. Скала, оставшаяся стоять после ухода ледника. Что касается этих двоих...— Тейчмен презрительно фыркнул.— Пустоцветы. Гении на час. Да, конечно, время от времени кто-то добивается успеха. Бывает. Они и сами не всегда могут понять, как это выходит: просыпаются и видят, что им счастье привалило. Я не об этом говорю, дружище, а о настоящем профессионализме. Чаплин, Форд, Стивенс, Уайлер, Капра, Хоукс, Уайлдер, ты, если угодно. Хотя о тебе, пожалуй, разговор особый, тебя трудно отнести к какой-либо группе. Надеюсь, ты не в претензии.

— Не в претензии,— сказал Крейг.— Обо мне говорят кое-что и похуже.

— О нас о всех говорят. Живые мишени. Ну, ладно, я наснимал много дряни. Готов это признать. Четыреста — пятьсот фильмов в год. Шедевры пачками не родятся, спору нет. Пусть дрянь, пусть массовое производство, но свою службу это сослужило. Теперь к услугам крупных воротил — налаженный механизм: актеры, рабочие ателье, декораторы, публика. Есть и другое: кино завоевало для

Америки мир. Я вижу, ты смотришь на меня как на помешанного. Что бы там ни писали модные критики-интеллектуалы, но им грезилось, что нас любит все человечество, что мы его возлюбленные, его герои. Ты думаешь, мне из-за того стыдно, что я был причастен к этому делу? Ничего подобного. Я скажу тебе, из-за чего мне стыдно. Мне стыдно, что мы все это потеряли. И, если хочешь, я скажу тебе, когда именно это случилось. Даже если не хочешь — скажу.— Он ткнул Крейга пальцем в плечо.— В тот самый день, когда мы подчинились этим мужланам в Конгрессе, когда сказали: «Да, сэр, мистер Конгрессмен, мистер ФБР-мен, дайте я поцелую вас в задницу, вам не нравятся политические взгляды этого писателя, или поведение этой актрисы, или темы десятка моих будущих фильмов, да, сэр, ну, разумеется, сэр, мы всех уволим, все отменим. Вы только мизинцем пошевелите, и я перережу горло своему собственному другу». До этого мы были счастливы, красавцы двадцатого века, мы острили, и весь мир смеялся нашим остротам, мы любили так, что весь мир завидовал нашему умению любить, мы закатывали пиры, на которых весь мир хотел присутствовать. А после этого превратились в жалкую кучку хныкающих евреев и мечтали лишь о том, чтобы во время очередного погрома убили не нас, а соседа. Публика увлеклась телевидением — и правильно сделала. Телевизионщики, по крайней мере, не скрывают, что хотят продать тебе какой-нибудь товар.

— Дэвид,— сказал Крейг,— у тебя покраснело лицо.

— Еще бы. Успокой меня, Джесс, успокой. Мой доктор тебе спасибо скажет. Я жалею, что пришел сюда. Впрочем, нет. Я рад случаю поговорить с тобой. Я еще не конченый человек, каким бы конченым ни казался. У меня план один созревает — большое дело.— Тейчмен заговорщицки подмигнул.— Мне нужны талантливые люди. Старой формации. И дисциплины. Капитаны, а не капралы. Такие, как ты, например. Конни сказала, что у тебя есть какая-то идейка. Советовала поговорить с тобой. Или это — болтовня?

— Не совсем,— ответил Крейг.— Есть кое-что.

— Да уж пора бы. Позвони мне утром. Потолкуем. Тут не в деньгах дело. Дэвид Тейчмен не из тех, кто делает непристойные фильмы. А теперь извини, Джесс, мне надо уходить. Трудно стало дышать, когда волнуюсь. Меня и доктор постоянно просит не волноваться. Не забудь, что́ я сказал. Утром. Я остановился в «Карлтоне».— Он пригладил свою роскошную седеющую гриву и зашагал прочь подчеркнуто твердой походкой.

Крейг посмотрел вслед одеревенелой, негнущейся фигуре, проталкивавшейся к выходу, и покачал головой. Приверженец дела, которое проиграно, историк эпохи распада. И все же он решил утром позвонить ему.

Крейг заметил, что мужчина, разговаривавший с Натали Сорель, встал и, взяв ее бокал, начал пробираться сквозь толпу к бару. Крейг решил воспользоваться этим и шагнул было в сторону Натали, но как раз в это время дверь из внутреннего дворика открылась и вошла Гейл Маккиннон вместе с каким-то низеньким, болезненного вида мужчиной, лицо которого показалось Крейгу знакомым. Лет тридцати пяти, редеющие нечесаные волосы, под глазами нездоровые желтоватые мешки. Он был в смокинге, Гейл Маккиннон — в дешевом коротком, выше колен, ситцевом платье. Но на ней оно не выглядело дешевым. Она улыбнулась Крейгу, и уклониться от встречи с ней было уже нельзя. По необъяснимой причине ему не хотелось, чтобы она видела его беседующим с Натали Сорель. Они не встречались с тех пор, как расстались после ленча у Мэрфи, но это и не

удивительно, поскольку он не вылезал из своего номера и лечился от простуды.

— Добрый вечер, мистер Крейг,— сказала Гейл Маккиннон.— Всюду мы с вами встречаемся.

— Верно.

— Позвольте вам представить...— начала было она, повернувшись к своему спутнику.

— Мы уже знакомы,— объявил мужчина неприязненным тоном.— Давно. По Голливуду.

— Боюсь, что память изменяет мне,— сказал Крейг.

— Моя фамилия Рейнолдс.

— Ах да.— Крейг вспомнил фамилию, но не мог сказать, действительно ли он когда-нибудь встречался с этим человеком. Рейнолдс писал рецензии на кинофильмы для одной лос-анджелесской газеты.— Ну, конечно.— Он протянул руку. Рейнолдс с видимой неохотой протянул ему свою.

— Пошли, Гейл,— сказал Рейнолдс.— Мне выпить хочется.

— Иди выпей, Джо,— сказала Гейл Маккиннон.— А я пока поговорю с мистером Крейгом.

Рейнолдс проворчал что-то и стал пробираться к бару.

— Что с ним? — спросил Крейг, озадаченный неприкрытой враждебностью Рейнолдса.

— Так, выпил лишнего.

— Эпитафия всем нам,— сказал Крейг и сделал глоток шампанского.— Чем он занимается вдали от Лос-Анджелеса?

— Он уже два года представляет в Европе одно телеграфное агентство,— сказала девушка.— И очень мне помогает.— Крейгу показалось, что она как бы защищает Рейнолдса. Неужели у них роман? Он такой невзрачный, угрюмый. Но кто знает, в Канне от девушки всего можно ожидать. Теперь Крейг вспомнил, почему лицо этого человека показалось ему знакомым: это он подсел тогда на террасе отеля «Карлтон» к столику Гейл Маккиннон.

— Он помешан на кино,— продолжала девушка.— Помнит все картины, даже старые. Он для меня — кладезь информации. Видел все ваши картины...

— Возможно, поэтому он такой грубый,— сказал Крейг.

— Нет, что вы! Они ему нравятся. Некоторые из них.

Крейг засмеялся:

— Временами ваша молодость проявляется не только во внешности, но и в речах.

— Вон та дама машет вам рукой,— сказала девушка.

Крейг перевел взгляд туда, где сидела Натали Сорель. Та жестами подзывала его к себе. Близорукость не помешала ей узнать его. Он поднял руку в знак приветствия.

— Это старая приятельница,— сказал он.— Прошу прощения...

— Вы получили вопросы, которые я оставила вам в гостинице?

— Да.

— И что?

— Я порвал их.

— О, какой вы злой,— сказала девушка.— Таких злых людей я еще не встречала. Много слышала о вас плохого, но никто еще не говорил, что вы злой.

— Меняюсь с каждым днем,— ответил он.— Иногда даже быстрее.

— Джо Рейнолдс предупреждал меня насчет вас. Я не хотела вам этого говорить, но теперь уж все равно. У вас есть враги, ми-

стер Крейг, и пусть это будет вам известно. Знаете, почему Рейнолдс так груб с вами?

— Не имею понятия. Я и видел-то этого человека всего один раз — в то утро, когда вы приходили ко мне.

— Возможно. Хотя он говорит, что вы встречались. И однажды вы кое-что про него сказали.

— Что именно?

— Он написал очень хвалебную рецензию на одну из ваших картин, а вы сказали: «Этот человек так плохо пишет. Я злюсь на него, даже когда он меня хвалит».

— Когда я это сказал?

— Восемь лет назад.

Крейг засмеялся:

— Ни одно животное так не обидчиво, как критик.

— Нельзя сказать, чтоб вы очень уж старались показать себя с приятной стороны,— сказала она.— Вам, пожалуй, лучше уйти сейчас. Как бы эта хорошенькая дамочка не вывихнула себе руку — так сильно она вам машет.— Гейл Маккиннон повернулась и начала бесцеремонно проталкиваться сквозь толпу к бару, где ее ждал — Крейг это видел — наблюдавший за ними Рейнолдс.

«Вот как легко может человек возненавидеть тебя на всю жизнь. Из-за какой-то одной твоей фразы».

Он выбросил Рейнолдса из головы и подошел к Натали. Та встала ему навстречу. Светловолосая, голубоглазая, с роскошной фигурой, стройными ногами, она была похожа на любовно сделанную куклу — неправдоподобно розовую, белокурую и изящную. Несмотря на ее внешность и мягкий звонкий голосок, она была женщиной смелой, решительной и чувственной.

— Уведи меня в другую комнату, Джесс,— сказала она, протягивая ему руку.— Этот ужасно скучный человек может вернуться сюда в любую минуту.— Она говорила по-английски хорошо, с едва уловимым акцентом, и люди, не знавшие, что она родом из Венгрии, не могли определить, кто она по национальности. Так же свободно она владела немецким, французским и итальянским. Со дня их последней встречи она совсем не постарела. Расстались они из-за случайного стечения обстоятельств, без взаимных обид. Ей надо было сниматься в двух фильмах в Англии. Ему — возвращаться в Америку. Этих картин, снятых в Англии, он не видел. Он слышал, что она сошлась с каким-то испанским графом. Ни Крейг, ни Натали не искали друг в друге ничего, кроме удовольствий,— так, по крайней мере, казалось ему. Поэтому, наверно, они так легко и расстались. Она ни разу не сказала, что любит его,— еще одна черта ее характера, которой он восхищался.

Она взяла его за руку, и они начали пробираться в библиотеку. На пальце у нее был большой бриллиантовый перстень. Крейг вспомнил, что прежде, когда они встречались, она закладывала свои драгоценности, да и он давал ей взаймы.

— А ты, как обычно, блистаешь,— сказал он.

— Если бы я знала, что здесь будет Люсьен Дюллен, то ни за что бы не пришла. Когда такие красавицы появляются среди более зрелых женщин, им надо мешки на голову надевать.

— Тебе-то нечего бояться. Ты еще постоишь за себя.

Они сели рядом на кожаный диван. Никого, кроме них, в комнате не было, шум бала — музыка и голоса гостей — сюда почти не проникал.

— Дай мне глоток твоего шампанского,— попросила она.

Он дал ей свой бокал, и она сразу его осушила. Он вспомнил, что она всегда алчно пила и ела.

Она поставила бокал на столик и с укором посмотрела на него.

— Ты не позвонил мне, как я просила.

— Я поздно вернулся домой.

— Мне надо было поговорить с тобой,— сказала она.— А в тот вечер на коктейле было слишком много народа. Как ты живешь?

— Живу пока.

— Ничего о тебе не слышно. Я спрашивала.

— Прозябаю.

— Что-то непохоже на Джесса Крейга, каким я его знала.

— Слишком уж все деятельны. Если бы мы давали себе передышку каждый год месяцев на шесть, то всем было бы гораздо лучше. Вот я и слез пока с карусели.

— Меня страх берет, когда я о тебе думаю.

— И часто ты обо мне думаешь?

— Нет.— Она засмеялась. У нее были маленькие белые зубы и маленький розовый язычок.— Только когда дурь лезет в голову.— Она сильно сжала его руку.— Сколько времени прошло с тех пор— пять лет?

— Больше. Лет шесть или семь.

— Ой, как летит время. Ты все такой же шалун.

— Как это понимать?

— Я видела, как ты разговаривал с красивой молодой девушкой. Что-то она все возле тебя околачивается.

— Она журналистка.

— Нынче все женщины опасны,— вздохнула Натали.— Даже журналистки.

— Это было бы неприлично,— возразил он. Поддразнивание Натали вызывало у него чувство неловкости.— Она же мне в дочери годится. Ну, а ты как? Где твой муж?

— Пока что он не муж. Все пытаюсь его оседлать.

— Ты же сказала в тот вечер, что выходишь замуж.

— Пока он не наденет мне обручальное кольцо, до тех пор не поверю. И тогда уж мне не надо будет вставать в пять утра, чтобы сделать прическу и привести в порядок лицо. Не надо будет выслушивать брань чересчур эмоциональных режиссеров. Не надо любезничать с продюсерами.

— Я ведь тоже был продюсером, и ты любезничала со мной.

— Не потому, что ты был продюсером, милый.— Она снова сжала ему руку.

— Ну, ладно. Где же все-таки твой нареченный? Если бы я собирался на тебе жениться, то не пустил бы тебя одну в такое место в самый канун свадьбы.

— Но ведь ты и не собираешься на мне жениться, правда? — Впервые за этот вечер она заговорила серьезно.

— Кажется, нет,— ответил он.

— Вот так же и многие другие.— Она вздохнула.— Ну, что ж, повеселилась Натали. Пришло время стать паинькой. А может, согрешить напоследок, махнуть куда-нибудь, а? Может, найдется еще свободный номер в Болье, на берегу моря?

— Никогда еще не был в Болье,— сказал Крейг. Лицо его было бесстрастно.

— Какое совпадение. И я не была. Да и стоит ли туда ехать. Завтра он приезжает.

— Кто завтра приезжает?

— Мой нареченный. Филип. Он хотел ехать вместе со мной, но в последнюю минуту пришлось задержаться в Нью-Йорке.

— Так он американец?

— Говорят, что из американцев получаются хорошие мужья.

— Вот уж не знаю,— сказал Крейг.— А чем он занимается?

— Зарабатывает деньги. Разве это не очаровательно?

— Очаровательно. Каким способом он зарабатывает деньги?

— Производит товары.

— Сколько ему лет?

Натали задумалась и высунула кончик языка. Она и раньше так делала.

— Только не ври,— предупредил он.

Она засмеялась.

— Ты проницательный. Как всегда. Скажем так: он старше тебя.

— На сколько?

— Значительно старше.— Она говорила тихо.— О тебе он ничего не знает.

— Надеюсь, что не знает. Объявлений в газетах мы, кажется, не давали.— Они действительно держали свою связь в тайне. В то время у нее был официальный любовник, который частично содержал ее, а Крейг старался избегать сцен ревности со стороны своей жены.— А что, если он про меня узнает? Или он думает, что женится на девственнице?

— Ну, это вряд ли.— На лице ее появилась грустная улыбка.— Но он не знает всего.— Она по-детски искривила губы.— Даже половины не знает. Даже четверти.

— А кто знает все?

— Надеюсь, никто,— ответила она.

— Скажи мне ради статистики: сколько их в соседней комнате?

Натали поморщилась.

— Пятеро. Устроит?

Он улыбнулся и покачал головой.

— Ну, тогда шестеро,— сказала она.— А что ты хочешь? Твоя маленькая Натали достаточно пожила в этом мире. Работать в кино— это все равно что торчать из года в год на каком-нибудь острове в компании все тех же отверженных. Женщине приходится приспосабливаться. Да и мужчинам тоже, мой друг.— Она прикоснулась пальцами к его губам.

— Nolo contendere [1],— сказал Крейг.

Натали засмеялась, сверкнув маленькими белыми зубами.

— Удивительно, правда? Я никогда не врала тебе.

— А своему нареченному — будешь?

Она опять засмеялась.

— Ему-то я вряд ли буду говорить правду.— И серьезно добавила: — Он солидный гражданин. Очень консервативный. Баптист из Техаса. Такой пуританин, что даже ни разу еще не переспал со мной.

— О, боже,— сказал Крейг.

— Именно: о, боже. Когда он приедет сюда, мне придется делать вид, что мы с тобой почти незнакомы. Не удивляйся, если я при встрече буду называть тебя мистер Крейг. Если он узнает, что я из тех женщин, что проводят время с женатыми мужчинами, то не представляю, что он сделает.

— А что он может сделать в худшем случае?

— Может не жениться на мне. Будь поосторожней, ладно, Джесс? — В голосе ее прозвучали умоляющие нотки — раньше он

[1] Не стану оспаривать *(лат.)*.

их никогда не слышал. Он вдруг подумал, что ей, наверное, уже за сорок.

— Если он что-нибудь и узнает, то во всяком случае не от меня,— сказал Крейг.— Но советую тебе поскорее увезти его из Канна.

— Он пробудет здесь всего несколько дней. Потом мы полетим в Венецию.

— Мы с тобой вдвоем были когда-нибудь в Венеции?

— А ты не помнишь?

— Нет.

— Значит, мы не были в Венеции.— Она подняла голову и улыбнулась. Мужчина, с которым она разговаривала в гостиной, стоял с двумя бокалами в руках в дверях библиотеки.

— Ах, вот вы где,— сказал он.— А я-то вас искал, искал.

Крейг встал, Натали нехотя представила их друг другу. Имя мужчины не было знакомо Крейгу. Маленькое озабоченное, не застревающее в памяти лицо. «Наверно, из отдела проката какой-нибудь крупной кинокомпании»,— решил про себя Крейг. Мужчина отдал Натали бокал и с важностью пожал Крейгу руку.

— Ну, что ж, друзья,— сказал Крейг.— Оставайтесь тут. Глядя на вас, я вспомнил, что тоже хочу выпить.— Он дружески коснулся плеча Натали, вышел из библиотеки и направился к бару, стараясь не попасться на глаза Йэну Уодли.

В столовой, где был приготовлен буфет, Крейг мельком увидел Гейл Маккиннон и Рейнолдса, дожидавшихся, когда их обслужат.

Мэррей Слоун — круглолицый, энергичный — стоял у бара и наблюдал за гостями. Он добродушно улыбался, но глаза его походили на маленькие темные компьютеры.

— Привет, Джесс,— сказал он.— Присоединяйтесь к прессе, пейте на дармовщинку.

— Здравствуйте, Мэррей.— Крейг попросил шампанского.

— Не по вас публика-то, а, Джесс? — Слоун неторопливо жевал взятый с подноса сандвич с огурцом.

— Трудно даже сказать, что это такое. То ли вавилонское столпотворение, то ли Ноев ковчег, а может, сборище мафии или бал в женской гимназии.

— Я скажу вам, что это такое,— сказал Слоун.— Это бал в Версале при дворе Людовика Шестнадцатого тринадцатого июля тысяча семьсот восемьдесят девятого года, в ночь перед штурмом Бастилии.

Крейг засмеялся.

— Смейтесь, смейтесь. Но попомните мои слова. Вы видели фильм «Лед», что показывали в режиссерском зале?

— Да,— ответил Крейг.— Эту картину снимала группа молодых революционеров, снимала всерьез, а речь там шла о вооруженном восстании, которое должно произойти в ближайшем будущем в Нью-Йорке. Ужасающие сцены кастрации, убийства представителей власти, уличные драки, бомбежки. Все эпизоды сняты в стиле cinema vérité [1], что всегда производит сильное впечатление.

— И что вы о нем думаете? — с вызовом спросил Слоун.

— Самому-то мне трудно судить. Не знаю, насколько это соответствует истине. Ребята такого сорта мне незнакомы. Допускаю, что это — всего лишь плод их чистой фантазии.

— Это не пустая фантазия. Именно это и случится в Америке. Скоро.— Слоун показал рукой на толпу гостей.— А все эти жирные коты окажутся на свалке.

---

[1] Киноправда *(франц.)* — течение во французском кино, возникшее в конце 50-х гг. под влиянием идей Д. Вертова

— А где вы окажетесь, Мэррей? — спросил Крейг.

— И я на свалке,— угрюмо сказал Слоун.— Для этих ребят мы все на одно лицо.

К бару подошел Уолтер Клейн.

— Привет, друзья. Ну как, довольны вечером?

Крейг промолчал, предоставив Слоуну ответить на этот вопрос.

— Очень приятный вечер,— вежливо, как подобает гостю, сказал Слоун.

— А вы, Джесс?

— Огромное получаю удовольствие.

— Да, вечерок неплохой,— самодовольно сказал Клейн.— Удачное сочетание красоты, таланта и шулерства.—Он засмеялся.—Взгляните вон на тех двоих.— Он показал на Хеннесси и Томаса, оживленно разговаривавших у камина.— Видите, как увлеклись, никого не замечают вокруг. Оба — мои клиенты.

— Ну, разумеется,— кивнул Крейг и взял у официанта бокал с шампанским.

— Пойдите поболтайте с этими гениями,— предложил Клейн. Его неизменным правилом было знакомить друг с другом всех и каждого. Он и своих помощников учил не пренебрегать никакими знакомствами.— И вы, Мэррей.

— Нет, я останусь на своем посту. У бара,— сказал Слоун.

— Вы не хотите познакомиться с ними? — удивился Клейн.

— Нет. Я собираюсь критиковать их фильмы и не хочу подпадать под влияние ложного чувства дружбы.

— Разве вы уже видели их картины?

— Нет,— ответил Слоун.— Но я знаю их манеру.

— Подумать только, какой честный человек! — насмешливо воскликнул Клейн.— Пошли, Джесс.— Он взял Крейга под руку и повел к камину.

Крейг пожал руку Хеннесси и извинился перед Томасом за то, что не позвонил ему. Томас был худой, кроткий на вид человек, известный своей требовательностью и упорством на съемочной площадке.

— Что вы тут обсуждаете? — спросил Клейн.— Сравниваете свои доходы?

— Плачем друг другу в пиво,— сказал Хеннесси.

— По какому поводу?

— По поводу коррупции в низших слоях общества,—сказал Хеннесси.— И по поводу того, как трудно остаться честным в нечестном мире.

— Хеннесси еще новичок в этом деле,— сказал Томас.— Никак не может смириться с тем, что ему пришлось давать взятки шерифу и его помощнику, когда он снимал фильм в каком-то техасском городишке.

— Я не против того, чтобы отблагодарить человека,— возразил Хеннесси.— Я только хочу, чтобы соблюдались хоть какие-то приличия. Хотя бы для порядка признали, что нехорошо подкупать представителей власти. А ведь они что: расселись у меня в номере, пьют мое виски и заявляют: «Каждому по три тысячи, иначе не трудись и кинокамеру открывать».— Он печально покачал головой.— И никакой там трепотни насчет того, что, мол, такая большая и богатая компания, как твоя, могла бы пожертвовать немного денег в Фонд помощи полицейским. Куда там. Выкладывай, мистер, денежки, и все тут. Легко ли парню, бывшему когда-то первым учеником в воскресной школе, отдавать шесть тысяч долларов наличными двум поли-

цейским, которые пришли к нему в номер мотеля, а потом проводить эту сумму по статье побочных расходов?

— Вы еще дешево отделались,— сказал Клейн. Он был практический человек.— Так что не жалуйтесь.

— А потом,— продолжал Хеннесси,— у них еще хватило нахальства арестовать главного героя за курение марихуаны. Ушло еще две тысячи долларов на то, чтобы освободить его. Верно сказал вице-президент, что нашей стране нужны закон и порядок.

— Не забывайте, что сейчас вы во Франции,— сказал Клейн.

— Что ж, что во Франции. Я работаю в кино, а это — главное. Меня бесит, когда я подумаю, какую уйму денег надо потратить, прежде чем увидишь на экране свой фильм.

— Как нажито, так и прожито,— сказал Клейн. Легко говорить так человеку, который только что получил чек на три с половиной миллиона долларов.

— В предстоящем учебном году я буду руководить семинаром по искусству кино в Калифорнийском университете,— сказал Хеннесси. Слово «кино» он произнес насмешливым тоном.— Все, что я здесь сказал, войдет в мою первую лекцию. Слушайте, Крейг, не хотите ли выступить в качестве моего гостя на семинаре и рассказать ребятам о том, что происходит в восхитительном мире целлулоида?

— Я могу отпугнуть их от кино на всю жизнь,— сказал Крейг.

— Вот и отлично,— улыбнулся Хеннесси.— По крайней мере, поменьше будет конкурентов. Но я серьезно говорю. Вы действительно могли бы сказать им кое-что полезное.

— Если будет время и если я буду в Штатах...

— Где я вас найду?

— Через меня,— быстро вмешался Клейн.— Мы уже разговаривали с Джессом о том, что он, возможно, скоро вернется в кинематограф, и тогда я буду знать, где найти его.

«А Клейн, пожалуй, не врет,— подумал Крейг.— Он просто ускоряет события для своей и моей же выгоды».

Оба режиссера бросили на Крейга пытливый взгляд. Томас спросил:

— Что-нибудь конкретное, Джесс? Или вы не хотите сказать?

— Предпочел бы пока не говорить. Да и реального ничего еще нет.— «Только мечта, как у Мэрфи»,— подумал он.

В дверях произошло небольшое замешательство, и в гостиную вошли Фрэнк Гарленд с женой и еще какая-то супружеская пара. Гарленд снимался в главной роли в одном из первых фильмов Крейга. Несколькими годами старше Крейга, но выглядит молодо — лет на тридцать пять, не больше. Темные волосы, высокий рост, атлетическое сложение, красивое волевое лицо. Отличный актер и предприимчивый деловой человек, он основал собственную компанию, которая выпускает не только его фильмы, но и чужие. Пышущий здоровьем, веселый, открытый человек и муж хорошенькой жены, с которой живет уже более двадцати лет. В фильме Крейга он был великолепен. Когда-то они дружили, но сегодня Крейгу не хотелось с ним встречаться — неприятны были ему и это удивительное здоровье, и это здравомыслие, и это постоянное везение, и эта неподдельная, всеохватывающая сердечность.

— Пока до свидания, друзья,— сказал он Клейну и режиссерам.— Пойду подышу свежим воздухом.— Он вышел во внутренний дворик и направился по мокрой лужайке к освещенному плавательному бассейну. Оркестр играл «В ясный день ты всегда будешь видеть».

Крейг посмотрел вниз, на светлую воду. Бассейн подогревали, и над водой стлался легкий туман. Оргии в плавательном бассейне, вспомнил он слова англичанки. Не сегодня, Николь.

— Привет, Джесс,— услышал он чей-то голос.

Крейг обернулся. Из тени кустов, с другого конца бассейна, к нему направлялся какой-то человек. Когда человек подошел ближе, Крейг узнал его. Это был Сидней Грин. Крейгу пришло в голову, что Грин ищет уединения в этом холодном мокром саду по той же причине, что и он. Проигравшие, пожалуйте на улицу. Скоро и Йэн Уодли сюда явится.

— Здравствуй, Сид. Что ты тут делаешь?

— Душновато там стало для моих сосудов.— Голос у Грина был печальный, тихий — голос человека, привыкшего к тому, что его постоянно третируют.— Вышел вот и помочился на дорогую зеленую лужайку Уолтера Клейна. Каждый находит удовлетворение в том, что ему доступно.— Он тихо засмеялся и попросил извиняющимся тоном: — Только не говори Уолту, ладно? Пусть не подумает, что я неблагодарный. Он оказал мне честь, пригласив меня. Вместе со всеми этими людьми. Солидная публика, много богачей.— Грин медленно покачал головой, как бы подчеркивая свое уважение к могуществу тех, кто собрался в этот вечер у Уолта Клейна.— Знаешь, Джесс, среди них есть люди, которым достаточно пальцем шевельнуть, и завтра же начнут снимать любой фильм, даже если он обойдется в десять миллионов долларов. Выглядят они так же, как я, может быть, даже хуже, носят такие же смокинги — допускаю, что наши костюмы и шьет-то один и тот же портной,— но, господи, какая между нами разница! Ну, а ты как, Джесс? О тебе тут разговоры ходят, все гадают, зачем ты приехал. Говорят, у тебя сценарий готов и ты приехал сюда заключать контракт.

— Пока еще нет ничего определенного,— сказал Крейг. С точки зрения Мэрфи все уже достаточно ясно, но говорить об этом Грину не было никакого расчета.

— Я видел, что ты разговаривал с Дэвидом Тейчменом,— сказал Грин.— В свое время он кое-что значил, верно?

— Безусловно.

— Конченый человек.

Крейг не любил этого выражения.

— А я не очень в этом уверен.

— Он не выпустит больше ни одной картины.— Грин произнес эти слова тоном приговора.

— У него, Сид, могут быть планы, в которые он тебя не посвящал.

— Если думаешь сотрудничать с ним, то напрасно. Он умрет еще до конца этого года.

— Что ты болтаешь? — резко спросил Крейг.

— Я думал, что все знают,— сказал Грин.— У него в мозгу злокачественная опухоль. Его мой двоюродный брат оперировал. Странно, что он вообще еще ходит.

— Бедный старик,— покачал головой Крейг.— А еще сказал, что парик сделал его на двадцать лет моложе.

— Я не стал бы очень уж его жалеть. Он достаточно пожил, и неплохо. Дай бог мне прожить такую жизнь, пусть даже и с опухолью напоследок. По крайней мере, все его хлопоты скоро будут позади. А как ты, Джесс? — С мертвыми и умирающими в арендованном саду Уолтера Клейна было покончено.— Возвращаешься в кино?

— Такая возможность не исключена.

— Когда окончательно решишь, не забудь про меня. Ладно, Джесс?

— Конечно.

— Меня, как режиссера, недооценивают. Сильно недооценивают,— убежденно заговорил Грин.— И не я один так считаю. Я там встретил одного журналиста из «Кайе дю Синема». Он познакомился со мной специально для того, чтобы сказать, что, по его мнению, моя последняя картина, снятая для фирмы «Колумбия»,— шедевр. Тебе не довелось ее посмотреть?

— К сожалению, нет,— ответил Крейг.— Редко я стал ходить в кино.

— «Фанфара для барабанов»,— сказал Грин.— Так она называлась. Ты уверен, что не видел?

— Абсолютно.

— Если хочешь, я познакомлю тебя с этим парнем. Ну, с тем, из «Кайе дю синема». Он очень неглуп. Большинство тех, кто пришел сюда сегодня, вызывает у него только презрение. Презрение.

— В другой раз как-нибудь, Сид. Сегодня я хочу пораньше уехать.

— Ну, тогда скажешь. У меня есть его адрес. Вот незадача,— с грустью продолжал он.— А я-то думал, что этот год в Канне будет для меня счастливым. У меня ведь уже было соглашение с «Апекс энд Истерн» на две картины с правом выбора или замены. Это — одно из известных крупных объединений. Три месяца назад казалось, что фирма процветает. Я думал, что у меня все в порядке. Снял новую квартиру в Шестнадцатом округе, и теперь там делают boiserie[1]. Это обошлось мне в пятнадцать тысяч долларов, которых я еще не заплатил. К тому же мы с женой решили, что можем позволить себе второго ребенка, и в декабре она рожает. И вдруг — все к черту. «Апекс энд Истерн» обанкротилась, и теперь я даже апельсинового сока не могу выпить за завтраком. Если в течение ближайших двух недель я не получу в Канне контракта, то считай, что Сиднею Грину — конец.

— Что-нибудь да подвернется,— сказал Крейг.

— Надеюсь. Очень надеюсь.

Когда Крейг уходил, Грин все еще понуро стоял у бассейна и глядел на туман, поднимавшийся из подогретой зеленой воды. Входя в дом, Крейг думал: «Я-то, по крайней мере, не должен пятнадцать тысяч долларов за boiserie, и моя жена не беременна».

Весь остаток вечера он пил. Разговаривал со множеством людей, но к тому времени, когда почувствовал, что пора возвращаться к себе в отель, уже почти ничего не помнил. Помнил только, что хотел взять с собой домой Натали Сорель, но не нашел ее, и что обещал Уолту Клейну показать свою рукопись, а тот сказал, что утром пришлет за ней в отель одного из своих помощников.

Он стоял у бара и допивал свой последний бокал, когда увидел в дверях гостиной запыхавшуюся Гейл Маккиннон в плаще, накинутом на плечи. Он не заметил, когда она уходила. Она постояла немного, оглядывая комнату, и, увидев Крейга, подошла к нему.

— Я так и думала, что вы еще здесь.

— Выпейте со мной на сон грядущий.— Выпитое за вечер спиртное размягчило его.

— Мне нужна помощь,— сказала она.— Надо отвезти Джо Рейнолдса домой. Он сильно расшибся. И пьяный. Упал с лестницы.

---

[1] Деревянная обшивка стен *(франц.)*.

— С хорошим человеком этого бы не случилось,— весело сказал Крейг.— Выпьем.

— Полицейский не дает ему сесть за руль,— сказала Гейл.

— Коварная. Коварная французская полиция. Ищейки закона. Выпьем за благородную жандармерию Приморских Альп.

— Вы тоже пьяны? — резко спросила она.

— Не особенно. А вы? Почему вы сами не отвезете вашего критика домой?

— У меня нет водительских прав.

— В этом есть что-то антиамериканское. Смотрите не проговоритесь какому-нибудь конгрессмену, если он вас спросит. Выпьем.

— Поехали, Джесс,— взмолилась она. Впервые — он обратил на это внимание — она назвала его по имени.— Поздно уже. Одна я не справлюсь. Он там весь в крови, орет и угрожает полицейскому, и если мы не увезем его сейчас, его заберут в тюрьму. Я знаю, что надоела вам, но будьте же милосердны.— Она огляделась кругом. Гостиная почти опустела.— И вечер уже кончился. Ну, пожалуйста, отвезите нас в Канн.

Крейг осушил бокал и улыбнулся.

— Так и быть, доставлю тело в сохранности.— Он церемонно взял ее под руку и, перед тем как выйти в моросящую тьму, подвел к Уолтеру Клейну — пожелать ему спокойной ночи.

Рейнолдс уже не кричал на полицейского. Он сидел на нижней ступеньке каменной лестницы, с которой свалился, на лбу его зияла рваная рана и один глаз начал опухать. Он прижимал к носу окровавленный платок. Когда Гейл Маккиннон и Крейг подошли к нему, он бросил на них мутный взгляд и хрипло выругался:

— Чертовы лягушатники. И все Уолтер Клейн с его головорезами.

— Все в порядке, мосье,— сказал Крейг по-французски полицейскому, спокойно стоявшему возле Рейнолдса.— Я его друг. Я отвезу его домой.

— Ему нельзя садиться за руль,— сказал полицейский.— Это же очевидно, что бы этот джентльмен ни говорил.

— Совершенно с вами согласен,— кивнул Крейг, стараясь держаться подальше от полицейского. Он боялся, как бы тот не принюхался к его собственному дыханию.— Ну, Джо... оп-ля! — Он подхватил Рейнолдса под мышки и поднял на ноги. Рейнолдс отнял от носа платок, и на брюки Крейгу брызнула кровь. От Рейнолдса пахло так, словно его несколько дней вымачивали вместе с одеждой в виски.

С помощью Гейл он погрузил Рейнолдса на заднее сиденье своей машины, где тот сразу же и уснул.

Крейг с преувеличенной осторожностью, чтобы не вызвать подозрений у наблюдавшего за ним полицейского, вывел машину с места стоянки и поехал под мокрыми от дождя деревьями.

Всю дорогу до Канна они молчали, слышен был лишь булькающий храп Рейнолдса. Крейг сосредоточенно смотрел вперед и ехал медленно, стараясь не потерять из виду обочину,— на поворотах дорога блестела от света фар. Ему было стыдно, что он выпил так много в этот вечер, и он пообещал себе в будущем не пить вовсе, если будет заранее знать, что придется вести машину.

Когда они достигли предместий Канна, Гейл назвала Крейгу гостиницу Рейнолдса — примерно в шести кварталах от «Карлтона», подальше от моря, за железной дорогой. Когда они туда приехали, проснувшийся Рейнолдс хрипло сказал:

— Благодарю всех. Не трудитесь меня провожать. Я в полном порядке. Доброй ночи.

Они смотрели, как он, держась очень прямо, неуклюже идет на негнущихся ногах в темный подъезд гостиницы.

— Он-то сегодня уже набрался,— сказал Крейг,— я же не прочь бы выпить еще.

— Я тоже,— сказала Гейл Маккиннон.

— Разве вы живете не здесь?

— Нет.

Он почувствовал странное облегчение.

Все бары, мимо которых они проезжали, были закрыты. Он и не представлял себе, что уже так поздно. Да и хорошо, что закрыты: что бы подумали ночные посетители бара, увидев их обоих вымазанными в крови Рейнолдса? Крейг остановил машину перед «Карлтоном». Мотор продолжал работать.

— У меня дома найдется бутылка виски,— сказал он.— Хотите подняться?

— Да, благодарю вас.

Он отвел машину на стоянку, и они вошли в гостиницу. К счастью, в холле никого не было. Портье, у которого Крейг взял ключ от своего номера, был с детства приучен не менять выражения лица, что бы ни происходило в холле.

Поднявшись в номер, Гейл Маккиннон сняла плащ и прошла в ванную, Крейг же стал разливать в стаканы виски и содовую. В ванной уютно, по-домашнему шумела вода, напоминая о присутствии второго человека и рассеивая чувство одиночества.

В гостиную она вернулась причесанной, лицо ее выглядело свежим, чистым, словно и не было в эту ночь никаких происшествий. Они подняли стаканы и выпили. В гостинице стояла тишина, город спал. Они сидели друг против друга в больших креслах, обитых парчой.

— Вот вам урок: не ездите с пьяницами,— сказал он.— Если бы его не угораздило свалиться с лестницы, то вы, возможно, висели бы сейчас где-нибудь на дереве.

— Вероятно.— Она поежилась.— Причуды машинного века.

— Вы могли бы попросить меня отвезти вас домой еще до того, как он упал.— Крейг забыл, что и сам был пьян не меньше Рейнолдса.

— Я решила было ни о чем вас больше не просить.

— Ясно.

— Ух, как он вас ругал, когда сделал этот прыжок ласточкой.— Девушка засмеялась.

— И все — из-за какой-то ничтожной колкости, брошенной восемь лет назад? — Крейг покачал головой, удивляясь злопамятности людей.

— Из-за нее и многого другого.

— Например?

— Однажды вы отбили у него в Голливуде девушку.

— Я? Ну, если и отбил, то не нарочно.

— Это еще хуже. С точки зрения таких, как Рейнолдс. Он ударил ее, и она назло ему стала рассказывать, какой вы замечательный человек и что говорили ей о вас другие женщины. Какой вы умный, чуткий и как с вами весело. Как же после этого ему к вам относиться? Тем более что вы были знаменитость, а он — прыщавый мальчишка, совсем еще новичок.

— Ну, теперь-то он должен относиться ко мне лучше.

— Немного — да. Но не совсем. Он сообщил мне о вас много сведений, которые я включила в статью. И предложил заглавие.

— Какое? — с любопытством спросил Крейг.

— «Человек с несостоявшимся будущим».

Крейг кивнул.

— Вульгарно, но броско. Так вы и озаглавите свою статью?

— Еще не знаю.

— От чего это зависит?

— От вас. От того, что я о вас буду думать, когда по-настоящему узнаю. Если вообще узнаю. От того, сколько, на мой взгляд, у вас осталось мужества. Или воли. Или таланта. Моя задача была бы легче, если бы вы дали мне почитать рукопись, которую отправите завтра Уолту Клейну.

— Как вы об этом узнали?

— Сэм Бойд — мой приятель.— Крейг вспомнил, что Сэм Бойд — это один из способных молодых людей Клейна.— Он сказал мне, что утром приедет к вам за сценарием. Мы с ним завтракаем вместе.

— Скажите ему, чтобы он приехал за сценарием после завтрака.

— Хорошо.— Она протянула ему стакан.— Пусто.

Он встал, подошел к столу, где стояла бутылка, налил в оба стакана и вернулся назад.

— Спасибо.— Она спокойно посмотрела ему в глаза. Он нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. Губы у нее были мягкие, манящие. Она отвела лицо. Он выпрямился, давая ей возможность встать.— Ну, хватит,— сказала она.— Иду домой.

Он хотел было коснуться ее руки.

— Оставьте меня в покое! — Она поставила стакан на столик, схватила плащ и метнулась к двери.

— Гейл...— позвал он и шагнул к ней.

— Жалкий старик,— сказала она и, выходя, с силой хлопнула дверью.

Он медленно осушил свой стакан, потушил свет, разделся и лег. Лежа поверх простынь в теплом мраке, он слушал резиновый шорох редких машин, проезжавших по набережной Круазетт, и шум морского прибоя. Спать он не мог — слишком наполненный был вечер. Выпитое отдавало в виски. В голове складывались и разрушались, точно калейдоскопические узоры, воспоминания: Клейн в бархатном пиджаке, знакомящий друг с другом всех и каждого; Корелли и его девушки; несчастный Грин, поливающий мочой дорогую зеленую лужайку; кровь Рейнолдса... И среди этой мешанины — игра (игра ли?) — Гейл Маккиннон. Ее то вспыхивающая, то гаснущая, юная — в то же время зрелая — чувственность. Завлекает и отталкивает. Нет, лучше вспоминать и сожалеть о пышной красоте Натали Сорель. Забыть Дэвида Тейчмена, забыть о смерти, подстерегающей его под студийным париком. Крейг беспокойно заворочался в кровати. Похоже на колоссальный рождественский прием для конторских служащих. Только те приемы не устраивают по два раза в неделю.

И тут он услышал, почти не удивившись, тихий стук в дверь. Он встал, надел халат и открыл дверь. В полутемном коридоре стояла Гейл Маккиннон.

— Входите,— сказал он.

(Окончание следует)

Критика

М. МЕНДЕЛЬСОН

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЛАРСА ЛОРЕНСА

Десять лет назад, в сентябре 1965 года, в Алма-Ате скоропостижно скончался незадолго до своего семидесятилетия гость нашей страны — американский писатель Ларс Лоренс. Его подлинное имя — Филип Стивенсон. Под этим именем он опубликовал ряд произведений художественной прозы и пьес, а также создал серию талантливых киносценариев. И то обстоятельство, что почти в шестидесятилетнем возрасте ему пришлось отказаться от своего имени и прибегнуть к псевдониму, чтобы иметь возможность работать (его цикл романов «Семена» увидел свет как творение неизвестного писателя Ларса Лоренса), говорит о нелегкой судьбе этого выдающегося художника.

Можно было бы привести много других свидетельств сложности, даже трагизма жизни Лоренса. Позволю себе сослаться лишь на некоторые. Выходец из зажиточной семьи, питомец Гарвардского университета, открытого главным образом для «сливок» американского правящего класса, Филип Стивенсон довольно рано ощутил, что среда, к которой он принадлежал по рождению, чужда ему. Недешево обошлось Стивенсону его «отступничество». Впрочем, автор «Семян» был не первым американцем, чей путь в годы зрелости стал вызовом «гарвардским традициям». За несколько лет до него из стен того же университета вышел Джон Рид; как сложилась его дальнейшая жизнь — хорошо известно.

С годами Ларса Лоренса все сильнее влекло к людям из народа. И это, естественно, не способствовало его материальному благополучию. В тридцатых годах он заболел и переехал в штат Нью-Мексико. Нет, не в качестве пациента одного из туберкулезных санаториев для человека со средствами — Стивенсон жил в Нью-Мексико на более чем скромное жалованье сотрудника профсоюза шахтеров (добавлю, что в «Семенах» рассказывается о судьбах рабочих именно из этих мест).

Потом ему как будто повезло: он попал в Голливуд, где проявил себя даровитым сценаристом. Но вскоре после окончания второй мировой войны прогрессивные воззрения Стивенсона сделали его объектом яростных гонений со стороны пресловутой «комиссии по расследованию антиамериканской деятельности». Именно тогда, изгнанный из Голливуда, внесенный в «черные списки», лишенный возможности открыто работать в качестве сценариста, опытный писатель превратился в «начинающего» литератора Лоренса.

Но и в творческой судьбе Ларса Лоренса—создателя «Семян»—было немало тяжкого. Опубликовав первые два тома этой эпопеи, известная в США фирма «Путнем» наотрез отказалась печатать следующие книги цикла — слишком очевидными стали симпатии автора к идеям социализма. Еще два тома серии — третий и четвертый — вышли в свет в издательстве «Интернэшнл», печатающем произведения Маркса, Энгельса, Ленина, а также современных писателей-марксистов. Американские литературные журналы, по свидетельству самого Лоренса, просто игнорируют то, что выпущено даже такими издателями, которые кажутся всего лишь «подозрительно розовыми». Не потому ли автор эпопеи не получил хвалебных статей влиятельных критиков, необходимых в США для создания читательского спроса на книги? В результате суммарный тираж всех четырех томов «Семян», опубликованных на родине писателя, едва ли достиг десяти тысяч.

Друг Лоренса Алва Бесси пишет, что в последние годы жизни автор эпопеи существовал главным образом на жалкие пособия, полагавшиеся ему как пенсионеру и инвалиду первой мировой войны. Стивенсону приходилось также, как он однажды сказал, обращаясь к советским читателям, отрываться от действительно дорогой ему творческой работы, чтобы заработать хоть немного денег сочинением сценариев для «черного рынка», для телевидения.

И вот на рубеже сороковых и пятидесятых годов, в самую страшную пору господства маккартизма в США, когда многие передовые писатели были осуждены на тюремное заключение (а уж на нищенскую жизнь — и подавно), Филип Стивенсон, превратившийся в Ларса Лоренса, начал работать над своим циклом романов об американском рабочем классе. Это был творческий акт редкой смелости. Автор «Семян» по сути дела бросил прямой вызов «истэблишменту», самым влиятельным в капиталистической Америке социальным силам. С подвижническим мужеством и удивительной стойкостью в течение семнадцати лет Лоренс трудился над эпопеей «Семена». В этой, можно сказать, огромной серии произведений ему удалось проникнуть в самые глубины жизни американского труженика, показать ее во всей подлинности, изобразить мучительность, тяготы, но вместе с тем и величие жизни и борьбы рабочих в США.

Поистине создание такой эпопеи можно рассматривать как творческий подвиг писателя.

Уже упомянутый А. Бесси писал в газете «Пиплз уорлд», что перед самой смертью Лоренс закончил работу над последними двумя томами «Семян». Но, видимо, они еще требовали доработки. Смерть помешала автору ее осуществить. Во всяком случае, пятый и шестой тома «Семян» до сих пор к нам не поступали.

Четыре известные мне объемистые книги, входящие в лоренсовскую серию романов, публиковались за пределами США чаще и гораздо более значительными тиражами, нежели на родине автора. Вполне естественно, что особенно большим успехом эти произведения пользовались и пользуются в странах социализма.

Первая часть «Семян», озаглавленная «Утро, полдень и вечер», была издана в переводе на русский язык [1]. Жаль, что другие части цикла широкому советскому читателю еще не знакомы. Это огорчает не только потому, что остаются нераскрытыми дальнейшие, самые важные и выразительно запечатленные этапы драматических событий, о которых идет речь в опубликованном у нас томе. Художественное и идейное значение эпопеи Лоренса можно по-настоящему оценить, только получив представление о полном развитии образов, которые проходят через все тома серии. Тогда ярче выявляется умение Лоренса рисовать человеческие характеры в их непростой сущности, а зачастую и несомненной двойственности.

В романе «Утро, полдень и вечер» рассказывается, при каких обстоятельствах умер один из «стражей закона» — шериф — и погибли выступившие против преследований шахтеры. Вслед за этим были брошены в тюрьму многие десятки рабочих городка Реаты, обвиненных в смерти шерифа. Такое обвинение грозит им смертной казнью. Мы догадываемся, конечно, кто на самом деле лишил жизни «стража закона». Начинается следствие. Казалось бы, речь идет о произведении детективного характера. Однако это сходство чисто внешнее, перед нами, бесспорно, нечто совсем иное.

Самое важное во всей эпопее — не столько драматические события, сколько показ внутреннего облика персонажей, во многом определяемого общественными интересами и устремлениями этих людей. Основное внимание Лоренс уделяет не установлению того, кто повинен в описанных убийствах, а куда более важным вопросам: почему совершены преступления, кто заинтересован в гибели нескольких рабочих и в том, что в тюрьме оказались ни в чем не повинные люди, а главное — как проявляют себя в создавшихся обстоятельствах разные герои, так отличающиеся друг от друга личными свойствами, социальной сущностью.

Действие романов Лоренса развертывается в тридцатые годы нашего столетия. Об американской действительности той же памятной поры рассказывает, к примеру, и роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1939). Не сопоставляя художественные и иные достоинства произведений Стейнбека и Лоренса, все же следует подчеркнуть: автор «Семян» писал о прошлом, а не о только что пережитом, как Стейнбек, и годы, отделяющие время действия «Семян» от тех лет, когда эпопея создавалась, позволили Лоренсу глубже продумать виденное в это «красное десятилетие». Жизненный опыт послевоенного времени помог писателю полнее осознать значение идейной и организаторской деятельности передового отряда американского пролетариата — коммунистов.

В Реате их немного. Не всегда отношения между ними складываются просто. Над каждым из этих людей нависла угроза провокаций, тюремного заключения, даже насильственной смерти: полиция и фашиствующие элементы всегда готовы пустить в ход огнестрельное оружие против рабочих. Но именно коммунисты, как убеждается читатель, в состоянии помочь шахтерам сплотиться воедино, чтобы по-настоящему противостоять власть имущим.

В «Гроздьях гнева», бесспорно новаторском произведении, Стейнбек показал «изнутри» обездоленных американцев. Лоренс же не ограничился изображением людей из низов, хотя уделил им больше всего внимания. Он сделал попытку — во многом увенчавшуюся успехом — передать склад мыслей и чувств также тех, кого принято называть «верхами» американского общества. Так в «Семенах» возникает большая

[1] Ларс Лоренс. Утро полдень и вечер Перевод с английского К Чугунова. Предисловие Г. Злобина. Москва, «Прогресс», 1968.

портретная галерея участников описываемых событий, людей, занимающих подчас полярно противоположные позиции.

Здесь нужно отметить, что романы Лоренса обширностью своей (только в четырех томах немногим меньше двух тысяч страниц) и обилием действующих лиц первоначально вызывают не только удивление, но и порой — чувство, близкое к протесту. Впрочем, позднее видишь, что некоторые как будто бы ненужные на первый взгляд факты, описания были приведены Лоренсом не зря. Становится понятно, что автор «Семян» поставил перед собою поистине грандиозную цель: создать эпическое полотно, многосторонне показав конфронтацию выходцев из различных социальных слоев, нарисовав своих героев во всем разнообразии их настроений, влияющих на них общественных сил, а также их поведения — как повседневного, так и вызванного чрезвычайными обстоятельствами.

О масштабах замысла автора и успешности его воплощения А. Бесси заметил както, что одних только «запоминающихся образов» Лоренс создал около пятидесяти. Тут нет преувеличения. Художественная ценность цикла в конечном счете определяется тем, что острейший конфликт между шахтерами и хозяевами шахт воплощен прежде всего в убедительных образах самых различных героев, образах, нередко весьма сложных, многоракурсных, позволяющих читателю ощутить себя в кругу вполне реальных людей. В центре эпопеи именно люди. И потому эти книги — не просто хроника эпизодов кровопролитной борьбы, развернувшейся почти полстолетия тому назад в нескольких маленьких американских городках неподалеку от мексиканской границы.

Образы «Семян» не кажутся перепевами знакомых мотивов. Они заслуживают особого внимания. Начну прежде всего с персонажей, принадлежащих к разряду явных недругов рабочих.

Даже один из шерифов, Бернс Боллинг, в романе «Из праха» не может скрыть отвращения к негодяям, по вине которых шахтерский поселок превратился в ад. Среди них — сенатор и заведомый жулик Джейк Махони, захвативший в свои лапы много недвижимого имущества по всей округе. Тут и «вызывающе коррумпированный» судья Эверслив, хорошо одетый, внешне приличный, чистенький человек. Это и полковник Ведемейер, который хочет дать в руки фашиствующих молодчиков побольше огнестрельного оружия, и прокурор Дьюи Соумс, поклонник Гитлера, Муссолини и Хорти, надеющийся использовать судебный процесс против шахтеров, чтобы пролезть на пост губернатора штата. К этому лагерю нужно причислить и редактора местной газеты Деймона Маккарти, который всю жизнь бесстыдно лжет, пресмыкаясь перед собственниками шахт. Таков же местный профсоюзный босс Джордж Бекер, который сразу после ареста шахтеров поместил в газете платное объявление, где решительно отмежевался от этих «чужаков». Таков шериф Батт Боллинг, избивающий до полусмерти собственного помощника за неподчинение приказу, ибо убежден: ему полезны люди, «низведенные до звериного уровня».

Подобных представителей «истэблишмента» Лоренс характеризует кратко, ибо низость их очевидна, круг их идей предельно узок, а характер верований нескрываемо жалок.

Гораздо больше внимания уделено образам власть имущих, которые, хотя и играют в конечном счете главную роль в событиях, предпочитают действовать за кулисами.

Дэн Барбидж — управляющий многими местными предприятиями. Он не позволяет себе поступать так, как Махони или Ведемейер, жадность Махони ему претит. У самого Барбиджа как будто бы чистые руки. Однако он обманывает не только других, но отчасти и себя. На свадьбе дочери он с восторгом принимает подарок от некоего шахтера (разве не означает сие подношение, что есть еще на свете «простые, неиспорченные рабочие»?!), но не хочет думать о том, что «неиспорченный рабочий» был штрейкбрехером.

Интересен возникающий в четвертом томе эпопеи образ одного из руководителей крупного концерна, магната Майрона Гелета. На первый взгляд, Гелет не похож на типичного бизнесмена. Он чарует окружающих широтой знаний, якобы присущим ему своеобразием. Хитрый и ловкий демагог, он отнюдь не принадлежит к дельцам старого толка. Обремененный годами Майрон достаточно «молод», чтобы признать (дело происходит, напомню, еще до второй мировой войны), что следует кое-чему поучиться у этих «советских ребят», что «необходимо бросить обездоленным ломоть покрупнее, дать им чуть больше комфорта и уверенности в будущем». И если в 20-х годах он просто не хотел иметь с профсоюзами ничего общего, то десятилетием позже старается — и довольно успешно—прибрать к рукам продажных руководителей профсоюзов, выступая под лозунгом «изгнания антиамериканцев».

Подробно раскрывает романист психологию такого совсем не простого джентльмена, как судья Берни Бек. Он стремится прослыть либералом, во всяком случае, долго изучает дела десятков заключенных шахтеров и объявляет результаты предварительного следствия аннулированными. Но Бек освобождает — под большой залог — только часть рабочих, а многих оставляет в стенах тюрьмы. Надежды на его «либерализм» оказываются обманутыми. Даже жена судьи убеждена, что муж ее из политиканских соображений пошел против совести.

Лоренс изобразил верхи Америки, нисколько не забывая о сложности и противоречивости человеческой натуры. Тем не менее позиция писателя, убежденного противника общества, покоящегося на принци-

---

М МЕНДЕЛЬСОН
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЛАРСА ЛОРЕНСА

пах приобретательства, совершенно ясна. Она нашла отражение и в размышлениях одного из любимых героев Лоренса—юриста Фрэнка Хогарта: он подавлен необходимостью и в то же время невозможностью «установить человеческие отношения с бесчеловечными людьми».

Внимательно прослеживает художник и судьбы тех, кто пытается занять некую промежуточную позицию — где-то посредине между верхами и низами. Богатая представительница богемы, доктор Пармали, сочувствует шахтерам и решает созвать друзей на вечеринку, чтобы дать возможность Хогарту рассказать им, что могут сделать художники, газетчики, дабы спасти заключенных шахтеров от грозящей гибели. Конечно, это нелепо — «обсуждать ужасы Реаты за бокалами с шампанским». И когда Хогарт начинает свое выступление довольно иронически звучащими словами: «Друзья мои, я пришел сюда, ибо знаю, что передо мною люди, чистые сердцем...», собравшиеся разражаются громким смехом. Кое-кто из слушавших выступление Фрэнка, правда, загорается желанием быть полезным рабочим. Однако остальные верны своему презрению к ним, для них шахтеры — только безликая масса, «быдло».

Но среди богатых американцев есть и такие, которые осмеливаются бросить вызов своему окружению, не боясь приобрести репутацию «свихнувшихся». Такова тетушка Присцилла, например. Она выступает на похоронах погибших шахтеров со словами, которые вожаку коммунистов Тернеру сначала кажутся абстрактными. Присцилла говорит: «Для того чтобы взять верх над правдой, ее нужно втоптать в грязь. Ее нужно убить». Лишь позднее Тернер начинает понимать, что по сути тетушка Присцилла высказывалась «против самой капиталистической системы». И он чувствует также, что был не прав в своем недоверии к «эмоционализму». Ведь одного «холодного разума» недостаточно, его надо подкрепить «жаром» эмоций, необходимо «тронуть сердца».

Так повествование о людях из как будто бы целиком враждебного шахтерам лагеря (небольшая часть из них все же пробуждается к осознанию правоты трудящихся) становится и рассказом о духовном росте одного из главных героев эпопеи — Тернера. Фрэнк Хогарт порою называл Тернера человеком мужественным, но ограниченным и видел его слабость в том, что Тернер «не умел завоевать союзников». Однако руководитель коммунистов в Реате показал себя достаточно гибким: поверил юристу Полю Шермерхорну, которого Хогарт привлек к себе в помощь, хотя Шермерхорн еще находится в плену буржуазных представлений о правосудии и сначала выступил с ошибочными предложениями. Описание первых встреч Тернера с Шермерхорном (юрист опасался, что перед ним окажется агрессивный человек, «выкрикивающий приказы, которым другие «товарищи» торопятся следовать, подняв сжатую в кулак руку», а увидел истинного друга всех честных людей) принадлежит к ярким страницам третьего тома эпопеи.

Лоренс далек от желания создать идиллические портреты американских коммунистов, изображать их людьми, всегда знающими, как поступать, что говорить. Перед нами — психологически богатые, многогранные образы. Недостатки этих героев объясняются, как правило, вполне понятными обстоятельствами: в жизни каждого из них встречается немало очень тяжкого, мучительного, но вера в возможность перестройки общества на новых, социалистических основах всегда в их сердцах.

Вот семья Майка Ковача, честнейшего профсоюзного деятеля, и до конца преданной коммунистической партии Лидии Ковач. На Майка обращено весьма пристальное внимание тюремщиков: ведь власти знают, что, хотя Ковач никогда не повышал голоса, рабочие замолкали, когда начинал говорить этот человек, ибо ему было что сказать. И все же жизненный путь Майка, до конца выверенный, как ему представлялось, долголетней практикой классовой борьбы, не всегда подсказывал этому человеку верные выводы. Ковачу, обдумывавшему в тюрьме случившееся, стало казаться, что все «англо» (то есть люди англосаксонского происхождения) — недруги рабочих. «Англо», по его мнению, всегда умудряются стать трактирщиками, торговцами, организаторами азартных игр, лишь бы не пачкать руки в шахте. Настоящие рабочие — это только иммигранты, славяне, как он сам, итальянцы, греки и другие. Ведь не случайно, размышляет Майк, среди полусотни людей, посаженных в Реате за решетку, нет ни одного «англо».

Придет время — и Ковач поймет, что есть «англо», тесно связанные с рабочим классом, между тем как на некоторых иммигрантах — клеймо коррупции. Но пока он возлагает все надежды на выходцев из других стран.

К числу лучших женских образов, созданных Лоренсом, можно причислить образ Лидии Ковач. И хотя было в ее личной жизни нечто такое, о чем она вспоминает не часто и всегда со стыдом, в целом внутренний мир этой дочери американского народа светел. У Лидии находится достаточно сил, чтобы помочь мужу и сыну преодолеть заблуждения и колебания. Это она вызывает телеграммой Фрэнка Хогарта, когда над шахтерами нависает угроза расправы. Это она берет на себя ответственность за проведение большого митинга рабочих, чтобы поддержать их представителей, избитых фашистами.

С интересом читаются, в частности, страницы романа «Старый шут закон», изображающие встречу Лидии с людьми богемы. Фрэнк снял для нее номер в хорошей гостинице, когда она приехала, чтобы помочь ему установить нужные контакты с кругами, далекими от рабочих Реаты. Непривычная роскошь мучает Лидию: ведь Майк еще в тюрьме. А среди благополучных людей, приглашенных на встречу с Хогартом, она ощущает себя точно в чужой стране. Впрочем, важнейшее качество ее характера — желание и умение проверять свои чувства велениями разума. И она находит среди

гостей не только ничтожных, самовлюбленных, но и достойных мужчин и женщин.

Мастерски раскрывает Лоренс внутренние терзания честного труженика, доброго и сильного негра Моби Дугласа, который всем сердцем тянется к шахтерам, ведущим борьбу против хозяев. Но Моби так обеспокоен судьбой своей нежно любимой дочери в мире «белых», что как будто теряет способность рассуждать вполне трезво. Дуглас прав, конечно, когда решает, что неграм в Реате приходится не лучше, а даже хуже, чем в самых расистских штатах страны. «В Техасе,— размышляет он,— хорошо знаешь, что тебя ожидает: ты — раб, ты — собака... никаких прав...» В Нью-Мексико у тебя как будто есть права, но вступает в силу страшное слово «однако». И на деле эти «права» оказываются несуществующими.

Правда, в тюрьме, куда попал Моби вместе с другими шахтерами, попытка властей изолировать черного не вполне удалась: бросая вызов тюремщикам, к нему демонстративно присоединился коммунист Транкилино де Вака. И все же в минуты отчаяния Дугласу начинает казаться, что «все белые, даже товарищи, являются скрытыми шовинистами...».

Моби хочет переехать в такой уголок страны, где черные не просто прислуживают белым, а являются подлинными пролетариями: нефтяниками, грузчиками, заводскими рабочими — участниками организованной борьбы трудящихся.

Без ложной патетики или морализирования Лоренс повествует и о тех, кто стремглав бежит из Реаты, ибо им в глаза глядит насильственная смерть (сколько людей «исчезло» лишь потому, что местные фашисты хотели избавиться от опасных свидетелей!). Грустно, но тоже правдиво звучит рассказ о беспросветной судьбе бывшего коммуниста Лио Северанса, который губит себя пьянством в надежде заглушить чувство страха — слишком много его били и пытали. Хотя коммунисты изгнали Северанса из своих рядов, он хочет сделать что-нибудь полезное для партии. И Тернер его понимает.

То, что уже было сказано о Хэмильтоне Тернере, свидетельствует о содержательности и глубокой человечности этого образа. Тернер внутренне всегда в движении. Да, он не очень образован, а опыт научил его не слишком доверять людям, далеким по образу жизни от рабочих, от тех, кто занят физическим трудом. Но в четвертом томе «Семян» автор показывает, как впервые за всю жизнь Тернер видит, что и «интеллигенты из среднего класса принимают активное участие в защите трудящихся, ставших жертвами провокации».

В жизненность этого образа веришь и тогда, когда, попав в руки фашистов, Хэм думает: а не пришел ли «конец жизни, который ты так часто себе представлял, решив все вытерпеть...», и тогда, когда узнаешь, что часть своих скромных личных доходов он отдает, чтобы накормить хотя бы нескольких голодающих шахтеров.

Другой вожак коммунистов — Транкилино, сын индеанки из племени навахо, остается несколько в тени. На протяжении четырех томов цикла упоминается лишь о пребывании Транкилино в тюрьме. Правда, в самом факте, что «либеральный» судья Бек не соглашается выпустить этого человека на свободу даже под залог (как Майка Ковача, например), заключен немалый смысл: Транкилино кажется особенно опасным. И не случайно, по всей вероятности, именно этот человек, который в первые дни пребывания за решеткой знает «только отчаяние», становится выразителем основной идеи произведения: с гордостью Транкилино думает, что «доброе семя, упав на плодородную почву, дало жизнь множеству других семян».

С особой теплотой и симпатией изображает автор эпопеи, как мне кажется, Фрэнка Хогарта и его жену Миньон. Из четвертого тома мы узнаем, каково было прошлое преданного народу юриста. Хогарты принадлежат к тем американцам, которыми особенно гордился великий поэт Уолт Уитмен,— стойким фермерам, труженикам. И родные Фрэнка, как он мимоходом заметил, «по тем или иным причинам никогда не могли найти общий язык с капиталистами...» Именно Фрэнку Хогарту выпало счастье беседовать с Лениным, и эта беседа привела его «на социалистический путь, с которого он никогда не сойдет...».

Но характер деятельности Фрэнка таков, что он нередко вынужден скрывать свои истинные убеждения. Хогарт, например, даже просит коммунистов не называть его «товарищем». В романе «Из праха» есть комический и в то же время трогательный эпизод. Преданная коммунистической партии немолодая работница Елена Старов, не очень грамотная, иногда наивная, слышит от Хогарта, что не следует обращаться к нему с бесконечно дорогим ей словом «товарищ», ибо он не коммунист. Елена потрясена: если этот юрист не является коммунистом, он «не может по-настоящему все понять, и дело, которое он взялся вести, проиграно», решает она. «Пожалуйста, не расстраивайтесь,— шепотом говорит этой старой женщине жена Фрэнка Миньон на своем своеобразном американо-французском наречии,— ведь он, поверьте, не очень-то капиталист». И Елена все понимает, на ее губах появляется улыбка.

Немало испытаний выпадает на долю Фрэнка. Но он ни секунды не сомневается, что избрал правильную дорогу в жизни, что приносит пользу, спасая рабочих от занесенного над ними меча буржуазного «правосудия».

До конца верна социалистическим убеждениям мужа француженка Миньон. Есть в том же романе «Из праха» хорошие страницы, повествующие о чувствах, которые овладели женою Хогарта во время прогулки по Реате. Этот эпизод заставляет вспомнить главу из романа Синклера Льюиса «Главная улица», описывающую, как Кэрол

М. МЕНДЕЛЬСОН
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЛАРСА ЛОРЕНСА

Кенникот, приехав в Гофер Прейри, обнаруживает, что городок, где ей суждено прожить всю жизнь, уродлив, условия жизни там отвратительны. Героиня Лоренса тоньше и глубже, она способна лучше представить себе политический смысл окружающего. И если героиню Льюиса больше всего волнует антиэстетичность местности, куда привез ее муж, то жена Фрэнка Хогарта, пройдясь по Реате, угадывает в этом городке, по ее словам, «протофашистское поселение». Местные собственники, размышляет Миньон, «расходуют всю свою энергию на претенциозные ухищрения, на маскировку истинной своей сущности и самосохранение».

Так, на сотнях и сотнях страниц книг, рассказывающих о том, что случилось за считанные недели на крохотном клочке американской земли, развертывается не репортаж о социальных схватках, а художественное повествование о судьбах многих интересных людей, показанных в особо ответственные моменты их бытия (второй, третий и четвертый тома «Семян», пожалуй, богаче в психологическом отношении, нежели первый). Подобно Фолкнеру, Ларс Лоренс создал свою маленькую Йокнапатофу: описав выдуманный уголок одного из штатов, он запечатлел существенные особенности жизни своей большой страны.

Все четыре тома «Семян» звучат удивительно современно. В самом деле, американская действительность нашего времени находится в гораздо более близком соседстве с тем, что происходило в тридцатых годах, нежели многие полагают. Изображенные автором классовые бои не ушли безвозвратно в прошлое. Многое в них весьма характерно для Америки и по сей день. А если учесть, что внутреннее содержание многих персонажей раскрыто очень точно и правдиво, что их образы сохранили свою свежесть, свою жизненность, то неудивительно, что главных героев произведения воспринимаешь как своих современников.

Десять лет тому назад Ларс Лоренс, вероятно, даже не мог себе представить, до какой степени похожими на то, о чем он поведал в своих романах, окажутся существенные явления ближайшего будущего на его родине.

Как актуальны эпизоды, в которых нашла отражение судьба мексиканцев! У Лоренса имелось, конечно, немало оснований говорить об этом: ведь в южных штатах — Нью-Мексико, Калифорнии или Техасе — рабочие мексиканского происхождения (их называют «чиканос») составляют весьма значительную часть трудового населения. Сегодня, как и при жизни Лоренса, большинство «чиканос» (многие из них родились уже на территории США) бедны и бесправны (это признавал и орган американских бизнесменов «Бизнес уик»). И в семидесятые годы американская печать не раз сообщала о том, как эти рабочие расплачиваются жизнью за свои попытки приблизить «час свободы». Руководитель батраков-«чиканос» в Калифорнии Сесар Чавес чуть не лишился жизни в результате нападения наемных убийц — к счастью, нанесенная ему тяжелая рана не стала смертельной.

В романе Дэвида Чандлера «Стачка в Зеленой долине», опубликованном у нас в русском переводе [1], воспроизведены многие факты, свидетельствующие о мужестве этого человека (Чавес выведен в книге под другой фамилией), а также его товарищей — организаторов профсоюза сельскохозяйственных рабочих Калифорнии, борющихся за права трудящихся.

Есть в эпопее Лоренса страницы, посвященные не только мексиканцам, но также и неграм, индейцам, представителям других национальных меньшинств США. В наши дни, как и во времена Лоренса, именно они (как, например, видно из исследования известного американского социолога Джона Гэлбрейта) больше всего страдают от роста инфляции и безработицы, охвативших сегодня самые различные, даже «благополучные» как будто отрасли промышленности. И в годы так называемого «изобилия» жертвами бедности и нищеты оказались в первую очередь миллионы мексиканцев, поселившихся в юго-западных штатах, жители негритянских кварталов больших городов, индейских резерваций, тех районов, где добывается уголь. А ведь в романах Лоренса рассказывается о жизни рабочих именно таких областей США.

Итак, то, о чем говорится в «Семенах», не стало для Америки лишь эпизодом из истории страны. Цикл книг Лоренса — и в этом заключается еще одно из главных его достоинств, его уникальность, можно сказать,— создан писателем, который глядит на мир открытыми, честными глазами, воспринимая происходящее в Соединенных Штатах Америки в свете учения Маркса и Ленина.

Художник всей душой разделял влечение трудовых людей к социализму. И это чувствуется в каждой главе «Семян». Думается, что у советского читателя, когда он сможет познакомиться с эпопеей в целом, будет право включить романы Ларса Лоренса в число наиболее значительных книг, созданных в Америке второй половины XX века, книг, которые хочется не без оснований назвать произведениями социалистического реализма. Достоинства лоренсовского цикла с течением времени выступают все ярче, раскрываются все с большей полнотой.

Статью, посвященную памяти Ларса Лоренса и написанную вскоре после его смерти, Алва Бесси закончил грустными словами, полными, однако, исторического оптимизма. Да, Стивенсона уже нет в живых, но все мы смертны, пишет Бесси. И пусть нас в какой-то мере утешит мысль о том, что Лоренс умер в СССР, в стране объединившихся национальностей, «которые стремятся осуществить на деле те самые идеалы достоинства и демократии, во имя которых Фил Стивенсон жил, трудился и испытывал немало страданий почти всю свою сознательную жизнь».

---

[1] Д. Чандлер. Стачка в Зеленой долине. Перевод с английского В. Лимановской. Предисловие Б. Гиленсона. Москва. «Прогресс». 1975.

ИДА РАДВОЛИНА

ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ГУСТАВА КРКЛЕЦА

Свой очерк о Густаве Крклеце известный югославский критик Марьян Юркович закончил следующими словами: «Рожденная на закате первого мирового катаклизма, лирика Густава Крклеца в разгаре второго и после него обрела свой благороднейший поэтический и человеческий голос... поэт дал три книги, которые станут в ряд самых крупных, самых долго живущих произведений всей новой югославской поэзии».

В 1926 и в 1949 годах, в 50-е и 60-е годы и теперь, в 1975 году, в Загребе, в Белграде творчество этого, как в Хорватии говорят «настоящего барда» приносило ему премию за премией, награду за наградой.

Не мне одной полюбилось стихотворение Крклеца «Осенний мотив» Помню, осенью 1969 года на вечере поэзии в одном из восточных двориков древнего городка Требинье в горах Герцеговины слушатели упорно настаивали, чтобы автор прочитал им именно эти строфы. Они прозвучали и со страниц юбилейной книги стихов «Гомон жизни» (1964). И в книге «Лист на ветру», отмечавшей пятидесятилетие творчества поэта в 1967 году. Вошли они и в сборник «Черный дрозд» (1974), приуроченный к семидесятипятилетию ветерана югославской литературы. Я приведу их здесь, как сказал бы Назым Хикмет, обнаженными, без наряда рифм, внутренних созвучий, ритмов — ими богата поэзия Крклеца,— приведу, как и большую часть последующих строф, в простейшем подстрочнике:

Гуляя осень приходит в Загреб неслышно
в шлепанцах, без каблуков.

Только лишь глазом моргнешь — и путь ее
усыпан уже желтеющей листвою.

Багряный ковер пружинит податливо,
сотканный из увядших лепестков роз.

Встретишь ее — и тут же метнешься в
поиски
неистово промчавшихся дней.

Я тоже, в листве копаясь, ищу их
у желтых стен университета.
И — как ни в чем ни бывало — студенческую
песнь пою,
сунув руки в пустые карманы.

Ведь где-то под солнцем, еще не
срезанная,
и моя ветвь свисает с налитыми плодами.

Не одну ветвь с сочными плодами поэзии подарил народу за полвека творчества подлинный лирик, автор полных остроумия басен, эпиграмм, зоркий эссеист и критик Густав Крклец. В том самом городке Гребинье мне посчастливилось несколько раз в течение одной недели — под открытым небом, в заполненном слушателями внутреннем дворике бывшего ханского сераля, и в актовом зале гимназии, и в театре, в кинозале — видеть как слушали Крклеца гимназисты, студенты, учителя, врачи, съехавшиеся с разных концов страны братья по перу, рабочие, инженеры гидроэлектростанции и просто жители округи. Слушали они улыбаясь, сосредоточенно, точно боясь упустить хоть один звук в музыке его стихов. И видно было, как близка, как нужна им его светлая поэзия.

Светлая. Хотя она переполнена и отзывчивой к людям тревогой, печалью, озабоченностью. Хотя есть в ней и ужас того, что пережил народ. И все-таки — светлая.

В ней всегда, точно из-за туч, то тут, то там упорно прорывается наслаждение красками, звуками, запахами жизни, и каждый раз по-новому освещается все, что поэт видит вокруг себя и в себе самом.

Стихи его всегда были пронизаны светом: «Множество зернышек огня в воздухе колышется...», «Накрапывает солнечный дождик...», «Шепотом шелестят пламенеющие листья...» Днем и ночью лирический герой этих стихов чувствовал: «Ты-то знаешь, что свет несешь в себе самом...»

Поэтам Югославии особенно свойственно чувство слитности с природой. Органическое единство с ней. Поэтам и прозаикам. Стоит только вспомнить знакомые и советским читателям романы Михайло Лалича, Бранко Чопича, Иво Андрича, стихи Радована Зоговича, все, что сделала в литературе Десанка Максимович, каждое слово Стевана Раичковича, Душана Костича, Васки Попа, Ацо Шопова — и почти воочию увидишь, как тучи, подгоняемые ветром, муравей, ползущий по руке, маслина, вцепившаяся в горный откос, тополь, заглядывающий в окно, стая птиц, улетающая на юг, круча, вокруг которой спиралью вверх мчится поезд, каменистый берег, о который бьется морская волна,— все они точно существуют для того, чтоб испытать силу человека, и они же помогают ему выстоять, заставляют его упорствовать, посмеиваются над ним, советуют ему, не дают забыть то, чего забыть нельзя, словно несут в себе всю многосложность забот совместного с человеком существования.

Может быть, именно поэтому так любят в Югославии стихи Сергея Есенина. Кстати, Густаву Крклецу мы должны быть благодарны за то, что наряду с блистательными переводами Пушкина, Блока он — один из первых в Югославии — подарил читателям переводы Есенина. И поэтому же так естественно прозвучало у него и на хорватском:

Не ту́гуем, не зо́вем, не пла́чем,
Све́ че про́чи, ко с я́бука цва́т.
Зла́том ли́шча у́велим захва́чен
Ни́кад ви́ше не́чу би́ти мла́д...

Объяснять, что это и есть «Не жалею, не зову, не плачу...», наверное, не требуется.

В произведениях Крклеца неразрывная связь с природой особенно ощутима. «Луна, большая и светлая, взбирается со мной вверх по дороге...», «клещи корней сжимают и держат меня на горных откосах у русел рек, когда дожди бьют и солнце горячее жарит...» — писал он в молодости.

Брызни в меня, вода, окати
стремительной струей,
по бедрам потеки, сквозь пальцы,
Бросайся на меня водоворотом,
водопадом своей мощи...—

писал он позднее.

«Земля прекрасная, тебя нагую на ковре осени я вижу в мудренейших узорах крови и золота листвы...» — не уставал он восхищаться и в зрелые годы. Коротенькое стихотворение, замыкающее недавно вышедшую книгу, тоже полно ею, этой связью: «В осеннюю ночь — лечь на траву. Ничего не сказать. Закрыть глаза».

«Разговор с облаком», «Днем в лесу», «Встреча со змеей», «Запись о заре», «Ласточка над городом», «Утренний ветер» — сколько у Крклеца стихотворений, в которых вы, всегда сопереживая, вместе с автором бредете «сквозь жито, сквозь травы», «за луг, за голубую рощу», где «ствол дерева, или птица, иль серебро реки бросают тень воспоминаний на ваше чело...», или заговариваете с «сестрой одинокой — загорской березой», или торопитесь, «когда наступают дни печальные, серые, подобно ласточке, в далекий путь, вослед за солнцем...», или прислушиваетесь, о чем это «говорят воды горные, как протекают их битвы, сражения, когда они прорываются к морю...»

Связь с природой и с родным человеком прекрасного хорватского Загорья. В Загорье, в селе Марушевац, провел поэт детство. Туда его возвращали тоска, горести, разочарования, просто жажда живых соков жизни. Там у него «сердце загоралось жарким пламенем» «при виде снопов ржи золотой», при встрече «с ветром, выкрадывающим звезды, когда сердце готово укрыть их в своих глубинах».

Близко ли, далеко ли забрасывала поэта судьба, он неизменно обращался к Загорью: «Никуда без твоей боли, без твоей печали...» Там, в Загорье, силу придавало и то, что привычно:

Мычит рыжая корова. Ржет конь и
фыркает.
Стаей птицы слетаются на кровлю
старого амбара.
Лохматый черный пес пьет воду из
корыта.
И детвора в траве возится, играет.

Но там, «на родной земле, черной и жесткой», сердцу поэта, от природы веселому, не давало успокоиться и то, как «невестка за свечку восковую для распятья на базар муку уносит», и то, как «на гумне грызутся братья озлобленные», как «больные дети кровью харкают в траву», как «друга голод погнал в рудник сверлом и долотом буравить...» Там, в Загорье, залегали корни его поэзии, вбирая в себя — чем дальше, тем больше — наряду с яркостью красок—боль. Неотрывное от радости существования, от наслаждения прекрасным — нарастающее сострадание:

...Бродили мы долго лесами осенними,
житом зрелым,
с песнями солнечными, под кличи рога,
и славили женщин, тела их,
и волосы, и бога искали,
бога серн и пчел лесных...

. . . . . .

И когда однажды глаза раскрылись
в настоящую жизнь,
жизнь действительную, во все,
что случается и происходит,
нас жуть охватила,
по спине мурашки побежали,
по всем жилам...
И мы онемели...

Это открытие настоящей жизни, жизни 20—30-х, начала 40-х годов, эта боль, о которой поэт сказал: «От нее дозреваю, как плод осенью»,— все это в трагическую пору войны помогло ему осознать свое место среди людей:

Потому что течет во мне кровь
загорских крестьян,
я чувствую: выдержат мои плечи
любой груз; не раздавит меня
это время стали и смерти.

Я не согнусь. Не раб я, не слуга,
хозяин плуга я, мотыги.
. . . . . .

Босыми ногами по полю шагаю
и хмурый — сею, жну, кошу.

По характеру своему Густав Крклец не борец, не воин. Но лирическому герою его стихов дорого все живое на земле. И прежде всего — человек. Поэт обращается к далматинке: «Ты словно парус, когда ветер дует прозрачным утром, серебряным, ранним...» О Боснии начала 30-х годов он пишет «С самого высокого минарета хочется прокричать тебе, Босния наша: почему спина твоя, подобно спине каторжника,— вся в следах бича?!» В те же 30-е годы в белградской корчме он горько пошучивает: «Настало время, когда животы и кошельки растут так, что людей начинает тревожить, как быть с равновесием?..» Поэт предпочитает и поразмышлять, и погрустить, и попировать там, где «пировали наши старики, хранители звезд, мудрецы, любовники зорь, кузнецы, столяры, пекари, рыбаки, чеканщики, путепроходцы, побывавшие на всех высотах, во всех морях...»

Многое, что захватывает в стихах Крклеца, вытекает из тех же источников человеколюбия, трудолюбия, дружелюбия, подлинной народности — из тех же источников, что вспоили поэзию Десанки Максимович и других крупных поэтов Югославии.

Да, по характеру своему Густав Крклец не боец, не воин. Но уже с самого начала войны стихи его впитали в себя все горе столь дорогих его сердцу «кузнецов, столяров, пекарей, рыбаков, чеканщиков», все муки «хозяев плуга и мотыги», для которых нестерпима была оккупация. Для которых нестерпимо стало, когда

Все померкло. В небе нет ни птицы.
Замолкла в дальнем поле песня жницы.
И звонкий серп не режет спелый колос.
Совсем померкло солнце, замер голос.

И свет погас. И речка замолчала.
И пелена на все дороги пала.
И лес засох, и улетели птахи,
И в сумраке блуждают только страхи.

Кто по чужим полям с победой мчится,
Тот даже тени собственной страшится.

И это стихотворение («Страх»), и стихотворение «Неволя», где поэт говорит, как ему ненавистен враг, его «страсть брать за горло, убивать стремленья, угрюмым днем, среди ночного бденья», где поэт, все тот же «хозяин мотыги и плуга», приходит к выводу: «Чиста лишь совесть! И ее значенье — кинжалом быть, отточенным для мщенья...», доступны и советскому читателю благодаря переводу Давида Самойлова. Это о них и им подобных стихах, вошедших в книги «Темница времени» (1940—1941) и «Дары Безымянной» (1941—1942), упомянутый Марьян Юркович сказал: «...наряду с истинной поэтичностью... они обладают и еще одной ценностью. Ценностью поэтического протеста, который не лишен адреса и даты: написанные в самом аду, направленные против этого ада, почти все эти стихи были и опубликованы в том же аду. Читая ныне стихотворения «Страх», «Копыта», «Гитара» из первой книги или «Живую воду», «По Дунаю» из второй, читая обе книги целиком от корки до корки, убеждаешься в храбрости поэта, особенно если перелистываешь при этом и пожелтевшие страницы критических статей [1], которые в те времена требовали от Крклеца «разъяснить символику» его строф».

Строго, даже жестко рисует Крклец пережитое народом и им самим в годы фашизма. Стихи его из цикла «Записи о земле» (1945—1946) напоминают мне рисунки Кете Кольвиц — черным по леденящей белизне. В них видишь, кажется, уже обуглившуюся беду, когда после врага осталась «земля, и больше ничего. Одна лишь голая земля...», когда чувствуешь, что «... кровавые слезы — и те кровопийца отнял», когда в ушах не умолкают «вопли угоняемых»; когда вспоминаешь, что тот, «кто верен был своей земле, висит на стволе дерева, что росло здесь, с ним же рядом».

Гражданская совесть подсказывает лирическому герою этих стихов: «Нет, не время сейчас каяться, рвать последнюю сорочку на груди». Она же, эта высокая совесть, и упрекает себя: «Когда гроза впервые пронеслась и, сотрясаясь, разлеталась вдребезги Европа, я за дроздом гонял, за соловьем, а мой отец стоял у пушки...» Она же, требовательная, не может себе простить: «Когда вторично вихрь задул, я потерял путеводитель свой в ночи...» Но опять-таки она, совесть гражданина, сделала лирического героя стихов Крклеца послевоенного времени вглядчивей, в нем совершился заметный поворот, ему стали дороже «утро, пробуждающееся над пепелищем», «новый дом, что возводится», и главное — те, кто «новое семя сеет и расчищает новые пути и тропы...» Эти стихи наполнила не безоблачная, нет, но тоже новая радость: «Где был мятеж, резня, где смерть о брус острила косу — там жница ныне тонкий серп свой точит и молоток стучит».

И с тех пор все сильней становится в творчестве Крклеца жажда быть нужным людям, быть необходимым:

Я часто хотел стать плодоносным
деревом,
Чтоб родить для детей яблоки на зиму...

---

[1] Речь идет об усташской, профашистской критике той поры *(прим. автора)*.

ИДА РАДВОЛИНА
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ГУСТАВА КРКЛЕЦА

О Густаве Крклеце думаешь всегда как о поэте хорватском. И одновременно, и все чаще,— общеюгославском. В его стихах — живой образ отчизны со свойственным только ей голосом, движением, повадкой, внешностью, с чувствами, которые может вызвать у сына только она, Хорватия. Но в этих же стихах есть и осмысление человеческой жизни вообще, есть и забота, и тревога, и щемящее горе, и улыбка человека труда из Сербии, Македонии, Словении, Боснии, Черногории; есть то общее для них всех счастье народов, осознавших свое новое место в жизни; есть общая гордость «землей беременной, землею новых всходов».

Искренние, естественные стихи поэта всюду как дома. Они идут всегда от взволнованного сердца к сердцу. Ни одному из модных течений поэзия Крклеца никогда не позволяла себя увлечь, но ей удалось вобрать в себя лучшее из опыта разных исканий.

Книги Крклеца. Их много. «Лирика» (1919), «Серебряная дорога» (1921), «Новые стихи» (1923), «Любовь-птица» (1926), «Вылазка в небо» (1928), «Избранные произведения» в двух томах (1932), «Сон под березой» (1940)... Ко всем этим сборникам можно было бы отнести слова, напечатанные позднее на суперобложке одного из них: «Была пора, когда Крклеца принимали, читали, хвалили исключительно как поэта любви, поэта на редкость удачно воспроизведенных настроений, пейзажей, певца изобилия жизненных красок и радости...»

«Темница времени» (1940—1941), «Дары Безымянной» (1941—1942), «Пепелище внутри» (1943—1944), цикл стихотворений «Записи о земле» (1945—1946) — они раздвинули горизонты увиденного поэтом, углубили мир его чувств, сделали его поэтом-гражданином.

«Избранные стихи» (1947), «Три поэмы» (1949), «Лирическая пятилетка» (1951), «Гомон жизни» (1955, 1964), «Стихи, эпиграммы, басни» (1963), «Лист на ветру» (1967), «Черный дрозд» (1974) — это книги народного поэта.

Я не назвала здесь еще с десяток стихотворных сборников, не назвала роман Крклеца «Бездомные» (1921), не назвала его книги для детей. О многом хотелось бы еще рассказать. О «Деревянном шпеньке», например, где своим единственным «нз» (неприкосновенным запасом, по-хорватски— «железным запасом») автор провозглашает весьма острый «деревянный шпенек» своего юмора. Как хорошо посмеяться вместе с Крклецем ну хотя бы над «отчетом с выставки, на которой много людей, много шепота, много мрамора, много течений, много возбужденья... А искусство? Его поищи...» Или улыбнуться, читая: «Все боюсь, чтобы мир не поделился на людей, которые пишут романы, и на людей, которые романов не читают...» Посмеяться, улыбнуться... но немало серьезного можно вычитать из побасенок этого «самого остроумного из наших поэтов», как писала о Крклеце загребская газета «Весник у среду».

А как не упомянуть здесь его очерки, эссе?.. Его рассказ о встречах с Владимиром Назором, маститым поэтом, который на склоне лет тайно пробрался в лес к партизанам, проделал с ними весь их героический путь, стал автором знаменитого «Партизанского дневника», а в последние годы жизни был первым председателем Народного собрания Хорватии. Или рассказ о поэте-герое Иване Горане Ковачиче. Или вобравшее в себя много подробностей, характерных черточек, размышлений эссе о Мирославе Крлеже.

С особенным удовольствием хотелось бы хоть немного познакомить советского читателя с нашумевшими в 50-е годы, но и поныне не утратившими жизненности «Письмами Мартина Липняка из провинции». В свое время они из недели в неделю печатались в одной из загребских газет. Вымышленный автор этих непринужденных рассуждений, как писала газета «Политика», «комментировал события культуры и литературы, выставки, книги, с несколько высокомерной иронией «провинциала», который, между прочим, очень хорошо разбирается в своем предмете и чьи суждения часто неоспоримо точны, обоснованны, особенно в стремлении отделить искусство от неискусства, от мистификаций».

Степенно-невозмутимый, чуть педантичный Мартин Липняк с чувством внутренней свободы человека издавна, но издалека, наблюдающего за всеми перипетиями в мире искусства, обходя, как нечто чуждое, суету всяческих салонов, сопоставлял увлечения, моды далекого и недалекого прошлого с нынешними. Без оглядки на сегодняшнюю громкость того или иного имени он словно вел животрепещущую хронику происходящего, проявляя горячий интерес к истинным ценностям искусства и не упуская случая разоблачить в глазах читателя очередных «голых королей», которые из боязни прослыть несовременными рядились в очередные воображаемые платья. Не упускал он случая высмеять и «мастеров», поставляющих такого рода «наряды». Рассуждениям Мартина Липняка — а речь в них шла и о литературном наследии, и о современном романе, и об издании Хемингуэя, Томаса Манна, и об ультрамодерных, ультраэротических, ультразапутанных произведениях одного из видных поэтов, и о том, как защитить от подобных изысков читателя и зрителя, и о доступности цен на книги, и еще обо многом,— всем этим письмам, неожиданным в своей изящной простоте и затаенно веселой иносказательности, предшествовала улыбка самого Густава Крклеца: мы, мол, провинциалы, у нас, у провинциалов... Письма прозвучали глубоко демократично, призывая художника к ответственности перед народом. И как писал сам автор в предисловии к книге, целью их было «одинаково обуздывать и все проявления провинциализма, и нездоровый модернизм, и всяческие, главным образом ввозные, «измы», одновременно защищая и поддерживая все честные творческие начинания и достижения в рамках нашего социалистического гуманизма...»

В книге «Ни дня без строчки» Юрий Олеша писал: «Нет ничего приятней... чем де-

литься с кем-либо красотой, чем указывать читателю на те или иные красоты, которые он... может и не заметить». Я бы добавила: нет ничего приятней, чем делиться с читателем красотой, которую он и сам несомненно заметил бы и полюбил, не будь на свете языковых и других барьеров, получи он возможность просто прочитать в подлиннике, скажем, вот такие стихи, теряющие, конечно, в подстрочном переводе и четкость ритма, и звучность, и особенный, свойственный только Крклецу отбор слов, и свободу дыхания в них:

Да, это заря когда отплывает ночь.
Этот черный якорь, что пропал во мраке,
эта расширяющаяся дорога,
раскорчеванная стезя,
этот первый клич освобожденного утра!

Приятно, даже радостно делиться с читателем чувствами красоты, доброты, человечности, которыми полны стихи Густава Крклеца, давнего друга Советского Союза, составителя и переводчика антологии советской поэзии, настоящего поэта. Но еще приятней будет, когда его поэтические свидетельства о времени и о братском народе во всей их образности и естественности придут к нам — не только отдельными стихами, а целой книгой — в переводах мастеров нашей поэзии.

◆

Интервью

АТАНАС СВИЛЕНОВ

У БОГОМИЛА РАЙНОВА

— Товарищ Райнов, первым вопросом я хочу вернуть вас в далекие годы, в детство и побольше узнать о тех факторах, благодаря которым проявился у вас интерес к искусству, стремление к творчеству.

— Сейчас, когда с дистанции стольких лет я обдумываю прошедшее, то вижу, что на мое формирование повлияли два основных фактора. Это, во-первых, среда моего отца и, во-вторых,— улица. Мое формирование проходило между кабинетом писателя, искусствоведа и художника Николая Райнова и городской улицей. Раздвоение естественное, если иметь в виду, что я совсем малышом остался без матери, отец же был поглощен работой и не мог заботиться обо мне. Поэтому с ранних пор я познакомился с улицей.

— Речь идет об улице столичного города, а не Пловдива, где вы родились?

— Да, речь идет о Софии, куда я попал в 1927 году. Мне было тогда восемь лет. А более ранние впечатления особого значения не имеют — я был еще очень мал.

— О роли своего отца, о его влиянии на вас вы пишете и в очерке «Табачный человек»...

— Совсем не случайно и не просто из сыновней благодарности. Это правда.

Мой отец, несмотря на некоторый мистицизм, свойственный его мышлению, был сознательным противником буржуазного строя, буржуазной идеологии. Он был человеком большой культуры, с высоко развитым нравственным чувством и чрезвычайной работоспособностью.

Естественно, что именно от этого человека я прежде всего воспринял критическое отношение к окружавшей меня жизни, приобрел повышенный интерес к этическим проблемам, получил возможность расширять знания, используя и эрудицию отца, и его библиотеку. Ему принадлежит немалая заслуга в том, что я был приучен систематически работать.

С другой стороны, благотворное влияние на меня оказало и то обстоятельство, что, хотя мой отец слыл одиноким и нелюдимым человеком, он имел широкий круг знакомств. И к тому же пестрый, разнообразный круг. Отец не принадлежал к людям, замыкающимся в узкой среде коллег или, еще менее, родных. Он общался с писателями — и не только своего поколения, но и более молодыми. Дружил со многими художниками, скульпторами. Был связан с научной средой, знаком с людьми из различных общественных кругов. Он умел найти общий язык с самыми простыми собеседниками.

Подобная широта и разнообразие связей предоставляли возможность и мне вступать в контакт с разными людьми, слушать их беседы и делать свои, во многом еще наивные детские выводы.

Весьма положительную роль в моем формировании играло и то обстоятельство, что отцу были чужды какой-либо фанатизм и любая форма духовного принуждения. Он никогда не старался навязать мне свои взгляды и не сердился, когда я пытался спорить. Таким образом, несомненно влияя на меня, он допускал возможность и других влияний.

— Скажите, пожалуйста, и о другом основном факторе, который вы условно назвали «улицей».

— Под «улицей» я, естественно, подразумеваю и свою дружбу со сверстниками, и мальчишеские сражения, и фильмы в дешевых кинотеатрах, и быт большого буржуазного города, и непристойный уличный жаргон. Но влияние улицы было

Интервью опубликовано в болгарском журнале «Съвременник» № 1, 1974 г. Перепечатывается с сокращениями.

и другим. Это были газеты, предвыборные кампании, политические демонстрации. И как бы кому-нибудь ни показалось это парадоксальным — у меня интерес к политике и особенно к коммунистической идеологии возник именно под воздействием тогдашней напряженной политической атмосферы города.

— Были ли в вашем роду — по отцовской и по материнской линии — и другие лица, которых отличало влечение к искусству?

— По материнской линии мою родню отличали не столько художественные склонности, сколько развитое общественное сознание. Мой дед по материнской линии — Георгий Минчев — один из видных революционеров эпохи болгарского Возрождения, сподвижник Левского, борец за свободу Болгарии.

— Расскажите немного больше о своей матери.

— У нее были ярко выраженные художественные устремления. Она не только много читала, но в свободное время и переводила. Любовь к сцене была безмерной. Она играла в Пловдивском театре. В связи с этим у нее был конфликт с моим отцом. Она разрывалась между театром и домом, между любовью к искусству и материнской любовью. Для нее театр был мукой, он отнимал все время, которое она могла посвятить нам, но несмотря на это она не порывала с ним. Это свидетельствует о том, как много значила для нее сцена.

В семье моего отца, если исключить его самого, художественные интересы особенно сильно сказались в деятельности его брата — Стояна Райнова. Он один из наших первых специалистов по керамике, профессор Художественной академии. В сущности, он воспитал новое поколение мастеров в этой области.

— А какова была обстановка в доме?

— Материальные средства у нас были ограничены. Отец мой служил главным библиотекарем Пловдивской библиотеки, у него было маленькое жалованье. А писательский труд оплачивался скудно, и даже очень продуктивный автор, подобный ему, имел совсем скромные гонорары. Но и позднее, когда он стал профессором, мы жили стесненно. Отец любил жить, как говорится, на широкую ногу. Легко тратил деньги. Очень часто в дружеских компаниях. Это имело как хорошие, так и плохие стороны. Я никогда не располагал лишними деньгами и был, таким образом, избавлен от соблазнов. Я находил удовольствие преимущественно в интеллектуальных занятиях — книгах, переводах, писании. А не в пустых забавах.

— Товарищ Райнов, расскажите, пожалуйста, подробнее о своих первых творческих опытах. Когда это было, как возникло у вас желание писать, кто вас поддерживал и поощрял?

— Я учился во втором классе — мне было лет восемь-девять, когда я попробовал написать свое первое стихотворение. Сочинил его, насколько помню, потому, что мой приятель-сверстник написал стихотворение. И в хрестоматии стихи казались мне очень простыми, и я полагал, что написать нечто подобное будет легко. Это, конечно, были детские сочинения, больше игра, чем серьезный опыт.

Развитию интереса к литературе помогало то, что я много читал. Еще во втором классе я прочел несколько романов. Главным образом приключенческие — Карла Мая, Фенимора Купера, Майн Рида. Постепенно перешел и к более серьезным авторам, а в четвертом классе уже читал таких писателей, как Достоевский. Другой вопрос — что я мог понять в произведениях этих писателей, улавливая лишь развитие интриги.

В то время я испытывал огромное желание писать, но не знал о чем. Это было естественно, так как я обладал главным образом книжными впечатлениями, а не жизненными. В этом содержится ответ на вопрос, почему мои первые беллетристические опыты оказались начинаниями без продолжения. Вспоминаю, например, что в четвертом классе я решил написать роман и пришел в восторг от этой идеи. Но роман, если не ошибаюсь, окончился уже на четвертой странице. Начав его писать, я не знал, о чем он будет.

К пятнадцати годам, когда я уже был гимназистом, мои литературные увлечения стали более серьезными. Свободного времени не хватало — много занятий было в гимназии, да и домашних заданий было достаточно. Я по-прежнему много читал, в основном читал, а не писал... Но однажды в субботу в послеобеденный час я подумал о том, что завтра воскресенье, не будет уроков, и решил написать стихотворение. Оно потерялось, но я его помню хорошо — это было неумелое подражание новейшей поэзии, которую я встретил в извлеченных откуда-то номерах «Везни» Гео Милева. В тот момент стихотворение мне очень нравилось, и вечером, когда отец пришел домой, я положил мой опус на стол, чтобы он прочитал. Я был смущен своей смелостью и, оставив стихотворение, отправился к себе в комнату ждать суда. Мой отец никогда не обескураживал людей в их благородных начинаниях, даже если они были ужасны. Это была характерная его черта. И, возможно, поэтому он сказал мне, что все хорошо и мне следует продолжать.

С того дня у меня вошло в привычку каждую субботу писать стихи. Что-то вроде недельного плана: каждую субботу — одно или два стихотворения. Я оставлял их отцу, чтобы он наедине прочел их. Я ждал его замечаний, но их не было. Он лишь исправлял орфографические ошибки, возвращал рукопись и говорил: «Хорошо, хорошо! Продолжай!»

Все эти «субботние» стихотворения были вначале достаточно корявыми, полными

избитых реминисценций. Но даже не питая в их отношении никаких иллюзий, надо сказать, что, если позднее я достиг чего-нибудь — это явилось результатом упорства, с которым в тот субботний послеобеденный час я начал работать... В отличие от предыдущих эпизодических и неудачных опытов на этот раз — может быть и потому, что стал старше,— я, следуя совету отца, с постоянством продолжал. Писал только по субботам, но каждую субботу. А в остальные дни недели думал об этой работе, искал темы, пытался наблюдать со своей, особой точки зрения все, что меня окружало. Я чувствовал, что фраза отца «Хорошо, хорошо! Продолжай!» — только поддержка и что на самом деле результаты не так уж хороши. Я понимал, что написанное мною очень похоже на уже написанные вещи — с той только разницей, что я пишу хуже.

Так, вероятно, прошли месяцы, пока однажды — это была не суббота, не послеобеденный час, а раннее утро — я сел и написал стихотворение, которое, полагаю, явилось туманным началом творчества. Это было уже выражением моего чувства, моих впечатлений, а не вариацией прочитанного. Это было стихотворение без всяких претензий, в котором я описывал дымный городской пейзаж, открывающийся из моего окна. Я даже тогда удивился, что пишу о том, что непосредственно вижу, а не ищу источника в книгах. Я еще помню первую строфу стихотворения:

На черный провод солнышко присело
и с птицами качается тихонько.
Щебечут птицы, солнце напевает,
и посылает два луча
блеснувшее стекло.

Это стихотворение и еще одно стали теми первыми произведениями, которые вместо обычной фразы отца «Хорошо, хорошо! Продолжай!» удостоились иной оценки.

Я осмелился послать их в редакцию газеты «Вестник на жената». Несмотря на название газеты, которое сегодня некоторым, может быть, покажется несерьезным, это была талантливо издаваемая газета, с широким активом сотрудников-писателей. Среди них — Стаматов, Багряна, Константин Петканов, Каралийчев, Грубешлиева и многие другие. Каждый день, когда выходила газета, я с трепетом открывал почтовый ящик. Но моих стихотворений все не было, и я перестал надеяться, что они когда-нибудь увидят белый свет. Тем не менее меня это не охладило, и я продолжал писать. И уже не по «недельной программе», а по внутренней потребности.

Месяца через три после того, как я послал стихи в «Вестник на жената» и когда уже совсем потерял надежду, я, к своему изумлению, увидел их на страницах газеты. Два дня спустя Георгий Цанев — тогда он был моим учителем литературы в гимназии — остановил меня в коридоре и спросил, действительно ли стихи в «Вестнике» мои. Убедившись в этом, он удивился, что они написаны в таком подчеркнуто городском стиле, и похвалил их. Сказал, что они очень далеки от символистской поэзии моего отца.

Тому, что я начал писать в ином стиле, нежели отец, я был обязан опять-таки ему. Ему была свойственна необычайная широта эстетического вкуса, и он никогда не навязывал собственных критериев. Даже одобряя мои литературные опусы, весьма наивные в то время, он не пытался отвратить меня от моих личных пристрастий.

— Расскажите немного о ваших литературных друзьях — по гимназии и после ее окончания. Общеизвестно, что ваше поколение было богато талантливыми людьми, вместе вы стали выступать на страницах журналов. Оказало ли влияние на формирование вас как писателя общение с товарищами?

— Да, это влияние бесспорно. Я не мог бы сказать, что все мы придерживались единых взглядов — часто наше общение проходило в спорах, в острых столкновениях мнений, вкусов. Но в то же время мы обменивались творческим опытом, хотя и совсем ничтожным, делились своими планами. Это было особенно полезно, ибо тогда печать еще была нам заказана. И дружеское мнение, дружеский совет были опорой, стимулом к работе.

Непосредственно после окончания гимназии я издал свои первые книги — «Стихи» и «Любовный календарь». В те годы я написал еще много стихотворений, часть которых тогда напечатал, другие же увидели свет после Девятого сентября. Некоторые из них не опубликованы и до сих пор. В тот период я находился в среде более старших по возрасту, чем я, писателей-коммунистов. Думаю, что именно они уберегли меня от модных в то время декадентских увлечений и помогли формированию более здравых эстетических взглядов.

Особую роль в этом отношении сыграла моя дружба с Николой Йонковым Вапцаровым.

— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— В Кольо меня привлекали исключительная скромность, душевная чистота и идейная убежденность, выражавшаяся не в громких фразах и декларациях, как у некоторых пролетарских поэтов того периода, а в его делах, во всей его жизни. Что касается поэзии, Кольо превосходил остальных не только талантом, но и знанием жизни, естественной близостью к рабочему классу. Большинство из нас разумеется, очень хотели говорить и писать о рабочем, но вследствие своего происхождения имели о нем главным образом книжные представления. Поэтому в наших стихах образ рабочего получался нередко бесплотным. У Вапцарова же он был естественным и простым, полным человеческой теплоты, интимным и знакомым до такой степени, что становился лирическим героем. Кольо Вапцаров был новатором и в поэтике; в его творче-

стве не было места раздражающим механическим заимствованиям и реминисценциям, свойственным нашим произведениям. Сам он придерживался скромного мнения о своей поэзии, и его необходимо было долго уговаривать, чтобы он прочитал свое новое стихотворение. Он создал поэзию, исполненную человеческого волнения, поэзию, в которой новаторство идет от самобытности взглядов, отношения к жизни, а вместе с тем и от поэтического воображения.

Если прибавить к среде, о которой идет речь, и книги, картина будет полной. Читали по-прежнему, как и в детские годы, жадно, много. Мы интересовались не только западной поэзией, западными романистами (помню, например, с каким восторгом читали тогда «Сагу о Форсайтах» Голсуорси — реалистическую прозу, которая и сейчас, при повторном чтении, вновь поражает многогранностью человеческих судеб и характеров), но читали и запрещенные у нас книги многих советских авторов.

— Существуют ли в вашем творчестве такие проблемы, которые занимали вас, когда вы работали над первыми произведениями, и интерес к которым не исчез до сих пор?

— Каждый автор имеет круг вопросов, о которых заявляет еще в самом начале творчества и которые нередко привлекают его внимание всю жизнь. Обычно подобные проблемы не так уж просты, чтобы художник мог удовольствоваться только одним-единственным первоначальным их разрешением. Такие проблемы снова и снова нуждаются в разрешении, потому что к ним подступаешь опять, обогащенный многолетним опытом, и открываешь, что они могут быть освещены лучше с новой, иной точки зрения. И так до бесконечности, ибо писатель никогда не расстается с надеждой, что приблизится к самому правильному, самому верному решению вопросов, от которых зависит будущее людей...

Меня всегда особо привлекала проблема человека, его места в современном мире.

Кто-нибудь мог бы возразить, что для нас, коммунистов, эта проблема давно разрешена и в философском, и в социологическом, и в психологическом плане. Совершенно верно. Можно было бы добавить, что эта проблема получила и множество ценных художественных разрешений. И все-таки задача литературы — вновь и вновь разрешать ее, ибо конкретное многообразие жизни не только неисчерпаемо, но и непрестанно изменяется.

— Были ли на вашем творческом пути периоды утраты веры, депрессии?

— Сложный вопрос. Сложный, потому что у меня никогда не было чрезмерной уверенности в себе. Хотя я всегда считал, что располагаю некоторыми возможностями, я никогда не был доволен самим собой и тем, что мне довелось создать. После естественной первой радости, вызванной окончанием труда, впоследствии — при втором чтении — наступает очередь критического отношения, неудовлетворенности. Но поскольку это всеобщая человеческая черта, я всегда поддерживал себя мыслью, что если до сих пор не создал ничего особо значительного, то могу создать еще что-то в будущем. Этой мыслью я себя утешаю до сих пор.

Именно поэтому творческие неудачи никогда не вызывали у меня чувства безысходности и не приводили к кризису. В сущности, если быть точным, был только один-единственный период в моем творчестве, когда я испытал неверие в свои возможности, даже сомнение в правильности избранного мною пути. Это был период, когда в нашей литературе и искусстве давали о себе знать догматические критерии.

Тогда многие критики обвиняли не только меня, но и вообще поэтов нашего поколения в формализме, стремлении к образности как к самоцели. Вспоминаю, что в то время я отнес в один журнал цикл стихотворений и редактор, просмотрев, сказал, что поместит их, но вместе с тем добавил, что и я, как некоторые из моих сверстников, по-видимому, просто не могу перестроиться и начать писать по-новому. Это замечание вместе с рядом подобных отзывов в газетах и журналах произвело на меня тяжелое впечатление. К тому же и сам я в то время был весьма склонен к догматическому мышлению в теоретическом плане. Я полностью верил не только в добрые намерения, но и в правоту своих оппонентов. Естественно, для меня возникал вопрос, могу я или не могу творчески перестроиться — и как. И другой на моем месте чувствовал бы себя плохо, если бы казалось просто невозможным писать совсем иначе, то есть сменить самую человеческую основу своего темперамента и характера. До этого момента я полагал, что поэзия, которую создаю и я, и мои сверстники, прогрессивна, потому что обращена к большим социальным проблемам времени и вдохновлена коммунистическими идеями. И то, что эти идеи были переданы с определенной образностью, мне представлялось естественным проявлением творческого своеобразия. Сейчас вдруг оказалось, что как раз вследствие своеобразия эта поэзия — декадентская, модернистская, от нее веет чем-то старым и отжившим.

И именно на этой основе у меня наступил кризис, настолько глубокий, что в течение трех лет я фактически не написал ничего. Или, точнее, начал работать в области художественной теории, искусствоведения и эстетики. И хотя в душе я не отказался от труда писателя, я был охвачен сомнениями — смогу ли однажды снова сесть и писать. Разумеется, насколько позволяли мне силы, я старался противостоять эрозии неверия и пытался создавать поэзию, более тесно связанную с нашими трудовыми буднями, с политическими проблемами времени. В результате таких продолжительных опытов появилась моя книга «Сти-

---

АТАНАС СВИЛЕНОВ
У БОГОМИЛА РАЙНОВА

хи о пятилетке», которая сейчас, может быть, и кажется читателю слишком прозаической или наивной, но которая была и осталась для меня положительным фактом моей биографии, потому что вернула меня на поприще писателя.

— Свой путь в литературе вы начали с поэзии. Чем вы объясняете все больший интерес к прозе! А также влечение к наиболее крупным формам — в последнее время рассказам вы предпочитаете повести и романы!

— Существуют впечатления, мысли и образы, самым лучшим выражением которых может быть поэзия, а есть другие, требующие повествовательного начала, иной формы, позволяющей более широко раскрыть ситуации, конфликты, характеры. Такого рода причины и привели к появлению моего первого прозаического произведения.

— «Путешествие в будни»!

— Да.

Впоследствии, когда я находился во Франции и накопил очень много впечатлений об атмосфере и человеческих конфликтах тамошнего быта, я, естественно, обратился к прозаической форме и начал писать роман «Карьера в Париже», который должен был быть весьма объемным и работу над которым я прервал на триста пятидесятой странице.

— Окончательно!

— Совершенно. Мне многое в нем не нравилось, даже самый тон повествования...

— Вы не сожалеете о напрасном труде!

— Для меня этот незаконченный роман послужил школой, необходимым упражнением в усилиях овладеть более сжатым и лишенным стилевой преднамеренности беллетристическим выражением. И вскоре после этого я начал писать рассказы, посвященные опять же темам жизни на Западе.

— Какие свои книги вы цените наиболее высоко! А может быть, как некоторые писатели, ответите, что подобно матери вы любите всех своих детей!

— Нет, я так не отвечу. Думаю, что такое любвеобилие по отношению к собственным литературным «детям» является проявлением самовлюбленности. Или, самое меньшее,— притупленным чувством самокритичности. И великие мастера не создавали одни только шедевры. Так что автор должен иметь известное представление о своих успехах и неуспехах, а это означает, что не следует одинаково любить свои удачи и неудачи.

— Но бывают случаи, когда писатель заблуждается — считает самым лучшим своим произведением пятитомный роман, а время показывает, что дарование писателя ярче всего проявилось в десятистраничном рассказе... Однако вернемся к вопросу: как вы сами оцениваете свои произведения!

— Я не буду говорить о поэзии, потому что есть стихотворения, которые я высоко ценю, но часть из них не была опубликована, а говорить с читателями о произведениях, незнакомых им, неудобно.

Что касается прозы — лично мне кажутся более удачными, чем остальные, три новеллы из цикла о жизни западного мира. Это — «Между шестью и семью», «Моя незнакомка», «Ночные бульвары». Я полагаю, что в них, насколько, конечно, позволили мои силы, мне удалось передать в какой-то степени трагизм человеческой судьбы, который остается часто из-за будничных своих проявлений незамеченным.

Из произведений на наши темы выше всего ценю повесть «Дороги в никуда» [1]. Вообще, если необходимо из моего творчества выбрать произведение, в котором замысел нашел наиболее соответствующее воплощение,— это в данной повести.

Есть и два-три романа, которым я отдаю предпочтение. Опять по тем же соображениям — они относительно в большей степени приближаются к первоначальному замыслу. К сожалению, в творчестве нередко случается, что даже если человек пишет с желанием и увлечением, результаты подчас не соответствуют намерениям.

— Всегда ли вы пишете с охотой и увлечением!

— Да, я лично всегда пишу с желанием. Полагаю, если человек делает что-то неохотно, такая работа не может принести радости.

— Мне кажется, что вы относитесь к тем болгарским писателям, которые в своем творчестве отлично справляются с мучительной задачей — сочетания глубины проблем, интеллектуальной сложности с доступностью повествования. Думаю, что сейчас этот вопрос весьма важен: «ножницы» между серьезным, проблемным искусством, с одной стороны, и коммерческим, примитивно-развлекательным, дешевым, потребительским — с другой, все увеличиваются. Согласны ли вы со мной и что думаете по этому поводу!

— Мне всегда казалось необходимым, чтобы писатель по возможности ясным образом излагал даже самые сложные вещи. Это естественно, потому что в конце концов писатель обращается к читателю как к своему собеседнику, а беседовать с кем-либо, не имея желания быть понятым и не стремясь убедить другого в своей правоте,— абсурдно.

Я всегда относился с подозрением к так называемым «темным», «герметическим», «непроницаемым» авторам, ибо мой читательский опыт научил меня, что за мучительно разгадываемой литературной формой часто кроется ничтожное содержание, которое и не заслуживает того, чтобы быть разгаданным...

Обычно человек именно тогда усердствует в стремлении расцветить фразу, когда знает, что без подобной косметической операции она бы выглядела банальной и бледной.

---

[1] Повесть «Дороги в никуда» в переводе Н. Глен была опубликована в книге «Новеллы и повести», т. 2 (Библиотека болгарской литературы. М., «Прогресс», 1969 год).

Безусловно, литературные явления бывают более сложными, чем нам порой представляется. Но даже и такие писатели, как, скажем, Достоевский, Фолкнер или Томас Манн, относительно трудны не потому, что неясны, а потому, что их образы многоплановы, полны богатого содержания, часть которого может остаться не замеченной читателем, следящим только за фабулой. Следовательно, такие писатели не непонятны и не недоступны, а просто требуют от читателя более глубокой работы мысли и воображения.

— Ваш неизменный интерес к детективно-приключенческому жанру, постоянство в этой области соответствуют, вероятно, вашему желанию иметь активный контакт с читателем! А возможно, есть и другие причины!

— Мой интерес к этому жанру действительно постоянен. Я автор уже восьми романов такой — назовем по литературной терминологии — детективно-приключенческой тематики. Но вопрос о причинах этого интереса мне кажется абсурдным, потому что, в сущности, все мое творчество в той или иной степени связано с темой, которую я здесь разрабатываю. Для меня это в общих чертах — тема борьбы между двумя мирами. Естественно, что такая тема может освещаться различными способами и разрабатываться в различных житейских ситуациях, что, между прочим, я и старался делать. Она в известных случаях может быть показана как борьба между представителями двух разведок или как конфликт между старым и новым мышлением, как противоречие между старым и новым в быту и морали.

Мой особый интерес к эпизодам прямых столкновений вызван в некоторой мере тем, что в них с наибольшей остротой проявляется конфликт. Кроме того, это дает возможность показать героев, ситуации и обстановку, которые, по моему мнению, до сих пор в болгарской литературе не были достаточно показаны.

Наши разведчики и вообще люди, стоящие на страже безопасности нашей страны,— герои, которые, как мне кажется, еще не заняли полагающегося им по праву места в искусстве. Они вызывают мой интерес не только своеобразием и риском профессии, которой посвятили себя, но и тем, что обладают рядом необходимых качеств — идейных, нравственных, волевых,— благодаря которым добиваются успехов. И именно в силу этих качеств они предстают перед нами как люди нового типа, как подлинные и достойные представители нашего социалистического общества.

Одной из трудных проблем нашей литературы всегда была проблема положительного героя. Старая истина, что даже у талантливых авторов отрицательные персонажи порой облечены большей плотью и кровью, чем положительные. Причины этого весьма различны, но среди них не на последнем месте и то, что в прошлом жизнь обильнее предоставляла писателю материал для создания отрицательных героев, для обрисовки человеческих пороков и недостатков, нежели для показа высоких человеческих добродетелей. Преимущества нашего строя, по моему мнению, очень категорично проявляются именно в том, что социалистическая действительность становится все богаче прекрасными человеческими проявлениями, людьми нового типа. И одна из задач, привлекавших меня к разработке темы, о которой идет речь,— создание, в пределах моих возможностей, образов таких людей, носителей новых, коммунистических черт, в то же самое время не являющихся искусственно придуманными суперменами, сверхчеловеками. Я стремился к тому, чтобы они всегда несли в себе и свои драмы, свои противоречия, даже — почему бы, и нет — и свои человеческие несовершенства. Не мне судить, насколько все это мне удалось.

— Используете ли вы в работе над этими книгами документальные источники, подлинные свидетельства! Имеют ли ваши герои прототипов!

— Читатели часто проявляют интерес к таким подробностям. Прежде чем ответить, я хотел бы подчеркнуть, что мы обыкновенно спрашиваем себя, действительно ли рассказанное имело место в жизни, вместо того чтобы поинтересоваться с бóльшим основанием (потому что все-таки речь идет о произведениях искусства!), возможно ли, чтобы это произошло...

Именно в связи с этим вторым вопросом я создаю свои истории. Естественно, что подобно любому автору, принципиально придерживающемуся реалистического метода, я не выдумываю в буквальном смысле слова, а в качестве материала использую кое-что из своих впечатлений и наблюдений, а также подлинные исторические события. Так же я иногда использую и доступные документы, связанные с тем или иным действием повествования.

Необходимо, однако, прямо сказать, что ни один из моих романов не является воспроизведением реальной жизненной истории. И в этом смысле я бы мог утверждать, что забочусь не столько о том, чтобы описать действительно происшедшее, сколько о том, чтобы описать то, что может произойти. Этот принцип до некоторой степени развязывает руки писателю, а до некоторой степени и ограничивает его. Но я считаю его хорошим принципом.

— Можете ли объяснить подробнее — почему!

— Этот принцип не позволяет мне создавать, быть может, и интересные сами по себе, но целиком выдуманные, фантастические истории из ряда тех, которыми полны западные шпионские романы, он заставляет меня считаться с логикой жизни и жизненной правдой. С другой стороны,

этот принцип дает мне возможность свободно изменять фабулу, используя не непосредственно достоверные эпизоды, а столкновения и конфликты, наиболее благодарные с творческой точки зрения.

— Товарищ Райнов, судя по вашему опыту писателя, темы, о которых мы сейчас говорим, могут быть разработаны не только в произведениях детективно-приключенческого жанра. Очевидно, вы значительно отходите от его канонов. Так ли это?

— Должны ли эти темы разрабатываться в рамках одного жанра? Мне кажется, что ответ на вопрос содержится не только в моей скромной литературной деятельности, но вообще в литературной практике как прежнего времени, так и сегодняшней. Я как-то уже писал, что некоторые из гениальных романов Достоевского, если взять только их фабулу, очень близки детективному роману. И «Преступление и наказание», и «Бесы», и «Братья Карамазовы», если их рассматривать как человеческие истории, развиваются вокруг преступления. И все-таки это не детективные романы. То же самое можно сказать (конечно, при соблюдении всех пропорций) и о таком современном авторе, как Фолкнер, роман которого «Святилище», рассматриваемый с чисто сюжетной стороны, представляет собой также детективный роман. Именно по поводу этой книги Андре Мальро сказал, что Фолкнер разрабатывает античную трагедию судьбы в форме детективного романа.

Разумеется, так называемый «шпионский», или детективно-приключенческий, роман достаточно четко обособлен как своеобразный жанр современной литературы. Но, по-моему, это вовсе не означает, что темы преступления или предательства, борьбы против происков врага могут быть показаны единственно в рамках этого жанра. Уже приведенные примеры, а я мог бы их умножить (Бальзак, Диккенс, Стендаль и другие большие писатели) свидетельствуют в пользу моего тезиса.

Жанр, о котором идет речь, возник преимущественно в буржуазной литературе и благодаря этому несет отпечаток буржуазных концепций и буржуазной ограниченности. Не зачеркивая успехи, достигнутые в этом жанре некоторыми западными авторами, мы не можем не заметить, что этот род литературы в огромной степени (а иногда и исключительно) преследует цель создания занимательного чтива. Нормальный человек, безусловно, нуждается и в развлечении. Но мне кажется, мы весьма унизим литературу, если сведем ее роль к приманке читателя. Даже и в буржуазном мире отдельные авторы, как англичане Джон Ле Карре и Лен Дейтон, пытаются преодолеть ограничения жанра и создать значительно более реалистические, хотя и менее занимательные в сюжетном отношении, книги, именно потому, что понимают: произведения типа Флемингових приключений Джеймса Бонда не обладают и не могут обладать качествами серьезной литературы.

Я не отрицаю, что можно создавать интересные произведения, основанные на традициях жанра, о котором идет речь. Но меня, как автора, проблемы жанра совсем не занимают. И если порою занимали, то не потому, что я старался придерживаться требований жанра, а скорее потому, что стремился не подчиняться им. В этом отношении, я полагаю, любой читатель мог бы заметить разницу между моим первым детективным романом «Господин Никто», очень близким по «покрою» жанру в целом, и последующими романами, где пренебрежение к его канонам (по крайней мере мне так кажется) становится все более отчетливым.

Но я этим не хочу сказать, что совершаю какой-то переворот. Просто я не считаю себя обязанным соблюдать законы, которые созданы другими авторами, придерживавшимися других принципов, обладавшими иным мышлением. Или, грубо говоря, сообразно нуждам западного книжного рынка. Я вижу свою задачу в разработке первостепенной для нашего времени темы — темы борьбы между двумя антагонистическими мирами. И мои поиски в этом направлении подчинены требованиям темы, а не требованиям жанра.

— Что вы думаете о воплощении этой темы у нас — в литературе, в кино и других видах искусства? Разделяете ли вы мнение, что здесь преобладает низкий художественный уровень?

— Как автору, который и сам упорно работает в этой области, мне, естественно, не очень удобно давать оценки произведениям моих коллег. Но мне кажется очевидным, что известные наши писатели, как Андрей Гуляшки, Павел Вежинов и другие, создали произведения не только занимательные, но и значительные в художественном отношении.

Вместе с тем также очевидно, что появляется много романов и фильмов этого жанра, цель которых скорее развлечь публику, нежели воспитывать ее идейно и эстетически, и которые в конечном счете не являются даже развлекательными. Это обстоятельство дает повод противникам жанра (а такие, если я не ошибаюсь, существуют) отрицать не отдельные произведения, а жанр в целом. Но если речь идет о серой и ремесленнической продукции, то я думаю, что она имеет место не только в детективной и приключенческой литературе... Обратимся, например, к прозе на исторические сюжеты. Или к потоку романов-биографий... Лично мне кажется абсурдным отрицание целого круга тем, с успехом разработанных в Советском Союзе, в ряде стран социалистического содружества и чрезвычайно актуальных именно как элемент того, что мы называем современной тематикой. Естественно, что против ремесленничества и агрессивной бездарности необходимо вести борьбу, но эта борьба не может ограничиваться

сюжетным кругом, о котором мы говорим. Она касается всех жанров. И здесь огромное значение принадлежит критике, которая должна честно и ответственно выполнить свои благородные задачи.

— По вашим сценариям, товарищ Райнов, уже создано пять художественных картин: «Инспектор и ночь», «Белая палата», «Господин Никто», «Что может быть лучше плохой погоды» и «Большая скука». По-видимому, вы не боитесь кино, несмотря на заявления многих писателей о том, что кино ограничивает их творческую индивидуальность, заставляет их ради приспособления к вкусу широкой публики идти на компромиссы.

— Я никогда не боялся кино по той простой причине, что с детских лет получал, если можно так сказать, эстетическое воспитание (не считая чтения) в кинозалах. Я рос в то время, когда кино уже заняло значительное место в повседневной жизни. Вместе со своими сверстниками я до такой степени был увлечен им, что не только каждый день торчал перед дешевыми кинотеатрами, но даже иногда «проглатывал» по два-три фильма кряду.

Кино и литература, безусловно, два различных вида искусства, и если сегодня им особенно трудно существовать одному без другого, это вовсе не означает, что кино — просто литература плюс кинотехника. Литература прямо и непосредственно передает то, что кино может лишь внушать или о чем может лишь намекнуть. И наоборот, кино «рисует» образы и ситуации с такой конкретностью и категоричностью, которыми словесное описание не обладает. Реплика или диалог, органически необходимые в литературном произведении, в фильме часто превращаются в излишнюю болтовню и повторение очевидного. И так далее. Я, например, видел почти все фильмы по произведениям Хемингуэя, выпущенные Голливудом. И считаю, что они все без исключения не только стоят значительно ниже литературных источников, но и просто посредственны. Почему? Режиссеры были посредственными? Или произведения Хемингуэя были посредственными? Ни то, ни другое. Так произошло, потому что огромная часть силы Хемингуэя как писателя проявляется именно в той области, которая не может быть переведена на кинематографический язык буквально. Своеобразие Хемингуэя как рассказчика ярче всего выражено в словесных описаниях и в словесном изображении. И совершенно очевидно, что, когда словесное заменяется визуальным, от Хемингуэя ничего не остается. Разумеется, я привожу Хемингуэя как самый типичный пример, но существуют и другие крупные писатели, произведения которых, хоть неоднократно и экранизировались, не получили и едва ли получат удовлетворительную кинематографическую форму по той простой причине, что именно самое ценное в них не может быть «экранизировано».

— В какой мере ваше творчество несет в себе элементы автобиографического характера?

— Творчество любого писателя, независимо от того, описывает ли он свой собственный жизненный путь или чужую одиссею, представляет собой кроме всего прочего и автобиографию. Автобиографию, потому что, хочет писатель того или нет, в той или иной степени он передает свое собственное видение человека, свои личные человеческие чувства и вкусы, симпатии и ненависть...

Что же касается автобиографичности в прямом смысле этого слова, я никогда не пытался и едва ли попытаюсь описывать собственную жизнь или ее эпизоды. И не только потому, что считаю весьма скромной — в ее своеобразии — жизненной драмой, но и потому, что не в моих правилах писать по готовым, преподнесенным жизнью образцам: если одни писатели предпочитают сами выдумывать героев и ситуации, то другие могут работать на основании событий и образов, взятых непосредственно из повседневности. Рецепты дать нельзя — каждый автор волен избрать способ, который больше ему подходит.

Некоторых читателей иногда вводит в заблуждение то обстоятельство, что повествование ведется от первого лица (как и в ряде моих работ), и они склонны полагать, что если не все, то хотя бы часть рассказанного произошла с самим автором. Излишне объяснять, что это самый обычный литературный прием, существующий наряду с остальными, и сам по себе никаким признаком автобиографичности не является.

— Считаете ли вы, товарищ Райнов, правильным мнение, что творческое сознание не следует «перегружать» знаниями, культурными впечатлениями, которые мешают проявлению оригинальности таланта?

— Подобные взгляды представляют собой или эстетическое заблуждение того, кто придерживается этих взглядов, или попытку оправдать собственную интеллектуальную немощь. Чем писатель меньше знает, тем легче он становится эпигоном первого же значительного автора, с творчеством которого ему доведется познакомиться. Именно таким образом среди совсем молодых людей и возникает литературная мода. Чтобы человек проявил свою индивидуальность, ему необходимо сказать что-то свое, что до него никто не сказал, не говоря уж о том, что это должно быть не только новым, но значительным и правдивым. А это означает, что писатель должен иметь свои наблюдения, свои чувства и мысли, вызванные увиденным и пережитым, свое неповторимое воображение, которое переплавляет мысли, впечатления, чувства в только ему присущую образность. Автор, не располагающий своим материалом, своим творче-

ским потенциалом, не может стать оригинальным, даже если сохранит свой мозг девственно чистым от каких бы то ни было литературных «наслоений».

— Интересуют ли вас вопросы писательской техники, профессионального литературного мастерства! Или и вы согласны с высказыванием любимого вами американского писателя Фолкнера, что, если писатель интересуется техникой, ему бы следовало стать хирургом или строителем!

— Я склонен думать, что приведенное вами высказывание Фолкнера, как и некоторые другие подобные высказывания видных западных писателей-реалистов, надо воспринимать с известной оговоркой. Для меня Фолкнер — один из крупных западных реалистов и, может быть, самый крупный американский писатель современности, но именно потому, что я хорошо знаю его творчество, имею все основания считать, что процитированная фраза — своеобразное кокетство. Как раз самые лучшие произведения Фолкнера свидетельствуют о его тонком владении писательским «ремеслом», умении строить произведение оригинальным, обусловленным самим содержанием способом, умении создавать живые образы, сжато и насыщенно выстраивать тот предметный мир и ту атмосферу, в которой существуют и наиболее рельефно раскрывают себя герои. Всего этого нельзя достичь без техники, без понимания ее, без знания ее законов.

Но в подтексте высказывания Фолкнера заключена абсолютно правильная мысль. И вероятно, она и вызвала подобное высказывание. Эта мысль чуть ли не аксиома для любого истинного творчества: главное — знать, что ты хочешь сказать, а не направлять все свое внимание на то, как ты это скажешь. Творец, которому есть чем — значительным и новым, имеющим эстетическую ценность — поделиться с читателями, уже обладает всем тем основным, что делает его художником. И в дальнейшем в стремлении выразить новое, значительное содержание по возможности наиболее ярким способом он в процессе работы непременно найдет и свою форму выражения, добьется разрешения так называемых технических проблем. И наоборот — даже самое искусное владение литературной техникой не является гарантией того, что мы встретились именно с художником. Литературная продукция на Западе, особенно в последние десятилетия, изобилует сочинениями, являющимися образцами технической грамотности, но с точки зрения искусства — мертворожденными. Им присуща техника, но в них отсутствует то, чему техника должна была бы служить.

И поскольку речь идет о хирургах и строителях, мне кажется, что не может быть назван хирургом тот, кто виртуозно режет окорок, и что нет никакой пользы от строителя, который строит из кирпичей и цемента никому не нужное сооружение, даже если он его строит по всем правилам ремесла.

— Что вы думаете о месте писателя в современном мире, о роли и значении его творчества!

— В современном мире писатель играет весьма значительную роль. Говорю это не только потому, что в принципе таковы наши взгляды на общественную роль художника, но и потому, что все развитие событий в современном мире самым категорическим образом доказывает это. К сожалению, не только в положительном, но и в отрицательном аспекте... С одной стороны, мы являемся свидетелями того, как все больше художников, даже и в буржуазном мире, порывают с тезисом о «неангажированности» писателя. И в американской, и в английской, и во французской — и вообще почти во всех западных литературах крупные писатели, даже избегающие определенной политической платформы, ясно и недвусмысленно занимают позиции против милитаризма и возрождающегося фашизма, против войны, против попыток вовлечь человечество в кошмар атомного истребления. С другой стороны, мы — свидетели и того, как некоторые писатели отравляют сознание людей, являясь апологетами насилия, сексуальной разнузданности. Но останется художественным документом времени и будет оказывать свое влияние на последующие поколения только то, что создано во имя прогресса, во имя духовного совершенствования человека.

— Каковы ваши творческие планы!

— Планов у меня много, но я поделюсь только тем, над чем сейчас работаю. Я пишу роман, в котором главный герой — уже известный читателям по моим предыдущим книгам наш разведчик Эмил Боев. Будет ли это последний роман данного цикла, еще сказать не могу. Также не могу сообщить, когда закончу его, так как, прежде чем сесть и писать в прямом смысле слова, я долго обдумываю свои произведения.

Работаю и над книгой, жанр которой мне трудно определить, ибо она представит собой сочетание рассказов о пережитом и воспоминаний, размышлений, связанных и с моей жизнью, и с жизнью других людей. Эту книгу, вероятно, нельзя назвать мемуарной, но все-таки она будет более близкой жизненному документу, нежели художественному вымыслу.

Перевод с болгарского
Т. КАРПОВОЙ

◆

Заметки на полях

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЬЕТНАМСКИЙ ЖУРНАЛ «ТАК ФАМ МОЙ»

Есть в центре Ханоя, на улице, названной именем поэта Нгуен Зу[1], дом, где автору этих строк, как, впрочем, и всем советским литераторам, приезжавшим в Северный Вьетнам, довелось бывать часто и подолгу: в доме разместился Союз писателей Демократической Республики Вьетнам. Именно здесь при обстоятельствах довольно-таки необычных — Генеральный секретарь Союза Нгуен Динь Тхи, поднявшись вместе с нами на крышу дома, рекомендовал нам ее как одно из самых удобных мест для наблюдения за происходившими тогда в небе Ханоя воздушными боями — услыхал я впервые о предстоящем рождении на свет литературного журнала «Так фам мой» («Новые произведения»).

Шедшая тогда во Вьетнаме война отнюдь не повлекла за собой свертывания литературной работы, напротив, роль литературы в жизни республики заметно возросла. Прозаики, поэты, критики, переводчики трудились не покладая рук; в литературу пришла талантливая молодежь,— создавался, обогащаясь все новыми деталями и красками, «литературный портрет» сражающегося и созидающего народа. Еженедельнику «Ван нге» («Литература и искусство»), органу Ассоциации литературы и искусства, на страницах которого рядом с произведениями поэзии, прозы и литературной критики соседствовали живопись, театр, кино, трудно было с достаточной полнотой отразить шедшие тогда в литературе процессы. Да, был и журнал «Ван нге куан дои» («Литература и искусство армии»), издававшийся Главпуром Народной армии; да, вся без исключения общественно-политическая периодика, начиная с газеты «Нян зан» («Народ»), органа ЦК Партии трудящихся Вьетнама, печатала художественную литературу; да, во многих провинциях стали издаваться литературные альманахи — и все-таки без общей «главной» литературной трибуны обходиться становилось все трудней и трудней.

Можно, конечно, взглянуть на это с невозмутимостью стороннего наблюдателя: мол, что ж здесь особенного — нужен был журнал, и журнал стал выходить, все понятно и просто. Но было это совсем не просто! Четвертый год над Северным Вьетнамом бушевала разрушительная воздушная война. Народ Южного Вьетнама еще раньше с оружием в руках поднялся против американских захватчиков и их сайгонских марионеток. На счету был каждый лист бумаги, каждая минута работы типографских машин, каждый наборщик, корректор, редактор, каждый автомобиль и телефонный аппарат... И все-таки журнал начал издаваться. Год спустя после того достопамятного разговора, о котором шла речь в начале статьи, в мае 1969 года я держал в руках первый номер «Так фам мой», украшенный рисунками известных мастеров вьетнамской живописи и

[1] Нгуен Зу (1765—1820) — великий вьетнамский поэт, автор поэмы «Стенания истерзанной души» и ряда других произведений, вошедших в золотой фонд вьетнамской классики.

молодых военных художников. В обращении редакции к читателям, открывавшем журнал, в частности, говорилось: «Новый солдат руководимого партией культурного фронта намерен объединить свои усилия с другими дружественными органами печати в борьбе за партийную линию в литературе и надеется внести свой скромный вклад в дело построения новой национальной литературы, молодой, полной жизненных сил социалистической литературы вьетнамского народа».

С тех пор прошло шесть лет, и можно уже, разумеется, говорить о каких-то результатах. Передо мной последний присланный из Ханоя, сорок восьмой номер «Так фам мой» за апрель 1975 года (увы, путь для почты неблизкий, да и журнал часто выходит «спаренными», двухмесячными номерами). Давайте последуем современной моде и займемся статистикой: «просчитаем» сорок четыре номера журнала от первого — до сорок четвертого, завершившего прошлый, 1974 год. Итоговые цифры таковы: без малого двести произведений прозы, свыше четырехсот поэтических произведений и три с половиной сотни критических и литературоведческих статей, рецензий и т. п. Разумеется, цифры эти сами по себе еще не все. Попытаемся раскрыть их литературный смысл. Возьмем поэтический раздел: здесь рядом с давно известными именами основоположника революционной поэзии Вьетнама То Хыу, признанных мастеров лирического жанра — речь идет, конечно же, о лирике, пронизанной мотивами гражданственности,— Суан Зиеу, Те Ханя, Те Лан Виена, Хюи Кана, Хоанг Чунг Тхонга, Нгуен Суан Шаня, поэтессы Ань Тхо (кстати, имена эти знакомы и читателям «Иностранной литературы»),— рядом с ними имена позднее пришедших в поэзию Нонг Куон Тяна (представителя малой народности тай), Суан Хоанга, Фам Хо, Нгуен Вьет Лама и молодых — Фам Тиен Зуата, Банг Вьета, Бе Киен Куока, поэтесс Суан Куинь, Фан Тхи Тхань Нян. Разумеется, список имен далеко не полон. Мы видим здесь и традиционные поэтические размеры и ритмы, и еще утверждающиеся во вьетнамской поэзии формы, такие, как, скажем, свободный стих, и формы совсем новые, как стихотворный закадровый текст Те Лан Виена к видовому фильму «Шагая среди весны» (где автором использованы и стихи Хо Ши Мина, То Хыу, Хюи Кана). Нашли свое место на страницах журнала и стихи самых юных поэтов, начавших писать со школьной скамьи: Чан Данг Кхоа, Кам Тхо и др.

Та же картина и в разделе прозы, где рядом с известными еще до Августовской революции 1945 года мастерами То Хоаем, Буи Хиеном, Нгуен Хонгом, Ким Ланом, писателями среднего поколения Во Хюи Тамом, Нгуен Ван Бонгом, Хыу Маем, Ву Ту Намом мы находим произведения прозаиков, начавших свой творческий путь после войны Сопротивления 1946—1954 годов,— Нгуен Кхая, Ву Тхи Тхыонг, Чаунг Хыа, Нгуен Киена и совсем молодых — До Тю, Нгуен Минь Тяу, Ле Лыу. В последние годы несомненно определился повышенный читательский интерес к жанру романа, здесь появилось немало интересных книг, что свидетельствует о зрелости прозы. Явление это нашло свое отражение и на страницах журнала. И если было бы трудно перечислить здесь все удачные вещи в жанре малой прозы, то, видимо, следует все же назвать наиболее интересные романы и повести, с которыми журнал познакомил своих читателей, это — «Молодость Хоанг Ван Тху» [1], То Хоая, «Когда родился ребенок» Нгуен Хоанга, «Председатель уезда» Нгуен Кхая. «По следам солдата» Нгуен Минь Тяу, «Потревоженный лес» Мок Фи. Немало интересных работ опубликовано и в публицистическом жанре.

Драматургия, в особенности кинодраматургия — жанры для вьетнамской литературы сравнительно новые, редакция редко обращается к ним, и потому особенно отрадно отметить две несомненные творческие удачи: пьесу Нгуен Динь Тхи «Хоа и Нган», в центре которой судьба женщины-врача, и сценарий Хоанг Тить Ти, Хай Нииа и Выонг Дан Хоана «Девочка из Ханоя», действие которого происходит в последние месяцы недавней войны.

Трудно было бы подробно рассказать о тематике художественных произведений, опубликованных журналом: есть здесь и тема труда, строительства нового социалистического уклада и связанные с этим искания и конфликты, но преобладает, конечно, война, точнее, «человек и война», потому что лучшие военные вещи и в поэзии, и в прозе раскрывают тему через противоречия и развитие человеческих характеров.

Многие произведения поэтов и писателей ДРВ посвящены Югу, его борьбе, становлению новой жизни в освобожденных районах (вспомним: до нас не дошли еще журналы, вышедшие после недавней победы и полного освобождения Юга), его будущему. В свое время, в цитировавшемся уже выше редакционном обращении к читателям из первого номера «Так фам мой» говорилось также, что журнал будет с неослабным дружеским вниманием следить за творчеством литераторов Юга и радушно распахнет перед ними свои страницы. Скажем прямо, обещание это свое журнал исполнил. Уже в первом номере опубликованы были интереснейшие и своеобразные стихи южновьетнамского поэта и художника Хонг Тинь Хиена и рассказы Чан Хиеу Миня «Бой за мостом», «Игрек». Подобные публикации стали традицией журнала. Он печатал рассказы Фан Ты и Ань Дыка, стихи Тху Бона, Тхань Хая, Хай Ле, познакомил читателей с талантливыми романами Фан Ты «Ман и я» и Нгуен Куанг Шанга «Время холодных ветров». И в этом, разумеется, заключено нечто большее, чем просто отражение лите-

[1] Хоанг Ван Тху (1906—1944) — один из создателей Коммунистической партии Индокитая, выходец из народности нунг, погиб в колониальной тюрьме.

ратурного процесса; здесь видна сердечная забота о судьбах общенациональной литературы, литературы всего народа и на Севере и на Юге Вьетнама, который не мыслит своего будущего без национального воссоединения.

Литература сегодняшнего дня, ее радости и тревоги были прежде всего в центре внимания авторов критического раздела журнала. И здесь наряду с работами ведущих критиков ДРВ Хоай Тханя, Ха Минь Дыка, Ву Нгок Фана, Фан Кы Де привлекают внимание статьи молодых ученых. Если попытаться выделить главные проблемы, обсуждавшиеся в критических статьях, то это будут революционный героизм, духовные и социальные истоки подвига и литературное его воплощение, а также партийность и национальный характер литературы. Естественно, должное внимание при этом уделялось патриотической литературе Юга. Своеобразие критического раздела «Так фам мой», пожалуй, в том, что там не менее активно, чем профессиональные критики, сотрудничали писатели и поэты. В частности, весьма интересны размышления о литературном мастерстве таких старейших и опытнейших мастеров, как, скажем, прозаик Нгуен Конг Хоан или поэт-сатирик Ту Мо. Привлекают к себе внимание публикации журнала, посвященные классическому наследию вьетнамской культуры. Проблема эта весьма злободневна именно сегодня, когда возникла потребность в осмыслении исторических корней национального характера и той несомненной роли, которую сыграла в его формировании многовековая литературная традиция. Причем интерес журнала к классике — это не юбилейные славословия, а систематическая, серьезная работа. Запоминаются и статьи о вьетнамском искусстве, старом и новом, написанные виднейшими искусствоведами, художниками и скульпторами республики.

Журнал часто публикует выступления партийных и государственных руководителей ДРВ по вопросам идеологии культуры, а также решения и другие документы Партии трудящихся Вьетнама, связанные с проблемами художественного творчества. Многие из этих публикаций носят ретроспективный характер, полно и всесторонне отражая культурную политику партии, ее постоянную заботу о судьбах национальной литературы. Документальные эти подборки как бы дополняются напечатанными на страницах «Так фам мой» мемуарами писателей и поэтов старшего поколения (Нгуен Конг Хоана, То Хоая, Нгуен Хонга, Хоай Тханя, Ань Тхо и др.), которые сквозь призму своего личного опыта, идейных и творческих исканий показывают неразрывность судеб литературы и революции.

К несомненным удачам журнала следует, безусловно, отнести работу по публикации творческого наследия товарища Хо Ши Мина; его поэзия, публицистика, проза — это не только памятник пламенных лет революционной борьбы, они дают нам возможность по-новому представить себе незабываемый образ выдающегося вождя вьетнамского народа и одного из крупнейших деятелей международного коммунистического движения.

Важным событием в жизни журнала явился выход в свет его апрельской книжки за 1970 год, значительная часть которой посвящена столетию со дня рождения В. И. Ленина. Номер открывает статья Хо Ши Мина «Путь, который привел меня к ленинизму». Здесь напечатаны подборка «Ленин о литературе», очерк о Ленине То Хоая — «Твоим именем люди называют планету», стихи на ленинскую тему Те Ханя, Фам Хо, Суан Хоанга, Нгуен Ван Тоая, а также — Н. Заболоцкого, Б. Брехта, П. Неруды и др. На страницах этого номера — вьетнамский перевод «Третьей патетической» Н. Погодина, статьи Дао Суан Куя «Образ Ленина в сердцах поэтов Вьетнама» и Ле Динь Ки «Свет ленинизма озаряет литературу и искусство».

Великому Ленину, Стране Советов посвящены многие из опубликованных журналом стихов, очерков, статей. Можно найти там очерки и путевые заметки о разных странах и континентах. Но это лишь одна сторона той большой интернациональной работы, которую ведет «Так фам мой». Давайте снова обратимся к статистике: на сорок четыре номера журнала приходится свыше ста переводов зарубежных авторов, более половины — произведения писателей и поэтов Советского Союза и других социалистических стран. Здесь и классика — Ф. Достоевский, Н. Некрасов, Я. Райнис, и представители самых разных поколений нашей советской литературы — М. Горький, К. Паустовский, Ю. Олеша, К. Симонов, Р. Гамзатов, М. Луконин, А. Кешоков, М. Алигер, Э. Шим, Е. Евтушенко... Достаточно интересен и широк подбор произведений поэзии и прозы стран социализма, назовем лишь некоторые имена: В. Незвал, К. И. Галчинский, Ю. Тувим, Я. Ивашкевич, И. Бехер, Г. Гараи, И. Шимон, Б. Димитрова... Журнал познакомил читателей и с многими произведениями прогрессивной литературы Запада, Азии и Африки, в перечне переводов имена Н. Хикмета и П. Неруды, Я. Рицоса и Р. Альберти, Г. Бёля, М. Астуриаса. Специальными публикациями переводных произведений отмечает журнал и памятные даты мировой истории, такие, как тридцатилетие победы над германским фашизмом и др. Идя навстречу читательским интересам, журнал поместил материалы о литературах соседних с Вьетнамом стран — Лаоса и Камбоджи, народ которых, как и вьетнамцы, боролся против иностранной агрессии, против неоколониализма и реакции. Многое сделала редакция и для ликвидации «белых пятен» на литературной карте мира, познакомив своих читателей с поэзией молодой республики Бангладеш, Гвинеи (Бисау) и других стран, лишь недавно завоевавших свою независимость.

Читатели «Иностранной литературы» познакомятся с этой статьей в сентябре, в те дни, когда наши вьетнамские друзья будут праздновать тридцатую годовщину со дня провозглашения Демократической Республики Вьетнам. И нынешний этот юбилей станет

особенно радостным, ибо приходит он вскоре после недавней великой победы, одержанной в Южном Вьетнаме, победы, которая принесла на всю вьетнамскую землю долгожданный мир и тишину и открыла перед Севером и Югом путь к счастливому будущему, к грядущему национальному воссоединению.

В такие дни людям свойственно оглядываться назад, на пройденный ими путь, подводить итоги своим трудам и свершениям. И думается, что весь коллектив журнала «Так фам мой», его редакторы, сотрудники и авторы, вправе с удовлетворением и гордостью подытожить пройденный журналом путь длиною в шесть лет. Они немало сделали в приобщении читателей к ценностям национальной и мировой культуры.

М. Т.

БУНТ «ПЛЕННЫХ ЖЕН»

Возлюбленная, жена, мать — в таком измерении чаще всего видела женщину старая американская литература. После «Сестры Керри» и «Дженни Герхард» Драйзера в американской прозе, поэзии, театре число жизненных ролей женщины стало резко — скачком — расти. Система «женщина и дом» начала превращаться в систему «женщина и мир» — у Э. Синклера, Э. Хемингуэя, Дж. Апдайка, А. Миллера, Ю. О'Нила и многих-многих других.

Эти сдвиги в искусстве были эхом жизненных сдвигов — перемен в положении американской женщины, которые начинают все больше влиять на литературу, театр, на всю духовную культуру вообще. Эти перемены называют иногда женской революцией. Называют их и тихой революцией, хотя, наверно, им больше подошло бы имя громкой эволюции. Перемены эти рельефны, кое в чем круты, но слова о них частенько звучат громче, чем дела, из которых они состоят.

Новые времена несут с собой крупные повороты в положении женщины. Из домашнего существа женщина начинает постепенно делаться общественным, из «второго пола» — равным. Говоря упрощенно, она начинает становиться таким же «двигателем производства и общества», как и мужчина. Постепенно начинает угасать патриархатное разделение жизненных ролей, вернее, патриархатное обделение женщины этими ролями.

О первых шагах этих поворотов писали еще Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии», Маркс в «Капитале». Маркс говорил, что вовлечение женщин в производство ломает всю старую базу отношений между мужчинами и женщинами и создает «новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами»[1].

Антипатриархатные сдвиги — это предвестие планетарно-исторических поворотов во всей «мужской» культуре и цивилизации, и роль их для современного искусства первостепенна. В капиталистических странах (об этом говорят сами западные социологи) такие сдвиги идут неравномерно, с перебоями, откатами. Но все больше людей начинает понимать, как важны они для человечества. Недаром ООН объявила этот год — последний год третьей четверти века — Международным годом женщины.

Как раз в эту четверть века на Западе родилась новая волна феминизма — сначала в Европе, потом в США. Американские феминистки взбунтовались против общественного господства мужчин и рабства женщин, против заковывания женщины в ярмо монотонного домашнего обслуживания. Духовный уровень многих женщин, их интересы явно выросли, и им стал жать старый — хотя и сшитый из блестящей новой материи — костюм домохозяйки.

В 1963 г. вышла книга журналистки Бетти Фриден «Мистика женственности» — первый всплеск этой бурной волны негодования. В книге были собраны истории, которые рассказали автору ее подруги через 15 лет после колледжа. В те годы в США царила идея, что у женщины одно поприще — частная жизнь, и все подруги Б. Фриден стали жертвами этой «мистики женственности».

В 1966 г. Б. Фриден основала Национальную организацию женщин (НОЖ), которая выступила за равноправие женщин во всей жизни, труде, культуре. Организация эта была умеренно либеральной, и она не устраивала радикалок, которые выросли на дрожжах «новой левой политики» 60-х годов. Поэтому вскоре возникли союзы куда более острые, чем НОЖ,— «За освобождение женщин», «Ведьмы», «Красный чулок» и т. п. Появились и антивоенные союзы («Женщины — за мир»), которые решительно выступили против войны во Вьетнаме и благотворно подействовали на умы многих американцев[2].

По словам Джоан Олдоус, адъюнкт-профессора Миннесотского университета, типичная американская феминистка — это образованная горожанка из средних классов,

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 500—501.

[2] Об этом подробно говорится в только что вышедшей книге Э. Е. Новиковой «Трудящиеся женщины современной Америки» (М., 1975). В этих кратких заметках речь пойдет лишь о некоторых общекультурных и социально-психологических сторонах американского феминизма.

белая, работающая, обеспеченная. (Рабочие женщины и негритянки только начинают входить в женское движение и пока не играют в нем самостоятельной роли.— Ю. Р.) Средний возраст умеренных феминисток — 32 года, радикалок — 26 лет [1].

Умеренные феминистки, по словам Д. Олдоус, не революционерки; они принимают нынешнее социальное устройство Америки, хотят только реформировать его. То есть это — сторонницы буржуазного феминизма, течения, которое родилось еще в XIX веке. Правда, они приняли в свою программу некоторые лозунги социалистического женского движения: лозунги равенства в труде и во всей общественной жизни.

Но в социалистическом движении эти лозунги сплавлены с требованием революционно переустроить все общество, создать новый социальный фундамент для всей жизни. Буржуазные феминистки хотят строить свой дом на старых фундаментах,— вернее, хотят пристроить к старому небоскребу новые этажи, в которых женщины работали бы вместе с мужчинами и пользовались их социально-политическими правами.

В устах умеренных феминисток лозунги равенства имеют буржуазно-демократический характер. Они могут частично улучшить положение женщины — в этом их польза (так же, как есть польза и в феминистской критике американской системы). Но феминистки считают, что это не частичное, а коренное улучшение, что пристройки к небоскребу могут изменить всю жизнь в нем. Тем самым они внушают, что эволюция даст то, что может дать только революция.

Таким образом, основная фракция женского движения в США имеет двойственный характер: в основном реформистский, буржуазный, но с явными вкраплениями прогрессивных антипатриархатных элементов, попутных общему ходу истории.

Радикалки настроены ультрабунтарски, они стоят за коренную перестройку всех социальных и семейных установлений, всех, даже самых вечных, ролей женщины. Их можно назвать анархо-революционерками, которые готовы дотла разнести старое здание и строить абсолютно новую жизнь, не беря от старой ничего, даже те нетленные ценности, которые отфильтровались за долгие века истории и входят в фундаменты человеческой культуры.

Самые известные среди воинственных радикалок — это Кейт Миллет, доктор философии, автор книги «Сексуальная политика» [2], Джермейн Грир, тоже доктор философии, автор книги «Женщина-евнух», и Глория Стейнем, журналистка и пламенный оратор, одна из лидеров американского феминизма.

Вокруг женского движения в Америке бурлят споры. Хотя большинство американок не участвует в движении, многие из них — как и их мужья — стоят за него (в основном за умеренное крыло). Судя по опросам социологов, симпатии и антипатии средних американцев делятся примерно пополам: 0,4 женщин сочувствуют движению, 0,5 — не сочувствуют; 0,4 мужчин выступают за него и 0,4 — против.

Американская интеллигенция относится к женскому движению лучше, чем средний американец. Журнал «Сайколоджи тудэй» выяснил, что среди интеллигентов женскому движению сочувствует в полтора раза больше людей, чем в среднем по стране (61% женщин и 65% мужчин), а не сочувствует в два раза меньше (22% женщин и 20% мужчин) [3].

Зато среди несочувствующих здесь есть активные — и умные — враги нынешнего феминизма. Немало их, в том числе женщин, и в литературной среде. Одна из них — Мидж Дектер, литературный редактор журнала «Уорлд мэгэзин» — выпустила книгу «Новое целомудрие и другие доводы против женского движения» [4]. В книге «по-женски» чутко и «по-мужски» последовательно прослежена двойственность американского феминизма, особенно его радикального потока. Впрочем, позиции самой Мидж Дектер часто рождают еще больше несогласий: ее книга, говоря упрощенно, это критика справа, с консервативных, а то и с патриархатных позиций.

Мидж Дектер подробно — и часто верно — излагает платформу «Уименз либ» («Женского освободительного движения»). Это касается и первой мишени, в которую движение направляет свои удары,— сведения женской роли к домоводству, и второй мишени — оттеснения женщин во второстепенные и подсобные профессии.

В США работает около двух пятых женщин (вдвое меньше, чем у нас), и они «занимают, как правило, второстепенные должности», об этом пишет француженка-социолог Эвелин Сюллеро в книге «История и социология женского труда». Треть работающих американок — это мелкие конторские служащие, пятая часть — фабрично-заводские работницы; потом идут работницы сферы обслуживания, преподавательницы, медсестры. В профессиях интеллигентных (врачи, адвокаты, инженеры, научные работники, журналисты и т. п.) женщин очень мало — 3, 5, 7 процентов...

---

[1] Впрочем, сейчас им больше, эти цифры Д. Олдоус приводила три года назад, на XII Международном семинаре социологов семьи, который проходил в Москве.

[2] Кстати, в критике социальных основ угнетения женщины К. Миллет нередко соглашается с прогрессивной социологией и даже с историческим материализмом (в частности, с книгой Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»).

[3] Опрос фирмы Хэрриса и «Сайколоджи тудэй»; см. журнал «Америка», февраль, 1973 г., стр. 11, 12.

[4] Midge Decter. The New Chastity and Other Arguments Against Women's Liberation. Wildwood House, London, 1973.

«Уименз либ» считает, что главный камень преткновения здесь — «мужское превосходство», комплекс идей и отношений, который царит в делах и в душах американцев.

Мужское превосходство — это мнение, что женщины по самой своей природе слабее мужчин в абстрактном мышлении, в государственных делах, в крупных свершениях и предприятиях. Это мнение, что женщина всей своей биологией и психологией назначена для домашней или для подсобной роли.

Именно из-за этого, считает «Уименз либ», женщины если и работают, то в профессиях второго сорта, нужных для обслуживания более высоких профессий. Эти занятия (вроде секретарши, лаборантки, медсестры) по типу своему близки домашним занятиям женщины, и поэтому движение называет их «домашнее хозяйство в маске».

М. Дектер резко не согласна с феминистками. Она не согласна, что домашний труд своим однообразием изводит женщину, низводит ее на уровень прислуги, крадет у нее личность, высшие интересы. Она не согласна, что домохозяйство — это «дерьмохозяйство» (shitwork), как выражаются феминистки (они вообще любят «мужские» выражения).

> «Это труд не монотонный,— пишет она,— каждый день он приносит широкое разнообразие задач, и каждая из них требует особых умений... Поэтому не точно говорить, что женские профессии — это домашнее хозяйство в маске. Точнее сказать наоборот: домашнее хозяйство стало профессией в маске».

Антифеминизм М. Дектер облачен здесь в одежды мягкого, но патриархата. Раз домашнее хозяйство — «профессия», раз оно каждый день «приносит широкое разнообразие задач», значит, неверно говорить, что домашняя замкнутость лишает женщину свободы.

Движение считает, что все беды женщин — на работе и дома, в сексе, супружестве, материнстве — рождены нехваткой свободы, мужским порабощением. Для М. Дектер корень женских трудностей — не недостаток, а избыток свободы, небывалая свобода и самостоятельность, которая своим изобилием захлестывает женщин.

Это центральная опора всей книги М. Дектер, становой хребет ее позиции. Но эта парадоксальная мысль социологически и психологически неверна. И статистика (та, которая здесь приводилась), и само положение дел — все говорит, что рая свободы американская женщина не добилась.

Конечно, в быту личная свобода выбора, индивидуальная свобода действий у теперешней американки больше, чем поколение назад. Взлет домашнего комфорта, рост сети обслуживания, успехи медицины и сексологии, либерализация общественного отношения к женщине — все это облегчает жизнь многих женщин, повышает их бытовую свободу.

Радикал-феминистки не признают этих сдвигов, и М. Дектер права, укоряя их за это. Но сама же она говорит, что это — «свобода деталей» и что жизнь женщины в главном предусловлена, как и раньше.

> «От женщины ждут и даже требуют, чтобы она вышла замуж...— пишет она.— После свадьбы от нее, конечно, ждут, что она возьмет на себя бóльшую часть домашних обязанностей. Но индивидуальные детали этого выбора зависят от нее в степени, возможно, небывалой за всю историю женщин».

М. Дектер, видимо, верно говорит о такой свободе деталей; но это — лишь свобода плыть новым стилем в старых водах — все в тех же водах домашнего очага, в которые тьму веков назад погрузил женщину патриархат.

Замыкание женщины в стены домашнего очага делает ее «пленной женой», «крышкой кипящего котла» (как говорили на Западе лет десять назад). Поэтому движение стоит здесь ближе к истине, чем его враги.

Еще один водораздел между М. Дектер и «Уименз либ» проходит через их отношение к сексуальной революции. Феминистки — резкие враги этой революции, они говорят, что она превращает женщин в сексуальный объект, в существо, для которого секс — альфа и омега жизни.

Суламифь Файрстоун в книге «Диалектика секса» писала [1]:

> «Сексуальная революция не принесла улучшений женщинам, зато она была очень ценна для мужчин». Она создала «новый резервуар доступных женщин, солидный запас товара, пригодного для традиционной сексуальной эксплуатации».

Женщину она ввергла в кабалу, внушая ей «сексистскую» систему ценностей. Феминистки ввели в обиход новое слово — сексисты: так называют тех, для кого пол человека предрешает его роль в жизни, или тех, кто относится к женщине только как к сексуальному существу.

М. Дектер не считает, что сексуальная революция сделала женщину секс-объектом. Наоборот, говорит она, женщина стала свободным и самостоятельным субъектом. И хотя

---

[1] Sulamith Firestone. The Dialectic of Sex. New York, Bantam Books, 1971, p. 142.

она пострадала от сексуальной революции, но пострадала потому, что погналась за слишком большими для себя удовольствиями.

По мнению М. Дектер, это совсем не порабощение: женщина получила

> «небывалую власть над собой — власть с чистой совестью следовать собственным желаниям... Теперь,— говорит М. Дектер,— каждая женщина держит в своих руках свою сексуальную судьбу и поведение... Эту свободу женское движение назвало порабощением; это управление собственным выбором женское движение сочло превращением в объект».

Думаю, что движение и здесь ближе к истине, чем М. Дектер,— хотя истина сложнее, чем она говорит. В тех переворотах, которые на Западе называют сексуальной революцией, рельефно видны два полярных потока. Один — это анархо-коммерческий по духу культ секса, который пронизывает массовую культуру и заполоняет всю поверхность публичной жизни.

«Половодье пола» захлестывает экраны и подмостки, журналы и книги, радио- и теледиапазоны. Этот поток в самом деле стремится превратить женщину в «объект», поработить ее свободой вседозволенности.

Но в сексуальной культуре Запада есть и другое, глубинное течение, демократическое и гуманистическое по духу. Все мы знаем о двух культурах в каждой культуре: это прямо касается и сексуальной культуры. Расслоение ее явно усилилось в XX веке. Демократическая культура любви все быстрее набирает силы и все острее противостоит анархической антикультуре секса, которая тоже резко выросла в последние десятилетия.

Эти полюса культуры пола нарастают одновременно, и борьба между ними делается все накаленней. Такая растущая поляризация — важная черта развития западной сексуальной культуры в наше время.

Гуманистическая культура любви воюет с патриархатным принижением женщины в семье и в любви, с ханжеством и анархизмом, с сексуальным невежеством и бескультурьем. Эту борьбу за новую культуру любви и брака ведет и прогрессивная школа американской сексологии, и реалистическое искусство США, и демократические социальные силы.

В сексуальной жизни Америки запутанно слились разные противотечения. Умирает невежественная докультура любви, теряет силу ханжески-пуританская антикультура; в недрах этих сдвигов, служа их подспудным двигателем, нарастает гуманистическая и просвещенная культура любви; и над всем этим полыхает анархо-коммерческая антикультура секса, ошеломляя массы людей своей вакханальностью.

В этих сложных водоворотах, в сплетениях освобождения и порабощения «Уименз либ» видит только порабощение, а М. Дектер — только освобождение. Обе стороны распрямляют здесь сложности, сводят разнородное к однолинейному. И обе говорят о положении женщин в отвлеченно философском или обобщенно психологическом духе: «превращение женщин в объект» вообще, «мужское превосходство» вообще — без связи этих отвлеченностей с их социальной почвой.

Движение справедливо отвергает сексистский подход, измерение людей и жизни мерами одного только пола. Тем самым оно отвергает «мужской расизм». Но взамен у феминисток вырастает своего рода «женский расизм».

Так, нью-йоркские радикалки возгласили в своем манифесте [1]:

> «Во всем мы принимаем сторону женщин. Мы не спрашиваем, что это за явление — «реформистское», «радикальное», «революционное», «моральное». Мы спрашиваем: хорошо это или плохо для женщины?»

Это явное декларирование не социального, а абстрактно полового подхода. И такой подход служит почвой многих феминистских взглядов. Феминистки говорят, например, что сексуальная революция — это заговор мужчин, что брак — изобретение мужчин для приручения женщин, что домашнее разделение труда — тоже мужской заговор.

Это перевод проблемы с ее истинных, глубинносоциальных рельсов на рельсы мнимые. Впрочем, в инвективах о домашнем труде есть и зерно истины: оно выражено в словах Суламифь Файрстоун: «женщина — домашний негр».

Движение круто выступает против патриархатного деления домашних дел, когда женщине достается львиная их доля, а мужчине — воробьиная.

В Америке, кстати, начинает рождаться — в демократических, образованных слоях — так называемый эгалитарный (равный) брак, «брак-товарищество» («компаньоншип»). Это тоже признак ослабления патриархата, но рождение такого брака иногда принимает странноватые — для нас — формы.

«Уименз либ», например, пропагандирует брачные договоры, в которых дотошно

---

[1] Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement. New York, Random House, 1970, p. 520. Цит. по М. Дектер, стр. 126.

расписано, кто из супругов что и когда должен делать по хозяйству. Вот отрывки из одного такого договора:

> «**Стряпня.** Завтраки в течение недели делятся поровну. Муж готовит их по уик-эндам (сюда входят покупки и мытье посуды). Жена готовит обед все дни, кроме воскресенья... Кто приглашает гостей, тот покупает, стряпает, моет посуду...
>
> **Уборка.** Муж убирается во вторник, четверг и воскресенье: жена — в понедельник, среду и субботу. В пятницу убирает тот, кто меньше работал на неделе...
>
> **Стирка.** Жена стирает дома. Муж сдает одежду в чистку и забирает ее Жена снимает постельное белье, муж надевает его».

Такая регламентация дает, конечно, «разделение труда», но она не дает «совмещения труда» — идеал настоящего супружеского равенства. Такие трудовые контракты могут, наверно, умерить неравновесие нагрузок, но их педантичный трудонанимательский дух вряд ли добавит сердечности в отношения супругов.

Радикал-феминистки, в отличие от умеренных, стоят не за улучшение брака, а за его отмену — за жизнь в одиночку или за женские коммуны, или групповые семьи.

Надо упразднить семью, говорят они, ибо, пока она остается, женщины будут жертвами на алтаре общества. Материнство, как и супружество,— тоже путы на ногах женщины; надо, чтобы ее материнская роль кончалась сразу после родов, а детей растило бы или общество, или групповые семьи-коммуны, члены которых сообща владели бы детьми и воспитывали их. Самые крайние радикалки стоят за выращивание детей в пробирках.

М. Дектер по праву язвит этот шарахающийся отказ от материнства. Но она считает, что именно в этом отказе — суть «женской революции»:

> «Не общество, не сегодняшнюю организацию семьи, а само чрево» — вот что, по ее словам, хочет «исправить, изменить, искоренить движение».

М. Дектер опять ставит здесь часть на место целого, принимает одну ноту — пусть самую громкую — за весь аккорд. Основную массу американских феминисток отличает, скорее, не эта безумная смелость, а чересчур благоразумная умеренность. Они хотят не слишком многого, а слишком малого; хотя в том, чего они хотят, есть, как уже говорилось, явно полезное — то, что соответствует ходу истории.

ЮРИЙ РЮРИКОВ

РИФМОВАННЫЙ МАОИЗМ

Многие годы Китай, страна древнейших литературных традиций, страна священного благоговения перед заполненным письменами листом бумаги, был лишен настоящего чтения.

Но такое положение, конечно, не могло продолжаться вечно даже в маоистском Китае: ведь «чистый лист бумаги», каким «великий кормчий» предпочитает видеть свой народ, рано или поздно должен быть заполнен, как заявил сам Мао, «самыми красивыми иероглифами» («красивыми», разумеется, с его собственной точки зрения). Уничтожив старые книги, необходимо было заменить их новыми. И вот в конце 1971 года раздался очередной призыв — «еще больше хороших произведений» («больше», надо полагать, по сравнению с пустотой, существовавшей на момент призыва). И в 1972 году стали появляться книги — преимущественно «новейшие», хотя были и «подновленные» вроде необъятного романа Хао Жаня «Солнце светит ярко», впервые увидевшего свет в середине 60-х годов.

А 3 января 1975 года агентство Синьхуа с привычными для него триумфальными нотками возвестило миру, что

> «в минувшем году тираж печатной продукции намного превысил тираж изданий любого из предыдущих».

И это бы радовало, если бы не огорчало. Да, цифры тиражей в КНР растут: за девять месяцев 1974 года, по словам агентства Синьхуа, выпущено более 2 миллиардов экземпляров книг 8400 названий. Но ведь дело не только в том, сколько печатается, но и в том, что печатается. Само агентство Синьхуа в упомянутом сообщении перечисляло в первую очередь все те же издаваемые и переиздаваемые произведения Мао Цзэдуна. Это по-прежнему — основная продукция китайских издательств. Также подавляют массовостью сборники политических статей, авторами которых названы рабочие и крестьяне. Статьи хотя и громкие, но похожи одна на другую, словно списаны с единого утвержденного оригинала.

Растет объем изданий по науке и технике. Есть отечественные работы, много переводной литературы. Но — увы! — и эта сфера продолжает деформироваться под гнетущим давлением маоистской политики. Дадим слово М. Картье, отметившему в журнале «Франс—Азн» № 3 за 1974 г. такой момент, характерный для КНР последнего десятилетия:

> «Существует один главный пункт, который отличает нынешнее издание технической литературы в Китае от того, которое существовало до «культурной революции»: это исчезновение советской литературы... Основные научные исследования, кажется, принесены в жертву».

Да, антисоветизм, являющийся одной из главнейших черт маоизма, ставит ныне барьеры между китайской и советской наукой, заставляя китайских ученых ориентироваться исключительно на Западную Европу, Северную Америку и Японию со всеми вытекающими отсюда последствиями. В таком потоке печатной продукции совершенно теряется художественная литература. Так было в годы «культурной революции». Да и в цитированном сообщении Синьхуа ей посвящен лишь один крохотный абзац, где вскользь, без единого наименования упоминается о выпуске рассказов, повестей, романов.

А что, собственно, можно было назвать? Китайская литература в нынешнем Китае четко разграничена на «до» и «после» «культурной революции». Все, что «до»,— опасно и неблагонадежно. Из необъятного океана китайской литературы, возраст которой не одна тысяча лет, извлекаются капли, да и те тщательнейшим образом процеживаются. Кое-что из них попадает на прилавки книжных магазинов. Так, было сочтено, что «подошли» к требованию момента работы Лу Синя, классический роман «Сон в красном тереме», еще два-три популярных названия.

Но китайцу, с молоком матери впитывавшему любовь к поэзии, китайцу, который воспитывался на стихах первого в Китае поэта Цю Юаня, великих Ли Бо и Ду Фу, на певучих стихах сунских поэтов, ничего не найти в книжном магазине. Когда в 1972 году, накануне приезда в КНР президента США, пекинские лакировщики «выбросили» оставшиеся на складах издания классических романов, счастливые читатели штурмовали прилавки.

Книжный голод китайских читателей маоисты пытаются утолить «новейшей» литературой. Ее М. Картье характеризует такими словами:

> «Литература, которую издательства предлагают публике, главным образом является воинствующей литературой, черпающей вдохновение из рассуждений Мао Цзэ-дуна на Яньаньском совещании в 1942 году».

Любовь, быт, семья, обыденность, простая жизнь простого человека — все это теперь запретные темы. Маоистская «художественная» литература иллюстрирует лозунг Мао Цзэ-дуна «винтовка рождает власть». «Винтовка» овладевает не только военной темой, но и мирным трудом, преподносимым в явной боевой тональности.

А поскольку профессиональных писателей почти не публикуют после кампании «идеологического перевоспитания», тон задают непрофессионалы. В прошлом году тяньцзинское издательство «Жэньминь» выпустило сборник «Избранные стихи и песни деревни Сяоцзиньчжуан». Пекинская пресса широко и громко рекламировала его как принципиально новое явление китайской литературы, образец «социалистической» литературы. Газета «Гуанмин жибао» 31 декабря 1974 г. воскликнула:

> «Это необычный поэтический сборник. Собранные здесь 108 стихотворений принадлежат кисти членов коммуны — это новый урожай, приносящий столько радости! Сегодня наши коммунары — и застрельщики кампании критики Линь Бяо и Конфуция, и мастера сева, и певцы борьбы; великолепна революционная обстановка в нашей коммуне, собираем жатву со всех полей, и стихи — тоже жатва!»

Сяоцзиньчжуан — это показательная деревня, где все жители от 10 до 60 лет, малыши и старики, мужчины и женщины, здоровые и больные, пишут стихи или поют арии из «образцовых спектаклей». Эта деревня — сама спектакль, и недаром туда возят знатных иностранцев, которым Цзян Цин хочет продемонстрировать «успехи» в области культуры, достигнутые под ее руководством. В 1974 году жители деревни написали несколько тысяч стихотворений, «полных революционного энтузиазма».

Стихи в сегодняшнем Китае рассматриваются не как явление художественной литературы, а только как орудие политической пропаганды. Писать такие стихи крестьян деревни Сяоцзиньчжуан обучали в «вечерней политической школе». Заместитель секретаря парторганизации деревни Ван Ду в газете «Гуанмин жибао» за 12 февраля сего года откровенно рассказывает, как все это осуществлялось:

> «Сначала мы организовали массы на борьбу с пропагандировавшейся Линь Бяо и Конфуцием теорией необходимости таланта... Мы не оцениваем примитивно, высок или не высок культурный уровень, мы смотрим, есть или нет чувства, присущие крестьянам-беднякам и малоимущим середнякам. Старикам

мы помогаем освободиться от пут старого сознания, молодым товарищам с определенным культурным уровнем постоянно помогаем преодолеть мелкобуржуазные настроения».

Обратили ли вы внимание на характерное для маоизма мнение: «определенный культурный уровень» неизбежно порождает «мелкобуржуазные настроения»? С ними приходится «бороться», но лучше «освобождать от пут старого сознания» — то есть мешающей «теории необходимости таланта». Крестьян старательно убеждали, что стихи создаются не талантом, а идеологией. В той же газете старый крестьянин Вэй Вэнь-чжун рассказал:

«Раньше у меня не было культуры... Я и думать о писании стихов не осмеливался... Раньше я не умел писать, ныне председатель Мао предоставил мне возможность научиться писать, и я взял в руки кисть, чтобы защитить революционную линию председателя Мао... Когда партком предложил мне написать стихи с критикой Линь Бяо и Конфуция, я согласился... Чего не мог написать, спрашивал детишек, они за меня писали... За год я написал 40 стихотворений».

Как же они пишут? Крестьянин Ван Синь-минь, которому преподали основы маоистской «типизации», сводящейся все к тем же коллизиям, именуемым «классовыми», поведал миру о муках своего творчества:

«Сначала я написал так: «В доу зерна — тысячи доу слез, сотни потоков слез». Но этот вариант был ограничен рамками «подлинных людей и подлинных событий», ему не хватало типизации. С помощью крестьян-бедняков и малоимущих середняков я осознал, что в старом обществе все трудящиеся крестьяне испытывали гнет и эксплуатацию со стороны помещичьего класса, и не одно доу было полно крови и слез бедняков. Поэтому строку «сотни потоков слез» я исправил на «в старом обществе клокотали потоки слез». Так значительно расширился фон действия».

Не ведая, что творит, Ван Синь-минь простодушно раскрыл суть новейшей маоистской «поэзии». «Потоки слез» в «доу зерна» — это следы образной системы, веками процветавшей в поэзии Китая; «в старом обществе клокотали потоки слез»—это плакатный политический трафарет, насаждаемый маоистскими политиканами, которые, спекулируя на исходной тяге народа к подлинной поэзии, пытаются подсунуть ему зарифмованный маоизм:

«Председатель Мао
нас призвал:
«УПОР В РАБОТЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПЕРЕНЕСЕМ НА ДЕРЕВНЮ»,—
и в нашей производственной бригаде
организован кооперативный лечебный пункт».

(«Босоногий врач», Ван И)

«О, огромное, яркое —
председатель Мао заботится о рабочих, крестьянах, солдатах,
мы занимаем бастионы истории,
дадим оценку тысячелетней истории».

(Крестьянин Ван Ду)

«Звездочка сверкает, свет излучает,
в вечерней школе лампа бросает свет за дверь,
митинг критики Линь Бяо и Конфуция
идет в нашей вечерней школе».

(Крестьянка Ван Хуэй-минь)

«Вздымается знамя критики Линь Бяо и Конфуция,
раздувая огонь в сердцах членов коммуны.
Мы полны чувств, устремленных к Пекину,
поем урожайные песни председателю Мао!»

(Секретарь парторганизации Сяоцзиньчжуана Ван Цзо-шань)

И так далее, и тому подобное. Процитированное — только отдельные образцы «художественного» творчества, которым маоисты тщатся заменить тысячелетнюю китайскую литературу.

С. ТОРОПЦЕВ

◆

Публицистика

КОСТА СТРАНДЖЕВ

МУЖЕСТВО ЖИТЬ

Фрагменты из документальной повести

Перевод с болгарского Лидии БАША

Ну вот, дожил я с грехом пополам до пятидесяти пяти, и если спросишь меня, как жил, скажу: две у меня жизни — одна была до боли и другая с нею... Когда человеку стукнет пятьдесят, ему уже не спится, как прежде, беспробудно до рассвета. Бывает, проснусь, таращу глаза, а всего только полночь. И тогда наваливаются на меня воспоминания. Хочется бежать от них, отогнать от себя, не думать о том, сколько их набралось за годы, но они не отвязываются. А может, и верно говорят люди: молодой ты или старый — не седина выдает, а совсем другое — чем старше становишься, тем больше впивается в тебя прошлое, и, сколько ни увертывайся, от него не уйти.

Я уж и так и сяк, глаза зажмуриваю, а оно все равно передо мной. Если сесть и описать все подробно — от начала до конца,— поневоле скажешь: и хлебнул же ты, Спас, горя за свою — будь она неладна! — жизнь, потому все и вздрагиваешь во сне, да просыпаешься среди ночи и таращишь глаза, и все, что было когда-то с тобой, опять и опять возвращается, оживает в памяти.

Но давай расскажу по порядку. Как появился я на свет, так и вцепилась в меня бедность. Отца своего не помню, убили его на фронте в первую мировую войну; было мне тогда восемь месяцев. Мать моя — солдатская вдова. Так я и рос — все в нужде. Зимой нас засыпало снегом и мы месяцами не могли выбраться из своего села. Работать начал с детских лет, но бедность все на самый край жизни меня сталкивала. И сказал я себе: придется тебе, Спас, за горняцкое дело браться! Оно, конечно, трудновато будет, да и в беду попасть под землей проще простого, но надо же в конце концов жизнь свою переиначить. Быстро собрался — и на шахту. Заживу теперь по-другому, думал, да не тут-то было. Труд здесь, одним словом, каторжный, мученье, да и только!.. Другой, хлипкий, на моем-то месте сразу же поджал бы хвост и давай бог ноги. А я вот никогда трудного не боялся. Может, у меня сотни недостатков есть, один другого больше, но вот одно во мне стоящее — упорство. Не опускаю руки, не ползу по жизни, как ящерка по земле.

В те времена возвращался я с работы поздно вечером, весь разбитый. Завернусь в одеяло, плюхнусь на набитый коноплей тюфяк, сожму кулаки и говорю себе: пока дышу, не сдамся, пусть хоть весь свет против меня ополчится. Ругал последними словами хозяев и даже взорвать шахту собирался, когда товарищи меня просили... Как жилось тогда, ты и сам знаешь... Был я уже взрослый мужик — двадцати шести лет,— когда в сорок четвертом году моя нога впервые ступила на софийскую землю. Ну, да ты эту историю знаешь, и не стоит к ней возвращаться. Только с той поры жизнь моя стала нормальной. Ушел я из Плачковца на строительство водохранилища «Георгий Димитров», оттуда подался на Батакскую систему гидросиловых установок, по-

том в Сирию, потом на Медетскую стройку, потом на каскад «Доспат-Выча», а теперь вот здесь, в Девичьем ущелье, прокладываем тоннель.

Но вернемся к тому, что сказал я в самом начале: да, жизнь моя до боли была одно, а теперь совсем другое. Поработаешь в тоннеле, дома повозишься с детьми, повертишься возле жены, посидишь с приятелями в забегаловке. Прокладывать тоннель мне нравилось, и всегда работал с охотой, с душой. Правда, из-за всяких там контузий, случавшихся в жизни, возможно, я и переменился, огрубел. Чего греха таить: бывало, в получку выпьем с дружками крепко, да шума наделаем, с женой поскандалим, грубым словом обижу ее, с товарищами поссорюсь. Но, как войду в тоннель — другим становлюсь, настоящим.

Дети повырастали, дали мне квартиру в Пловдиве, с тех пор и связал я с ним свою судьбу. Время от времени оглядывался на свою жизнь, но так, без особого внимания,— все шло как надо, к чему углубляться. Не то чтоб не хватало в моей жизни всяких там передряг — только я ведь был мужик крепкий как бык. Ничего не могло из себя вывести. Случалось, за день литр ракии и литров пять вина залить в себя мог. Вот тогда — от большого ума — соберешь свою бригаду, созовешь баб из бараков и, раскинув руки в стороны, вышагиваешь по рельсам узкоколейки. Целый километр мог пройти и ни разу не свалиться. Выпитое тянет книзу, валит на землю, а все же идешь и идешь по этим самым рельсам, тонким, как натянутые веревки. Потому что был сильный! И хотелось, чтоб весь свет глядел на мою силу...

А потом вот свалилась на меня эта боль! Можно сказать, пятнадцать лет борюсь я с нею в больницах да клиниках. Но она знает свое — старается меня извести. Накидывается так, словно на части разрывает. А я должен оставаться на своих ногах. Иначе с пустой душой в могилу лягу.

Когда впервые почувствовал жжение в жилах, я сказал себе: «Надо выдержать!» — ведь самое важное — не падать духом. Я подбадривал себя, а боль все наступала и с каждым прожитым днем все плотнее смыкала вокруг меня кольцо.

Вот так все и началось...

Имя и фамилия — Спас Димов Дочев.

Место рождения — Ново Село Троянского округа.

Дата рождения — 14 апреля 1917 года.

Семейное положение — женат, двое сыновей.

Место работы — горняцкий поселок в Девичьем ущелье.

Постоянное место жительства — Пловдив, бульвар Ленина, дом 140, подъезд Б.

Профессия — горнопроходчик, тоннельный мастер.

Когда-то я подарил Спасу Дочеву сборник рассказов Джека Лондона. Сейчас вижу — отметил он отдельные рассказы полосками газетной бумаги. Перелистываю страницы. Вот отчеркнул карандашом понравившееся ему место:

«Да хранит меня бог от тех обыкновенных людей, которые могут быть названы хорошими, потому что от них веет холодом, людей, которые не курят, не пьют, не ругаются, но поэтому же ничего не осуждают, никогда не совершают смелых поступков...»

Кто-то постучал в окно — настойчиво, всей ладонью, и я отложил книгу. «Это шофер,— пояснила мне Мара, жена Спаса.— Его «Зил» приписан к нашему тоннелю. Случится что-нибудь в забое или понадобится срочно— он сразу же сюда. А Спас, кажется, только его и ждет — вмиг поднимется с постели, схватит свои костыли, кое-как оденется в темноте, и, пока машина разворачивается, он уже готов. Взберется в кабину, и покатят они вверх, к тоннелю. И пока не наладит там дело — не вернется. Бывало, что сутки, а то и двое пропадает в штольне после вот такого стука в окошко».

Мара встает и идет к двери — там действительно стоит вихрастый паренек, водитель «Зила».

Надо всем: над низкими кирпичными домиками и сливовыми деревьями, над темными горловичами штолен и щебеночными дорогами, над осыпями древнего Балкана, над сиротливыми полянками, поросшими чахлым кустарником и лебедой,— надо всем этим краем еще медленно ползут пороховые облака Девятого сентября. Над зданием шахты плещется красное знамя, прикрепленное к неоструганной сосновой доске. У входа в контору — партизан, молодой парень, почти мальчик, с автоматом за спиной и красной лентой на рукаве. С деревянной веранды дома, где размещается дирекция, глухо доносятся последние слова последнего оратора: «А теперь, товарищи!..» Все реже слышится стрельба, как одинокие вздохи раздаются последние взрывы бомб. Время от времени по площади горняцкого поселка проходят под конвоем царские офицеры с сорванными погонами, во взгляде их — отчаяние и злоба.

— А теперь, товарищи!..

Итак, революция в Плачковце победила. На следующий день Спас уже был в горах. Мамочка милая, свобода! Мара расстилает большое домотканое одеяло под раскидистой кроной ореха, и они наслаждаются прохладой и беззаботностью. Вот это да! Лежат и глядят то на позеленевшие крыши домов, то на синее троянское небо. Никаких тебе забот, никаких неурядиц — полная свобода для трудового народа! Так проходит день, два, три... На четвертый в калитку Спасова двора стучится сельский рассыльный: «Велено завтра отправляться на шахту! Всем, кто на шахте работал, велено отправляться!.. Завтра!..» Спас ничего не понимает: «Погоди-ка, голубчик, как это так?» Но рассыльный знай свое: «Велено выходить на работу!» Сказал и ушел. А Спас остался один, охваченный тревогой:

«Ну и ну! Значит, снова обливаться потом? Тогда для чего же было все затевать? Вот еще! Зачем было свергать буржуазию и вообще — что все это означает?» Он думал, напрягался, но точного ответа не находил. Верно, собственными ушами слышал он слова рассыльного. Но ведь и другое он тоже слышал: если свергнем буржуазию, рабочий люд будет жить во дворцах. В конце концов он решил, что рассыльный что-то напутал,— да разве может разбираться в таких делах, как революция, простой деревенский рассыльный! И с этой мыслью он не расстается весь день — лежит в тени старого ореха, глядит на небо — безоблачное, но какое-то белесое, обессилевшее от сентябрьского солнца.

В тот вечер в Ново Село приехала товарищ Бакырджиева. Молодая девушка с коротко подстриженными жесткими волосами, в темно-зеленой курточке из домотканого сукна и кепке — партизанка. Собрались все в управе, пришло туда несколько мужчин из общины — неразговорчивые, бородатые. Люди молчат и смотрят на девушку в куртке. А она, устав после долгого пути, говорит с явным усилием: «Если станешь коммунистом, будь готов к самому страшному — умереть за свободу народа. А что значит свобода? Это значит трудиться на самого себя, на детей своих, во имя их!» Она говорит, говорит... Под конец с тихой торжественностью в голосе спрашивает: «Готов ли кто из вас бороться за дело партии?..» И в примолкшем полутемном помещении, в этом прогнившем помещении сельской управы со скрипящими половицами и густой паутиной по углам встают один за другим шахтер, погонщик ослов, два углежога, сельский учитель. Они поднимаются, чтобы произнести как клятву: «Я готов!»

Спас возвращается теперь на многие годы назад, чтобы снова пережить тот безоблачный сентябрьский вечер. «Как только я увидел товарища Бакырджиеву,— вспоминает он,— сразу же решил спросить у нее: кто прав — рассыльный или я? Она-то ведь не может не знать — будет ли снова в поте лица трудиться бедняцкий люд, когда возьмет в свои руки власть. Но хорошо, что не спросил, не то смеху было бы». Это между прочим. Однако тот вечер крепко засел в памяти Спаса Дочева: «Я тоже подошел к столу, где была товарищ Бакырджиева, и сказал: «Я готов!» — и поставил свою подпись. Много воды утекло с тех пор, много хлеба съедено и много вина выпито, но вот уже почти двадцать восемь лет я все так же отвечаю партии: готов! Тому же учу и своих сыновей: если ты настоящий партиец, то и среди ночи проснешься словно от сильного толчка, как услышишь, что партия тебе велит,— увиливать тут нельзя. Собираешься с силами и отправляешься в путь по твердой, неровной земле».

— Теперь я уже могу говорить о своей боли. Называют ее «болезнью Бюргера». И хоть название ее известно всем медикам, но сколько врачей я ни спрашивал, каждый по-разному объяснял мне ее. И я говорил себе: «Эта болезнь, должно быть, какая-то особенная, раз она и врачей сбивает с толку. Времени прошло уже немало, но теперь, словно отойдя в сторону и выждав, годы сами возвращаются назад, и я все приближаюсь к ее началу.

Тогда — убей меня! — я ни за что бы не поверил, что есть такая боль, которая может меня свалить. Поэтому, когда в пятьдесят седьмом году у меня начались покалывания в левой ноге, я им не придал никакого значения. Просто махнул рукой на это. Что тут долго ломать голову — всему виной, должно быть, проклятая вода в тоннелях. Помнишь, тот на Батакском водохранилище? После того, как мы пробили тоннель для подземной электростанции да еще прошли тот дьявольский участок в Трети Прозорец, бригада наша совсем выдохлась — такая это была работенка! Мы думали: теперь по крайней мере полгода не ступит наша нога в штольню, быстренько соберемся и махнем куда-нибудь всей бригадой: в дом отдыха или просто к Черному морю. И крыть бы было нечем, потому что карманы и чемоданы наши заметно потяжелели от денег и медалей. Но тут, как гром среди ясного неба, приходит решение партийного комитета: «Бригада Спаса Дочева направляется на Батакское водохранилище».

Ох, и дался нам этот жуткий тоннель! Вода чуть не по пояс, ил, грязь. В первый же день поставил я замок на ворота в штольню, которые открывали нам выход оттуда, и сказал ребятам: «В три погибели согнемся, а не выйдем отсюда, пока не пробьем. Иначе грош нам цена. Давайте, как говорится, поставим на карту свое мужское слово». После, когда стали меня таскать по больницам, всегда находился то один, то другой врач, который пилил меня: «Почему не пришел вовремя? Почему тянул столько? Ишь какой незаменимый!» И принимался объяснять: «Болезнь Бюргера» вылечить можно, но только в начальной стадии». И говорил, что еще тогда надо было измерять температуру кожи, прощупывать артерию стопы, обследоваться.

Временами я просто шалел от злости и орал: «Эх, мать вашу... Да, незаменимый. Вас бы на мое место!» А временами вздыхал и каялся: «Виноват... что поделаешь? Человек, пока жив, хочешь не хочешь влипает в разные истории». Потому что иначе должен был бы спрашивать у них, что они знают об этом тоннеле, где кругом вода и грязь, синеватая глина, липкая, как клейстер, и ил, который не смыть с себя после смены, а на зубах вечно похрустывает каменная крошка. Положение на стройке было напряженное. Весь каскад уже готов, и, если мы не управимся в срок, турбины ГЭС «Пештера» будут бездействовать. Парторг Младен Грозев сказал мне: «Спас, теперь все зависит от тебя!» Ну, разве мог я бросить дело и заняться собой? Мол, остав-

ляю вас тут, уважаемые товарищи, а сам сматываю удочки, поскольку у меня жилы на левой ноге не в порядке. Выходит, сам себя полностью списываешь в расход. Да и другое: раз начнешь объяснять про тоннель на водохранилище «Батак», так надо уж сказать и про «Трети Прозорец», и про Батакскую гидроэлектростанцию, и про... Или все, или ничего! А это могут понять только те, кто сам лязгал зубами в штольнях под электростанцией или в грузовой «татре», кто сам ползал по напорному трубопроводу. Целая груда слов скопилась здесь, в моей груди, но перед врачами я тушевался, был кротким, как овечка.

И все же как только отгромыхали последние взрывы и в этом тоннеле, я отправился к врачу. Посмотрел он меня, расспросил, поцокал языком и говорит: «Переутомился ты, братец, физическое перенапряжение отразилось на суставах левой ноги». Вздохнул я и говорю сам себе: «Ох, мамочка моя, ведь это, можно сказать, всего только цветочки были бы». Поблагодарил я доктора и ушел. А три дня спустя отбыл на новый объект — Ферма. Теперь комитет сказал: «Если не пробьете с Иваном Андреевым тоннель на участке «Чепински Взрив — Ферма» — конец. Все, может быть, и останется на своих местах, а вот гидростанция «Алеко» полетит ко всем чертям». Знал я, что и тут нельзя уходить мне в кусты. Всегда был таким — раз берусь за какое-то дело, уж не брошу, пока не доведу до конца. Никогда не уважал я слюнтяев. Смотришь — мужик как мужик, фасонит даже, а сам штаны как следует подпоясать не умеет. Запомни мои слова: больше всего на свете унижает мужчину бессилие.

А тогда нас ждала Ферма. Мара с детьми собирала пожитки, запихивала что куда придется. Покидала моя бригада на грузовики одеяла и кухонные шкафы, корыта и швейные машинки, а затем мы — мужское сословие,— чтоб не терять времени, присели на корточках посреди поселка, и я принялся вычерчивать прутиком на земле, что́ и как нам предстоит делать: вот так, мол, и так! Объяснил своим ребятам, где должен пройти новый тоннель, через какие породы предстоит нам пробиться, до какого места проходить нам и где участок Ивана Андреева. Ну, и так далее. Покончив с тоннелем, заговорили вообще о жизни — зима уже на носу, а мы перебираемся на новое место, ну просто кочевники какие-то...

Говорили мы, паковали и грузили инструмент, а боль в это время жила во мне, в моей крови. Таилась пока. В тот день и боль, и надежда, что с новым тоннелем не осрамимся, росли из одного корня.

Газета «Водносиловец» (1956 г.):

«О бригадире Спасе Дочеве на стройке ГЭС «Батак» все говорят, что он человек суровый. Он никогда не бывает веселым и никогда не раскрывает своей души, его маленькие, как дробинки, глаза, кажется, постоянно излучают холод. Но с горняками своими Спас Дочев связан какими-то невидимыми крепкими нитями; самые близкие помощники боятся его, но когда приходится им разлучаться, не могут жить без своего бригадира — тянутся к нему, ищут его.

Бригада Спаса Дочева довольно большая. Когда он собирает своих людей перед входом в тоннель, ему приходится взбираться на какое-нибудь возвышение — на подпоры или на груду сваленных труб. Вокруг него тогда оказывается более сотни людей, и каждый в страхе ждет, что на его голову обрушатся сейчас, словно раскаленные уголья, гневные слова. Бригадир возвышается над всеми; одна рука в кармане, другая рассекает воздух, а взгляд так и пронизывает виновных.

— Иван, скажи, почему вы не повели атаку?

Иван краснеет и заплетающимся языком начинает оправдываться:

— Но ведь воздуха не было. И сверл.

— Воздуха? Значит, и механизаторы, и проходчики — два сапога пара... Если завтра снова что-нибудь сорвется, придется говорить по-другому.— Бригадир почесывает затылок, задумывается немного и продолжает: — Так вот, отдаю распоряжение: сегодня каждая смена проводит атаку.

— Но, товарищ Дочев...

— Никаких «но»!

Спас Дочев не любит говорить о себе, о прошлом. И терпеть не может похвал. Когда журналисты принимаются расспрашивать, он убегает от них, сердито ворча: «Не выношу, когда обо мне пишут в газетах! Зачем меня расспрашивать? Хвалите руководителей, о них пишите». Он не любит не только журналистов, но и тех руководителей, которые поднимают вокруг себя шумиху. Если такие люди его чем-то рассердят, он может даже припугнуть, что уйдет с объекта, но никогда, правда, не уходит.

Только человек десять из его бригады знают, что́ он пережил на своем веку. Они-то тайком и информируют журналистов.

Спас Дочев часто собирает у себя дома своих горняков. Купит вина, нажарит на вертеле мяса или свежей колбаски-наденицы. Рассядутся мужчины за большим столом, и начинается торжество. Бригадир веселеет, звучит его смех, суровое сердце оттаивает, разнеживается, и он называет горняков уменьшительными именами.

— Эх, Мите, Мите,— поглаживая по плечу своего лучшего звеньевого, говорит он,— далеко пойдешь, мой мальчик! С умом работаешь. А мы, было время, одной только силой брали и пробивались под землей как бешеные.

Редко смягчалась его суровая душа, но, смягчившись, она, казалось, была готова до слез радоваться чужим радостям или огорчаться чужому горю. Однако Спас не позволял себе этого. Но горняки чувствовали, как от него в какой-то миг начинает веять теплом, и, поскольку это тепло согревало их редко, никогда не забывали его.

Порой случалось, расскажет он им в такие минуты о чем-то из своей прошлой жизни. И уж конечно, вся бригада об этом знает.

Другого такого озорника, как он, не было в их селе. Кто собак гоняет? Спас. Кто окна бьет? Спас. И позже, когда на шахте стал работать, он все еще не брался за ум и продолжал озоровать, как прежде. Молодость свою провел он под землей. Возможно, потому и стал таким суровым; не рос под голубым небом, не дышал чистым воздухом, хотя порой ему так хотелось побыть на солнце, но он не мог позволить себе этого и совершал всякие безрассудства: шел работать в такие забои, куда никто другой не отваживался, где часто обрушивались угольные пласты.

— Слушай, парень, ты что — к святому Петру отправиться хочешь? — предостерегали его опытные шахтеры.— Мы тебя оттуда и мертвым не отроем!

А Спас Дочев их еще и поддразнивал:

— Да, хочется мне, чтоб хоть раз засыпала меня эта черная земля, чтоб своими глазами увидеть, страшно ли это.

Многих шахтеров погубила черная земля. Спас уж и не помнил множества несчастных случаев. Но один всегда стоит перед его глазами. Был у него товарищ, которого он очень любил. Родился у этого товарища сын. Он все приглашал Спаса прийти поглядеть на малыша. Но вдруг обрушился в забое угольный пласт, и товарищ его оказался заживо погребенным. Собрались все шахтеры и стали прорывать к нему ход. Слышно было, как он кричит и зовет на помощь. Спрашивали его, что с ним. «Ничего особенного. Только ногу стойкой прижало». Шахтеры рыли, забыв о голоде и усталости. А бедняга все звал на помощь. Потом голос затих. Когда его наконец отрыли, он был уже мертв.

Смятение охватило беспокойную душу Спаса. Каждую ночь видел он во сне своего друга, слышал, как он кричит.

— Позже, когда я работал в Сирии бригадиром на стройке водохранилища «Растан», у меня снова начались приступы в левой ноге. Первое время я успокаивал себя: переутомился, и все. Но приступы учащались, а боль усиливалась. Она стала ощущаться при сокращении мышцы, при длительной быстрой ходьбе. В жизнь мою входило что-то новое, и я не знал, как быть дальше. Слова, которыми я прежде успокаивал себя, становились ненужными. Я корчился от боли, кусал губы, особенно когда приходилось идти пешком от объекта к поселку. Однажды я сказал себе: «Спас, ты же не лишний на этом свете человек! Зачем ты так себя истязаешь?» И с того времени, как только вскрикну от боли — сразу же ловлю такси. Скрючусь на заднем сиденье, и машина доставит меня до дома. Я понимал всю подлость своей болезни, но что мог я сделать там, вдалеке от родины, в чужой стране. И потому, как только приблизился срок нашего возвращения, я вздохнул с облегчением — словно жернов спал у меня с плеч. Должен сказать, что ненавижу боль за многие беды, которые она внесла в мою жизнь. Но самое большое зло ее было в том, что она отрывала меня от людей. В Сирии у меня было много друзей среди арабов. А скольких арабов я научил нашему ремеслу! Как только стемнеет, они приходили к дому, где я жил, усаживались на корточках, и начинался мужской разговор обо всем на свете. Говорили о тоннелях и о семьях, о детях и о мучениях сирийской бедноты, о товарищах, о печалях и надеждах. Полюбил я этих парней. Сблизился с этим народом, не могли мы никак наговориться. Но с тех пор как вцепилась в меня боль, все больше лежал я, скорчившись, на кровати. Арабы приходили по-прежнему, как стемнеет, поговорят немного и замолчат, меня ждут. А я стонал и скрипел зубами. Потом они расходились, не дождавшись меня, по домам, а я оставался один-одинешенек. Хочу тебе сказать: много ходил я по нашей земле, скитался по свету, многое повидал и пережил, но не знаю ничего более мучительного, чем ощущение, что рядом с тобой нет людей. А вот боль делает одиноким. Вертишься в постели, и мысли твои, пока слетят с губ, превращаются в паутину. Каждый человек, каков он есть, самому себе не очень ясен, он куда яснее тем, кто окружает его. Вот я теперь и наставляю своих сыновей, стараюсь им внушить такое правило: если будешь жить сам по себе, вычеркни себя из жизни. Потому что нет у такого человека ни дружбы, ни ненависти.

Пришло время возвращаться в Болгарию. Ну, думаю, посмотрим, какой номер выкинет моя болезнь, только теперь ей этот номер не пройдет — на родине вокруг меня будет полно своих людей. Подбадривал, но не обманывал себя — ведь не ребенок! — что бы ни делал, куда бы ни пошел — ясно ощущал за собой какую-то тень. Знал, что это боль, что она меня преследует неотступно. Самое главное — запастись терпением, терпением и терпением...

И вот я ступил на болгарскую землю. Увидел пограничников, таможенников — в общем, наших ребят, и вдруг мне захотелось сказать им: «Послушайте, братцы, выправьте мне документы, а то я себя что-то неважно чувствую». Но я не сказал этого. Стиснул от боли зубы — ведь я знал, что самое главное — не терять терпения. Выдержать...

Вернулся я, значит, в Болгарию в 1961 году. А боль как будто только этого и ждала. Едва успел домой добраться, как показала она свои когти. Появился у меня на левой ноге волдырь. Пошел я в окружной комитет партии и спрашиваю товарищей: «Скажите, люди добрые, как мне быть? Дела мои с ногой не идут на поправку! Чувствую я — неладное со мной творится.

КОСТА СТРАНДЖЕВ
МУЖЕСТВО ЖИТЬ

Что-то во мне противится моей обычной жизни!» Поняли меня товарищи и сразу же отправили со специальным письмом к профессору Миронову в Высший медицинский институт в Пловдив. Стали меня обследовать; все проверили: кровь, сердце, легкие, желчный пузырь. Низкий поклон им — все делали по науке, лечили. Душа моя нашла опору, и поэтому, когда меня оттуда выписали, надежда следовала за мной по пятам.

Мало-помалу стал я освобождаться от тревоги, да и боль как будто отпустила. Пока осенью того же года она вновь не скрутила меня. Насела так, что я сразу же в больницу; на этот раз к доктору Наскову. Опять обследования, уколы. Больше месяца провалялся я во Второй хирургии. Бывали ох какие трудные часы. Но я крепился. Все убеждал себя: «Как бы то ни было, Спас, сжимай кулаки, и все. Главное, чтоб страх тебя не одолел и ты не сдался». Вот и держался изо всех сил. Хотелось мне как можно скорее выйти из больницы, но с диагнозом получалась задержка. Никак не могли его уточнить. Как ты думаешь, легко ли это: лежишь столько времени, врачи твои, да и ты сам ломаете голову, болеете душой от беспокойства, а ответа все нет. Отпустили меня домой на денек, но как только я обулся, волдырь на третьем пальце левой ноги почернел. Обратно в больницу. Вот уж верно: повадился кувшин по воду ходить — тут ему и голову сложить. Раз больница, два больница, а в третий раз — айда под нож! Резали мне что-то в животе, какие-то железы на спине. Сказал себе: «Пусть бы только этим дело и кончилось». Однако боль и на этот раз снова выкинула номер. Чувствовал, как украдкой подстерегаем мы друг друга.

Через несколько дней вырезали у меня ноготь на большом пальце. Началось заражение. Я быстро собрался — и в Софию. Там мне сказали: «Товарищ Дочев, честь и слава твоим трудовым победам, не хотим тебя огорчать, но придется отрезать тебе ногу...»

— Вот как...— сказал я и провалился в пропасть, и чем ниже я падал, тем глубже она становилась.

Спас — среднего роста, лицо смуглое, иссеченное глубокими морщинами; худой, как будто состоит весь из одних только мускулов; волосы у него такие густые, что кажутся свалявшимися. Закрываю глаза — хочу увидеть, каким он будет через десяток лет: пузатым, плешивым, с двойным подбородком. Но таким он, конечно, никогда не будет!

Есть у него одно невеселое воспоминание. Произошел этот случай лет двадцать назад. На объект, где работал Спас, прислали прославленного горняка, имя которого не сходило со страниц газет. «Работайте, как я, и через какой-нибудь десяток дней ваши имена прогремят по всей стране,— посулил он парням из бригады Спаса.— Вас и для кино снимать будут, начальство вам ручки целовать станет. Только учитесь у меня!» Но уже через неделю Спас сказал прославленному: «Проваливай-ка ты ко всем чертям! Ребятам нечему у тебя учиться...»

А ведь могло куда хуже получиться — душу свою покалечить люди могли. Потому что прославленный «горел на работе», прохлаждаясь в тени канцелярий и квартиры, а как пронюхает, что начальство близко, выскочит через заднее окошко — и в штольню. Вымажется в грязи и предстает нежданно-негаданно в таком виде перед начальством: смотрите, мол, каков я есть — на меня равняйтесь! — да похлопывает себя по груди, да подмигивает — понимал, что начальство хочет видеть его именно таким отчаянным работягой, которому ни холод, ни грязь нипочем. Жал вовсю на бригаду, чтоб бешеным темпом двигалась вперед, только вперед, и оставлял за собой уйму незавершенных работ. После второй бригаде приходилось исправлять и уровень, и все остальные его недоработки. И потому, что первая бригада снимала сливки, второй не удавалось заработать даже на хлеб. Спаса вызвали в окружной комитет партии. «Это правда, что ты сказал товарищу Х, чтобы он катился ко всем чертям?» — спросили его. «Товарищ Х — пустозвон»,— спокойно ответил Спас. Взяли его в оборот, сказали, чтоб в ближайшие день-два извинился, а нет — они его видеть больше не желают. Спас, конечно, не подчинился. Но три дня спустя пришел к первому секретарю комитета и рассказал ему все как есть. «Он меня понял,— вспоминал Спас.— Мое вам почтение, но славу и деньги надо заслужить честно».

— Чувствовал я, что с этим шутить нельзя, но снова заупрямился — ногу резать не дам, и все! Какая же у меня жизнь будет, если без ноги останусь? Решил повременить. Теперь я стреляный воробей, сказал я себе, поборюсь еще со своей болью — тогда и увидим, кто кого свалит. Вернулся в Пловдив. Сижу дома. Выжидаю. А боль меня не отпускает. Хочет, видно, сперва меня изнурить, а тогда уж одолеть окончательно. Говорю себе: «Спас, презирать ее надо, проклятую. Пускай сама сообразит, с кем дело имеет». Среди бела дня перед глазами моими все время колыхались черные стены. От муки вцеплялся в кровать, да так, что все ногти на пальцах изломал. Но не сдавался, не склонял головы, хотя порой чувствовал, что мутится сознание. Товарищи из окружного комитета говорили мне: «Что ты корчишься, как бечевка в огне? Погляди на себя — кожа да кости только и остались!» Снова протянули мне товарищи руку, не оставили в одиночестве. Земной поклон им, особенно товарищу Акабалиеву. Теперь, слышал я, стал он героем труда.

Через несколько дней говорят мне: «Спас, поезжай-ка в Чехословакию». «Ну,— думаю,— хорошо, когда рядом с тобой

люди». Человек должен уметь всегда и всему радоваться. Как только услышал, что поеду в Чехию, сразу почувствовал новую надежду, отодвинул свои тревоги. Вспыхнуло во мне такое желание поскорее избавиться от нечисти, которой кишит моя кровь. В Софии взял такси и отправился на аэродром, но еще в центре города меня так прихватило, что я почти в бесчувствии сполз с сиденья. Губы у меня побелели, сам весь посинел. Шофер — молодой парнишка — перепугался до смерти. «Я отвезу вас в Пироговскую больницу»,— предлагает. «Никакой больницы! — говорю.— Мы с тобой еще по земле тащимся, а мне надо поскорее в самолет сесть». Собрался с силами, вынул из кармана шприц. Согнул руку и сделал себе укол — ну, держись теперь, Спас! У парнишки моего глаза на лоб полезли: как же это так — сам себе укол! «Давай газу и жми,— говорю ему и себя в мыслях подбадриваю: — Браво, Спас, молодец, что не сдаешься ни телом, ни духом».

Весь испариной покроюсь от напряжения, задыхаюсь от боли, а стараюсь не сдаваться. Человек ведь не бесчувственный пень, но ежели тоска да отчаяние одолеют его — добра не жди, потеряет он храбрость, без которой жить ему никак нельзя.

Итак, оказался я в больнице в городе Теплице. Ну, что тут долго говорить? Так хорошо, что ни в сказке сказать!

Проходит неделя, а все одни обследования. Потом профессора говорят мне: «Мы, конечно, можем не говорить вам правду, но какой в этом смысл? Ногу придется отрезать».

Оказывается, заражение проникло не только в мышцы, но и в кость. В конце концов болезнь добилась своего. Понял я, что села она мне на голову крепко. Попросил пригласить в больницу болгарского посла в Праге Геро Грозева. Профессора профессорами, но все же надо посоветоваться со своим человеком. Товарищ Грозев сразу же приехал. Походил по больнице, встретился с докторами, с профессорами и под конец говорит мне: «Ничего не поделаешь. Но ты же мужчина, да и горняк к тому же — так что держись». Я и сейчас слышу его голос: тихий, ясный. «Ладно,— согласился я.— Только об одном буду просить: раз иначе нельзя — пусть отрежут ногу только до колена. Если сохраню колено, надену протез и снова буду жить». Профессора меня выслушали и пообещали, что так и сделают. На другой день ранехонько меня отправили на санитарной машине в Прагу. Там меня и оперировали.

Когда я пришел в себя — так и похолодел весь: ногу отрезали выше колена. Значит, конец!

Задняя часть двора за бараком — царство Мары Дочевой. Большая грядка помидоров, грядки огурцов, зеленого лука, перца, петрушки; есть тут и капуста, и даже тыквы. Одна-единственная зеленая полоска в центре рабочего поселка. На какой бы объект ни перебрались они, первая забота Дочевых — квартира, вторая — зеленая полоска. После обеда на закате солнца Спас садится у окошка, и взгляд его словно бы ощупывает по очереди каждое растение.

— Как-то становится мне легче,— говорит он.— Забываю, что я калека. Даже костыли отбрасываю в сторону. Кажется мне, что я снова в селе. Гляжу все, гляжу, а потом, как нагляжусь досыта, крикну жене: «А ну-ка, Мара, сорви мне два помидорчика, вон те...» — и показываю пальцем, какие именно. «И вон те перчики. Нарви еще петрушки. И накроши салатика; да приправь его поядреней».

Редактор многотиражки Марин Манчоров готовит репортаж о Спасе Дочеве. Оба они долго разговаривают, Марин записал уже все, что ему было нужно.

— А теперь,— просит его Спас,— щелкни-ка аппаратиком — сделай снимочек, но только со Спасчо и Младенчо. Должно же быть у меня фото с внучатами...

— Я готов!

Спас быстро отставляет в сторону костыли, берет на руки обоих ребятишек и стоит, слегка покачиваясь, на своей единственной ноге.

Редактор бросается к нему:

— Ну, к чему это?

Спас уставился в пол и качает головой. Ноздри его беспокойно раздуваются.

— Марин,— почти со стоном вырывается у него,— ты что же крест на мне ставишь! Нет, я не хочу, чтобы однажды поглядели дети на меня с этими костылями и подумали, что жил я из милости. Пусть они знают меня вот таким — сильным, гордым...

— И потекли день за днем... Одиночество все больше тяготит меня. Чехи — народ подходящий, улыбнутся, помашут тебе рукой. Но если не можешь ни с кем словом обмолвиться?! Как-никак, а боль от раны слабеет, проходит, зато другая — от одиночества — изматывает меня. Как же так — все молчать и молчать. Я не раз, бывало, говорил жене: «Не молчи». А она отвечает: «Молчу потому, что сержусь». «Не молчи,— настаиваю я на своем.— Плюнь мне в лицо или дай оплеуху, но только говори!» Всю жизнь прожил по-человечески, и вдруг две недели сплошного молчания. Измучилась моя душа. И решил я, что бы там ни случилось, возвращаться домой. Должен тебе сказать, что было это не прихотью. За те две недели понял я, что такое истинная боль. Вот тут, в груди у меня словно все прогнило. По ночам вытаскиваю карту шоссейных дорог Болгарии и мысленно еду по какой-нибудь из них. Гляжу по сторонам — на зеленые болгарские поля, на болгарские села, разбросанные вдоль дорог. И запомни мои слова: нет ничего лучше, как ездить по дорогам Болгарии, особенно на закате солнца. Да и при луне хорошо. Однажды,

глядя на эту карту, сказал я себе: а ну-ка, поставлю я точки в тех городах и селах, где есть у меня свои люди. Слава богу! Карты этой мне не хватило — столько было точек. Я тебя не дурачу, нет. Больше трех тысяч человек обучил я вот этими своими руками горняцкому делу. И люди эти рассыпаны по всей нашей стране. И кто меня где увидит: «Добро пожаловать, бай Спас!» — говорит. Увлекся я этим делом: ставлю точки на каком-то городе или селе и стараюсь припомнить человека, который тут осел. И действительно вспоминаю. И глаза его вижу, и голос слышу, всего его чувствую. Так успел я 638 человек повидать, потом устал и бросил это занятие.

Но вернемся к нашему разговору. Мучила меня тоска по Болгарии, сердце просто разрывалось на куски. Все вокруг казалось мне мрачнее мрачного. Озлобился я на весь свет. Сказал профессорам: «Или отпустите меня домой, или же я брошусь вниз с больничного балкона, и вы будете за меня в ответе!»

Снова обратился к послу: так и так, скажи им, чтоб меня выписали... Разошелся я вовсю, и в один прекрасный день легковая машина доставила меня к самолету. На аэродроме в Софии я сразу же увидел парторга Младена Грозева. Он подъехал на «Волге» к самому трапу и увез меня в Пловдив. Теперь заботу обо мне взял на себя доктор Христов из Второй хирургии. Каждый вечер приходил он к нам домой, чистил, промывал рану. И все больше мне верилось: конец мучениям. Но, видно, перебежала мне кошка дорогу. 22 ноября 1962 года собрался я в гости к двоюродным братьям в село Браниполе. На пороге — был уже поздний вечер, темнота кругом — зацепился я за что-то, выронил палку и повалился на землю. Новая боль, острая как нож, пронзила мне сердце. Я сломал культю ампутированной ноги. Пришел доктор Христов и сказал: «Хуже ничего не придумаешь». Воздаю, как говорится, ему должное — хороший доктор, не обманул меня. Три месяца я метался — мучился ужасно. Даже сейчас, когда думаю о том времени, не могу понять, как вернулся к жизни. Трехжильный я, видать, если выдержал такое. Да ладно уж...

Младен Грозев рассказывал:

— Много хлопот партийному комитету и всей парторганизации гидроцентрали «Батак» доставил своим поведением известный бригадир Спас Дочев. В конце января 1956 года дела на прокладке напорного трубопровода, где работала его бригада, двигались плохо. Некоторые рабочие праздновали все январские праздники подряд — не пропустили ни Васильев, ни Иванов, ни даже Бабин[1] день. Больше всех отличился сам бригадир. Когда Спас выпивал, он становился отчаянным скандалистом. Как-то ночью во время этих праздников, напившись, он стрелял из охотничьего ружья в окна, напугал всех жильцов, выгнал из дому жену и маленького сына. Был в такой ярости, что никто не отваживался попасться ему на глаза,— он все бил, швырял, ломал. Мне сообщили о его «подвигах». Вместе с секретарем Пещерского окружного комитета партии, который был тогда у нас в Батаке, мы отправились на стройку. Рабочие предупредили нас, чтобы мы не заходили к нему, потому что можем пострадать. Но мы зашли, поздоровались, а он и не отвечает, смотрит на нас свирепо исподлобья. Говорим, что пришли в гости — ведь праздник же. «Я ей покажу... пусть только сунется сюда — все кости переломаю»,— ударив кулаком о стол, прорычал он. Долго мы увещевали его, уговаривали оставить жену в покое, объясняли, что она ни в чем не виновата, что своим поведением он позорит доброе имя коммуниста, прославленного горнопроходчика, которого знает вся страна. Под конец он дал обещание, что больше никогда не будет обижать семью. Тогда мы сказали его жене, что она может возвращаться домой. Считали, что конфликт улажен. Не прошло и часа, как жена его прибежала с ребенком в комитет. Вся в слезах, она рассказала нам, что он опять ее выгнал и хотел избить за то, что она, мол, опозорила его перед нами. Как ни объясняла она ему, что не звала нас сюда, он не унимался.

Мы вызвали Спаса в комитет. Еще в дверях он яростно набросился на жену. «Так ты меня перед партийным комитетом опорочить хочешь? Вот я тебя проучу»,— скрипел он зубами. Едва его утихомирили. Решили, что без строгого партийного взыскания теперь не обойтись. Отослали его домой, а жене посоветовали не показываться ему на глаза, пока он окончательно не придет в себя.

Партийное собрание так его продраило, что он в себя прийти не мог. От имени партийного комитета я предложил за недостойное поведение, за то, что он уронил престиж члена партии, исключить его из ее рядов. Спас все это время молчал, опустив голову. И только после нескольких напоминаний о необходимости выступить он произнес, прикрыв глаза рукой: «Мне нечего сказать. Пусть партия решит». Я видел, что он искренне раскаивается, но стыд и гордость не позволяют ему говорить об этом. Собрание все же решило оказать ему снисхождение и вынесло строгий выговор с предупреждением.

Не раз после этого Спас признавался: «Партия впервые так наказала меня, но это было полезное наказание. Большей помощи я в своей жизни еще не получал». С тех пор ничего подобного с ним больше не случалось. Семья его зажила очень хорошо. Через несколько месяцев партийное взыскание с него было снято.

Дверь с шумом распахивается. На пороге Добра — курьерша стройуправления — размахивает письмом.

[1] Праздник повивальных бабок.

— От Димчо, от нашего солдатика!..— Мара срывается с места и подбегает к Добре.

— Ну, Спас теперь будет на седьмом небе от радости. Он и Мишо, и Димчо любит так, ласкает и балует их, исполняет все капризы... Уже взрослые мужики оба, а Спас и во сне все про них говорит... Суровый, резкий он, когда рассердится, и капли мягкости в глазах его не увидишь тогда, а вообще-то он добрый, очень добрый и сердечный.

В тот день Спас несколько раз перечитывал письмо Димчо. Он стоял на пороге, глядел на вершину холма, на распускающиеся розы, светло-зеленые бараки. Солнце уже забралось за верхушки фруктовых деревьев, за почерневшие обшивки слуховых окошек, а Спас все стоял в наброшенном на плечи ватнике, без головного убора, не хотел расставаться с письмом Димчо.

Представьте себе худое, иссохшее, потемневшее лицо, угловатое, загорелое. С выпирающими скулами. Изборожденное глубокими складками. Острый подбородок. Резкий профиль. Пронизывающе-острый взгляд. Резкие, категорические слова без всяких жестов. Даже когда он за столом — долго, долго молчит, прежде чем промолвит одну-две сдержанные фразы. Потому-то все единодушны в мнении: Спас Дочев — суровый человек. Это первое, что бросается в глаза при встрече с ним. Первое. Только первое... Потому что потом приходит второе, третье, пятое и т. д. Это и бесконечная, я бы сказал, ослепительная радость, которая сияет на лице Спаса при каждом воспоминании о Димчо; и глубокая искренняя печаль при мысли об ослепшем шахтере, для которого Спас собирал у людей деньги, чтобы он мог поехать за границу лечиться, или о горестной судьбе болгарки, которую он встретил в одном из варьете Дамаска, и та озабоченность, которую он проявляет, помогая устроиться получше с жильем то одному, то другому члену бригады, участвуя в их хлопотах с устройством детей и т. д.

И еще я думаю о том, что испокон веку живым людям всегда доставалась на долю боль. И она не признает никого другого, кроме живого человека. Человек и боль — это вечно замкнутый круг. Из него может выбраться только тот, кто знает тепло собственных слез, горький вкус застрявшего в горле комка, печаль разлуки.

Спас читает письмо Димчо и волнуется — он не может скрыть этого. Потому что его лицо — его резкое, угловатое, словно вытесанное из камня лицо — его выдает... Оно буквально светится.

— Через три месяца — снова в Чехословакию. Вернулся оттуда с протезом, еле-еле передвигался на костылях, пока не привык ступать на него. Наконец забросил костыли и зашагал с одной только палкой. Тогда мы уже поселились в Пловдиве, обзавелись обстановкой,— пенсия ведь идет! Ну, говорю себе, никогда еще у тебя не было все так ладно, как сейчас. Надо постучать по дереву, чтоб и дальше так шло. Впервые в жизни жил я так. В Пловдиве погодка всегда хорошая — ни тебе сильной жары, ни холода, солнышко греет ласково. Выйду рано утром из дома и брожу по берегам Марицы. Хожу, хожу, хожу. Выбьюсь из сил — сяду и говорю себе: «А я живу, вот я!..» Говорю это сам себе, потому что никто ни о чем меня не спрашивает, никто ни за что с меня не взыскивает. И чем больше заживает моя культя, тем больше одолевает потребность ходить, двигаться, делать что-то такое, что мне под силу и вообще полезно для жизни. Но от меня ничего не требуют. Ну, а похожу ли я по левому или по правому берегу Марицы, пойду ли по течению или против него — так ведь это никого не интересует. Жил я без цели, как бы впустую — что это за жизнь без ненависти, гнева или сострадания. По ночам охал, вертелся, как чесоточный, в постели, пока не рассветет, уж и пачка сигарет мне не помогала. И все думал, все старался распутать узлы, которые связали жизнь мою с Пловдивом. Вот тогда и понял — терзает меня теперь новая, неведомая боль, оттого что знаю — ничего со мной больше не случится, что нет у меня ни дел, ни забот. Вот так и живу: светает — смеркается, смеркается — светает. И больше ничего... Потом и все тебе становится трын-трава. Ведь некого даже и выругать последними словами. Вот про какую боль говорю тебе. Не знал я ее ни когда работал в тоннелях у нас, ни в Сирии, ни когда маялся по больницам. Она совсем не похожа на ту, в отрезанной ноге. Хоть и идешь по земле, но чувствуешь себя униженным, подавленным. Ну, разве можно так жить?.. Человек должен работать, действовать, все остальное — это самообман, заблуждение.

И вот как раз в этот критический момент приходят ко мне Кольо Миневский и Иван Латев. Их ты должен помнить по Батакскому каскаду. Но Кольо был уже парторгом ЦК, а Иван — уполномоченным Центрального совета профсоюзов — в Медете. «Ну, браток, айда с нами!» — «Куда я пойду — вы что, не видите?» — и показываю им протез. «Ничего, пошли с нами в Медет. Там тебе, как говорится, в самый раз развернуться, и снова будет прок». «Какой от меня прок, я уже для работы своей не гожусь,— стою на своем.— Не хочу, чтобы завтра парни наши говорили, что я сижу у них на шее, что нахлебником стал». Пока шел этот разговор, Мара накрыла на стол, поставила чарки, вот тогда уж началась настоящая беседа. Заговорили мы о том, о другом... Отвел я душу. Наутро быстренько собрался и отправился с ними в Медет. Хорошо запомнил день этот —

понедельник, 30 июля. В ту ночь в душе моей произошло самое настоящее потрясение. Я чувствовал, как внутри у меня все пришло в движение и постепенно, с грохотом встало на свои места. После этого потрясения душа моя стала еще выносливей. И овладела мной жажда жить как можно дольше. Я напрягал все силы, чтобы достигнуть этого, и, хотя по ночам время от времени снова ощущал боль, притворялся, будто не замечаю ее. И я жил, потому что не каждый знает, что́ значит для человека вернуться к жизни.

После некоторые переусердствовали в своем рвении и писали в газетах, что, прибыв в Медет, я, мол, заявил: «Горю энтузиазмом отдать последние свои силы делу построения социализма». Другие называли меня подземным Мересьевым. А на нашем объекте был техник Христо Дечев — он и не читал, и не слыхал про этого Мересьева и вместо Мересьева стал называть меня Мирозовым и только действовал мне на нервы. Никакой я не Мересьев и не Мирозов, а Спас Дочев из Ново Село Троянского округа. И почему это я должен походить на того или другого, когда я — это я. И уйма народу знает меня как такового.

А вот почитай тут. Это сегодняшняя газета, и кто-то напечатал от моего имени вот такое высказывание, читай: «Одобряю программу Болгарской коммунистической партии, потому что она ведет нас к сияющим вершинам коммунизма!» Что одобряю программу партии — верно, одобряю ее и готов, как говорится, ради нее в огонь и воду. Но разве ты когда-нибудь слышал от меня такие слова: «Сияющие вершины...» Скажешь, привередливый я человек? Ничего подобного. В том все дело, что как придут ко мне газетчики, как примутся выспрашивать про то, про другое. Крутят, вертят, но всеми правдами и неправдами стараются меня на эту дорожку столкнуть и свои словечки дать мне взаймы: «Есть у меня и пенсия и квартира, но разве могу я сидеть сложа руки, когда весь народ героически борется за выполнение пятилетнего плана!» А я говорю им: «Да не так это». Они стоят на своем: мы, говорят, обобщаем, политически обосновываем твой поступок. Понимаю, что по-ихнему как будто бы так оно и есть, да ведь могу же я по-своему говорить. Ты помнишь, еще до того, как отрезали ногу, я действительно сделал много нужных дел. Сколько тоннелей проложил, да в каких местах препаршивых. Сколько людей обучил, специальность в руки дал... В те годы Мара целый чемодан моих орденов, медалей, грамот разных набрала. Но о том, что я делал тогда, ведь никто у меня ничего не спрашивает. Всё про нынешнее... Глядите, мол, какой он! Образец патриота и партийца. Одного только еще никто нигде не написал: что я нарочно ногу себе отрезал... Ох, матушка родная, как подумаю, стыдно мне, что все ходят на двух ногах, что все — и тут, на объекте, и всюду куда ни глянь — кругом нормальные, обыкновенные люди, а я ковыляю на своей одной ноге, как побитая собака. А они... честь и слава Спасу Дочеву!

Скажу тебе напрямик, и ты тоже порой разводишь эту болтовню. Читал я и твою писанину. Да погоди ты, дай доскажу свою мысль, раз уж начал. Вот, возвращаюсь я со смены. Еще на дороге меня встречает моя мелюзга — внучата Спасчо и Младенчо. И как только входим в дом, Младенчо подбегает к холодильнику, чтобы взять оттуда бутылочку из-под лимонада с ракийкой и угостить деда. Совсем еще малыш — три годика всего, он и дотянуться до ручки не может, старший братишка ему помогает. После пододвинут стул, застелют его салфеткой, поставят бутылочку, рюмку, нарежут на тарелочке помидорчиков и забираются ко мне на колени. Гляжу я на все это, и душа радуется. Сколько бы неурядиц ни было у меня в тоннеле, все сразу как рукой снимает. Вот говорю тебе как на духу, что именно ради детей этих живу я, а сам снова буду таскаться по объектам, потому что сын мой не останется со мной в Пловдиве — у него ведь специальность такая, что по стройкам приходится скитаться. Может, скажешь, стыд мне и срам!.. Как же!

Нет, я не залежалый товар, чтобы мне рекламу делать,— может быть, сто́ю подороже. Говорю тебе: я Спас Дочев, горняк, родом из Ново Село Троянского округа, таким я был, таким и останусь — не могу без людей. Вот сколочу себе хибару возле тоннеля, заберусь в нее и буду там жить. Кто-нибудь, может, и скажет тогда, что это новый почин или еще что, не знаю, да только это неправда будет. Потому как я это сделаю, чтобы мне было хорошо. Мне самому было хорошо. Ведь мне тогда будет с кем словом обменяться, кто-то меня о чем-то спросит, кому-то я отвечу... Вот так-то. Мне надо, чтобы рядом люди были. Я так понимаю жизнь... Приятные речи слушать хорошо, но лучше, когда говорят правду. И всю правду!.. Потому что прямо тебе скажу — не люблю ничего недоделанного до конца. Неполная правда хуже обмана. И от нее бывает больнее, чем когда ногу отрежут.

Но вернемся к моей истории.

Бросил я, значит, якорь в Медете. С неделю, а может чуть побольше, держался. И вдруг ночью снова почувствовал боль, видно, ждет проклятая случая, чтобы опять вцепиться в меня. Но я пренебрег ею. Сделал вид, что не замечаю ее. Твержу в уме: «Извини, дорогая, но мы же с тобой расстались!»

Но все это было впустую.

Мара Дочева рассказывала:

— Вся моя жизнь прошла со Спасом. Вверх или вниз уводила она меня, а я все со Спасом была. То, что мы с ним пережили, нельзя ни забыть, ни описать. Сколько всяких бед случалось в тоннелях.

То обрушится свод, то река прорвется. Жены других горняков охают, ломают руки, а я знаю: Спас не сдастся. Что бы ни случилось, он уцелеет. И другое знаю — до тех пор, пока не наладят все в тоннеле, он домой не вернется, пусть даже пять дней не будет вылезать из этой норы. Ну, Мара, говорю себе, берись за стряпню. Испеку хорошую баницу, зажарю курицу, налью в лимонадную бутылочку троянской ракийки — и прямо к штольне. Все меня знают — и рабочие, и инженеры, и техники, и никто не гонит. Бреду в темноте по грязи, шлепаю по лужам, задыхаюсь от дыма, но не ухожу, пока не найду Спаса. А он как увидит меня, соберет своих ребят, обопрутся они о какую-нибудь балку или камень и уплетают в свое удовольствие мою стряпню... Стою я, гляжу на них и думаю: что бы ни случилось, всегда буду со Спасом рядом. Когда его свалила эта проклятая болезнь, я сказала врачам: «Он у меня поправится». Пять месяцев спала я возле его постели на полу, чтобы быть всегда у него под рукой. Только застонет — вскакиваю и сразу же за шприц: укол делаю... «Ох, Мара,— говорил мне он не раз,— за то, что ты для меня сделала, я у тебя в неоплатном долгу». А за что, собственно, ему было расплачиваться? Разве я не по своей воле шла всюду с его бригадой? Закончили строить в Медете — отправились в Водна-Кулу на Выче, теперь вот тут — в Девичьем ущелье строим. Мы со Спасом всегда, бывало, первыми на новое место приезжаем, оглядим все — где будут жить люди, в каждый дом заглянем, подыскиваем каждому из бригады подходящее жилье. «У этих двое ребятишек,— говорю я Спасу,— и оба такие шустрые, им надо жилье попросторнее, а те — бездетные, им можно поменьше». Потом принимаемся со Спасом беседку мастерить, розы высаживать, дорожки прокладывать. У меня всяких хозяйственных дел на объекте — завались!.. Да, так я и прожила со Спасом всю жизнь в вечных хлопотах и заботах о нем.

Младен Грозев рассказывал:

— Между сменами разгорелось соревнование. Не успеет еще одно звено закончить работу, как другое уже в забое. Помогает товарищам крепить свод, грузить побыстрее породу. Бригадир Спас Дочев приходит на стройку электростанции с каждой сменой. Неутомимый, неукротимый, с живыми, все видящими глазами, он не только отдает распоряжения, но и сам мастерски ставит крепления и грузит горную породу. А парни из его бригады один другого ловчее были. И проходчики, и звеньевые друг другу не уступали в темпах. Но впереди всех был Спас. Плотный слой пыли, смешанной с потом, покрывал его лицо, и только глаза сверкали в полумраке.

Позднее комитет решил направить бригаду Спаса Дочева на участок Трети Прозорец. Горняки Спаса очень устали от продолжительного напряженного труда в напорном трубопроводе электростанции и собирались в отпуск, отдохнуть. Мы пришли к ним. Разъяснили им важность задачи. Люди, однако, продолжали настаивать — надо отдохнуть, да и зима уже наступила...

— Спас, помнишь про это?

— Как не помнить. Тогда Младен Грозев и Миневский вызвали меня и давай жать на сознательность. «Спас,— говорят,— ведь ты коммунист. В бригаде у тебя есть еще коммунисты — вы должны задать тон остальным». И я задал тон. Сказал жене: «Мара, ступай возьми со сберкнижки деньжат!» И поехали мы всей бригадой на автобусе дирекции на пару дней в Пловдив. Остановились в «Тримонциуме», взяли самые дорогие номера. Дважды на дню принимали ванну, а потом, как коты, зажмурив глаза, нежились на белых простынях. Я сказал тогда Маре: «Ты денег не жалей... Давай, пока есть». Потом вернулись на свой объект, а оттуда прямиком на Трети Прозорец. У входа в штольню нас ждал Младен Грозев. Он был в нас уверен, да и я про себя решил: никаких фиглей-миглей, хорошенько поработаем, и делу конец! Многим обязан я Младену Грозеву. Не то что на Трети Прозорец — на край света отправился бы я и глазом не моргнул, если б он мне сказал, что надо сделать это. Да вот и теперь, хоть я уже и не человек, а полчеловека, подай мне он только рукой знак — в лепешку разбился бы, а побежал.

В больнице Спас тоже все Младена Грозева вспоминал. Да разве только его одного? Думаю, что в этом своем долгом-долгом сражении с болью горняк Спас Дочев победил потому, что он ни часу не оставался один. Речь идет не о посещении друзей и членов семьи в белой тишине больницы. А о другом: в больнице он вызывал в своей памяти и двух ремсистов[1], с которыми Девятого захватил шахту, разыскивал товарища Бакырджиеву, принявшую у него заявление о вступлении в партию, с ним была его жена и сыновья, сноха и внуки, Петко Черното, Христо Лесев, Мирчо Кацарски. Его прищуренный взгляд видел Младена Грозева и Петко Балабанова, Кольо Миневского и Ивана Латева, Йордана Акабалиева и Таньо Бахчеванского... Длинную колонну из трех тысяч молодых мужчин, которых он сделал горнопроходчиками. И жен этих трех тысяч мужчин. И их детей... И в часы бессонницы он протягивал руки, чтобы ощутить тепло близкого человека, вспомнить знакомое лицо.

Одиночество. Эффектное слово. Для некоторых оно, наверное, звучит даже возвышенно, потому что, мол, гордое одиночество — признак силы. Оно и в самом деле производит впечатление! Но только как подумаю я, что именно от нее, от этой одинокой силы одинокого человека брал

[1] Член РМС — Рабочего молодежного союза.

свое начало фашизм... что она была тем молоком, которое вскормило его... Когда подумаю... Меня охватывает желание бежать скорее к Спасу, войти в его комнатку и просить: «Рассказывай, рассказывай обо всем — о себе, о болезни, о том, что у тебя на душе! И о людях, которые всегда с тобой!»

— В Медете, как я уже тебе говорил, жизнь моя как-то наладилась, стала спокойнее. Самое главное — у меня снова была цель. Тогдашний директор Гидростроя инженер Дырваров подарил мне трехколесную мотоколяску. «Да брось ты эту жабу — ведь не машина она и не мотоцикл»,— подтрунивала Мара. «Ни в коем случае! Не придирайся, жена,— прошу ее.— Жаба не жаба, а она у меня делу служить будет». Потому, должен тебе сказать, хоть Латев и Миневский звали меня сюда, чтобы я просто отирался здесь среди всей этой суматохи, но меня на мякине не проведешь. Тут снова такие дела открылись передо мной, ну что объяснять: тоннели, каналы, прорывы, бетонирование. Голова кругом пойдет. Ведь я в работе никогда слабаком не был. Накинулся на нее как зверь. Предоставили мне «Волгу», и стал я на ней гонять по всей Болгарии, по всем шоссе и проселкам, по селам и городам — всюду, где только были мои горняцкие кадры. Некоторые уже забросили свою профессию, но как увидели меня, снова заговорила в них горняцкая душа, пошли с охотой. За неделю сколотил бригаду. И все пошло как надо, как прежде — утром, в обед, вечером веду смену в тоннель. Где в своей коляске еду, где с палкой ковыляю, но занимаюсь своим делом. Как бы тебе это объяснить? Это такая штука, что и не объяснишь. Радуешься, что живешь, что ты не одинок, радуешься своим сыновьям и внукам... Вовремя справились в Медете, и подобру-поздорову — айда на другую стройку. В тот раз занесло нас ветром на Вычу. Стали строить на Водна-Куле новый объект, где еще и к нулевому циклу, как говорится, не приступили. Так изводили нас тут туманы, думали, задушат совсем. Но кончились туманы, и начались снежные бури, завалило нас снегом, пока мы вели наружные работы, а потом стали тонуть мы в реках ила и жидкой грязи. Но не сдавались. Вижу, мой горняцкий народ не отворачивается от меня, да и я не мелочен — доволен людьми. И никогда никого не заставлял становиться образцом для других. Раз ты Стоян — Стояном и будь, а не Спасом.

Не люблю нарочитость и всякое такое. Потому как — что верно, то верно! — люди хороши такие, какие они в действительности. И незачем их приукрашивать. Важно их понимать. Найти мост от себя к ним. Ты, может, спросишь: «А как найти этот мост?» Почем мне знать? Да и не мне же тебя поучать. Говорю тебе так, может, потому, что сам уж очень не люблю, когда меня поучают. Избави бог от таких, что все тужатся меня подковывать. Если ты человек с головой и духом крепкий — нет никакой нужды, чтоб тебя за ручку водили.

Но вот однажды моя проклятая боль снова накинулась на меня. Видно, надоело ей тихонько таиться. Тогда-то я и убедился, что она просто ждала подходящего момента... Снова унес меня самолет в чужестранные больницы. На этот раз уже не в Прагу и Теплице, а в Берлин.

Если бы я мог знать тогда, что́ еще меня ждет!..

Я видел Спаса в тот день. Лицо его ничем не выдавало того, что он незадолго до этого пережил в крутой штольне тоннеля. Только глаза как-то по-особому горели — был он взволнован. Наконец заговорил. Говорил напряженно, с продолжительными паузами. Время от времени оборачивался к окну, глядел на караваны грузовиков, которые проносились по шоссе,— казалось, он их считает.

Подошло время обеда. Спас был очень голоден, он вынул из кармана ватника ломоть хлеба и кусок колбасы. Только было откусил, как...

— Поглядел я вверх, и волосы у меня стали дыбом. Где-то там сорвался большущий камень и с грохотом катился вниз прямо на меня. Да какой там камень — целая скала мчится как бешеная. И прямо на меня. Смотрю, куда бы мне податься,— некуда. Понял — теперь мне крышка! Умереть сейчас и так?! Уставился на нее, оцепенелый, и вижу: мой маленький сын Димчо — он сейчас в армии, но мне так показалось — вскочил на этот камень и вприпрыжку бежит к нам вниз по штольне и кричит: «Папа, берегись, папа!..» Его голос и вывел меня из оцепенения. Собрал я последние силы, повис на костылях, подтянул свое изувеченное тело как можно выше. И в эту секунду подо мной между широко расставленными костылями пронеслась эта каменюга, и искры, крупные как зерна, разлетелись по штольне. Я опустился на бетон и лежал обессиленный минуту, две, три... Вот так и на этот раз я перескочил через пропасть. А ведь как мучительно это было. Почему, зачем мне сейчас умирать? Сейчас, когда внучата и дети ждут меня. Не хочу! Слезы душили меня. Вокруг — никого, а я всхлипываю, плачу от жалости к самому себе. И вдруг чувствую — живот у меня свело. Вот оно человеческое нутро — и страх найдет, и расчувствуешься, а желудок требует своего. Я поднял хлеб и колбасу, сдул с них пыль и продолжал есть. Подкрепился, и страх мало-помалу рассеялся. Встал — и вот я дома. Шел всю дорогу один и так никого и не видел; в голове у меня все мельтешит тот камень — валится он сверху, валится на меня...

— Расскажу тебе о том, что было в Берлине. Изготовили мне новый протез, самый что ни на есть современный. Потом — и что им только взбрело на ум, этим врачам,— решили они подвергнуть меня, так сказать, всеобщему обследованию.

Началась основательная проверка всех моих механизмов. И вдруг как гром среди ясного неба: левая почка опущена на два сантиметра, а в мочевом пузыре — камень с черешню. Перестали лечить ногу, занялись почкой. А боль нестерпимая. Потом мне сказали, что в беспамятстве я разговаривал со своими родными, которые уже давно умерли. Звал их.

Тридцать пять дней провел я там. Глядел сквозь окошко на серое берлинское небо. Размышлял над разными случаями из своей жизни, вспоминал друзей, да и так вообще — то одно, то другое. Голова моя была, казалось, совсем пустой от боли, но я не сдавался. Вызывал всякие воспоминания, знал, что только так сумею не пасть духом. Заставлял себя собрать все свое презрение к боли. Она накидывалась на меня, доводила до обморочного состояния. Но я терпел. Никаких охов-вздохов — только презрительное молчание. Я вообще уважаю тех мужиков, которые умеют молчать, когда надо.

В январе 1967 года меня выписали. На легковой машине доставили на аэродром. Оттуда на самолете в Болгарию. Я, разумеется, опять на стройку. И вот в один прекрасный день нежданно-негаданно для моих появляюсь я дома и кричу: «Ну, здравствуй, Мара! Это я, встречай меня!..» Вечером приоделся и отправился по квартирам своих ребят из бригады. Знал: какое-нибудь дело да ждет меня, придется встревать в него сразу же. Может, дело и пустячное, но оно меня ждет...

Мы едем на «москвиче». Сегодня у Спаса день рождения, и он еще за три дня сказал мне: «Встанем пораньше и сразу же покатим в Велинград, в самый лучший ресторан». И вот мы взбираемся на холмы, спускаемся в утопающее в зелени ущелье, где течет Яденица, проносимся мимо огромных ребристых скал, нависших над узкоколейкой. Мара поправляет на голове косынку и все возвращается назад, к ушедшим годам: «Спас, помнишь?.. А тогда?.. Как тот, ну, помнишь, тот?..» Спас молча кивает, иногда дополняет какими-то подробностями. А Мара тихонько смеется. Потом и она замолкает. И мне кажется, что на нее сейчас нахлынули смешные и милые воспоминания, связанные со Спасом... А тот вдруг вздыхает и тихо, почти шепотом говорит: «Эх, Мара, Мара... Грешен я перед тобой, очень грешен...» «Знаю,— отвечает она вполголоса и смущенно машет рукой.— В молодости был сорвиголова и гуляка. Но я себе говорила тогда: ничего, перебесится... Не весь же век ему буянить...» Спас ласково улыбается и говорит как-то мечтательно, отстраненно: «Мара, когда стану отдавать богу душу, не сердись, если придут ко мне все те женщины, которых я любил. Самые красивые! Пусть придут, приласкают меня. Посидят возле меня... Только и всего». Потом откинулся назад, оперся руками о костыли. Я поглядывал на него уголком глаза: был он серьезен. Ни в голосе его, ни на лице не было и тени иронии. Ждал, что жена всхлипнет обиженно. Но она молчала. Потом протянула Спасу куртку и сказала: «Как бы нам не забыть купить тебе шерстяную фуфайку». Но Спас в эту минуту, глядя на меня, спросил: «Ты меня понимаешь?» «Да,— ответил я,— конечно...» Но сам подумал: Спас позирует. Слишком красиво звучит: когда придет мой смертный час, хочу, чтобы меня проводили женщины, которых я любил. Тогда я еще не мог допустить, что к этому разговору с печалью и удивлением я вернусь несколько позже... менее чем через год! Я поддерживал тогда гроб с мертвым телом Спаса; вокруг — рыданья и скорбь, а я думаю о тех женщинах, которых Спас любил при жизни... И о другой женщине. Единственной.

Но это было позже. А пока мы ехали в Велинград праздновать день рождения Спаса.

— Помню, было это в воскресенье. Бригада разбрелась вся по тоннелю. Опершись спиной о кузов грузовика, я смотрел: ребята разошлись по своим рабочим местам и взялись за дело, пыль столбом стоит. Готовимся к новому понедельнику. Бригада наша и сейчас имеет такую привычку — в воскресный день, с утра до обеда, наводим порядок вокруг забоя, готовим материалы, подтягиваем воздухопровод. Чтобы все было в полном порядке — в понедельник ребята мои кидаются на работу как черти. Снуют мои люди вверх-вниз, все идет своим чередом, только вдруг чувствую — меня словно подкосило. Кругом черные тучи надвинулись — сдавливают грудь, дышать невмочь... Ну, думаю, конец! Конец тебе, Спас. Ребята увидели, что я на земле, подняли — и в грузовик. Отвезли домой. Был я уже без сознания. Положили меня на кровать, боль в груди все же чувствовал. Мара выбежала на дорогу с плачем: «Ох, умер Спас! Господи!» Сбежался народ.

Той же ночью отвезли меня в софийскую больницу. Срочно вызвали врачей, профессоров — и все в один голос: инфаркт. Уложили. Лежу как бревно. Светает ли, вечереет ли — не знаю. Где-то за стенами кипит жизнь, грохот стоит от ее водоворотов, а я в больнице ничего не слышу, ничего не вижу. Так прошло двенадцать дней. А на тринадцатый вышел из себя и говорю им: «Нет у меня никакого инфаркта, все это от ноги, люди добрые!» Если спросишь, как пришло мне это в голову,— скажу. Догадался по самой боли — она всегда начинается одинаково. А они в ответ: «Ничего ты не понимаешь. Чтоб не смел шевелиться!» Но ты же меня знаешь: я упрямый. Улучил момент, когда вокруг близко не было персонала, и, как говорится, с цепи сорвался. Схватил свои костыли

и топ-топ-топ — прямо в уборную. Выкурил одну за другой две сигареты и плюхнулся, как тюк, на пол — от табака стало мне худо. Сбежались врачи. Окружили меня и ждут, когда я отдам концы. А я закутался в белые простыни и подмигиваю им — нет, мол, никакого инфаркта, это нога, нога моя, считай, пропала... Никак они не могли со мной сладить и потому в конце концов согласились: отправили на аэродром, а там в самолет и опять в Чехословакию, в город Теплице. Тут уж болезнь моя выкинула самый мерзкий номер. На четвертый день и на правой ноге у меня открылась рана. «Пан Дочев, очень сожалеем, но это уже гангрена на здоровой ноге». И еще говорят: «Пан Дочев, придется резать и ее...» Черный туман заволок все передо мной, похолодел я весь. Потом собрался с силами и говорю врачам: «Ладно, отрежьте мне и вторую ногу, только сперва придется сделать кое-что другое». Вытаращились они на меня, ждут, хотят услышать, что же это такое им надо будет делать. А я как рубану: «Сперва отрежьте мне голову, а уж тогда здоровую ногу».

Перевезли меня тогда в Прагу и поместили в специальную клинику, где приживляют искусственные вены. Начались операции на правой, здоровой ноге — конца им не было. Сменили мне вены. Лежал я в палате с самоновейшей аппаратурой для переливания крови, массажа сердца и искусственного дыхания. Я просто шалел от боли, кричал в беспамятстве... На шестой день после операции чувствую, что-то теплое поползло по ноге. Захохотал как помешанный, и, кто его знает, может, врачи и в самом деле решили, что я спятил. Смеюсь до слез и сквозь слезы объясняю чехам, что вот это тепло делает меня богаче самого большого богача на свете. Нога, нога моя поправится! Врачи не верят. Качают головой, пожимают плечами. А я смеюсь, смеюсь до икоты, и ничто не может меня остановить. Однако дня через два они уже пожимают мне руку, говорят: «Браво, пан Дочев!» Но короткой и горькой была эта радость. Черт знает отчего началось заражение на левой ноге и разошлись швы на культе. Снова взяли меня в операционную, положили на стол и отрезали еще шесть сантиметров от левой ноги. Зашили на этот раз специальными серебряными нитками. Через два дня — воспаление. Боль ужасная. Думаю, если бы я родился не таким упрямцем, то наверняка уже поставил бы точку на своей жизни... После третьей операции обессилел я совсем. Пришел в себя обмотанный с головы до ног резиновыми шлангами, проводами, стеклянными трубками — чем только хочешь. А пошевельнуться нет сил. Значит, был я на самом краю могилы и, видать, перескочил через нее. А почему я так решил? Да потому, что вдруг покурить захотел,— разве умирает человек, ежели у него на уме сигарета? А вот как заполучить ее? Стал просить сестричек — они сперва ни в какую. Но все же уговорил. Одна встала у двери караулить, а другая поднесла ко рту сигарету. Затянулся я раза два, да так, что дым до самых пяток дошел. Ладно уж... Зато дух свой и волю, можно сказать, вспять повернул.

Узнал я как-то о недостойном поведении одного прославленного бригадира на стройке и был просто потрясен. Вот какая с ним произошла история. Инженер Х, один из руководителей стройки, имел какие-то личные счеты с начальником объекта. Но то ли сил, то ли смелости ему не хватало, чтобы выступить против него прямо. Был он желчным, сухим, но, встречаясь с человеком, что занимает должность повыше его, сразу же надевал на себя маску любезности. И вот этот Х принялся что ни день приглашать к себе нашего прославленного горняка-бригадира. Возит его в своей машине и всю дорогу обрабатывает, что́ да как сказать против начальника объекта на заседании хозяйственного совета или на профсоюзном пленуме. Расчувствовавшись от такого к себе внимания, почета и уважения со стороны начальства, совсем размяк наш бригадир. К тому же тот от него ничего взамен и не требовал, кроме как слушать, что ему говорят и самому говорить то, что ему скажут. А почему бы и нет?! Сначала говорит он это на совещании, потом на пленуме, после на сессии... А слова его имеют вес. Ведь не инженер Х или У говорит, а знатный бригадир, герой труда и прочее. Звучат они по-другому. Да. Но и совесть его по-другому реагирует. Поэтому-то после подобных выступлений бригадир, напившись в местной забегаловке, притаскивает к порогу дома, где живет секретарь партийного комитета (секретарь и инженер Х не ладят меж собой) ящик пива, выпивает его и заводит разговор. Секретарь парткома говорит бригадиру: «Я тебя хорошо знаю. Уходи! Нам нечего с тобой объясняться». Но тот ни с места и продолжает настаивать: «Начальство, если не сядешь выпить со мной пива, руки на себя наложу. Душу мою покалечили... Жизнь у меня, можно сказать, конченая, а ты меня гонишь...» А сам чуть не плачет. Но на следующий день опять старая история: легковая машина, обработка, пламенные речи известного бригадира... Рассказал я все это Спасу. По сей день помню, как исказилось гневом и болью его худое, изможденное лицо. «Ну и проститутка!» — только и промолвил он сдержанно, откашлялся и сплюнул в сторону. Жена его слышала мой рассказ. «Если б ты только знал, как его любил Спас. Подобрал его, что называется, на улице, как к брату родному относился. Теперь долго будет сам не свой. Такие переживания могут его подкосить». И я подумал тогда о той боли, от которой не помогут ни инъекции, ни самые современные аппараты. Потому что она разъедает душу человека.

И мне так хотелось тогда сказать ему: «Спас, давай поговорим как мужчина с мужчиной — разве не пришло время спросить: «товарищ» — что означает это сло-

во сейчас? Что означало оно прежде, мы знаем, а что теперь? Что нужно, чтобы быть товарищем? Скажи мне, да разве может быть товарищем тот, кто мечтает жить на готовом, кто лжет себе и другим, кто живет, а на самом деле только существует, прозябает? Какой же он нам товарищ?

Товарищ, не время ли серьезно задуматься над противоречием, которое заставляет нас беспомощно удивляться тому, что кто-то утверждает, будто верит в коммунизм, а сам в то же время — мещанин и ничтожество, эгоист и подлец, предающийся жалкой суетности и мелкому свинству? Товарищ, ответь!»

Я запомнил и глаза Спаса в тот день. В них были ненависть и гнев, которые сгущали черноту его взгляда. Его глаза — строгие и гордые — стали тогда маленькими и острыми, превратились в узкие щелочки.

Однажды, еще в первые дни нашего знакомства, Спас сказал мне:

— Девятого сентября в нашем селе было всего трое ремсистов. И был у нас только один сломанный пистолет с двумя патронами. С ним мы и действовали. Вскоре из нас троих остался только я. Один умер от истощения — работал он как вол в шахте, а по вечерам мы бегали из слободы в слободу, из села в село: учились руководить. Второй скончался от силикоза — легкие у него совершенно разрушились. Их обоих я хоронил. Стояла сушь, пылища столбом поднималась над их могилами. Засыпали их комьями земли. Помню, что тогда не было у меня ни табака, ни спичек и от горя я кусал пальцы. Ох, как горько мне было... А над кладбищем летали стаи белых голубей и горлиц.

Тогда у этих могил, засыпанных комьями серой, иссушенной земли, Спас, наверное, сказал себе, стиснув зубы: «Главное — не бояться!» Чтобы, может быть позже, постичь и другое: боль можно превозмочь, только если в сердце твоем кипят человеческие страсти, если есть у тебя силы жить своей внутренней, духовной жизнью.

— Что может сделать одна сигарета? Ничего! Вся эта история с курением была просто баловством, прихотью. Но не прошло и трех дней, как нога моя снова вздулась. Новая инфекция. И снова — операционная. А через несколько дней опять. Мне становилось яснее ясного — конца этому не будет. А боль продолжала терзать меня. И был я уже действительно на грани между жизнью и смертью. И как раз в эти дни, когда я уже, как говорится, стал сводить земные счеты и расплачиваться со своими воспоминаниями, ко мне в Прагу приехали повидаться сын со снохой. Еще пока они меня обнимали, пока, наклонясь, целовали мне руку, я понял: во мне что-то происходит. Вливается какая-то сила, брезжит надежда. Я сжал их руки, гляжу, а в глазах у обоих столько печали и тревоги за меня. Вспомнил я тут своего Мишо еще младенцем, увидел и второго сына — Димчо, и внучонка Спасчо... Понял я, что только ради детей и живу сейчас,— а ведь и это немало. И как был весь обмотанный бинтами и марлей, исколотый в кровь, решил я возвращаться в Болгарию. Сперва врачи и слушать меня не хотели, но потом один за другим стали они реже показываться мне на глаза и никто больше не препятствовал моему решению. Я их понимал, они знали, что я вот-вот отдам концы, и считали, пусть уж человек помрет у себя, в своей Болгарии, среди близких. Яснее ясного это было.

На аэродроме в Софии на этот раз меня встретила с санитарной машиной сестра из софийской клиники. Говорю ей: «Не оставляйте меня в Софии. Ведь мне не обязательно быть в вашей больнице, отправьте меня в пловдивскую Вторую хирургическую. Там у меня свои люди, там мне сподручнее... Так как же?» Девушка слушает меня, с понятием, видно. Потом подходит к шоферу и говорит ему: «Вези его в Пловдив». А я только теперь додумался: она действительно была с понятием — поняла то же, в чем были уверены чехословацкие врачи: Спас Дочев безнадежен. Санитарная машина тронулась. Едем мы, едем, а когда добрались до Сестримо, я похлопал шофера по плечу и говорю: «А теперь, браток, сверни направо. Вот тут у этих бараков остановись». Так оказался я у себя дома, на ГЭС «Девичье ущелье».

Кольо Колев, земляк и близкий друг Спаса, теперь журналист, член редколлегии газеты «Работническо дело», рассказал все, что знал о нем, и то, что сам от него слышал. А Спас ему говорил:

— Мне еще две пятилетки продержаться надо, ведь у меня гора дел! Как посмотрим мы друг на друга в тоннеле — все уже поседели, а кто пойдет следом за нами? Ведь эта работа не для каждого, не каждый может работать под землей, земля много сил берет, изнуряет человека. Сколько их сбежало, как только увидели, что тут тяжело приходится,— бегут и не оборачиваются. А я хочу обучить молодых, таких, как мой Мишо, как Дило Христов, Йонко Банков, Димитр Йонков, Стефан Йонков, Иван Кынев... Чтобы они все могли, все понимали. Земля — ведь это страшная сила: если не умеешь, не знаешь, как к ней подойти,— пропадешь...

Сколько же людей получили от Спаса этот трудный урок под землей? Всех не назовешь. Вместе пробивали и прокапывали тоннели, подпирали дымовые трубы — так называют горнопроходчики завалы породы в забоях. Потом лучшие из его учеников сами возглавят бригады и отправятся на другие стройки — и умножится большой горняцкий род. Настоящий уни-

---

КОСТА СТРАНДЖЕВ
МУЖЕСТВО ЖИТЬ

верситет он для горнопроходчиков, сооружающих водохранилища и тоннели, напорные трубопроводы и подземные русла для рек в горах Батака, в Родопах, на Риле...

Время идет быстро, кто теперь пишет о водохранилище «Георгий Димитров» в Батаке? Электростанции дают энергию, по берегам его из саженцев уже выросли леса. А ведь тут остались лучшие годы жизни горнопроходчиков из бригады Спаса Дочева. Сквозь эти горы стала течь Тунджа, и путь ей проложили Спас Дочев, Никола Цанев, Данчо Дупаринов, Мирчо Кацарски и брат его Петр, Стефан Героя, Борис Трайков, Христо Лесев...

Давайте перевернем позабытые страницы.

Пять лет их жизни прошли в этих тоннелях. Но знаете ли вы о том подземном озере, которое хлынуло в забои? Съехались инженеры, специалисты отовсюду, меряют, считают. Геологи высказывают свое мнение. Приезжают министры, директора, заседают, совещаются. Все ломают головы над тем, как укротить эту стихию.

Министр увидел в зале Спаса и говорит:

— Тут находится мастер по тоннелям. Послушаем, что скажет нам Спас Дочев!

Спас вынул коробку с сигаретами и что-то записывает на ней.

— Дайте мне немного подумать.

В зале наступила тишина. Сколько уже проектов рассмотрено, сколько дискуссий проведено! Кто-то предложил переместить тоннель, чтобы обойти озеро.

— Да ведь снова можно напороться на такой же подарочек,— отозвался откуда-то из угла Спас Дочев.— Тоннель можно проложить и здесь, только мы можем за это взяться лишь в том случае, если товарищ министр выполнит два условия.

— Выкладывай свой ультиматум! — говорит министр и открывает записную книжку.

— Прошу два насоса, но мощных, чтобы всасывали и камни.

— Насосы дадим, подыщем на строительстве дунайского моста,— принимает решение министр.— А что второе?

— Второе мы, пожалуй, сами сделаем. Под трассой тоннеля проложим дренажи и отведем воду...

Дискуссия прекращена. Поверили Спасу или просто нет другого выхода? Кинулись в забои эти крепкие как кремень люди. Вода доходила им по грудь, но прибыли насосы и — слава богу! — такие, что и камни засасывают.

А дальше сантиметр за сантиметром роют и роют они грунт, точно руками скребут и прокладывают путь. Устанавливают железные рамы. Рама к раме.

Сколько же шли они так? Казалось, целую вечность. Мы, никогда не работавшие под землей, думаем и пишем: «Они пробивают твердые скалы — честь им и слава!» Но бай Спас скажет иронически: «Хоть до завтра вам рассказывай, а вы все равно не поймете, что такое тоннель... Когда тоннель прокладываешь в скалах — тогда радуйся и кричи «ура!», потому что крепеж там — это крепеж, и ты взрывчаткой пробиваешь метр за метром... Самое скверное для проходчика — это слабая земля: размытые водой пещеры, ил, который захлестывает тебя, как лава, поди-ка останови его!»

Только теперь понял я, почему инженер Манол Тимов, автор проекта тоннеля для ГЭС «Девичье ущелье» спорил с геологами. Почему и немецкий профессор Дёринг категорически настаивал на сооружении открытого трубопровода. Мировая практика, так сказать, классика гидроэнергетического строительства знает свои правила. Только Спас Дочев поднялся на подмостки, где сидели профессор и авторы проекта, и сказал, что, как ни слаба земля, он берется проложить этот тоннель. Аргументом был опыт его бригады, преодолевшей и подземные озера, и потоки ила. В каком учебнике можно прочесть, что солома станет стройматериалом для тоннеля? Не знаю, собирается ли кто-нибудь из преподавателей нашего Горно-геологического института обобщить опыт горнопроходческих бригад в строительстве тоннелей. Но было бы вовсе не плохо, чтобы студенты послушали хотя бы десяток лекций этого человека, который провел под землей уже пять университетских курсов.

— В Чехословакии я не капитулировал перед смертью, а в Девичьем ущелье болезнь снова меня прижала. Старая песня — опять загноилась рана. Я боролся как только мог, все старался отделаться от смерти. Стискивал кулаки, закрывал глаза и стонал. За все то время, что я был в Чехословакии, бригада моя что-то разболталась, ребята перессорились друг с другом. Слышал я, как они целыми днями, а иногда и целыми ночами бродят вокруг да около моего дома. Им бы зайти ко мне, чтоб вместе поразмыслить и разобраться, что случилось в бригаде, но я замечал, что доходят они только до порога. Ребята не решались входить, потому что я стонал и днем, и ночью. Стонал и скрипел зубами. Погибал от боли. Временами думал даже, что я уже действительно мертвый. И тогда произошло чудо.

Все то время, что я стонал, Мара от меня не отходила. Теперь я говорю себе, что другая на ее месте при таком напряжении едва ли выдержала бы. Скажу тебе еще такое, про что и писать не надо: за это время Мара мне сделала три тысячи уколов. А ведь она не врач и не сестра, всего только в начальной школе училась. Говорю, чтоб не писал про это, потому что может найтись какая-нибудь мелкая душонка, которая поставит вопрос наверху: «Как это Мара Дочева, не имея медицинского образования, занимается лечением!» Верно. Нет образования, но необходимость и жизнь не больно-то церемонятся, не нянчатся. Ведь с каждым может такое случиться!.. Когда я вернулся из Чехословакии, Мара положила свой матрас на пол возле моей кровати. Как накинется на меня эта бешеная, нестерпимая боль, я из последних сил зозу Мару.

Она тут же вскакивает и раз — укол. Пять месяцев спала вот так на полу. Ходила к врачам, расспрашивала, как делать перевязки, и стала делать их мне сама. С какой-то травой. Самой обыкновенной, простой травой — мать-и-мачеха называется. Вокруг раны все мясо у меня было мертвым — черным-черным. А травка эта малопомалу оттянула всю мерзость, что там накопилась, чернота исчезла, и рана зажила.

— Многое я узнал от Младена Грозева,— сказал как-то мне Спас.— Но самым важным для меня была его притча о корове и молоке. Он говорил: «Спас, ты ведь как те коровы, что дают много молока, но когда их выдоят, лягнут ведро и выльют все молоко наземь». Я очень обязан Младену Грозеву.

Сказано это было с нежностью. С той долго скрываемой нежностью, на которую настоящие мужчины способны только в минуты незаслуженного страдания или осознанной справедливости. Спас разложил перед собой карту и показывает села и города, в которых он побывал на машине Младена Грозева. Но это были не прогулки и не праздничные экскурсии. В ту пору еще по субботам после обеда парторг вызывал к себе Спаса и спрашивал:

«Завтра воскресенье — что будешь делать?»

«Не знаю».

«Тогда бери машину и отправляйся в Стара-Загору. Или в Ямбол. А в воскресенье вечером чтобы был тут».

— Сперва,— со вздохом говорит мне теперь Спас,— я не очень-то понимал, зачем он это делает, а вот потом понял. Воскресный день для меня был самым трудным. В будни — работа, совещания, встречи и проводы смен — даже не замечаешь, как проходит время. Но вот наступает воскресенье — день такой длинный, разболтанный. Тогда я и понял, что нет ничего хуже, чем когда тебе делать нечего. Соберемся вдвоем-втроем, почешем языки, потом зайдем то в один, то в другой дом, выпьем и начинаем дурить и буянить. А в понедельник краснеешь — стыдно людям в глаза смотреть. Перед всем миром чувствуешь себя виноватым, самому себе в лицо плюнуть хочется.

Младен Грозев отучил Спаса Дочева лягаться и опрокидывать ведра с молоком.

Как приходит воскресенье, Спас на машине парторга отправляется по дорогам Болгарии... И возвращается поздно вечером, когда поселок уже обезлюдел. На следующий день он идет по покрытым росой тропкам к электростанции и не испытывает никаких мучений, никаких угрызений совести за воскресный день.

— Первого февраля 1968 года с двумя костылями под мышками — топ-топ-топ — вместе со всем горняцким народом отправился и я к штольне тоннеля ГЭС «Девичье ущелье». Хоть шел и не на своих двоих, а чувствовал себя здоровым. И вот четвертый год с той поры — постучи-ка по дереву! — я не знаю даже, что такое зубная боль. Низко кланяюсь, натерпелся я всяких контузий судьбы и вернулся к жизни. Живу солидно, без всяких трещин в состоянии здоровья, без ущемлений своей мужской гордости, без мрачных предчувствий. Говорю теперь обоим своим сыновьям: «Хорошо, что я жив и здоров. Теперь внуков учить уму-разуму буду, объясню им, что на свете есть много, очень много важных вещей, но самая важная из них — не капитулировать ни перед какой болью: душевной, умственной или физической. Пусть даже весь ты потонешь в ней — все равно не сдавайся, не теряй голову, не расслабляй волю. Ведь человек, точно скала — если начнет рушиться, крошиться, так уж не остановишь. Потому стискивай зубы, сжимай кулаки. У сильного человека всегда в душе должен пылать гнев против боли и смерти. И если ты мужчина, то не давай им себя унижать. Это самое главное — жить мужественно и презирать страх.

Да, Спас уже снова здоров. Совершенно. И сейчас я с удовольствием хочу сказать несколько слов о том времени — очень важном времени его жизни. Трижды на день с каждой сменой отправлялся Спас в тоннель. Идет такой до боли знакомой горняцкой походкой, опустив плечи, слегка покачиваясь из стороны в сторону, молча, так, как идут по дороге в тоннель все проходчики, с тем достоинством, которому никто на свете не мог бы научить.

Идет на смену.

Возвращается.

Его встречают компрессорные сирены, его хлещут ветры, на него налетают бури и снежные метели, его иссушают выцветшие от яркого солнца и зноя летние дни.

Кажется, будто и не случалось ничего страшного в его жизни. Словно было оно далеким сном или какой-то жестокой выдумкой. Теперь это уже вычеркнуто из его памяти. Лишь время от времени забытая уже боль отзывается в его здоровой ноге. И тогда Спас цепенеет при мысли, что, может, это опять Она. Но это мимолетная мысль. Вот боль исчезла, и Спас вздыхает с облегчением. И продолжает свой путь. В эти безоблачные дни сама мысль о боли казалась ему противоестественной. И Спас размышляет о них: «Да, это были хорошие дни! Но так как надо быть до конца откровенным с собой, должен сказать, что самым главным в них была тогда Истина. Повторяю: Истина. Ты знаешь, что в те дни я жил истинно правильной жизнью и ни на миг не усомнился в своей правоте. Эти дни, думал я, были необыкновенными в твоей жизни, потому что до них были другие, когда ты пытался обманывать себя. И тогда ты ненавидел себя так, как можно ненавидеть только самого себя.

А вот эти были истинно настоящими днями твоей жизни!»

Я попросил товарищей Спаса по работе прочитать то, что я написал о нем, и они, прочитав, предложили рассказать о том, чего я не знал, что упустил.

— Я бы еще добавил о его бригаде,— сказал Андрей Марков.— В Спасе сливались воедино строгая и твердая рука, с одной стороны, и нежность к людям — с другой. У Спаса бригада была всегда наравне с семьей. Если видишь его хмурым, молчаливым, задумчивым — значит, одолевают его заботы о ком-то из бригады. Люди работают с ним по десять — пятнадцать лет и не уходят. Верят ему. Уверены в нем. Но и Спас никогда не отворачивался от них. Для него закон: еще до того, как бригада отправится на новый объект, он едет туда первым и все сам осматривает — квартиры, столовую, баню... Потом сядет и принимается за расчеты и распределение. Да так вдается в бытовые дела, что никто и придраться ни к чему не может. Но сам-то он как переживает, вздыхает: «Беда, да и только — этой семье кухня не досталась, а у того в комнате потолок без штукатурки и дует, а у них детишки малые...»

— Когда я стал работать в Окружном комитете комсомола,— дополняет Маркова Иордан Акабалиев,— бай Спас чуть ли не куждую неделю приезжал, бывало, ко мне со всякими делами и просьбами — не о себе, нет! Все о других хлопотал — одному что-то в жизни наладить, другому ребенка в школу определить, третьему больную жену положить в больницу... Так действовал Спас Дочев. Недаром горняки звали его отцом.

— На стройку «Выча» Спас Дочев прибыл со своей бригадой в конце сентября,— продолжал Андрей Марков.— Дети нескольких горняков должны были учиться в строительном техникуме, но свободных мест ни в одной группе уже не было. Бай Спас был непримирим. Подчеркиваю: непримирим. Обязательно подчеркни это его качество и ты, Коста, когда дойдешь до него. Ты ведь знаешь, как раз в это время я был там секретарем парторганизации. Так вот бай Спас буквально не давал покоя ни мне, ни всему партийному комитету. Потом стал бегать по министерствам, ведомствам, советам, обивать пороги высокого начальства, размахивал костылями, стучал кулаком. И не угомонился, пока не открыли еще одну группу. Ну, как ты думаешь — разве могут когда-нибудь бросить его люди и перейти к кому-нибудь другому. Он не прощал только трусости. Я сам не раз слыхал, как он говорил: «Трусов я терпеть не могу, так и знайте!» Но людям всегда помогал. Как увидит, что кто-то в затруднительном положении,— он тут как тут. Не дает никому жить в тревоге и страхе.

— Хочу подкрепить эту мысль и расскажу о таком случае,— включился в разговор Петко Балабанов.— В центральной штольне произошел обвал: грохот, пылища, земля словно клокочет — просто страх. Все разбежались кто куда. И тут приходит Спас. Начал собирать людей, кого убеждает, кого бранит. Скоро вся бригада сгрудилась вокруг него и он сумел повести ее в забой. Вместе со всеми шел и я. Спас остановился в центре обвала и скомандовал: «Ты — сюда! Ты — туда!» Ты, ты, ты... Здорово это у него получилось. Другие дрожат от страха, а он и глазом не моргнув отдает распоряжения, да с таким видом, словно здесь не авария, а свадьба. Через четыре часа обвал был блокирован. Все вышли из штольни. Спас идет как ни в чем не бывало — будто ничего и не произошло. Собрались все в бараке. Он послал купить за свой счет двадцать бутылок вина, бригаду оставил угощаться, а сам нахлобучил на голову шапку и отправился в поселок. И после этого держался так, будто ничего не произошло. Другой на его месте закатил бы речь, позвонил бы в газеты, на радио, директору, парторгу... Но Спас просто не мог так поступить. Насколько он был непреклонным, настолько же и человечным. Характером твердый, а к семье своей и к людям — полон доброты и отзывчивости. И что самое важное — доверия.

— А я хочу сказать, что всякому большому делу нужны не столько благие разговоры, сколько подлинные энтузиасты,— заметил Таньо Бахчеванский,— такие, как Спас. Я видел сам, как он изнемогал от усталости и боли, но не сдавался. «Пойдем! Раз мы настоящие партийцы, мы должны идти...» Бригада Спаса всегда была молодежной. Молодежь ему верила, потому что он терпеть не мог демагогии. Он никогда не был человеком с двумя обличьями, с двойным, так сказать, дном. В сущности, в том, что молодежь тянулась к нему, не было ничего удивительного: молодой рабочий в сто раз больше верит тому, что видит собственными глазами, чем тому, что ему втолковывают, особенно если это лишь красивые слова. Когда в бригаду приходит новичок, Спас никогда не соблазняет его дешевыми россказнями: у нас-де райская жизнь, станешь героем и прочее. Фальшь тоже чужда ему. Он начинает с другого: «У нас тебе трудно придется. Выдержишь? Самое первое наше правило: что бы с тобой ни случилось — не трусь».

— Я тоже мог бы добавить,— сказал Андрей Марков,— во-первых, бай Спас убежденный коммунист, во-вторых, он тверд и непреклонен, когда идет к своей цели, в-третьих, не может жить без людей. И, несмотря на все это, бай Спас далеко не ангел, а характер сложный и противоречивый. Это я испытал на собственном горбу, когда меня, сельского парнишку, пожелавшего стать рабочим, включили в бригаду Спаса Дочева. Он тебя и отругает, да как! Правда, за дело. Он тебя и приласкает. Тоже за дело.

— Двужильный, закаленный человек Спас. По живому телу режут его, а он только зубами скрипит... Так было с ним и

тогда, когда мы на стройке Батакской ГЭС решили, чтобы спасти положение — горели мы, как говорится, со сроками,— разделить бригаду Спаса, которая разрослась до двухсот человек. Вот тогда я лучше всего понял противоречивость его характера. Сидел он на партийном собрании печальный, одинокий, как срубленное дерево, и все глядел на меня, прищурив глаза. Я сообщил указание парторга ЦК и решение нашего бюро: бригаду Спаса Дочева разделить на три. Еще не закончив своего выступления, я спросил его: «Что ты думаешь относительно этого?» Он вздохнул и, вынув из кармана список, зачитал имена двадцати восьми человек. Из двухсот человек он выбрал только их, чтобы вместе с ними отправиться этим же вечером на участок напорной станции... И список этот он не на собрании составил, а загодя — он знал об этом решении и был не согласен с ним. Представляю, как он скрипел зубами, когда приходилось ему зачеркивать одно, другое, третье, сотое имя живых людей, которых любил, с которыми был связан рабочим товариществом, людей, которые пришли сюда вместе с ним и ради него, которые верят ему, а он словно бы хочет предать... Но он оставил себе только двадцать восемь, и в первую же неделю добился с ними рекордных результатов... С чистой совестью могу сказать: поставят перед Спасом задачу — ничто его не остановит. Сам видел — болен, мучится, едва дышит, но для партии ни в чем отказа у него нет, никогда он перед нею не осрамился.

Это говорил Кольо Миневский.

— А все же, я знаю, был случай, когда Спас Дочев отказался выполнить партийное решение. Подчеркиваю — не забыл, не упустил, а отказался. И если уж ты пишешь про бая Спаса, то непременно это включи,— сказал Йордан Акабалиев.— На пусковом объекте в Батаке работала бригада Методи Шопова. Большая, известная бригада. Ордена, медали, снимают в кино, пишут в газетах... Но тут бригаде не повезло: тяжелая порода, организация работ подкачала, а сроки на пятки наступают. Не оставалось ничего другого, как уйти баю Методи с этого участка. Партийный комитет решил перебросить бригаду Спаса с плотины водохранилища на пусковой объект, а на его место поставить бригаду Шопова. Вместе с Грозевым поехали мы на водохранилище, посадили к себе в джип бая Спаса. Едем молча. Когда стали подъезжать, Грозев говорит ему: так и так, мол, есть решение партийного комитета сменить тебе Шопова. Спас весь как-то сжался на сиденье и не проронил ни звука. Дальше ехали молча.

Приезжаем на объект. Столовая так и гудит от набившегося в нее народа. Бай Методи сидел в первом ряду, опершись подбородком на кулаки, бледный, с лихорадочными пятнами на лице. Слово взял Грозев: «Мы уважаем товарища Шопова и всю его бригаду, воздаем им должное, но сил у них для этого объекта не хватает. Пусковой срок под угрозой срыва. Поэтому бригаду Шопова мы направим на Батакское водохранилище, а сюда перейдет со своими людьми Спас Дочев». После него выступили начальник объекта, председатель профкома и другие, и все в один голос: если придет сюда Спас Дочев, дело пойдет на лад. Слово взял и бай Спас. Он поднялся на трибуну, но долго молчал. Потом обратился к Грозеву: «Можно закурить?» Парторг сделал ему знак рукой — кури, мол. Спас сунул в рот сигарету, но не закурил, а пожевал ее и сквозь зубы процедил: «Я не пойду на этот объект! Методи Шопову я верю больше, чем себе. Как бригадир он никогда не был хуже меня...» Спас спустился с трибуны, подошел к Шопову. Они обнялись; долго молча стояли обнявшись, и по щекам их катились капли пота вперемежку со слезами. И сквозь слезы Спас сказал: «Если тебе понадобится подмога — скажи мне, я дам тебе моих мастеров». А Шопов ему в ответ: «Я справлюсь, Спас. Зубами и ногтями буду продираться, но не сдамся!»

Остался бай Методи на своем объекте. Взял себя в руки человек, и без всякого подкрепления бригада его справилась с задачей.

Так в чем же сила Спаса Дочева? Он знает цену мужской дружбе; это не мешок с половой, которую можешь запросто бросить на ветер...

— Вы инвалид?

— Да, у меня нет ноги.

— Производственная травма?

— Нет, заболевание.

— Но еще работаете?

— Да, работаю.

— Почему?

— Как вам это объяснить...

— Значит, у вас невысокая пенсия и вам не хватает на жизнь?

— Почему же! Пенсия у меня двести левов в месяц. Государство предоставило мне квартиру. И машина есть. И сыновья у меня исправные.

— Не понимаю!

— Уж такой у меня характер. Не могу жить иначе.

Это часть диалога, который Спас Дочев вел с группой западных журналистов во время Десятого съезда партии. И дальше:

— Вы убеждены, что теперь у вас в стране все хорошо — нет ни ошибок, ни недостатков?

— Я ответил бы, если б вопрос был поставлен несколько иначе. Например: что у вас тормозит движение к лучшему? Ответил бы так: чиновничья тупость некоторых людей, другими словами — бюрократизм. Страх перед ответственностью и риском. А порой и жадность.

— Ваша пресса сообщает о серьезном судебном процессе... Расхищали государственное достояние люди, в прошлом участвовавшие в борьбе. Значит ли это, что и

КОСТА СТРАНДЖЕВ
МУЖЕСТВО ЖИТЬ

коммунистический идеал не может одолеть человеческой алчности?

— Знаю об этом процессе. Читал о нем в газетах. Вопрос очень сложный. Хочу только сказать: легко говорить о бескорыстии, когда живешь при карточной системе и впроголодь. Но пришло время легковых машин и холодильников, комфортабельных квартир и дач. Тогда, ежели ты человек, надо уметь устоять перед соблазнами.

Вопросы:

— На съезде партии Тодор Живков подверг серьезной критике болгарские профсоюзы. Почему? Каково ваше мнение?

— Можно ли говорить о том, что болгарская молодежь увлечена западным образом жизни?

Спокойный и праздничный зал ресторана «Плиска».

За одним из угловых столиков сидят они и он. Вопрос следует за вопросом. Спас хмурит брови. Морщины бороздят его лоб. Он неспокоен,— лицо его то бледнеет, то краснеет.

Ему нелегко сейчас. Он не кончал университетов и академий. Понятия не имеет о дипломатических салонах. Он чувствовал бы себя куда лучше, если бы в голове его нетерпеливо теснились афоризмы и цитаты, остроты и политические каламбуры. Если бы умел кстати вставить реплику или артистически прищурить глаза. Но этого он не знает и не умеет — он болгарский горняк Спас Дочев.

— Раз вы пенсионер, зачем вам работать? Ведь вас никто не принуждает?..

Недоуменный вопрос людей, привыкших измерять все в жизни другой мерой: деньгами!

В тот же вечер в отеле «Плиска» Спас Дочев написал текст своего выступления на съезде. Он хорошо знал, что́ должен сказать, и поэтому ему не было трудно. Он решил остановиться в основном на двух вопросах:

1. В строительной практике есть еще много бюрократизма. Решения партийных съездов и пленумов по вопросам строительства выносятся, так сказать, на высоком уровне. Но спускаясь оттуда, они порой доходят до живых людей и вообще до жизни в искаженном виде. Взять хотя бы проектирование. Временное строительство. Механизацию. Положение финансирующих организаций.

2. Прошу съезд направить меня на самый трудный объект. Почему? Потому что могу.

И сейчас, как всегда, Спас Дочев ни за что на свете не смог бы идти по дорогам и тропам нашего времени как любопытный наблюдатель. Догадываюсь, что эта фраза звучит несколько банально. Но в обстоятельствах, подобных нынешним, Спас всегда вкладывал во все столько искренности и откровенности, что я вправе сказать: именно вот эта открытость, эта ясность характера — самое ценное в его поведении.

— Прочитал я, что написал ты про мою жизнь,— говорит мне Спас.— В общем, правильно отразил состояние моего здоровья. Рассказал ты, когда я жил счастливо и когда мучился. Но давай начнем оттуда, куда мы с тобой уже добрались. Прошло четыре года с тех пор, как я покинул последнюю больницу, одолел все свои недуги и вместе со своими людьми отправился в тоннель. И снова зажил, как прежде. Ни я сам, ни Мара не допускали даже мысли о безнадежности моего состояния. Когда тебя одолевают заботы и ты слабак по части души, то можешь сказать себе: плохи мои дела и — лапки вверх. А я тебе скажу: чем больше мужества в сердце человека, тем больше отступает от него боль. Настоящего человека узнаешь потому, что вместо того чтобы пищать, он зубами скрежещет. Видел я в то время боль свою — в крови свернувшейся была она, черная, ослабевшая. Но я твердо шел к своей цели: жить как все. И вот собрался Десятый съезд партии. Величественная картина. Был я там. Слушал и чувствовал, как жизнь волна за волной идет мне навстречу. Я встал и сказал: «Товарищи, пусть съезд обяжет меня работать на самом трудном объекте шестой пятилетки. Вы, может, скажете: не по силам такое дело! Знаю, придется туго. Может, ребра у меня заскрипят от напряжения, но не осрамлюсь». Спасибо людям, поняли мою душу. Сразу после съезда обратился к начальству: «Назначайте на Чеиру». «Ладно, отправляйся на Чеиру». И как бы это тебе сказать,— ну, жизнь у меня запылала. Понимаешь меня, да?

— А теперь расскажу про Чеиру... Объект назывался «Чеира», но пока это были только слова. Не было тут никакого объекта, а только холод, ветер, груды камня, сухие комья земли, снег и сосны, такие высокие, что даже птицы не хотели на них садиться. И тьма — на всем объекте вечером ни одна лампа не светится. Да и пора нескладная: день — дождь нас поливает, день — снег валит, и лед кругом. Редко к полудню ненадолго проглянет солнце, да что от него толку — одно название. А по ущельям совсем рядом волки рыщут... Очень утомляли нас поездки на объект — бригада ведь жила в Девичьем ущелье, потому что, как я уже говорил, на Чеире и шалаша даже не было. Вставали мы затемно. Нам выделили «газик» с тентом и со скамьями в кузове. Усядутся в него мои ребята, шофер включит дальний свет и поехали. Качает нас как на качелях до самой Чеиры — ветров и бурь в чеирском ущелье хоть отбавляй! Сперва, вижу, ребята мои как-то сникли. Говорю им: «Почему не спросите, в чем смысл всего этого? Ведь все на свете имеет свой смысл. Вот и Чеира тоже — это же огромное, совершенно новое дело — НАГЭС, насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция. Главный инженер сказал мне: в мире это будет третья по счету — одна в США, вторая в Италии,— но по мощности первая станция такого рода. И должен же кто-то первым воткнуть тут в землю лопату! Вот в этом, наверное, и есть смысл, как вы считаете?..» Не хочу сказать, что люди испугались, нет,— с ними я сквозь игольное ушко

пробирался, разве они бросят меня здесь?! Ведь так всегда бывает, когда отправляешься на новое место — вначале трудно, неудобно, пока не привыкнешь, не совьешь своего гнезда. На третий день набрали мы побольше сухих сосновых веток, плеснули на них солярки, и такой костер разгорелся — пламя до самого неба. И Мара молодец — положила мне в сумку сала и бутылку троянской ракийки. Я нарезал сало кусочками, нанизал на прутики и стал поджаривать на угольях. Как пошел от него густой ароматный дымок, так и запахло на Чеире жизнью. А потом мы засучили рукава, притащили балок и досок, и к вечеру соорудили маленький мост над рекой, и по нему пришли к тому месту, где должен начаться чеирский тоннель. Так с жареного сала и этого мостика мы начали чеирскую стройку... Но к чему мне рассказывать тебе это — ты же сам помнишь, как все было.

Да, помню... Не прошло и недели, как Спас уехал на Чеиру, а я уже получил от него записку: «Мы на новом объекте. Приезжай повидаться». Переходил и я речку по этому невидному мостику, глядел на мглистый рассвет, медленное покачивание «газика», обледенелый снег... И горнопроходчики были пока еще бригадой для наружных работ — натягивали кабель от выхода тоннеля номер три, перестраивали заброшенное здание лесхоза под контору и общежитие, тянули четырехдюймовый воздухопровод, строили железнодорожную ветку, устанавливали передвижную электростанцию... По нескольку раз на день, даже в сильный холод, пересекал Спас на своих костылях обледенелые дороги, ведущие к Девичьему ущелью и Сестримо. Новый объект — как новый дом, чего только здесь не нужно: вентиляторы, воздухопроводные трубы, канализация, вот и снует он то на склады, то в канцелярию, то в мастерские.

— В то время жизнь моя шла нормально. И красота и уродство были в ней... А потом? Потом снова больница, снова с глазу на глаз с проклятой болью... Сейчас, сам видишь, скрючился я, весь дрожу, а когда меня на Белмекене захватил буран, я ему не поддался. У нас на Чеире не было взрывчатки, и я, поразмыслив, решил, что раздобуду ее наверху, на белмекенских объектах. В ущельях и на дорогах бушевали метели. Потом вдруг разразился страшнейший буран и приковал меня надолго к месту. Остался я там у приятеля. Сижу в тепле, подбрасываю в печку дровишки, а на дворе — ад кромешный. Ждал, ждал, пока буран угомонится, и не выдержал — оделся, подхватил свои костыли и пошел к себе на Чеиру... Но каково было мне идти в темноте — едва добрался, да и простыл изрядно. Видимо, тогда улучила момент и вцепилась в меня эта дьяволица, потому что в Чеире я сразу же почувствовал, как раздирает она мне жилы. И я сказал ей: «Ну, чего ты снова вспомнила обо мне?» А Мара моя словно чувствовала, что со мной неладно,— разыскала нашего шофера и требует, чтобы вез ее ко мне на Чеиру. Но шофер дело свое знает и, меня не спросившись, никого к нам не везет. Я велел передать ей, чтоб сидела себе смирно у печки, но если уж так затосковала по мне, то пусть пришлет немного коньяку и сигарет. Только Мару не проведешь — она знает, что коньяк я не уважаю и пью только, когда простужусь. Она тут же примчалась к нам, несмотря на метель, и, как только увидела меня, вздрогнула и побледнела. «Спас,— говорит она,— ты болен, сильно кашляешь! Я увезу тебя в Девичье ущелье к доктору...» Я наотрез отказался — боялся, как бы не усилилась боль в ноге. А сам чувствую, как от простуды весь дрожу, и прячу руки в карманы, чтобы не заметила Мара, как трясутся они. Отправил я Мару из Чеиры на машине домой. Прошла еще неделя, а я уже не в силах держать костыли. В конце концов меня небритого, без шапки уложили в машину и отвезли в Пазарджик. Дали каких-то лекарств, то-се, а меня трясет еще больше. Тогда снова усадили в машину — а я уж совсем плох, глаз даже не могу открыть — и отправили в Софию, в Институт усовершенствования врачей.

«Пневмония»,— сказали там врачи, а я киваю: да, пневмония! Засучили рукава люди и взялись за меня... Прибыл сюда скрюченный, с закрытыми глазами, но мало-помалу отошел, болезнь стала отступать. И наконец скрипнула дверь за моей спиной. В больнице мне сказали: «Звонили по телефону твои из Девичьего ущелья. Сказали, чтоб ты их ждал — они приедут за тобой, теплые вещи и всякое другое привезут». А я спрашиваю врачей: «Кто-нибудь из вас ждал, когда вас выписывали из больницы?» Ведь живая же это мука ждать здесь. Я ушам своим не верю, что все прошло, что я снова здоров, а они — жди! Взял я на стоянке такси и — полный вперед! Доехали до Лештахана, и говорю шоферу: «Теперь, браток, мы тут ненадолго остановимся». Вышли мы с ним из машины, поели как следует, себе я заказал стаканчик винца — душу отвести. И снова покатили. Мы уже почти добрались до станции Костенец, как что-то словно зубами вцепилось в пятку моей здоровой ноги. Подумал — может, носком стер. Не разуваться же мне при чужом человеке — потерплю до дома. Приехали. Вылезаю из машины, смотрю — в дверях сноха, Спасчо, Младенчо, а Мары нет — уехала за мной в Софию, и мы разминулись. Дети кинулись мне на шею. «Дедушка! Дедушка снова с нами!» А я весь дрожу, даже «здравствуйте» вымолвить не могу от радости, что наконец дома. Таков уж я есть — все у меня возьми, только чтоб дома я был, и больше мне ничего не надо. С трудом добрался я до своей комнатки и повалился на кровать. Никакие не зубы, никакой не носок... Не могу даже на пол ступить своей здоровой ногой — не двигается, распухла. Сноха сразу же вскипятила воду, стали парить ногу.

Ничего не помогает. Боль все сильнее. Впился я обеими руками в железные прутья кровати, закутался с головой в одеяло и чувствую, как мутится у меня сознание и качусь я куда-то вниз, в чужой, неведомый мир. Потом услышал вдруг голоса и детский топот — это пришла Мара, и детишки ей говорят, что я вернулся, прыгают от радости. И как сквозь сон слышу ее голос: «Добро пожаловать, Спас! Наконец-то ты дома! Вот радость-то!» Смеется Мара, смеются дети, а меня все глубже и глубже на илистое дно уносит боль. Я пытаюсь сказать: «Да, Мара, большая радость — от клиники института до станции Костенец...»

На этот раз боль поджидала меня в засаде у самого порога дома и направила свое смертоносное жало прямо в цель — «бюргер» поразил и мою правую ногу.

Сознание вернулось ко мне то ли через час, то ли через два. Силы мои мало-помалу иссякали. В тот же день Мара и дети сказали: «Заведем сейчас машину и отправим тебя снова в клинику. Дело, как видишь, такое, что шутить нельзя». Если бы меня спросили сейчас, я, должно быть, подумав, сказал бы: «Вы правы». Правильнее было бы скорчиться на сиденье и прямиком в Софию. Но покой мой был так подорван воспалением легких, что этот свой день я не мог отдать. Поэтому и речи быть не могло о том, чтобы сразу же вернуться в клинику. Я сказал: побуду дома денек-другой, вымоюсь, наберусь нашего воздуха, а тогда уж действуйте по-своему — везите меня. И остался. Теперь могу тебе сказать, эти полтора дня, несмотря на боль и страдания, все же наслаждался покоем... Но вот завели «москвич», и тронулись мы в путь. Куда? Ясное дело, в институтскую клинику. Там врачи опытные. Осмотрели они мою правую ногу со всех сторон. Спрашиваю их: «Что делать? Не дает она даже прикоснуться к себе... Голова идет кругом от боли...» А они молчат, опустили глаза, а потом говорят: «Товарищ Дочев, теперь ваша болезнь несколько осложнилась, вам придется лечь в Третью городскую больницу». Снова сел я в машину, молча и покорно скрючился на сиденье, потому что знал: какая бы неотвратимая беда на меня ни навалилась — не сдамся... Один за другим прошли два дня. На этот раз я встретил боль храбро, готов был бороться с нею. В воскресенье пришли ко мне мои люди. Обступили со всех сторон койку. Я был спокоен, старался не охать, чтобы не выдать боли. А на лице и по всему телу выступили капли пота, крупные, с овсяное зерно...

— Оставили мы отца в Третьей городской больнице,— рассказывал мне Мишо, старший сын Спаса,— а доктор позвал нас к себе в кабинет. Вижу — встревожен он, закурил и, глядя в окно, говорит: «В воскресенье пусть придут жена, сыновья, все близкие Спаса...» Как услышал я это, так и оборвалось у меня что-то внутри. «Что же с ним, в конце концов?» — спрашиваю. А тот курит, глядит в окно и молчит, словно его и нет тут... Пришло воскресенье. Собрались все мы в кабинете врача. Боялись самого худшего. Так оно и случилось: отцу снова надо лечь на операционный стол. Ляжет он, а... Потом пошли к нему в палату. Мы не осмеливались смотреть ему в глаза. Лицо у него было такое измученное. Как же сказать отцу, что ждет его? Как сказать, что болезнь прогрессирует, что и правую ногу постигнет судьба левой? Это было в воскресенье. А во вторник...

— В тот вторник жизнь моя снова круто повернулась... Почти половина прожитых лет прошла в починках, в ремонте здоровья, но теперь дело приняло совсем худой оборот. Моя правая нога набухла, налилась нестерпимой болью, затвердела, как застывший цементный раствор. «Это в жилах сгустилась кровь,— сказал себе я,— Значит, «бюргер» нанес мне второй удар». Когда же я увидел санитаров с белой каталкой — мне все стало ясно. И весь путь к операционной я повторял в уме: «Не сдаваться, только не сдаваться! Раз уж так получилось — терпи». Было это в два часа дня. А в пять меня снова везли в палату. Пощупал я себя пальцами — живой! Слава богу, значит, хоть в этом повезло. Почувствовал на лбу руку жены. «Я жив, Мара»,— жалобно прошептал я и почувствовал, как от теплого прикосновения ее руки оживает мое лицо. Вот так «болезнь Бюргера» забрала у меня в операционной Третьей городской больницы и вторую ногу. Но я уже не думал об этом. Не хотел думать. Волны прежней боли отхлынули, и я все время был в полусне, и мне так хотелось раскинуть руки и пальцами пощупать мягкую травку на нашем дворе в Девичьем ущелье.

— Я оставалась все время со Спасом, как только нам сказали, что отрежут и вторую ногу,— рассказывала мне Мара Дочева.— Мысль все время у него была ясной, потому что он силился превозмочь боль и не пасть духом. Лежит недвижно, глядит в окно и молчит. Никогда я еще не видела его таким молчаливым — хотелось ему скрыть свои страдания, но не мог. Как-то утром приходит в палату доктор, протягивает ему газету и говорит: «Бай Спас, поздравляю!» И мне тоже дает газету. Смотрю — Указ Государственного Совета о новых Героях Социалистического Труда, и среди них — Спас. Я наклонилась к нему и говорю: «Спас, ты видишь — радоваться тебе надо! Ведь это замечательно!» Он повернулся ко мне и попытался улыбнуться! «Я радуюсь, Мара. Дети услышат, тоже радоваться будут». А через несколько дней нас предупредили: «Сегодня вечером смотрите телепередачу!» В коридоре как раз напротив его палаты стоял телевизор. Я придвинула кровать Спаса к двери, открыла ее, и он мог видеть экран. Пришло смотреть передачу и много других больных. Показывали новых героев труда. В указе их было двенадцать, а на экране — одного за другим — показали одиннадцать. Двенадцатый был Спас. В полумраке его исхудавшее, ис-

сохшее лицо казалось бесплотной тенью. С этого вечера, заметила я, Спас мало-помалу стал превозмогать боль. И хотя он по-прежнему не отрывал глаз от окна, вглядываясь в небо, к нему возвращались силы и воля к жизни. Он уже начал сам приподниматься, упираясь локтями в матрас. И однажды, как прежде, крепко меня обняв, спросил тихо: «А зачем мне умирать, Мара, зачем?» В тот же вечер он решил написать письмо своей бригаде. Я сказала ему: «Чего тебе от них надо? Им и так хватает забот». «Не твое это дело»,— раздраженно ответил он и больше к этому не возвращался.

— Смотрел я телевизор и думал: будь что будет, а надо сопротивляться, не мириться со своей бедой. Скажешь, из-за геройского звания так думал? Нет, мы не дети, чтобы обманывать себя, за звание это — спасибо! Вспомнили товарищи, не забыли меня. Но разве может медаль, даже Героя Труда, вызволить меня из трясины, в которую затянула меня болезнь? Что я такое теперь — обрубок засохшего дерева. Пришел конец всем моим радостям. Но в тот вечер, когда я смотрел телевизор, вспомнилось мне пережитое. И одна за другой полезли мне в голову какие-то безрассудные мысли — то об одном, то о другом. Вынырнули из моей памяти дни, когда я был полон жизни и силы. И сказал я себе тогда: «Такой ты есть — и все тут! Можно быть и без ног, но нельзя жить безучастным ко всему, что вокруг тебя». Как бы у меня ни щемило на душе, пока дышу, буду стараться всегда быть самим собой, всегда быть наготове. Это значит, что живешь ты храбростью, что можешь удержаться, не поскользнешься на крутом спуске, не упадешь в пропасть страха и пустоты. И захотелось мне тогда черкнуть пару слов своим ребятам. Если б Мара меня тогда не остановила, я бы это сделал. Я сказал бы им: «Если человек думает только о себе, если он живет только для себя — это трусливый человек». Меня всегда тревожило, как бы жизнь не приняла такой оборот, когда ребята из моей бригады разъединятся, разбредутся кто куда и каждый станет заботиться только о себе. Им должно быть ясно как дважды два четыре: если порвется то, что их связывало, они погрязнут в бесшабашной жизни. Я им скажу: «Ребята...»

Ребята Спаса Дочева...

Демонстрационный зал болгарского телевидения окутан мраком. Вместе с режиссером, оператором и несколькими техническими работниками сидим мы в этом зале. Прямоугольник маленького экрана оживает. Начинается пробная демонстрация короткометражного фильма о жизни наших строителей.

Сюжет фильма мне слишком хорошо знаком — я здорово попотел над его сценарием, вариантам которого потерял счет, и смотрю я его уже равнодушно до того момента, когда начинаются массовые сцены.

Крупные, плечистые мужчины в безрукавках из домотканого сукна, в крестьянского кроя штанах из той же ткани, с мешками через плечо, с узлами и деревянными чемоданами в руках беспокойно и настороженно озираются по сторонам, жмутся друг к другу и плетутся по обледенелым горным дорогам и тропам. А ветер не утихает, да какой это ветер — ураган, который с бешеной силой налетает на этих людей, набрасывает на них снежные одеяла, заметает снегом тропы, устраивает завалы на дорогах. Но люди все идут и идут, сильные, здоровые — правда, в какие-то моменты они вздрагивают с тревогой в глазах,— идут в неизвестное, которое не могут и в воображении своем представить, более того — идут туда, где целыми месяцами и годами только во снах будут видеть тот мир, из которого они сейчас ушли: повозки, груженные кукурузными початками, душный воздух овечьих загонов и хлевов, сверкающие желтизной тыквы, виноградники, где склонились отяжелевшие от плодов и солнца лозы...

Этот живой поток запечатлелся в моей памяти за зиму в Батаке. Люди, грузовики, леденящие бураны, бесконечные сугробы. И снова люди, грузовики...

Ту же картину видел я снова, когда начались съемки этого фильма. Оператор направил тогда камеру на пожилого грубоватого крестьянина. Объектив задержался на его крупном, иссеченном морщинами лице, и вот потому-то мысль моя снова вернулась к батакским дням.

Люди шли сюда строить социализм. Так заявляли они в отделе кадров. А потом и журналистам. Но верили ли они собственным заявлениям? Некоторые — да. Действительно, многие, особенно молодые, знали, зачем надели на плечи горняцкие ватники, во имя чего сжимают они окоченевшими от холода руками отбойный молоток. А остальные? В то время я не раз спрашивал себя: «Что станет со всеми этими людьми?» Они говорили о социализме, а я видел, что это понятие для них сводится всего лишь к уверенности, что им обеспечены место на деревянных нарах, тарелка горячей пищи, возможность отложить пару левов от зарплаты, чтобы отослать в село. Позже, преодолевая в поту и страданиях подземные реки, они преодолели и собственные представления о том, что ждет их завтра. Карабкаясь по голым хребтинам гор, они побеждали собственное малодушие. В это время они уже сами сочиняли лозунги и украшали ими фасады бараков, в которых жили, и скалы в долинах горных рек. Но даже и тогда они всё еще не могли понять, что этот плавильный котел человеческих страстей и судеб социализма — не только историческая категория, а личная судьба каждого из них, что эти два понятия неразделно сплетены друг с другом, как сплетена из пучков пеньковых волокон веревка.

Ребята Спаса...

КОСТА СТРАНДЖЕВ
МУЖЕСТВО ЖИТЬ

На стройке большинство из них учились прежде всего открывать самих себя. Постигали ту простую истину, что социализм — это их судьба. Судьба их детей.

Они сами искали Спаса.

И он собирал новеньких в бараке. Я сам не раз видел, как он стоит среди них и громко рассуждает. Он никого не пугал, но и не скрывал главного — надо работать. Работать крепко, по-настоящему. Иногда даже сверх сил. И заканчивал Спас всегда одинаково — слегка улыбаясь, чуть нахмурив брови, спрашивал: «Ясно?»

Новенькие испуганно прижимали к себе свои деревянные чемоданчики и кивали головами: ясно, мол!

Я спрашиваю себя сейчас: «А было ли тогда действительно все ясно?..»

Я получил записку от снохи Спаса. «Отцу стало хуже. Навестите его, если можете, с товарищем Акабалиевым. Он хочет вас видеть...»

И вот мы с Акабалиевым в больнице. Обложенный белыми подушками, полулежит на больничной койке ослабевший Спас. Увидев нас, он, скорчившись от боли, пытается опереться на локти. Обнимает каждого, подолгу не выпуская из мучительного для него объятия. Его душат слезы. Тело его такое маленькое, как у ребенка. Мы садимся на постели там, где у него должны были бы лежать ноги. Молчим.

Мне даже страшно подумать, что это Спас Дочев. В моей памяти живет совсем другой — тот, настоящий...

А этому сейчас плохо, очень плохо. Его суровая душа изнемогает.

Утешать его? Но разве я мог бы утешить такого человека, как Спас Дочев? Дыханье у него учащенное, резкое. Каждый вдох его мы воспринимаем как слово, которое Спас хочет, но не может произнести.

И все же он произносит:

— Что только не приходит человеку в голову! — Умолкает. Пытается улыбнуться.

Говорим мы с Акабалиевым. Он молчит и лишь время от времени движением век выражает свое согласие со сказанным. Прощается с нами молча. Мы уходим из больницы, унося с собой запечатлевшееся в памяти впалое, но озаренное улыбкой лицо Спаса.

Спас, если бы ты мог прочитать этот эпизод, я знаю, как бы ты отреагировал. Нахмурил бы брови и резко оборвал меня: «Ну что это такое! Неужели нельзя без таких слов. Зачем бить на чувства — ведь это на меня не похоже!» И ты будешь прав. Но разве я утверждаю, что это твои мысли, твои слова?

Я говорю себе: «Внимание! Что бы ни случилось, ты должен суметь сохранить Спаса до конца повести таким, каким он был в жизни. Каким он останется в памяти людей».

А Спасу сейчас худо, так худо, что хуже нельзя. Вот уж и второй ноги лишился он, а боль не покидает его. Недели не проходит, и его снова и снова кладут на операционный стол. «Мышечная ткань ослаблена и поддается инфекции»,— говорят врачи и режут, режут его заживо загнивающую плоть. От долгого лежания открылись у Спаса и на спине раны. А он, хоть и дышит с трудом, шепчет жене: «Ничего, Мара! Ничего».

Мара Дочева рассказывала мне потом:

— Мара, ты останешься с товарищами, что бы ни случилось,— сказал ей как-то Спас.— Ты будешь идти с ними...

— Ни с кем и никуда я уж не пойду, раз у меня не будет тебя. Почему ты так говоришь?

— Потому что ты и я всегда были одно целое. Когда с товарищами будешь ты, это все равно что и я с ними. Да и тебе самой так будет легче.

Мара качает головой. Не может поверить, что без Спаса ей может быть легко — независимо от того, с кем ей придется быть в дальнейшем. Она молчит. А Спас утирает с лица пот.

— Так тебе будет легче,— продолжает он с мукой в голосе свою прежнюю мысль,— будет казаться, что я тоже среди товарищей. Будешь ждать и провожать смену в забой. Словно и я тоже с ними. Понимаешь?.. Мишо и Димчо останутся на стройках. И они будут с товарищами. Мишо, Димчо, ты, товарищи — это всё, что останется после меня на этом свете. И если вы будете вместе, мне тоже будет легче. Я, хоть и мертвый, буду чувствовать себя лучше. Ты понимаешь меня, да? — спрашивал он снова. И настаивал: — Обязательно сделай так, как я тебе говорю! — Мара молчит.— Тяжко тебе придется, если станешь жить одна,— продолжал Спас.— Это будет самое худшее для тебя. Сейчас ты не понимаешь этого, ты привыкла к тому, что мы всегда вдвоем. А когда меня не станет, сама увидишь, что это так.

Жена с трудом сдерживает рыдания.

— Ладно,—говорит Спас,— обещай мне, что ты так и сделаешь. Обещай, что ради меня и самой себя ты останешься с теми, с кем была до сих пор... Пусть будет так и когда меня уже не станет...

Глаза Спаса, всегда строгие и гордые, с нежностью глядят на жену, молча стоящую перед ним... Потом он просит Мару повернуть его лицом к окну и долго смотрит на звезды, на окутанные легким весенним сумраком фабричные трубы и склоны Витоши. Может быть, прощается с ними. А может быть, взгляд его все еще ищет зеленый берег надежды...

— И вот пришла последняя ночь Спаса... Предыдущие две он часто впадал в беспамятство, метался, задыхался,— рассказывает Мара.— И в эту он все время звал меня. «Мара, душно, задыхаюсь! Горю весь!» В шесть часов утра пришла сестра мерить температуру. Спас увидел ее и весь напрягся, пытаясь приподняться на локтях. «Сестра, воздух...» — промолвил он, и голос его оборвался. Сестра вышла за шприцем,

чтобы сделать ему укол, а я вижу — дыхание Спаса все слабеет, слабеет и вдруг остановилось совсем. Я выбежала из палаты, зову сестру. Она пришла, взяла его руку, ищет пульс, прикладывает ладонь к груди, где сердце... Дотрагиваюсь и я: грудь его еще горячая, влажная от пота, а сердце уже не бьется. Скончался, умер Спас.

Было шесть часов десять минут 30 мая 1972 года.

...По тропам Сестримо стекаются люди. Тесно в маленькой комнатке Спаса. И нестерпимо душно. Решаем перенести гроб с его телом в клуб. Спускаемся с ним по крутой тропе, окаймленной цветущими кустами шиповника, пыреем и подорожником, а земля под ногами сухая-сухая, звенит даже. Гляжу на мертвого Спаса — лицо у него необыкновенно серьезное, застывшее и все-таки живое...

Со стройки все время подъезжают к клубу люди. Горняки, закончив смену, принесли с собой на своей одежде, резиновых сапогах и спецовках глину, ил, песок из забоев и штольни тоннеля. Шоферы, остановившись возле клуба, молча курят... Мужчины прощаются со своим ушедшим навсегда товарищем.

В первый день июня мы хороним Спаса. В Пловдиве жара. Улица возле дома Спаса запружена людьми. Несутся звуки скорбной музыки. И вот все это множество людей, вытянувшись в длинную процессию, направляется через весь город следом за грузовиком, задрапированным в красное и черное, к кладбищу. Спас прощается с Пловдивом. Пловдив прощается со Спасом. А потом на крышку гроба с его телом падает сухая, жесткая, серая земля.

Спаса предали земле, которую он усмирял всю свою жизнь.

Так в чем же была сила Спаса Дочева? Ответ приходит сам собой: в его характере. Но характер его не определишь одним словом: белый он или черный. Его внутренний мир настолько сложен, что сравнить его можно с рекой: с ее бездонными глубинами и теплыми песчаными отмелями, с головокружительной быстриной и тихими заводями. Любовь к профессии, к своей работе — один рукав этой реки, неуемная жажда жизни — второй, упорство — третий.

Спас жил как подобает. И умер как подобает.

А подобает, в его понимании,— значит страстно, сильно, с душевными взрывами, и даже тогда, когда в них не было никакой необходимости. Впрочем, едва ли существует такое душевное переживание, которое было не нужно Спасу. Он принадлежал к тем людям, которые не делят радости и горести на свои и чужие, не живут украденной радостью, чужими праздниками. Если перелистать страницы его жизни, мы не найдем такого дня, когда бы он не вмешался в чью-то жизнь, не вторгся в чью-то судьбу. Он никогда не был наблюдателем. Еще древний мудрец сказал: «Как мало любит тот, кто любит в меру». Спас никогда не довольствовался малой любовью или малым гневом, маленькой страстью или маленькой ненавистью. И любовью и ненавистью он был наделен в изобилии. Всему он отдавался безгранично, беззаветно, выкладывался до конца.

В труде своем он был яростен, целеустремлен, я бы сказал — фанатичен. Не раз сам слышал, как называли его горняки Отец, а то и Собака-Спас. Потому что, если вцепится зубами в работу, то уж ни за что на свете не бросит ее, пока не доведет до конца, и так, как надо, разумеется. В тоннель он всегда отправлялся как на праздник. Находил наслаждение именно в лихорадочной работе. Все остальное было для него развлечением, отдыхом. Идеи своей молодости он никогда и в более поздние времена не разменивал на мелкую монету будничных неурядиц. Не допускал ни разу, чтобы его коммунистическая вера потускнела из-за них.

Когда вышла в свет моя первая книга, я подарил ее Спасу. Он перелистал ее и сказал: «Пиши! Но пиши так, чтобы у людей стало больше хлеба и больше справедливости».

◆

Наши гости

О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ

У нас в гостях — французские писатели. Андре Стиль — наш давний друг. Некоторых из приехавших — Бернара Клавеля, Жана Пелегри, Эмманюэля Роблеса — мы знаем по их произведениям, опубликованным в Советском Союзе, в том числе на страницах нашего журнала, и мы рады теперь встретиться с теми, кого уже читали. С Жаком Рубо и Мишелем Батаем мы знакомимся впервые.

Андре Стиль представляет своих друзей, рассказывает об их книгах, подчеркивая своеобразие творческой манеры каждого из гостей.

— Бернар Клавель,— говорит он,— писатель поистине народный, связанный с народом своими мыслями, чувствами. Его романы, доступные самому широкому читателю, рассказывают о повседневном быте, помыслах и тревогах простых людей. Но доступность прозы Клавеля вовсе не означает, что он чуждается поисков в области формы — реалистическая картина действительности, которую он создает, не плоская натуралистическая копия, не фотография, а художественное преображение реальности, помогающее ее почувствовать и понять во всей сложности человеческих отношений, поэтому творчество Клавеля интересно даже очень взыскательному читателю.

Эмманюэль Роблес,—продолжает Стиль,— член Гонкуровской Академии, как и Бернар Клавель. Это писатель большого таланта, один из немногих наших романистов и драматургов, в чьих произведениях личные драмы, переживания, психологические конфликты неразрывно связаны с общественными проблемами, затрагивающими сегодня многих французов. Я хотел бы отметить особо, что Эмманюэль Роблес замечательный новеллист. Сейчас во Франции к рассказу — жанру у вас очень популярному — относятся с некоторым пренебрежением. Роблес много делает для возрождения интереса к новелле. В этом плане мне хотелось бы напомнить, что Гонкуровская Академия учредила в 1974 году специальную ежегодную стипендию писателю-новеллисту, цель которой — поощрить молодых прозаиков писать в этом жанре и привлечь к нему внимание читающей публики.

Жан Пелегри,— знакомит нас дальше Андре Стиль,— занимает во французской литературе особое место. Он, как и Эмманюэль Роблес, родом из Алжира. Расставание с отчим краем — трагедия. В произведениях Жана Пелегри отразился напряженный внутренний конфликт человека, который, понимая справедливость борьбы алжирцев, сочувствуя их стремлению избавиться от колониального гнета, в то же время страдает, теряя родину. Но это не порождает ни ненависти, ни озлобления — писатель любит землю, на которой вырос, любит народ, живущий на этой земле, алжирских крестьян, бок о бок с которыми прошли его детство, его юность. Романы Жана Пелегри поэтичны, проникнуты чувством солидарности с алжирским народом, глубоким пониманием его духовного богатства.

Творчество Мишеля Батая,— отмечает Стиль,— также проникнуто ощущением трагизма жизни, хотя и в ином плане. Его сердце разрывается от жестокости нашей эпохи, от страха за человечество, над которым нависла атомная угроза. На мой взгляд, он, пожалуй, чересчур пессимистичен, хотя я хорошо понимаю, особенно в контексте его жизни, эту остроту и болезненность восприятия всех тех явлений современности, которые заставляют страдать человека. Романы Мишеля Батая, в частности «Рождественская елка», говорят обо всем этом тро-

гательно, проникновенно, искренне, вызывая живой отклик у читателя. Наши взгляды на человека и общество не всегда сходятся, но его книги я неизменно читаю с большим удовольствием, нахожу в них отражение нашей печальной действительности, того, как трудно и больно жить сегодня в нашей стране не только рабочим, но и шире — рядовым французам. Мне кажется, вам следовало бы перевести произведения Мишеля Батая, так же как и Жака Рубо, писателя совершенно иного плана, иных интересов.

Жак Рубо в нашей делегации представляет молодой авангард литературы. Я хочу сказать, что это человек страстно ищущий. Он — математик. И настоящий поэт. Для него воображение и математика нераздельны. Я сказал бы, что его поэзия — это «воображение математики», или «математика воображения».

Я не могу похвалиться тем, что все пути к его поэзии для меня открыты, но это поэзия подлинная, и у нее есть свой читатель. Поэзия Рубо сложна, и переводить ее трудно. Но как мне кажется, эти трудности преодолимы, если перевод будет делаться совместно русским поэтом-переводчиком и Жаком Рубо. Тем более что он немного говорит по-русски и еще лучше читает.

Поиски Жака Рубо в области формы — это поиски новых способов выражения, создающих новое содержание в поэзии. Мне хотелось бы подчеркнуть, что те группы, участником которых является Жак Рубо — «Шанж», «Аксьон поэтик», «Лулипо»,— во многом отличаясь друг от друга, имеют и нечто общее, им всем свойственно стремление покончить с авангардистским терроризмом, присущим, например, «Тель кель». Поиск «Шанж» или «Аксьон поэтик» не исключает возможностей другой поэзии, не обливает презреньем поэзию традиционную, не отгораживается китайской стеной от реализма. Вообще важно понять, что сегодня эксперимент в поэзии, да и в прозе, не означает пренебрежения к действительности.

Теперь, когда Андре Стиль рассказал нам о членах делегации, остается представить его самого. Но в этом, пожалуй, нет нужды — он достаточно хорошо известен и нам и нашим читателям,— и французские писатели ограничиваются несколькими шутливыми замечаниями, превознося его «отеческую заботу» о них, его стремление сделать эту поездку — а для большинства из них она первое знакомство с нашей страной — как можно более плодотворной.

Мы просим гостей рассказать нам о том, что есть сейчас наиболее интересного, значительного во французской литературе.

Бернар Клавель горячо рекомендует нашему вниманию писателя-коммуниста, в свое время недостаточно оцененного на родине, но сейчас как бы открытого заново,— это Гастон Бессет. По его старому роману («Гроздья моего виноградника») была недавно сделана телепередача, получившая очень живой отклик как в критике, так и у широкого зрителя. В этом романе писатель рассказывает о крестьянах, которые ведут борьбу с властями в драматических обстоятельствах, когда виноградники гибнут от филоксеры. Другой роман Гастона Бессета — «Золотой пруд» — в свое время получил швейцарскую литературную премию Книжной гильдии, в Швейцарии был даже создан «Клуб друзей Гастона Бессета», члены которого совершали своего рода организованные паломничества к месту действия — автобусные экскурсии к Золотому пруду. Клавель дает весьма высокую оценку также романам Жюля Руа.

Андре Стиль считает очень значительными два романа, вышедшие совсем недавно, это — «Кружевница» Паскаля Лэне, удостоенная Гонкуровской премии за 1974 год (о книге, мы, кстати, писали в нашем журнале № 4 за 1975 г.) и роман Жоржа Перека «В., или Воспоминания о детстве», интересный как сам по себе, так и для характеристики творческой эволюции этого писателя.

— Вы знаете его повесть «Вещи»,— говорит Стиль,— написанную в реалистической манере. В новом романе Жоржа Перека строго реалистическая линия воспоминаний о собственном детстве, детстве еврейского мальчика в годы гитлеровской оккупации, переплетается с грезами, вымыслом. Но, как известно, человеческая память сохраняет далеко не все, так что и для реалистического воссоздания мира необходима фантазия. В то же время неожиданно для читателя, а возможно, и для автора в тексте «воображаемой» линии повествования бессознательно отражается жизненный опыт — концентрационные лагеря Чили, которые пытается представить себе романист, оказываются проекцией гитлеровских лагерей смерти. Мастерски написанный роман Перека — это как бы идеальная точка пересечения реалистической и авангардистской прозы, живое подтверждение того, что я говорил о характере современного поиска в области формы, отнюдь не исключающего интереса к действительности. Актуальное политическое содержание и высокие художественные достоинства этого романа делают его, на мой взгляд, интересным не только для французского, но и для советского читателя.

Что касается «Кружевницы», то, по мнению Андре Стиля, этот небольшой роман отличается необыкновенной емкостью, скрывает за внешне простой, непритязательной формой очень важные и сложные вещи. Как выражается наш гость, это — «письмо во второй и третьей степени», требующее от читателя не скольжения по поверхности фабулы, но раздумий, сосредоточенности, внимательного проникновения в глубь текста, заключающего в себе несколько уровней постижения действительности.

Андре Стиль говорит также, что два года тому назад он познакомился с библиографией русских переводов современной французской литературы и что, на его взгляд, они дают в целом верное представление о литературном процессе.

Эммануэль Роблес советует нам познакомиться с романами Клемана Лепидиса, французского писателя греческого происхождения, затрагивающего в своем творчестве — в частности в романе «Армянин» — сложные проблемы жизни эмигрантов в Париже. Лепидис, родившийся в Бельвиле, пролетарском районе Парижа, сын сапожника и сам сапожник, хорошо знает, как туго подчас приходится этим людям.

В разговоре всплывают также имена романистов — Жака Реверзи, Клода Бенади, Пьера Муано, Альженора Энальди, Жака Карьера, поэтов — Мориса Реньо, Жака Редда. Гости горячо рекомендуют для перевода произведения одного из самых крупных французских эссеистов Гастона Башляра, исследования которого кроме всего прочего замечательно поэтичны. Клавель рассказывает, что, выступая как-то на большом заводе, он познакомился с токарем, который увлекался Башляром; по словам заводского библиотекаря, этот рабочий, открыв для себя Башляра, сумел увлечь им и своих товарищей по цеху, так что теперь этого автора, слывущего «элитарным», читают и знают многие рабочие.

Из произведений документального жанра гости особенно выделяют последнюю — «и, может быть, самую сильную», замечает Андре Стиль,— книгу Мадлен Риффо, посвященную самоотверженному труду младшего медицинского персонала парижских больниц.

Традиционный вопрос о творческих планах наших гостей вызывает некоторое замешательство. «Я никогда не говорю об этом,— бросает Бернар Клавель,— по двум причинам: во-первых, если я расскажу, над чем работаю, у меня пропадает всякое желание писать, мне это уже неинтересно, и, во-вторых, нельзя говорить ни о чем заранее — ведь никогда не известно, доведешь ли эту работу до конца». Остальные французские писатели к нему присоединяются, а Мишель Батай идет даже дальше — он, по его словам, не умеет говорить даже об уже законченном романе, пока не отойдет от него достаточно далеко: «Должно пройти два-три года, чтобы я оторвался от сделанного и мог бы об этом рассказать».

В связи с замечанием Андре Стиля о том, что он уже больше года не выступает как писатель и работает только для телевидения, завязывается оживленный спор: можно ли считать телесценарий произведением художественной литературы. Стиль, автор трех телефильмов, имевших в последний год большой успех, считает, что особая специфика этой работы ставит ее в иной литературный ряд и что он лично по-настоящему выражает себя как художник только в романах и рассказах. Бернар Клавель, Жан Пелегри, Эммануэль Роблес спорят с ним. Впрочем, все сходятся на том, что телевидение играет во Франции очень большую роль в пропаганде литературы: многие произведения, прошедшие незамеченными и обойденные критикой, привлекают к себе широкое внимание после того, как к ним обращается телевидение.

К сожалению, интересный разговор о роли писателя на телевидении, о том, в какой мере труд сценариста является трудом литературным, художественным творчеством, обрывается... по вине телевидения — на этот раз не французского, а советского, представители которого, во всеоружии своей техники, с нетерпеньем ожидают наших гостей у дверей редакции.

Мы благодарим французских писателей за полезную информацию и прощаемся в надежде встретиться еще с каждым из них на страницах нашего журнала.

Беседу записала Л. З.

◆

У КАРТИН ФУКУДА ХЕЙХАТИРО

Главное, что отличает творчество выдающегося современного японского художника Фукуда Хейхатиро (1892—1974),— это поистине безграничная влюбленность в природу. Он необычайно пристально вглядывался в мир природы, в многообразие ее форм и явлений, в ее цветовое богатство, в ее бесконечную изменчивость и многоликость, в многоголосье ее певучих, музыкальных ритмов.

Фукуда принадлежит к числу тех немногих мастеров национальной школы, в творчестве которых оказались органично слитыми национальные художественные традиции и чувства и мироощущение современного человека. Именно поэтому своеобразный мир его искусства раскрывается как бы сразу, становится близким и понятным любому зрителю.

Рыбы, цветы, птицы, растения, насекомые — огромный, разнообразный и красочный мир живой природы, которым любуется и который вдумчиво и скрупулезно — как натуралист и философ — изучает художник. У него почти не встретишь картин со сложным сюжетом, исполненных скрытой символики, или больших пейзажных полотен с философской многозначностью — чертами, отличавшими работы мастеров традиционной живописи. Лаконичные по форме и средствам выражения, его картины поэтичны, тонки, задушевны.

Много у него зарисовок рыб — плывущих по течению, резвящихся в воде, играющих с волнами. Но больше всего он любил рисовать воду, ее различные состояния — вечно живую и изменчивую, находящуюся постоянно в движении.

«Ирисы», «Азалии», «Баклажаны», «Дикие хризантемы», «Птички на ветке», «Зеленая хурма», «Маки» и многие другие произведения Фукуда, представленные на недавней выставке в Музее искусства народов Востока в Москве, состоявшейся в связи с передачей их в дар японскому народу, привлекают изысканной художественной манерой, свежестью и непосредственностью восприятия, радостным ощущением бытия. Каждый цветок, каждый лист и ветка предстают у художника олицетворением грандиозного мира природы, призванным воплотить тонкие человеческие чувства и переживания. Можно беспрестанно любоваться его широкой живописной манерой, интенсивностью цвета, умением строить свободные и неожиданные композиции, где главное — деталь, а целое подразумевается и дает простор воображению и фантазии зрителя.

Фукуда работает в основном в так называемой «бескостной манере», когда отсутствует контур, а форма и объем выражаются с помощью цветового пятна, интенсивностью наложения цвета, соотношением предметов между собою и их положением в пространстве. Широкие, свободные мазки отличаются упругой силой и гибкостью.

Глубоко связанный с национальной традицией декоративной живописи, он в то же время был одним из первых художников национальной школы «нихонга», ставших в начале нашего века

на путь ее обновления и преобразования. Он выступал отнюдь не за полный отказ от традиций, что было свойственно в то время многим японским художникам, попавшим под влияние модернизма, а за их трансформацию и переработку в соответствии с требованиями и законами современного искусства.

Именно связь с традицией и свободное владение национальными формами позволили ему совершить скачок в мир искусства нового времени, перевести законы традиций на современный художественный язык.

Художественное мышление и изобразительный язык Фукуда обладают известным постоянством и устойчивостью. Мотивы и образы его ранних работ, которые можно было видеть на выставке, мало чем отличаются от произведений последних лет, таких как «Вода», «Дождь», «Снег», относящихся к 60-м годам. В них можно обнаружить лишь бо́льшую зрелость и отточенность мастерства. Творчество Фукуда снискало любовь и уважение народа, он был признан при жизни, одним из первых среди мастеров искусств награжден высшей наградой — Орденом культуры.

Сверкающее соцветием ярких красок искусство Фукуда, созвучное современному человеку, стремящемуся к природе и все более удаляющемуся от нее, открывает нам новые глубины в ее художественном и философском постижении.

А. КОЛОМИЕЦ

◆

Журавли

Маки

Стволы бамбука

Девочка

Ирисы

Среди книг

Издано в СССР

ВЕРНУЛАСЬ МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Человек из предместья. Рассказы вьетнамских писателей. Перевод с вьетнамского. Вступительная статья Юрия Рытхэу. Москва, «Художественная литература», 1975. 256 стр.

«Кто виноват в нашем крахе во Вьетнаме? — тревожно вопрошают сегодня многие американцы.— Какие президенты и правительства нашей страны?» Нынешние руководители Соединенных Штатов, забывая, что нации, не сделавшие выводов из своих ошибок, обречены на повторение этих ошибок, поливают маслом взбаламученные воды, призывают американскую общественность предать прошлое забвению.

Вне всякого сомнения, призыв этот не будет услышан. Слишком тяжкое потрясение пережила и сама Америка. В ближайшие годы американцами будут написаны десятки и сотни критических и апологетических книг, брошюр, статей о необъявленной войне США в Индокитае и ее бесславном конце.

В дни, когда Ханой и Сайгон в обстановке всенародного ликования праздновали великую победу на Юге, славные сыны Вьетнама, выражая вечную свою благодарность Советскому Союзу и всем социалистическим странам, помогавшим им по-братски в годы долгой и тяжелой борьбы, не забыли назвать и американский народ, лучшая часть которого, часть очень значительная, с самых первых лет войны включилась в мощное, растущее движение за мир, против действий американской военщины во Вьетнаме.

«Как была завоевана победа во Вьетнаме?» На этот вопрос лучше всего ответят сами вьетнамцы. И ответ этот, пусть еще не полный, я находил на многих страницах сборника вьетнамских писателей, выпущенного под общим названием «Человек из предместья» к 30-летию Демократической Республики Вьетнам, исполняющемуся в сентябре 1975 года, которому суждено было стать годом великой победы вьетнамского народа в многолетней и героической борьбе за свою свободу и независимость. Думаю, что для каждого нашего читателя эти произведения вьетнамских писателей будут озарены сияющим светом долгожданной, выстраданной в неимоверных муках победы.

Когда читаешь рассказы, написанные и тридцать, и двадцать, и десять лет тому назад вьетнамскими прозаиками, невольно поражаешься силе народного духа, неизбывности его веры в конечный триумф правого дела, его несгибаемой стойкости и непреклонному мужеству. Теперь, весь мир знает, что невиданные испытания, выпавшие на долю народа Вьетнама, не были напрасными. Сердце переполняется гордостью за наших вьетнамских братьев и сестер и благодарной, восторженной любовью к ним.

И прогрессивному, честному американцу, как я не раз убеждался в разговорах с гражданами США, нелегко понять, какие смерчи и тайфуны развязала пентагоновская военщина в Индокитае. Даже во время второй мировой войны Америка несла больше потерь на автомобильных дорогах страны, чем на фронте.

Нам, участникам Великой Отечественной, неизмеримо легче понять, что пришлось пе-

режить вьетнамскому народу. И все же, честно говоря, когда сразу после заключения тревожного перемирия я путешествовал по Северному и Южному Вьетнаму, я часто спрашивал себя: могу ли я в полной мере осознать героическую трагедию Вьетнама? Этот вопрос я задавал себе тогда, когда ехал по дороге № 1, по выжженной дюпоновским напалмом красной, как кровь, земле. Когда поражался «лунному ландшафту» в 4-й зоне. Когда стоял на берегу пограничной реки Бенхай на 17-й параллели и думал: вот отсюда начался отлив империалистической экспансии самой мощной капиталистической державы мира, откат неоколониализма. Вот он — водораздел всемирно-исторической битвы миров, в которую наши вьетнамские братья вложили столь незабываемый и славный вклад.

И вновь я задал себе этот вопрос во время разговора с ровесником и побратимом-партизаном, который рассказал мне, что партизанил более... двадцати лет! И я вспомнил, что когда в последний раз выбрался из вражеского тыла, с территории третьего рейха, мне казалось, я дошел уже до последней грани полного духовного, физического, нервного истощения. Тогда я попытался умножить свой собственный скромный четырехлетний опыт в пять-шесть раз, чтобы понять, что пережил мой вьетнамский побратим. И это чувство безмерного уважения я ощущал при каждой новой встрече с людьми, воевавшими против империалистов всех мастей — японцев, китайцев-гоминдановцев, французов, американцев — на протяжении тридцати лет, то есть всей их сознательной жизни.

Разумеется, история этой борьбы нашла отражение в творчестве вьетнамских рассказчиков за последнее бурное тридцатилетие, потрясавшее почти непрерывными ураганами Индокитай. И все писатели этого края, которые представлены в сборнике,— ветераны лихолетья длиною в целую жизнь. Нгуен Динь Тхи, То Хоай, Нгуен Туан — вас и многих других вспоминал я, читая этот праздничный сборник. И такова сила вашего слова, что вновь и вновь какая-нибудь деталь, какой-нибудь штрих переносили меня в Ханой или Хайфон, на изрытую бомбами дорогу № 1, из демилитаризованной зоны в южновьетнамскую провинцию Куангчи, где я застал еще грохот пушек сайгонской армии, где я ходил по отвоеванным, казавшимся неприступными базам американских «зеленых беретов».

Но рассказы не только напоминают, воскрешают виденное и слышанное. Они позволяют понять, сколь правилен, мудр и точен был путь, начертанный Хо Ши Мином, который великое и немыслимо трудное дело освобождения Индокитая начал с того, что перевел книгу по истории партии большевиков в России. Этот перевод был сделан Хо Ши Мином в пещере Накбо в недрах горы, названной им в честь Карла Маркса. И вот эти истоки проглядывают в рассказах сборника, озаряют все его страницы. Так солнце, отраженное струями ручья, играет в листве прибрежных деревьев...

Жертвы вьетнамского народа, принесенные на алтарь победы, не поддаются исчислению. Празднуя свое торжество над сильнейшим врагом, матери и отцы, жены и дети по традиции зажигают миллионы благовонных палочек в память о погибших. Память эта неистребимо живет во вьетнамском народе. Я помню прекрасные памятники бойцам Сопротивления и чудесные храмы, восстановленные из пепла,— храмы в честь средневековых героев страны.

Когда в 1972 году я ехал из Ханоя в Южный Вьетнам, то по дороге читал документальную повесть Нам Као «Дорога на фронт радости», написанную автором сразу после освобождения родины от французов. Нам Као не знал, что впереди — гораздо более страшная и изнурительная война против еще более сильного и опасного врага. Его рассказ «Взгляд», помещенный в сборнике, с подкупающей откровенностью показывает трудности борьбы в начальный период: «... в каком-то смысле крестьяне все еще остаются для нас тайной за семью печатями. Хоть я уже давно живу среди них и всегда относился к ним сочувственно и с любовью, меня тоже охватывает порой отчаяние, особенно когда я вижу, как они в подавляющем большинстве своем невежественны, отсталы, как рабски приниженны, безмерно терпеливы. Именно поэтому относился я с недоверием к разговорам о «силе масс», считал, что пройдет не одно тысячелетие, прежде чем крестьяне — то есть большинство населения Вьетнама — созреют для революции...»

Так было вначале. И партия старого коминтерновца Хо Ши Мина совершила подлинное чудо не за несколько тысячелетий, а всего за десятки лет, подняв к сознательной революционной борьбе прежде инертную массу крестьян.

В горнило борьбы партия позвала и передовую интеллигенцию страны. В рассказе «Взгляд» Нам Као возмущается писателем, изменившим народу: «Ну зачем якшается он с этими подонками, причисляющими себя к интеллигенции? Почему не пошел в армию или в один из агитационных отрядов писателей? Участвуя вместе с другими литераторами в войне, он встретился бы со студентами, борющимися в рядах Народной армии, с врачами, самозабвенно работающими в больницах, с писателями, художниками, артистами, которые с увлечением идут в массы, неся им просвещение, культуру, и сами учатся у народа, черпая в общении с ним творческое вдохновение».

В этих строках безвременно погибшего на войне Нам Као — вся биография его вьетнамских коллег, творческих кадров свободного, несгибаемого Вьетнама.

Великая заслуга партии в том, что она сумела сплотить народ воедино, изолировать предателей, мобилизовать духовную и физическую энергию народа на борьбу с врагом, вселить в бойцов бесстрашную веру в победу тогда, когда лучшие граждане Америки еще не успели сказать свое слово, когда генералы Пентагона грозили вьетнамским патриотам ядерным оружием и обрушивали на города и деревни непокоренного народа больше

бомб, чем сбросили они за две мировые войны!.. «Скоро победа,— уверенно писал в 1954 году мой друг Нгуен Туан,— сшейтека Ти к празднику белый костюмчик, то-то будет красиво» («Рассказ о «семилетнем стороже»). Окончательной победы Нгуен Туану и Ти пришлось ждать девятнадцать лет, но они дождались ее — вот что важно!

О горечи потерь, всегдашней тоске по миру и неиссякаемом оптимизме народа, о редких встречах и долгих разлуках, о том, как крестьянки с винтовками за плечами высаживали рис и собирали потом обгорелые зерна в разбомбленной деревне, рассказывают нам вьетнамские писатели. В их произведениях много света и поэзии, живого чувства, ненависти к врагам и предателям и беспредельной любви к своей прекрасной родине. В мастерском рассказе «Старый проводник» Нгуен Динь Тхи повествует о высшей трагедии гражданской войны: отец отрекается от сына-изменника, предавшего родину.

Перед нашими глазами проходят яркие образы героев Вьетнама — бойцы и партизаны, шахтеры и скотоводы, зенитчики и артисты. Хочется отметить мастерство переводчиков, которые бережно сохраняют национальный колорит. Так, в ушах героя из превосходного военного рассказа Хыу Мая разрывы зенитных снарядов, услышанные издали, звучат, как «треск поджаренной кукурузы» («Часовой мастер с первой линии обороны»). Много тонкого и пылкого чувства, любовной печали в рассказе Нгуен Кхая «На уборке арахиса». Его пейзажи напомнили мне искусные картины ханойских умельцев, инкрустированные перламутром и покрытые черным лаком.

Строки, написанные Нгуен Кхаем после победы над французами при Дьенбьенфу, читаются так, словно автор написал их сегодня:

«Не один месяц крестьянам пришлось расчищать поля от мин и снарядов, засыпать траншеи и воронки. А сколько народу погибло, сколько было покалечено на расчистке бывших полей сражений, сколько людей заболело от жары, от лихорадки, от недоедания...

Но вот пришла вторая послевоенная весна, и щедрая зелень закрыла изуродованный лик земли: весело тянули свои зеленые побеги прорастающие бобы, кукуруза и арахис, нежно-зеленый цвет рисовой рассады радовал глаз и вселял надежду на обильный урожай. В поселках, на окнах домов весело полоскались белые занавески из парашютного шелка; на бамбуковой изгороди алели цветы вьюнков; мимо террас, важно гогоча, шествовали, переваливаясь, утки и гуси... К вечеру в комнатах зажигались лампы с зелеными абажурами, и над поселком стелился сизый табачный дым,— значит, семья уже вся в сборе... И отовсюду раздавался громкий смех, веселая перебранка, глухой, быстрый шепот, истошный детский плач — все это нескончаемым гулом неслось вверх в небо, чтобы там раствориться в ночной тишине.

Люди жили, работали, любили и ненавидели, приносили друг другу счастье и горе. Люди думали и переживали, надеялись на лучшее и радовались, печалились и огорчались. Но самое главное — в эти края, где совсем недавно гремели бои и гибли люди, вернулась мирная жизнь. Жизнь пока еще трудная, забирающая у людей последние силы, но не способная отнять веру в будущее, непреклонное мужество и жажду счастья».

Эти слова принадлежат мудрому, доброму и бесконечно любящему свой народ человеку. То же самое можно сказать обо всех писателях разных поколений как Севера, так и Юга, представленных в сборнике, подготовленном издательством «Художественная литература» при участии Союза писателей Вьетнама.

ОВИДИЙ ГОРЧАКОВ

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ

Нгуен Туан. Меж двумя веснами. Очерки. Перевод с вьетнамского. Составление, перевод, предисловие и примечания М. Ткачева. Москва, «Молодая гвардия», 1974. 144 стр.

Говорят, хороший человек — это не профессия. Добавлю: это много больше. В доказательство приведу небольшую книжку очерков, которая лежит передо мной.

Это первая книга писателя Нгуен Туана, изданная у нас в стране. Несколько очерков в разных изданиях, один или два рассказа — по ним трудно было составить какое-то представление об авторе. Пожалуй, и эта книга не дает полного впечатления о писателе — одном из признанных мастеров вьетнамской прозы.

В конкретности и лаконизме очерковой прозы места для личности автора зачастую не остается. Она ощущается лишь через позицию, выбор героев и объектов, так что в итоге автор выступает скорее не как личность, а как производное от стиля изложения, помноженного на гражданский темперамент. Не то с очерками Нгуен Туана. Лучи его мыслей, проходя через линзу очерка, фокусируются в восприятии читателя, но по обратную сторону линзы они с той же очевидностью сходятся в точку, имя которой — автор. Благодаря этому я, читатель, не только воспринимаю то, что хочет сообщить мне автор, я нахожусь в непрерывном, неослабевающем общении с ним. И чтение превращается в беседу.

Итак, мы беседуем. Темы наших бесед — в очерках, и пересказывать их не стоит. Но прелесть беседы в том и состоит, что она как полет птицы: вся — постоянство и непрерывное движение. Крылья нашей беседы то занесут нас в тень глубокой вьетнамской древности, то промчат над просторами

рисовых полей, то коснется их первый ленинградский снег, то затрепещут они над харчевней, откуда доносится несравненный запах настоящего «фо» — супа для всех и для знатоков. И поскольку эта беседа-полет стремительна и неторопliва одновременно, черты облика нашего собеседника будут представать перед нами объемно и каждое слово, сказанное им, станет объемно, отбросит тень страсти или холодности, изысканного юмора или сдержанности, любовной насмешливости или пафоса, присущих в этот миг настроению нашего собеседника.

И наступит минута, когда отлучится переводчик (вы не забыли? — ведь мы до сих пор говорили на разных языках), и мы неожиданно для самих себя обнаружим, что понимаем друг друга. Это ощущение возникло у меня при первом чтении книги, когда к середине ее я обнаружил, что перестал заглядывать в сноски. Я не специалист по Вьетнаму и никогда не был в этой стране, но общая атмосфера, в которой я оказался, читая очерки, так подействовала на меня, что у меня возникло ощущение, будто я век жил среди этих понятий, и они перестали для меня разделяться на звучание и смысл.

Так что же можем мы сказать о нашем собеседнике, наблюдая за игрой света и тени на его остром, выразительном, постоянно меняющемся лице?

Может быть, он живописец? Всмотритесь: «...я гляжу на уступы гор, где качают на ветру ярко-алыми листьями деревья, именуемые конг. В красной листве порхают голубые птицы. Сегодня, в час утренней переправы, природа, расщедрившись, бросает на свежую зелень мягкие красные тона — и здесь, у давно уже освобожденной пристани, и там, за рекой, куда только что ступила свобода». Он видит тона и полутона и сочетания их так, что детали, опущенные в его картине, домысливаются зрителем; так, как видит их современный художник.

Но, может быть, он музыкант? Вслушаемся: «Помню, когда-то разносчики «фо» выхваляли в голос свой товар: одни гнусавили невесело и протяжно, и крик их терялся в глухих переулках, другие голосили весело и звонко... Не знаю, может быть, это чудачество, но мне бы хотелось, чтоб записали на пластинку все, сколько их было, возгласы, распевы, скороговорки бродячих торговцев, ведь и в них тоже отзвуки и ритмы прожитого нами времени». Память его по-музыкантски, по-композиторски удерживает время, соединяя разрозненные звуки жизни в единую картину. Я уж не говорю о музыкальности самой прозы, хотя перевод Мариана Ткачева, мне кажется, сохраняет птичью гортанность и мелодичную двугласность вьетнамской речи, похожей на напев чужого, незнакомого по звуку музыкального инструмента.

Может быть, этот автор — актер? Только истинным актерам свойственна такая детская, непосредственная открытость в общении с людьми, вызывающая безошибочную встречную открытость. Именно актерам свойственно — так, как ему,— нести в мир одежду чужого знания, не теряя чувства собственного достоинства, перевоплощаться, вызывая сочувствие, но не обманывая никого. И, наконец, пожалуй, только у актеров доводилось мне видеть столько преданных, бескорыстных товарищей, одаривающих их своей дружбой и вниманием. Этот дар безусловно присущ нашему собеседнику. С ним говорят с одинаковой доверительностью молодой солдат и старый художник из Донгхо, крестьянка из деревни Ваунг и председатель общины на острове Ванхай. О том, как готовится краска для знаменитых лубков Донгхо и как готовится к штурму вражеских укреплений подразделение Народной армии, наш собеседник рассказывает словно о деле собственных рук, а когда он начинает рассуждать о достоинствах вьетнамской кухни, то так и видишь, как из-под ножа в его руках сыплются аккуратные и аппетитные кубики мяса и овощей. Он не восхищается и не умиляется чужим ремеслом, он будто примеряет его и, убедившись, что оно ему впору и по силам, с достоинством передает это ощущение из своих рук в наши.

Может быть, он историк? Географ? Землеустроитель, наконец? В каждом уголке, куда заводит он нас своим рассказом, у него есть старые знакомые и любимые укромные уголки, вся земля его страны кажется связанной с его жизнью, лично им пройденной, лично им обжитой. И нет места, которое не напоминало бы ему об истории. Причем самое интересное, что ощущение историчности направлено у него не только в прошлое, о котором он говорит с бесконечной доверительностью и простотой истинного знания, но и в будущее, а оно для него — такая же непреложная часть настоящего, как и история.

Или, наконец, он — философ, чья мудрая ирония сопрягает быт и пафос, улавливает временность в сегодняшних тяготах и прозрачную ясность в трудно различимых контурах будущей жизни?

Кто же он?

Это угадывание, разумеется,— просто литературный прием, ибо изначально известно нам, что Нгуен Туан — это уже немолодой,

шестидесятипятилетний вьетнамский писатель, ушедший в джунгли в первый год Сопротивления и ставший коммунистом именно там, в джунглях, в те самые трудные годы, когда только бесконечная вера в справедливость правого дела давала твердую надежду на то, что оно завершится победой.

Однако это не только литературный прием. Не только для того это написано, чтобы передать ощущение живописности и музыкальности, мудрости и непосредственности его очерков. На каждый из заданных нами вопросов сама жизнь Нгуен Туана дает положительный ответ. Да, он художник, да, он музыкант и прекрасно играет на старинных вьетнамских инструментах, да, он историк, жизнелюб и землепроходец. И, наконец, как сам он признается в одном из очерков — актер (добавим, что и драматург и режиссер к тому же). Что из этого в прошлом? Что в настоящем? Что реализовал он в себе как писатель, что оставил про запас? Трудно сказать, потому что, объединенные воедино, все эти качества и создали хорошего, замечательного человека, верного сына Вьетнама Нгуен Туана.

А хороший человек — это, как говорят, не профессия, это много больше.

А. СИМОНОВ

РАЗГОВОР С НАДЕЖДОЙ

Андрес Элой Бланко. Зеркало в черной раме. Перевод с испанского. Предисловие С. Мамонтова. Москва, «Художественная литература», 1974. 272 стр.

На центральной площади Каракаса высится памятник Андресу Элою Бланко [1], и у себя на родине он почитается одним из крупнейших поэтов, творивших в нашем веке. Венесуэльцы, с которыми мне доводилось беседовать во время поездки по этой далекой и удивительной стране, среди своих литературных кумиров прежде всего называли имя Бланко — наиболее популярного в Венесуэле поэта.

Будучи национальным писателем своей родины, он сумел отразить и выразить мысли и чаяния сыновей Латинской Америки, живущих в разных странах, но крепко связанных историей, прежде всего — историей борьбы за свободу, за демократию. Мне не раз приходилось улавливать черты поэзии Бланко в творчестве поэтов многих стран пылающего континента. Так, герой многих песен и стихов Николаса Гильена — литературный родственник героя баллад Бланко — Хуана Бимбы.

«Хуанбимбада», веселая, драматическая и мудрая книга, была опубликована уже после смерти поэта — в 1960 году, и я ни в коей мере не собираюсь утверждать влияние Бланко на Гильена.

Тут иное соотношение. Оба поэта в пору своей зрелости обратились к народной песне своих стран, точнее, к тому языку и кругу образов, который называют простонародным. Фольклор городской окраины они возвели в жанр высокой поэзии. Вот в чем родство между ними.

Заметна простым глазом и близость поэзии Андреса Элоя Бланко и поэзии Пабло Неруды, нетрудно определить общие черты развития этих мастеров. Не важно, кто какое место занимает в истории литературы. Каждый национальный поэт обретает право именоваться национальным в том случае, если его поэзия отражает важнейшие этапы жизни народа, поднимает проблемы, важные для всей страны, формирует общественное мнение.

Латиноамериканский континент создал таких поэтов! Все новые имена и стихи входят в никогда не кончающуюся книгу нашей культуры. В издательстве «Художественная литература» вышла небольшая антология произведений Андреса Элоя Бланко под точно найденным в его поэзии названием — «Зеркало в черной раме». Страницы из книг «Путеводитель по 2000 году», «Каменный корабль», «Хуанбимбада» и «Луноцвет» перевели М. Самаев и Т. Макарова; в переводах стихов из первых двух сборников венесуэльского поэта участвовали С. Гончаренко, А. Найман, П. Грушко. Профессор С. Мамонтов написал для книги живую литературную биографию поэта, поделился раздумьями о его творчестве. Перед нами большой и интересный труд.

Бланко был поэтом, точно знавшим, чего он хочет, что должен сказать людям в стихах и что должен делать в жизни. Цельная, целеустремленная, светлая личность. В семнадцать лет он участвовал в студенческих выступлениях против диктатора Гомеса, собравшегося закрыть университет, и перед будущим поэтом открылись суровые уни-

[1] Впервые в Советском Союзе стихи Андреса Элоя Бланко были опубликованы в «Иностранной литературе» № 5, 1964.

верситеты тюрем и крепостей, однако не сломившие, а лишь закалившие его волю и убежденность. Первое крещение тюрьмой было недолгим, но вскоре последовали новые испытания кандалами и пытками, длившиеся почти пять лет.

В двадцатых и тридцатых годах народ Венесуэлы узнал Андреса Элоя Бланко как поэта-борца, как рыцаря свободы.

Поэт я, дети; в жизни такое есть
призванье —
томиться в каждой жажде, быть болью
в каждой ране,
одним крылом взмывая, другим во крике
биться.
Я то, что в жертве хочет восстать перед
убийцей,
я то, что в войнах гибнет и стонет
средь обломков.
То, что однажды станет лучом в глазах
потомков.

Этот отрывок из «Исповеди» (перевод М. Самаева) можно было бы принять за декларацию, не будь каждая строка помножена на венесуэльскую действительность. И войны, и убийцы, и жажда, и боль — все это не символы, не поэтические фигуры; как обстоятельства собственной жизни воспринимали стихи поэта его соотечественники.

Литературная судьба поэта-патриота, поэта-бойца всегда усложнена — многие люди, почитающие поэзию таинственной магией цветов, ветерков и полуосознанных ощущений, признавая его талант, в то же время выражают сочувствие: бедный, он сделал лирику служанкой дня. Но день, которому поэт служит, суров по-своему — ситуации сменяются быстрее, чем хрупкий стих способен превратиться в бронзу.

Впрочем, для большого и убежденного мастера эти сложности не опасны — он ведь не выбирал себе позицию, как выбирают номер в гостинице. Жизнь Андреса Элоя Бланко и его поэзия — неразрывное, единое свидетельство благородного служения своему народу. Ему приходилось бросаться и в пучину политической деятельности — в недолгий период демократического развития страны (1947—1948) при президентстве знаменитого писателя Ромуло Гальегоса Бланко был министром иностранных дел. Реакционный переворот вынудил его остаться за рубежом.

Андресу Элою Бланко не суждено было вернуться на родину; но поэзия шагает по миру, не нуждаясь в визах, и выдающийся поэт Венесуэлы и в мрачные годы реакции говорил со своим народом, вселял в сердца соотечественников надежду и веру.

Поэт назвал свободного соловья «агитатором небес». Этот задорный образ найден в «Легенде о свободе и здоровье» — иносказательность и направленность этого стихотворения достаточно ясны. Он и сам сумел в своей судьбе слить воедино нежнейшую соловьиную песню и боевую речь агитатора.

Советский читатель знает славных певцов Латинской Америки — Пабло Неруду, Николаса Гильена, Габриэлу Мистраль и многих других. Новая встреча с Элоем Бланко обогатила нашу душу и наш арсенал.

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

ЛЮБИМОЕ ИСКУССТВО

Моя артистическая карьера. Рассказы зарубежных писателей. Перевод с английского. Послесловие В. П. Марецкой. Москва, «Искусство», 1974. 360 стр.

Любимый цирк. Рассказы зарубежных писателей. Предисловие Л. Г. Енгибарова. Москва, «Искусство», 1974. 352 стр.

Дядя Фил и телевизор. Рассказы зарубежных писателей. Предисловие М. Стуруа. Москва, «Искусство», 1974. 248 стр.

Нет общей цифры, которая дала бы представление о публикуемом в мире количестве рассказов. Рассказы и новеллы неизменно засчитывают в свой актив и авторские сборники, и альманахи, и даже газетная печать. Обоюдный интерес — пишущих и читающих — к этому жанру не случаен. Кто-то однажды прекрасно сказал, что «повесть есть эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих». Мысль эта справедлива и для жанра рассказа. Лаконичность и емкость играют роль увеличительного стекла, укрупняющего эпизод из жизни отдельного человека в поэму «о судьбах человеческих». И как же трудно бывает порой свести эти судьбы воедино, под общей обложкой книги! Нельзя сказать, что в издательской практике нет теоретических принципов таких обобщений. По преимуществу, это авторские книги или сборники рассказов писателей, пишущих на одном языке,— здесь стоит напомнить о большой работе, проделанной издательством «Прогресс», познакомившим советского читателя с мастерами американского, польского, швейцарского, испанского, японского рассказа. Издаются сборники молодых авторов и лучших рассказов года. Делались попытки объединить рассказы одного жанра — например, сборники детективов или одной темы — «Молодая гвардия» издала уже целый ряд сборников, посвященных проблемам молодежи.

Хочется обратить внимание и на три книги рассказов зарубежных писателей, выпущенные издательством «Искусство», которые объединены темой как внутри себя, так и между собой. Книги эти о судьбах людей искусства: театра, цирка и новой музы, уже нашего века,— телевидения. Созданные авторами разных национальностей и стран, герои этих книг в чем-то главном удивительно родственны: как в не похожих друг на друга детях проглядывают материнские черты и роднят их, так и здесь видна схожесть. Эта родственность — в любви к искусству. Любви всеобъемлющей, преданной, бескорыстной и чистой, даже в том случае, когда судьба героев горестна.

Реже всего мы видим героев этих в процессе творчества. Как если бы авторы сговорились показать их перед чертой, за которой начинается горение и поиск, когда отступают обыденные заботы. Или уже за чертой, когда, сказав свое слово в искусстве, герои возвращаются на круги своя, к житейской суете. Самая смешная актриса своего времени, грустную улыбку которой так любит публика, готовая отдать все, лишь бы ее увидеть, актриса, не имеющая равных в своем деле,— родители, не удосужились дать ей, двенадцатому ребенку в семье, имя, и до своего артистического псевдонима она носила прозвище по первому сказанному слову — «Плюшка» (М. Аллен. «Одержимость»). Потерявший рассудок Старый Берт (И. Кобб. «Моа») — он никогда не был «звездой», знаменитостью, он был просто настоящим актером. Свои дни Старый Берт доживает в развалившемся здании театра, свидетеля его славы, и с прежним талантом играет перед единственным зрителем, таким же бездомным, как и он, мальчишкой. И читатель невольно соглашается, что зверской жестокостью была бы попытка вырвать его из этого ужасного мира и отправить в лечебницу. Большой артист и настоящий гражданин — клоун Гиакса, не склонивший головы перед фашистами (У. Бехер. «Гиакса и Гиакса»). Десятилетняя актриса Мелисса, героиня одноименного рассказа П. Бак, в одиночестве пустого зала проводящая время от

утренней репетиции до вечерного спектакля. Акробат Зигфрид, о судьбе которого поведал в одном из ранних рассказов Я. Ивашкевич. Замученный работой, с ранних лет погруженный в атмосферу бродячего цирка, акробат только в 22 года узнал о существовании другого мира — мира культуры и подлинного искусства. И какой дорогой ценой было оплачено это прозрение...

Можно говорить и говорить о героях этих рассказов. Как природе их искусства свойственны обобщения и типизация, так и за их судьбами встает картина окружающего мира: и социальная несправедливость, и зависимость от денежного мешка, и поиски истины.

Если эквиваленты этим жизненным судьбам легко найти в русской литературе, например, в рассказах А. Куприна «Как я был актером» или А. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», герои которых вынуждены заниматься искусством ради хлеба насущного, то в советской литературе и у писателей социалистических стран показано, что труд людей искусства, вопло тителей и хранителей дум и чаяний народных, неизменно высоко оценивается обществом. В качестве примера можно привести опубликованные в сборниках рассказы писателей ГДР К. Давида, Ф. Фюмана, чешских писателей В. Михала, С. Бубеничика.

Что же касается рассказов о цирке, то многие из них написаны с той легкой долей лукавинки, которая часто сопутствует миру сказки. И как подтрунивают над младшим, так многие истории из сборника о телевидении пронизаны юмором. Правда, в той же книге мы встречаем и хлесткие, бичующие страницы — об ответственности телевидения как средства массовой информации: в рассказе А. Лундквиста «Стреляй! Стреляй!» дети, только что видевшие на экране убийство, спокойно убивают своего товарища.

Достоинство сборников — и в отборе авторских имен, как уже известных советско-

му читателю, так и представленных впервые. Особый интерес вызывают рассказы болгарского циркового актера Л. Добрича, английского астрофизика Ф. Хойла, научного фантаста Э. Ф. Рассела.

Разнообразен жанр рассказов. Преимущество остается за психологической новеллой. Здесь к лучшим можно отнести рассказ С. Моэма «Голос горлицы», в котором обрисовка характера певицы-примадонны полна скрытого комизма. Есть и проникновенные лирические миниатюры, как «Цирк на рассвете» Т. Вулфа, где тонко показана вся гамма чувств и переживаний подростков, в предрассветный час наблюдающих на вокзале за разгрузкой цирка, и остроумный детектив «Похищение кошки» (Э. Карр), построенный как рассказ сыщика, получившего самый большой гонорар за поимку сбежавшей из цирка «актрисы» — кошки. И социальная сатира Дж. Пристли «Дядя Фил и телевизор», и фантастика С. В. Бене «Ангел был чистокровным янки», и юмореска С. Гродзеньской «Супружество и телевидение». Может быть, жанровая разностильность и вызвала бы желание упрекнуть составителя сборников Р. Рыбкина в несколько формальном подходе к тематическому отбору произведений, но истинное художественное «чуть-чуть», присутствующее в каждом рассказе, делает этот принцип правомочным.

Все книги содержат краткие сведения об авторах, о времени написания рассказов, об их первой публикации — это тоже достоинство издания.

Заметки известного советского клоуна Л. Енгибарова, предваряющие сборник «Любимый цирк», и послесловие народной артистки СССР В. Марецкой к книге «Моя артистическая карьера» — этот взгляд изнутри, напутственное слово профессионалов,— думается, также найдут отклик у читателей.

Б. ЛЬВОВ-АНОХИН,
В. ЗАЙЧИКОВА

Издано за рубежом

ОЖИДАВШАЯСЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Калин Донков. Внезапна възраст. Стихове. София, «Народна младеж», 1974.

Среди пестрой и разнородной группы молодых поэтов есть у нас в Болгарии один, имя которого редко встречается в критических обзорах. Но думаю, что ценители поэзии уже обратили на него внимание и хорошо запомнили: это Калин Донков. Печатается он не слишком часто и относится к себе с требовательностью, достойной уважения. Его роль в самой молодой нашей поэзии подобна роли ростка пшеницы, который остается верным своему предназначению: вскормить колос.

Первый тоненький стихотворный сборник Калина Донкова «Апрельские холмы» вышел четыре года назад. Но уже тогда автор перерос свою книгу: несколько поэтических циклов и отдельные стихотворения, появившиеся в печати вскоре после ее выхода, показали, что талант Донкова быстро созревает, растет его профессиональное мастерство, рука становится увереннее.

Сборник «Внезапная зрелость» подтвердил это. Тематически Калин Донков движется в общем русле молодой поэзии, но можно отчетливо увидеть и границы его собственного мира. Особенности болгарского характера, круговорот дней и событий, человеческая ответственность за окружающий мир, случайные счастливые прозрения, которые нам дарит жизнь,— вот наиболее характерные мотивы, звучащие в стихах поэта.

Трудно писать о вполне осуществленных творческих замыслах. И только непосредственное знакомство с такими стихотворениями, как «Образ», «Хлеб и вино», «Если даже уйдешь», «Маленький человек», «Июль», «Дунайские недели», «Не забвенье», «Как соль» и другими, может дать представление об истинной эстетической ценности книги «Внезапный возраст».

На фоне стилистического фокусничанья, которое встречается иногда у наших молодых поэтов, новые стихи Калина Донкова лишний раз напоминают, что ритм настоящей поэзии совпадает с человеческим дыханием, что у простого и точно найденного слова нет заменителя.

Стихи Калина Донкова отличаются завершенностью и простотой. За его внешне спокойным и размеренным слогом кипят страсти, живет тревога за судьбу завтрашнего дня, за нашу судьбу. Открытия поэта рождаются на грубой фактуре будничной жизни, и это гоже говорит об авторе как о прирожденном поэте, которому есть, что сказать, и который знает, как сказать.

У молодого поэта острый глаз на яркую подробность, на единственно верную деталь, которая заставит нашу мысль двигаться в нужном для него направлении:

> Дома мелькают. В них улыбки
> уравновешены заботами [1].
>
> *(«Образ»)*

Или:

> Не сладок хлеб прощальный.
> прощальное вино.
> Вьют в комнате печальной
> часы уже давно.
>
> *(«Хлеб и вино»)*

[1] Здесь и далее переводы стихов принадлежат Л. Дымовой.

Или:

В глазах — рассвета радужные пятна.
В душе покой: ни счастья ни печали.
Неслышно дует ветер непонятный.
Какой чудесный месяц для начала!

(«Июль»)

Или:

Остер и горек дух полыни,
острей вины, что в сердце — глыбой...
Идут ребята с речки синей,
с телами, пахнущими рыбой.

(«Речное солнце»)

Большинство стихотворений в этой книге кажутся написанными на одном дыхании. Для нас останется тайной, сколько усилий приложил автор, чтобы преодолеть сопротивление слова. Ему чуждо стремление к минутной импровизации, к изысканной незавершенности стихов, он старается — и в большинстве случаев успешно! — использовать слово так, чтобы оно засияло всеми своими гранями.

Калин Донков обладает счастливой способностью начинать разговор с главного, очистив его от примесей, и благодаря этому стихотворение сразу приобретает глубину:

Пусть под рукой лишь сплав
сентиментальный,
но мастер из него металл кует
ценнейший, на обычной наковальне —
она и под ударами поет...

(«Вероучение»)

Вот простая и точная метафора:

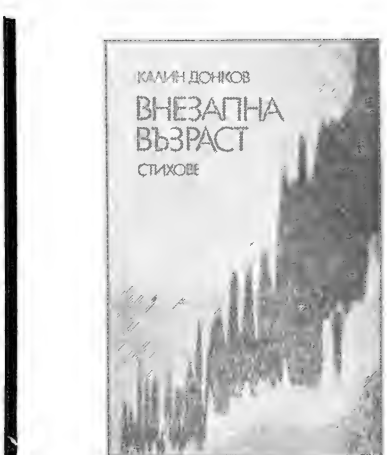
Сто лет жизни! Что хочешь, то делай!
Хочешь — плачь от тоски и любви.
И метель рукавом своим белым
вытрет досуха очи твои.

(«Дунайские недели»)

Сборник «Внезапная зрелость» свидетельствует о том, что Калин Донков почувствовал собственную почву под ногами, обрел устойчивую эстетическую позицию, профессиональную уверенность, а это самое трудное для молодого поэта. Это те опорные точки, от которых он должен двигаться в своем творчестве. Ему предстоит углубить поиски, попытаться достигнуть большей масштабности обобщений, полнее и свободнее черпать материал из окружающей жизни.

ИВАН НИКОЛОВ

г. София



«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» МАРИО ПИККИ

Mario Picchi. Ritratto di famiglia. Firenze, Vallecchi editore. 1974.

Недавно во Флоренции, в издательстве Валлекки вышла в свет книга, оформленная с большим вкусом.

На суперобложке — репродукция картины Пабло Пикассо: мать кормит обедом двух своих малышей. Репродукция создает настроение, и читатель открывает книгу с чувством доверия. Доверие не оказывается обманутым: не так уж часто появляются вещи, написанные без оглядки на литературную моду, без стилистических ухищрений, без психологизмов, перебивок во времени, неожиданных поворотов сюжета.

В сущности, сюжета, как такового, почти нет. Не происходит никаких экстраординарных событий, все реалистично, все буднично, на редкость безыскусственно. Но это — лишь кажущаяся простота: для того, чтобы написать 190 страниц семейной хроники, от которой трудно оторваться, нужно обладать мастерством, подлинным профессионализмом. Книга называется «Семейный портрет»; в ней одиннадцать рассказов, которые правильнее считать главами романа. Главные персонажи — отец и трое его сыновей: Стефано, Алессандро и маленький Микеле. Мать присутствует, но она — на втором плане.

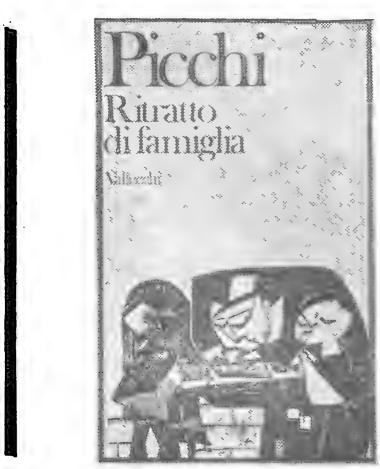
Своеобразие книги заключается в том, что Марио Пикки с совершенной естественностью рассказывает о событиях, поступках и переживаниях, переходя от «линии отца» к «линии детей» плавно и почти незаметно, без резких разграничений и противопоставлений.

Роман глубоко автобиографичен: Марио Пикки даже не изменил имена своих сыновей. Мы входим в замкнутый круг семьи, в которой растут три мальчика, и невольно проникаемся сочувствием и интересом к этим детям. Пикки рассказывает о веселых или грустных событиях, происходящих в его семье, и мы абсолютно верим ему. Конечно, в такой книге легко впасть в сентиментализм или в риторику, но Марио Пикки счастливо избежал этих опасностей. Разумеется, он очень любит своих мальчишек, но любовь не прокламируется: Пикки знает, что в искусстве недоговоренность за-

частую гораздо действеннее, чем «котурны», и не произносит лишних слов. Он пишет сдержанно, мягко, без патетики и без нажима даже в тех случаях, когда, казалось бы, можно позволить себе написать эффектную страницу. Но это уже законы избранного жанра — и текст ненавязчиво поэтичен.

Много юмора, забавных и смешных ситуаций — пустяков, возникающих в любой семье: Микеле удивляется, почему его нет на фотографии, где сняты старшие братья. И когда ему объясняют, что он тогда еще не родился, ребенок не может понять, как это может быть. «Но ведь я родился»,— возражает он. Понятия времени, отвлеченного понятия, для Микеле еще нет. Да, много юмора, и все-таки книга печальна. Есть в ней какая-то меланхоличность, грусть городских пейзажей, может быть, смутное душевное состояние отца. Тут очень тонко передана целая гамма смешанных чувств: отец многое угадывает, многое просто знает. Это человек, испытавший на своем веку немало утрат и невзгод, человек с острым взглядом и профессиональной интуицией писателя и журналиста.

Взрослый человек и маленькие дети — два разных мира, глубокая взаимная привязанность и в то же время ощущение хрупкости и боли. Отец с нежностью и печалью воспринимает детские страхи: он и сам знает, что такое страх. Две главы так и называются: «Страх I» и «Страх II». Автор редко позволяет себе отступать от конкретной канвы описываемых историй. Он наблюдателен, и мельчайшие эпизоды, о которых идет рассказ, «минисюжетны»; мы с доверием и улыбкой понимания читаем о том, почему ребенок пугается или радуется, читаем о шалостях, ссорах, выдумках, о повседневных желаниях и огорчениях, из которых, в сущности, и состоит жизнь семьи. Взрослый человек и дети — вечная тема. В романе Пикки привлекает отсутствие назидательности: ни разу отец не выступает в роли наставника и ментора. Мы чувствуем ненавязчивую заботу, боязнь обидеть, ранить, ущемить детскую индивидуальность. В мальчиках взрослый, умный человек уважает их личность. Он нежен, но нежность глубоко запрятана. «Такой маленький и беззащитный,— думает он, глядя на ребенка.— Он существует — и все тут, ничего другого он не знает».



Но есть в книге одно отступление, неожиданно бросающее свет на нравственную и психологическую атмосферу, в которой растут дети. Отец совершает с ними долгие прогулки по Риму; кажется, будто он отдается потребности бездумно бродить, смотреть на людей, угадывать, что кроется за фасадом столицы. И вот однажды они гуляют по одной из прекраснейших площадей города — пиацце Навона... Газетный киоск — что может быть ординарнее? Но заголовки — кричащие, броские — на всю газетную полосу. И внезапная мысль: вчера тоже были такие вот заголовки, а будут ли они завтра? Вообще — будет ли завтра? Сохранится ли этот фонтан, эти купола, дома, сама эта площадь? И дети, играющие, спорящие, смеющиеся, «и мы сами»? В газетах пишут о кризисах, война может вспыхнуть в любое мгновение. Кто знает, может быть, она уже началась, только мы еще не знаем об этом, может быть, уже пущены несущие гибель ракеты?

Но и об этом — очень лаконично, очень сдержанно. Грусть городских пейзажей, таких прекрасных, но минутами заставляющих остро чувствовать отчужденность, одиночество, неуверенность в завтрашнем дне: что этот день принесет детям, сегодня еще воспринимающим жизнь как и полагается детям — доверчиво и радостно? Отец не просто любит своих мальчиков — у него есть и горечь взрослого, умного человека, отчетливо сознающего, что придет день, когда он не сможет защитить, помочь, направить; жизнь сама будет диктовать, и никого нельзя уберечь от разочарований и горя.

Марио Пикки — известный прозаик и публицист. Когда в 1960 году вышла первая книга его рассказов, он был уже признанным журналистом. «Семейный портрет» — четвертая книга Пикки, тепло встреченная итальянской критикой. Демократ и антифашист, он держится, однако, несколько в стороне от бурных политических и литературных дебатов. Может быть, это свойство натуры. «Семейный портрет» я прочитала дважды. При первом чтении видишь изящество этой мозаики и самым главным в ней кажутся истории трех мальчуганов, их мир. При втором чтении фигура отца становится более выпуклой. Мы угадываем: интеллектуал, сын своего времени, умный и очень добрый, но нервный и легко ранимый человек. Он чувствует, что ритмы, в которых живет мир,— сумасшедше быстрые, он чувствует драматизм эпохи и не хочет оставаться в стороне, ограничиваться «самым интимным». Мы чувствуем в нем темперамент не бойца, но скорее благожелательного и честного свидетеля событий. Роман написан в пастельных тонах, язык прозрачный, совершенно лишенный игры светотеней. литературный, без «красивостей», и это создает стиль.

Главной удачей Марио Пикки мне представляется то, что ему ни разу не изменило чувство меры, художественной меры. Именно поэтому в романе «Семейный портрет» нет слащавости. Именно поэтому Пикки никогда не придумывает занимательных ситуаций и эпизодов, которые опытный, профессиональный писатель может изобретать без труда. Но в этом случае роман, мне кажется, утратил бы то, что составляет главное его достоинство: неподдельность чувства. И еще об одном думаешь, закрывая книгу: Марио Пикки, вопреки опыту людей его поколения и его профессии, живущих в современной Италии, испытавших столько разочарований, переживших крах стольких иллюзий («общество благоденствия»!), упорно верит в то, что з а в т р а все-таки будет, и хочет, чтобы его дети не страшились жизни, чтобы они верили в высшие ценности человечности, солидарности и добра.

Ц. КИН

«...ВОЗЛЮБИ ИТАЛЬЯНЦЕВ В АВСТРАЛИИ»

Jean E. Turnley. Much Less a Slave. Sydney, Thomas Nelson, 1974.

Проезжая по улицам Мельбурна или Сиднея, вы вдруг ощущаете неожиданную перемену в окружающей обстановке: английские надписи сменяются итальянскими, сквозь открытые окна машины слышится темпераментная итальянская речь, из ближайшего экспрессобара до вас доносится мелодия «Arrivederci, Roma», да и прохожие в основном, судя по внешнему облику,— итальянцы. Это означает, что вы попали в итальянский район, где живут эмигранты из больших и малых городов и деревень Италии.

Со времен начала колонизации, вот уже скоро два столетия, «terra australis» давала приют обездоленным из многих стран мира. Из 14 миллионов нынешнего населения страны иммигранты составляют примерно два миллиона человек.

Жизнь выходцев из Италии, их сложные социальные и личные проблемы легли в основу сюжета романа «Вовсе не раб» австралийской писательницы Джин Тернли. Героиня повествования — девушка из бедной итальянской деревушки Финционе — Мария Тицио разделила судьбу многих тысяч соотечественников, отправившихся в дальние края в поисках более широких жизненных возможностей.

Бедность, как утверждает американский социолог Сидней Ленс, обладает степенями сравнения. В Индии человек, имеющий ежедневный заработок, эквивалентный одному американскому доллару, считается преуспевающим; безработный негр из Гарлема, живущий в современной квартире с электричеством и ватерклозетом и получающий пособие,— безусловно беден, ибо едва сводит концы с концами. На родине Мария Тицио не имела своей постели, не знала, что такое выходное платье и никогда не пробовала итальянского вина. В Австралии, поступив в услужение к преуспевающему юристу Бернсайду, она получила отдельную комнату, приоделась и узнала вкус виноградного вина, приготовленного на этой новой для нее родине итальянскими виноделами по отечественным рецептам.

Стала ли Мария Тицио счастливее или богаче? Обратимся же к незамысловатому повествованию Джин Тернли.

«Священное сердце Иисуса, возлюби итальянцев в Австралии» — такими словами начинался текст листовки, которой снабжали свою паству, отправлявшуюся за моря и океаны, святые отцы на родине Ромула и Рема. Текст этот должен был укрепить дух рискнувших покинуть родную землю и наставить их. Заканчивался он словами: «...будьте добры к жене своей. Помните, что она — ваш компаньон, а не слуга и вовсе не раб». Именно эти слова писательница использовала в качестве заголовка, поскольку книга рассказывает главным образом о судьбе женщины-эмигрантки. Удел чужестранок — ведение хозяйства в обеспеченных домах, работа посудомойками и уборщицами в барах и ресторанах, официантками — в заведениях с сомнительной репутацией. Предел их мечтаний — устроиться сестрами милосердия в больнице.

С первых шагов на австралийской земле иммигранты начинают осознавать, что они — чужаки, приехавшие выполнять черную работу. Их заработки ниже, чем у австралийцев, они чаще других оказываются в числе безработных. Среди австралийцев есть и такие, кто выказывает откровенное презрение к пришельцам.

Все это приводит к тому, что иммигранты селятся колониями, открывают свои рестораны, магазины, кинотеатры и живут обособленно, создавая атмосферу иллюзорного равноправия и благополучия, хоть как-то заглушая гнетущую тоску по родиче.

Однако разные люди — разные характеры. Иные иммигранты чувствуют себя как дома или, по меньшей мере, стремятся к этому. В итальянских кварталах можно встретить местных «мафиози» — темных дельцов, способных на все ради наживы.

Марчелло, жених и возлюбленный Марии, за которым она и последовала в Австралию, видит себя в мечтах миллионером и старается приспособиться к новым условиям. Марчелло одевается как австралиец, думает как австралиец, дружит и имеет дело только с австралийцами. Ассимилироваться, слиться с окружением и достичь намеченного — вот его программа. Ради этого он жертвует, казалось бы, самым дорогим здесь, на чужой земле,— Марией, оставляя ее на произвол судьбы, в одиночестве, ожидающую ребенка.

История Марии, в общем, банальна. Ей могло больше повезти в жизни, могло все кончиться гораздо хуже, одно несомненно: она, подобно тысячам других чужестранок, не смогла подняться ни ступенькой выше по социальной лестнице. Хотя, если снова воспользоваться терминологией Сиднея Ленса, степень бедности, характерная для нее в Австралии, по сравнению с теми условиями, в которых она жила на родине, могла рассматриваться как преуспеяние.

Но преодолев десятки тысяч километров в поисках новой жизни, Мария попала в среду, где перед ней встали не менее сложные социальные, экономические и моральные проблемы, чем у нее на родине. Общественное неравенство, расовые предрассудки, эксплуатация труда, неравноправное положение женщины продолжают оставаться характерными чертами любого капиталистического общества. В таком обществе не могут быть гармонично решены и национальные проблемы, проблемы «чужаков».

При всех достоинствах и недостатках книги «Вовсе не раб» сам факт ее появления в Австралии знаменателен. Он означает, что совесть общества в отношении иммигрантов неспокойна и что оно исподволь ищет решения этой проблемы.

А. МЕЛЬНИКОВ

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА РОЗМАРИ КИФФЕР

Rosemarie Kieffer. La Nuit d'avril sereine. Ottawa. Editions Naaman, 1974.

Литература Люксембурга, существующая на французском, немецком языках и люксембургском диалекте, еще мало известна в нашей стране.

Франкоязычная литература Люксембурга нашего века дала двух выдающихся писателей: Марселя Ноппенея, прозаика, поэта, эссеиста (1878—1966), и Эдмона Дюна — поэта, публициста, драматурга (род. в 1914 г.), творчество которых в значительной мере определялось влиянием французской культуры.

Розмари Киффер (род. в 1932 г.) принадлежит к следующему литературному поколению франкоязычных писателей Люксембурга. Своим непосредственным наставником она считает Марселя Ноппенея. Она восприняла от него прежде всего глубокую и органическую связь с классической французской литературой, с ее гуманистическими и эстетическими традициями.

Р. Киффер — председатель Культурного центра имени А. С. Пушкина. Она хорошо знает нашу страну, русскую культуру и живо интересуется советской литературой. Это ощущается и в ее новой книге «Апрельская тихая ночь». Два рассказа этого сборника («Пермские леса», «Милочка») свидетельствуют о том, насколько традиции русской и советской культуры близки идейным и эстетическим устремлениям автора. Название книги подсказано строкой из стихотворения советской грузинской поэтессы Анны Каландадзе, переведенного Розмари Киффер на французский язык.

«Апрельская тихая ночь» (1974) — третья книга рассказов писательницы. В некоторых из них есть элементы сюжета, но без традиционных завязки и развязки. Чаще всего рассказа Розмари Киффер — это срез с пласта каждодневного существования самых обычных людей. Но порой в них умещается история целой жизни персонажа. Лирические миниатюры писательницы построены на глубоком раздумье о самых актуальных и в то же время вечных проблемах. Так, примечательна «Апрельская тихая ночь» (давшая название книге), посвященная размышлениям об ответственности взрослых за судьбу детей всего мира.

Замысел книги «Апрельская тихая ночь» раскрыт в эпиграфе — отрывке из «Материнского поля» Чингиза Айтматова: «Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду

травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна! А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, от людей, зависит, от вашей воли и разума».

На добрую волю и мудрость людей возлагает свои надежды и Розмари Киффер. В рассказе «Бульвар Капуцинов» говорится: «Все идет к худшему в нашем мире, и все же можно было бы изменить это положение, избежать катастрофы... Следовало бы научить всех людей работать в своем саду, выращивать цветы... сидеть на траве, слушать мир».

Стойкую надежду и веру в торжество доброго начала в человеке писательница высказывает и в тонких этюдах из жизни «маленьких людей». Персонажи Розмари Киффер — мелкие служащие и коммерсанты, преподаватели, студенты и подростки из той же среды. Писательница умеет увидеть и показать, как приходит к ним открытие красоты, поэзии, человеческой солидарности, которое наполняет смыслом самое скромное и незаметное существование, приносит человеку счастье, даже если он беден и одинок.

Для необразованной швеи из рассказа «Петронилла...» счастье состоит в том, чтобы мастерить кукол для рождественских праздников. И хотя платят ей за это гроши, она вкладывает в них столько любви, старания и природного таланта, что создает настоящие произведения искусства.

В рассказе «Улица Аббата Грегуара» чудаковатая старая дева видит свое предназначение в том, чтобы спасать людей от беды: в годы гитлеровской оккупации она прячет у себя дома бойцов Сопротивления, во время войны с восставшим Алжиром — алжирского «террориста». Наконец, в наше время она помогает молоденькой секретарше, соблазненной своим начальником, который уволил ее, узнав о беременности: героиня заботится о появившемся на свет ребенке и устраивает молодую мать на новое место работы.

Тихие и незлобивые персонажи Розмари Киффер так или иначе обязательно вступают в конфликт с буржуазной действительностью. Чаще всего они храбро противостоят воинствующей пошлости и лицемерию обывателей («Лошади» и «Улица Аббата Грегуара»). Но есть среди них и жертвы, не выдержавшие столкновения с окружающим их миром. Разоблачение бездуховности, так же как и изображение прекрасного и возвышенного в людях, складывается в прозе Розмари Киффер из множества отдельных деталей и точных наблюдений. Мягкий юмор, с которым описываются чудаковатые персонажи, вызывающие сочувствие своей человечностью, сменяется беспощадной иронией, когда писательница несколькими выразительными штрихами набрасывает портреты тупых, пресыщенных буржуа и самодовольных мещан.

По сравнению с предыдущим сборником рассказов Р. Киффер «Черный кот в Голуэе» (1965) изобличение черствости и скудоумия мещанской среды в книге «Апрельская тихая ночь» приобретает более острое, социальное, а иногда и недвусмысленное политическое звучание.

В рассказе «Лошади» подчеркнуто, как обыватели, которые, не жалея времени, злословят по поводу непонятных для них путешествий соседки на старом автомобиле, абсолютно безразличны к событиям, происходящим в мире, к войне во Вьетнаме и слепо ненавидят всех, кто принадлежит к иной национальности, чем они сами.

В миниатюре «Небо было серое» буржуа, наблюдающие за антивоенной демонстрацией бунтующей молодежи, показаны достаточно красноречиво: «Хорошо одетые и откормленные жители города пожимают плечами и презрительно улыбаются. Некоторые впадают в гнев. Одни думают: «Бедные идиоты». Другие кричат: «Юные кретины!» Те же буржуа, глядя на то, как бедствуют рабочие-иммигранты, с беспокойством спрашивают себя: «Не начнут ли они в один прекрасный день восстание, не подожгут ли город?»

До высокого обличительного пафоса поднимается автор в рассказе «Пермские леса»: «Мир, в котором мы живем, бездушен. Это мир небоскребов, который ежесекундно грозит рухнуть, и стоит вам уронить спичку, как он уже полыхает огнем. Это мир налогов и несправедливостей, мир, в котором при всех обстоятельствах торжествуют ложь, лицемерие, коррупция».

Лиризм и эмоциональность Розмари Киффер находят свое выражение в стихотворениях в прозе, включенных во многие ее рассказы и миниатюры. Наиболее выразительные строки этих стихотворений сопровождают все произведение как рефрен, придавая ему определенный поэтический настрой.

Рост социальной значимости и художественной убедительности лирической прозы Розмари Киффер в книге «Апрельская тихая ночь» свидетельствует о том, что талант писательницы набирает силу, становится более зрелым.

О. ТИМОФЕЕВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

НОРТКОТ ПАРКИНСОН — РОМАНИСТ

Известный писатель Норткот Паркинсон, автор сатирического произведения «Закон Паркинсона» (см. «ИЛ» № 6, 1959. В журнале «Иностранная литература» печатались также отрывки из его книг «Зятья и прочие», № 1, 2, 1972, и «Мышеловка на меху» — № 7, 1975), продолжает выступать в роли автора приключенческих исторических романов. Первый роман задуманной им серии «Дьявол ждет платы» вышел в 1973 году (см. «ИЛ» № 10, 1973). Недавно появился второй роман этого цикла — «Огненный корабль», который, как пишет рецензент американского еженедельника «Паблишерз уикли», переносит читателей, привыкших обычно находить в книгах Паркинсона сатиру на современное английское общество, в атмосферу балов на борту королевского фрегата и абордажных боев у берегов Великобритании.

В новом романе Паркинсона читатель встречает уже знакомого ему по роману «Дьявол ждет платы» героя — молодого морского офицера Ричарда Деланси. Скромный и отважный Деланси идет тернистым путем к славе, незамеченный начальством, но не забытый судьбой, которая представляет ему у берегов Ирландии возможность проявить свое мужество (его фрегат «Огнедышащий» потопил вражеский корабль).

По мнению рецензента, Паркинсону удалось создать в романе галерею ярких образов офицеров британского флота начала XIX века, вскрыть механизм описанных им исторических событий — борьбу классовых противоречий.

БРАЗИЛИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ЖОРЖИ АМАДУ

Как сообщает бразильская печать, по роману Жоржи Амаду «Мы пасли ночь» (опубликован в «ИЛ» № 2, 3, 1966) будет сниматься фильм.

Впервые в Англии на сцене театра Оксфордского университета режиссером Николасом Кентом осуществлена постановка по рассказу Скотта Фицджеральда «Овощ». На снимке — сцена из спектакля.

(Еженедельник «Санди таймс»)

Французский кинопродюсер Клер Дюэаль начала переговоры с писателем об экранизации книги. Уже объявлено, что режиссером-постановщиком фильма будет Марсель Камю, создатель известной кинокартины «Черный Орфей».

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ РОМАН АННЫ ЙОКАИ

В центре внимания популярной венгерской писательницы Анны Йокаи — нравственные проблемы современности. Вступив в литературу в начале 60-х годов, она опубликовала романы «447», «Должен и обязан», «Дни», сборники рассказов «Без каната», «Мяч», «Наши чувства, наши привязанности», пьесу «Крыша над головой».

Недавно увидел свет ее новый роман «До самой смерти» (издательство «Сепиродалми киадо»). Главный его герой — писатель. По свидетельству еженедельника «Элет эш иродалом», А. Йокаи стремилась создать в своем романе «обобщенный образ творческой личности во всем ее многообразии».

Alter ego автора книги является жена главного героя, по профессии врач. Именно она больше всего помогает мужу выйти из тупика мучающих его сомнений о назначении искусства, о смысле творческого труда. Она уверена: чем бы ты ни занимался — писательством или врачеванием,— ты должен жить жизнью своей страны.

«МЫ — ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»

В юбилейный год празднования 30-й годовщины со дня освобождения Венгрии от фашизма будапештский театр «Вигсинхаз» показал премьеру спектакля «Мы — тридцатилетние». В спектакле использованы подлинные документы, отрывки из художественных произведений, стихи, песни, которые воссоздают жизнь тех, кто родился в 1945 году и вырос уже в социалистической Венгрии.

Сцена из спектакля «Мы — тридцатилетние»; в главных ролях — Эржебет Кутвельди и Андраш Керн.

(Журнал «Критика»)

Как пишет журнал «Критика», этот спектакль рассказывает не только о том, как живут и чем живут ровесники социалистической Венгрии, но и о том, каким они представляют себе будущее страны.

ВЕНЕСУЭЛА

«ЛИХОРАДКА» МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ НА ЭКРАНЕ

Как сообщает венесуэльская газета «Насьональ», кинорежиссер Хуан Сантана приступил к съемкам фильма «Лихорадка» по одноименному роману видного венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы.

В основу романа (опубликован в СССР в 1964 г.) легли подлинные события венесуэльской истории — выступления студенчества против диктатуры Висенте Гомеса в 1928 году.

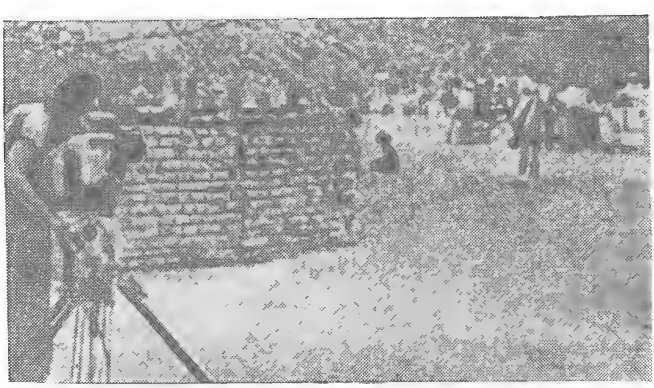
Революционная направленность книги сделала ее сразу же после выхода в свет в 1939 году значительным событием в литературной и политической жизни Венесуэлы. Вот почему общественность страны с большим интересом ожидает появления фильма.

В центре его — судьба студента Видаля Рохаса, прошедшего трудный путь от бунтаря до сознательного борца за счастье народа. Его роль в фильме исполняет актер Лусио Бузно. Автор сценария — Сальвадор Гармендиа.

Съемки фильма ведутся в столице Венесуэлы Каракасе и в штате Лара — именно там происходит действие «Лихорадки», где во времена диктатуры Гомеса находился описанный Отеро Сильвой страшный концлагерь Паленке.

На съемках фильма «Лихорадка».

(Газета «Насьональ»)



ГАИТИ

«ХОЗЯЕВА РОСЫ» ЖАКА РУМЕНА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Французский режиссер Морис Фельвик создал телевизионный фильм по роману гаитянского писателя-коммуниста Жака Румена «Хозяева росы». Фильм снимался на Гаити.

Морис Фельвик рассказывает: «Прочитав роман, я был потрясен. У меня появилось желание экранизировать его для телевидения... Я без труда нашел деревню, похожую на ту, что описана в романе (она пережила те же бедствия: засуху, нищету, коррупцию администрации, репрессии). Жизнь на Гаити за последние 50 лет очень мало изменилась.

Для осуществления моего замысла нужны были как природа Гаити, так и сами гаитяне. Я выбрал их из 400 человек, согласившихся пройти отборочные испытания. Роль Делиры исполняет 69-летняя женщина, вырастившая не только своих детей, но и 12 внуков. Она никогда нигде, кроме своей деревни, не была. Роль главного героя Мануэля исполняет молодой учитель, героиню Аннамис — студентка театрального училища.

Мне, естественно, хотелось верно передать смысл произведения Жака Румена. Но буквальное воспроизведение романа в телефильме, рассчитанном на 90 минут, невозможно. Сокращал я то, что относится к области экзотики».

«Фильм Мориса Фелвика, несомненно, станет классикой телевидения,— пишет Андре Леже в «Юманите диманш».— Его отличают насыщенность и лаконизм образов, великолепное умение передать самую суть произведения, вызвать у зрителя ощущение реальности происходящего».

ГДР

РОМАН АЛЬФРЕДА ВЕЛЬМА

В издательстве «Киндербух-ферлаг» вышел новый роман Альфреда Вельма «Пуговица, или Серебряные часы». Вскоре этот роман будет выпущен и в издательстве «Ауфбау». (Об Альфреде Вельме см. «ИЛ» № 2, 1969 и № 10, 1969.)

Это история мальчика, у которого война отняла родителей. В феврале 1945 года, после долгих скитаний, он находит пристанище у старого рыбака Комарека. Теплота и душевность, с которыми относится к нему Комарек и другие люди, помогают мальчику встать на ноги. В судьбе немецкого мальчика принимают участие советские солдаты, на его мировоззрение влияют встречи с польским юношей и с вернувшимся после долгого отсутствия в родную деревню участником гражданской войны в Испании. Постепенно Генрих (так зовут мальчика) начинает по-новому воспринимать жизнь.

«О событиях 1945—1946 годов Вельм рассказывает с позиций современности,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— история Генриха Хабермана тесно связана с мыслями, чувствами, опытом и фантазией автора, пережившего этот период... Автор романа сумел верно показать небольшой, но очень важный отрезок истории, которая предстает в романе на примере судеб многих людей, их жизни и смерти, любви и ненависти, дружбы и одиночества, счастья и разочарования, мечтаний и действительности... Эту книгу с интересом будут читать и взрослые и дети».

Кадр из фильма «Хозяева росы».

(Еженедельник «Юманите диманш»)

«БРОДДИ»

Так называется новый телевизионный фильм Бенито Вогацкого и Ульриха Тайна. Главный герой фильма — молодой рабочий Йохен Броделла, которого все окружающие называют Бродди,— застенчивый, угловатый парень. Знакомство с Кристиной, вспыхнувшая к ней любовь, желание добиться взаимности превращают его в зрелого, самостоятельно мыслящего человека.

«Должен признаться, что этого Бродди я полюбил с

Кадр из телевизионного фильма «Бродди».
(Газета «Берлинер цайтунг»)

первого взгляда,— сказал в интервью корреспонденту еженедельника «Зоннтаг» исполнитель главной роли Кристиан Грасхоф.— Гораздо быстрее, чем в других ролях, я почувствовал, как именно его надо играть. В этом молодом рабочем, моем современнике, я увидел то, чего еще не видел в других подобных фильмах, или, во всяком случае, не видел так отчетливо: как он живет, к чему стремится. Его любовь к Кристине, его личная жизнь так органично сплетены с его работой, что их невозможно разделить. До сих пор мне еще не приходилось играть в фильмах, где труд и личная жизнь были бы так тесно связаны».

ФРГ

НЕИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ ТОМАСА МАННА

К столетию со дня рождения Томаса Манна западногерманское издательство «С. Фишер» выпустило том, составленный из ранее не публиковавшихся или почти неизвестных работ писателя. Составители—Ганс Бюргин и Петер де Мендельсон — разыскали их в цюрихском архиве Томаса Манна. Среди них, например, — сценарий немого фильма по рассказу «Тристан», который так и не был поставлен, протоколы спиритических сеансов, которые проводил психолог Шренк-Нотцинг, использованные писателем в романе «Волшебная гора». В юбилейный сборник включены также неотправленные письма и заметки «на каждый день», значительная часть которых связана с антифашистской деятельностью писателя.

«КТО ЧИТАЕТ СТИХИ?»

Такой вопрос задает западногерманский еженедельник «Ди цайт», обсуждая положение с изданием поэтических книг в ФРГ.

«Уже много лет нам уныло твердят, что лирика почти не находит читателя и что издательства не хотят печатать стихи. Информационная служба «Бухрепорт» обратилась с вопросом к восемнадцати западногерманским издательствам, в планах которых еще значатся поэтические сборники: как они оценивают шансы на успех этих книг сегодня? Издатель Клаус Вагенбах, один из немногих, кто еще продолжает печатать стихи, считает, что в ФРГ существует «ядро» читателей численностью от 800 до 1200 человек, которые более или менее регулярно следят за поэтическими новинками.

Руководители издательств «Классен» и «Ровольт» считают, что количество любителей лирики гораздо больше и составляет примерно от пяти до десяти тысяч человек. Это значит, что в лучшем случае один из четырех или восьми тысяч взрослых граждан ФРГ читает стихи. Число тех, кто сам пишет стихи, гораздо больше»,— иронически замечает «Ди цайт».

«Бухрепорт» называет книги, которые за последние годы пользовались наибольшим успехом и спросом у читателя. На первом месте по тиражу — поэтический сборник Гёте, выпущенный издательством «Реклам», за ним «Лирическая стенограмма» Маши Калекос, собрание стихов Готфрида Бенна, «Проволочная арфа» Вольфа Бирмана, «Зов Большой Медведицы» Ингеборг Бахман, «De profundis» Гюнтера Гроля.

ГРЕЦИЯ

«ЭТО ДЕРЕВО НЕ НАЗЫВАЛОСЬ ТЕРПЕНИЕМ»

В годы военной диктатуры пьесы Нотиса Перьялиса не шли на греческой сцене, их издания попали в списки запрещенных книг. Теперь эти книги освобождены от запрета, а по последней пьесе Перьялиса «Это дерево не называлось терпением» афинским театром «Кава» поставлен спектакль. В интервью с корреспондентом газеты «Ризоспастис» Нотис Перьялис сказал:

«Дерево — это символ истории. На его коре герой пьесы вырезал имена павших героев антифашистского Сопротивления. И дерево олицетворяет память о них, олицетворяет сопротивление насилию.

В глубине сцены виднеются корпуса завода. Завод принадлежит человеку, со-

трудничавшему с оккупантами, виновному в гибели многих патриотов. В период диктатуры, используя выгодную для себя ситуацию, он хочет расширить завод за счет прилегающего к нему поселка.

Поселок... Поселок живет борьбой за кусок хлеба, он придавлен лишениями и опасностями, он готов пойти на компромисс. Конфликт возникает в связи с возвращением из тюрьмы главного героя. Он вступает в борьбу и с произволом предпринимателя, и с покорной апатией жителей поселка.

Семилетие диктатуры с ее вопиющим произволом, попранием всего святого, разбазариванием национального достояния дало богатый материал для моей пьесы. Мне хотелось, чтобы она прозвучала как голос протеста».

ДРВ

ТРЕТИЙ ВСЕВЬЕТНАМСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

В Третьем всевьетнамском кинофестивале, проходившем в Хайфоне в этом году, приняло участие 12 студий, в том числе Студия художественных фильмов, Центральная студия хроникально - документальных фильмов, киностудия Народной армии, Студия мультипликационных фильмов, Студия телевизионных фильмов, Студия научных фильмов.

Фестиваль проходил под девизом: «Во имя родины и социализма, за развитие национальной кинематографии». На нем были представлены лучшие ленты 1973—1974 годов. Всего за эти годы было отснято 11 полнометражных художественных фильмов, 31 мультипликационный фильм (из них 20 телевизионных), 51 хроникально - документальный фильм и 46 телевизионных.

Два первых кинофестиваля, состоявшихся в 1969 и 1972 годах, подводили итоги работы вьетнамской кинематографии за четыре года, последний же фестиваль подводит двухгодичный итог. Главная тема представленных на нем фильмов—борьба против иноземной агрессии за спасение родины, в защиту ее независимости и свободы.

Первую премию — «Золотой лотос» — разделили два художественных фильма: «До встречи и дальше...» и «Девочка из Ханоя» (Центральная студия художественных фильмов ДРВ). Среди мультипликационных фильмов этой премии удостоена лента «Обезьяна, отбившаяся от стаи»; среди документальных—«Ханой — поэма мужества» (киностудия Народной армии).

Вторую премию — «Серебряный лотос» — жюри присудило художественным фильмам «Баллада о фронте» и «Родной край», мультипликационно - кукольному фильму «Крокодил, у которого чесались зубы» и мультфильму «Лес цветов», фильму-репортажу «Гнусные преступления и справедливое возмездие» и документальным фильмам «Дорога по Чыонгшону» и «Из винтовок по вертолетам» (киностудия Народной армии).

Герои фильма «До встречи и дальше...» (режиссер Чан Ву, автор сценария Бань Бао) — молодая крестьянка Нэт и ее возлюбленный. Это фильм о любви и о революции, о том, как тесно судьба человека переплетена с революцией. Нэт и ее избранник встретились на традиционном весеннем народном гуляньe и обещали друг другу через год, на таком же празднике, сыграть свадьбу. Но вскоре молодой крестьянин исчезает, и Нэт узнает, что он примкнул к революционному движению. (Фильм рассказывает о Вьетнаме 1944—1945 годов, о свершении Августовской революции.) Жизнь Нэт, и без того полная невзгод и лишений, осложняется серьезной болезнью матери. Любви Нэт настойчиво домогается сын помещика, он вынуждает ее выйти за него замуж, но она убегает от него в первую же ночь и прячется в чужом доме. Революция возвращает Нэт в жизнь и любовь — с первыми революционными отрядами возвращается ее возлюбленный.

Действие фильма «Девочка из Ханоя» происходит в 1972 году. Маленькая Нгаук Ха, ученица ханойской музыкальной школы, оказывается в эвакуации. Ее отец—зенитчик, мать и два брата остались в Ханое. Однажды приходит известие о том, что в Ханое во время бомбежки погибли мать и оба брата Нгаук Ха. Девочка пешком отправляется в Ханой искать отца и после долгих странствий находит его. Исполнительницей роли Нгаук Ха является ханойская школьница Лан Хыонг. Жюри отметило живость и непосредственность ее игры.

Премия за лучшую женскую роль присуждена Ньи Куинь, двадцатилетней актрисе, исполнительнице главной роли в фильме «До встречи и дальше...». Ньи Куинь, родившаяся в семье потомственных актеров, сейчас работает в театре национальной музыкальной драмы «Золотой колокол столицы». Это ее вторая роль в кино. Первая — роль медсестры в фильме «Баллада о фронте».

ИНДИЯ

ОБЩАЯ ПОБЕДА

С 6 по 9 мая 1975 года, по сообщению еженедельника «Нью эйдж», в индийском штате Бихар проходила писательская конференция, заложившая основу новой организации — Национальной федерации прогрессивных писателей Индии. Конференция, в которой приняло участие свыше 400 писателей со всех концов многоязыкой Индии, была созвана в те дни, когда мир отмечал тридцатилетие разгрома фашистских армий. В декларации, единогласно принятой в день Девятого мая, говорится:

«Фашизм был остановлен и разгромлен социализмом,

Советским Союзом, первым в истории государством рабочих и крестьян. Ценой неслыханных жертв и страданий выстоял в этой битве великий советский народ. Потеряв на войне двадцать миллионов человек, он спас от фашистской чумы не только свою социалистическую родину, но и все человечество. Эта победа способствовала распаду колониальной системы империализма и проложила странам Азии и Африки путь к независимости. Одной из первых обрела свободу Индия».

В своей декларации писатели Индии призывали к бдительности и к единству в борьбе против угрозы неофашизма, к созданию литературы, которая «не просто отражала бы жизнь народа, но играла бы активную и динамичную роль в титанической борьбе противостоящих друг другу социальных сил».

Председателем новой писательской организации был избран известнейший бенгальский поэт-коммунист, лауреат Национальной премии Бишну Де; ее генеральным секретарем стал хорошо известный советскому читателю прозаик хинди Бхишам Сахни.

ИРАК

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ ИРАКСКОЙ НОВЕЛЛИСТИКЕ

В Ираке опубликована книга литературоведа Амара ат-Талиба «Искусство новеллистики в современной иракской литературе». Газета «Багдад обсервер» поместила обширную рецензию на книгу, автор которой, Бехнам Вади Аугустин, высоко оценивает работу ат-Талиба, отмечая ее «фундаментальность».

«УБИЙСТВО И ГНЕВ»

В Багдаде вышел роман Муваффика Хидра «Убийство и гнев». Перу этого же автора принадлежат роман «Город лелеет мужчин» и несколько сборников рассказов, посвященных жизни современного Ирака.

Сюжет нового романа, как пишет газета «Аль-Джумхурия», взят из новейшей политической истории Ирака. Он охватывает период от «шестидневной войны» июня 1967 г. до прихода к власти партии Баас в июле 1968 г. В романе нашла отражение борьба прогрессивных и реакционных сил страны того времени.

ИТАЛИЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Флорентийскому книгоиздательству «Валлекки», одному из старейших в Италии, давно угрожала ликвидация. Тем не менее его удалось сохранить благодаря тому, что итальянский концерн «Монтэдисон» недавно передал все права на издательство новой фирме под названием «Акционерное общество Нуова Валлекки».

В уставе издательства говорится, что оно должно придерживаться в своей деятельности демократических и антифашистских принципов.

Общекультурное значение деятельности «Валлекки» весьма велико, и в том, чтобы издательство продолжало существовать, заинтересована вся демократическая общественность. Сообщая о перипетиях книгоиздательства «Валлекки», левая печать подчеркивает важную роль, которую сыграли в борьбе за его спасение профсоюзы.

«АФРИКИ» АЛЬБЕРТО МОРАВИА

«Несколько Африк»—так называется телевизионный фильм, созданный писателем Альберто Моравиа и режиссером Андре Андерманном. После показа на Международном фестивале телевизионных фильмов в Милане этот пятисерийный фильм начал демонстрироваться по итальянскому телевидению.

Фильм был снят Моравиа во время продолжительного путешествия в 1971 году по Африке, по следам этого путешествия была написана также книга «Какого ты племени?» (отрывки из нее были опубликованы в «Иностранной литературе» № 9, 1973 г.).

В новой комедии «Их счастье» режиссера Карло Де Пальма вместо ставшей уже традиционной в «комедиях по-итальянски» «мужской пары», составленной из наиболее известных комедийных актеров, снимается «женский дуэт» — Клаудия Кардинале (на фото — слева) и Моника Витти. В ней рассказывается о забавных приключениях двух итальянских девушек, отправившихся в путешествие по стране на мотоцикле.

(Газета «Унита»)

Критика в целом положительно отзывается о фильме Моравиа — Андерманна, однако отмечает и недостатки. В частности, в нем слабо показаны достижения молодых африканских государств в строительстве новой жизни.

КУБА

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Политический театр имени Бертольта Брехта в Гаване осуществил премьеру спектакля «А зори здесь тихие...» по одноименной повести Бориса Васильева. Эта первая совместная театральная кубино-советская постановка посвящена, по сообщению газеты «Хувентуд ребельде», трем знаменательным датам: 30-летию Победы советского народа над фашизмом, 15-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Кубой и СССР и Международному году женщины.

Спектакль поставили Евгений Радомысленский (СССР), Мириам Лискано и Рауль Масиас (Куба).

Газета «Хувентуд ребельде», сообщая о публикации повести Б. Васильева в журнале «Юность», о создании фильма и спектакля по этому произведению, отмечает большой успех пьесы на сценах театров Советского Союза и других социалистических стран.

На состоявшейся после премьеры пресс-конференции Рауль Масиас отметил, что «эта серьезная и самоотверженная совместная работа — большой вклад в развитие сценического искусства».

ЛЕСОТО

СБОРНИК НАРОДНЫХ ГИМНОВ

Народу басуто, живущему на юге африканского континента, принадлежат самые разнообразные гимны, но наиболее интересными из них считаются песни в честь воинов и вождей. Хвалебный гимн слагался, как правило, к возвращению вождя с поля битвы. Он исполнялся в присутствии всего племени, в торжественной обстановке. После смерти вождя его потомки и преемники наследовали сложенные в его честь поэтические произведения. Разрушение родовых отношений и родственных связей приводят к забвению традиционного жанра. Мало остается людей, которым понятны все смысловые оттенки старинных песнопений.

Двое историков — Мосебе Дамане и Питерс Сандерс, оба басуто,— предприняли несколько лет назад поездку по стране для записи произведений поэтического творчества своего народа. Они беседовали со стариками, знающими прошлое, изучали историю создания каждого гимна.

Результатом этой экспедиции явился изданный в Лондоне сборник песен 18 вождей, начиная с Пеете (1734—1824) и кончая нынешним молодым королем независимого государства Лесото. Тексты сопровождаются переводами на английский язык и комментариями.

НОРВЕГИЯ

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА НОРВЕЖСКОМ

«12 новелл советских писателей» выпущены в свет издательством «Тиден».

В предисловии к сборнику литературовед Э. Кольстад пишет: «Впервые норвежский читатель познакомится с талантливыми представителями многонациональной литературы народов СССР. Надеемся, что рассказы Фазиля Искандера, Владимира Дрозда, Пауля Куусберга, Софрона Данилова, Иона Друцэ, Гранта Матевосяна привлекут внимание широкой публики».

Рецензент газеты «Фрихетен» отмечает: «Знакомство с творчеством советских прозаиков обещает стать интересным и радостным».

ИНТЕРЕСНЫЙ СБОРНИК

Недавно в издательстве «Ашехоуг» вышел сборник стихов современного норвежского поэта Челла Эрика Виндторна. Поэт размышляет о судьбах современности, о нравственной подготовленности человека к восприятию достижений науки и прогресса, о внутренней гармонии с окружающим миром. «Сверхтехнизированное общество», по мнению поэта, утрачивает моральное равновесие, обесценивает добрые человеческие побуждения. Виндторн клеймит столь распространенную болезнь современного «общества потребления» — «вещизм», которая убивает в человеке духовное начало.

«Стихи Виндторна порой можно упрекнуть в композиционной нечеткости и формалистических изысках,— отмечает литературный обозреватель газеты «Фрихетен»,— но их безусловное достоинство—в причастности к этическим проблемам, в беспокойстве о духовном мире современника».

ПАКИСТАН

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ КНИГ НА УРДУ

Карачинская газета «Морнинг ньюс» провела опрос пяти видных деятелей пакистанской культуры — Маджнуна Горакхпури, профессора Мумтаза Хасана, Салима Ахмеда, профессора Абдула Хаира Кашфи и Мушфика Хваджи — о десяти лучших произведениях на языке урду в области романа, поэзии, критики и прозы малых жанров за последние двадцать пять лет.

Большинством голосов лучшими работами в области романа были названы «Огненная река» писательницы Курат-уль-Айн Хайдер, проживающей ныне в

Индии, «Печальное поколение» Абдуллы Хусейна и «Жилище бога» Шауката Сиддики. Был отмечен также роман Хилиджы Мастура «Задний двор». Содержание всех произведений основывается на фактах жизни пакистанского общества.

В области поэзии пальма первенства была отдана виднейшему поэту и общественному деятелю Пакистана Фаизу Ахмаду Фаизу. Лучшими были признаны его сборники стихотворений «Рука весеннего ветра» и «Тюремная песнь». В число лучших произведений вошли также «Новые листья» Назара Касми и «Сила пустыни» Азиза Хамида Макани.

Из критических работ лучшими признаны «Состояние поэзии на урду» — критическое исследование доктора Вазира Ага и «Человек и человеческое существо» профессора Мухаммеда Хасана Аскари. Было отмечено и другое его исследование — «Звезда и парус».

Большинство голосов получили также «Под лампой...» Муштака Ахмеда Юсуфа — широкоизвестные в Пакистане юмористические рассказы и «За семью морями» — записки о путешествии Ахтара Риязуддина.

ПЕРУ

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ КНИГИ В ЛИМЕ

В университете, носящем имя Рикардо Пальмы, открылась выставка советской книги. На ней представлено 500 экспонатов. Художественные произведения, учебная, научно-техническая, научно-популярная литература — таков диапазон выставки. Благодаря выставке перуанцы впервые получили возможность широко познакомиться и с издающейся в СССР детской литературой.

Выставка организована при участии торгового представительства Советского Союза в Лиме, руководства университета имени Рикардо Пальмы и муниципальных властей столичного района Мирафлорес, на территории которого расположена выставка.

ПОЛЬША

ЛИТЕРАТУРА ФАКТА

В связи с тридцатилетием Польской Народной Республики было принято решение начать выпуск в «Библиотеке Тридцатилетия» серии «Литература факта».

Очерк в польской литературе занимает особое место. С первых же дней после войны стала возникать документальная литература — журналисты и писатели стремились зафиксировать бурно развивающиеся события, стараясь не упустить ничего из происходящего. Стремительность общественных изменений в новой Польше не оставляла времени на обобщения, таким образом, литература факта стала своеобразной летописью тех лет.

Очерк получил свое развитие и в послевоенной Польше. Одними из самых интересных представителей этого жанра являются Ежи Ловелл, из поля зрения которого никогда не ускользают важнейшие процессы, происходящие в обществе, и Кшиштоф Конколевский — автор «сенсационных» репортажей. Рецензент журнала «Польские новые книги» называет также имена Яцека Сиопкевича, Эдмунда Журека, Леха Борского. Внимание прессы привлекла книга талантливой очеркистки А. Стронской «Моя красавица, ангел ты мой».

«РОЖДЕНИЕ ЗБЫШЕКА»

Двадцать лет назад на экраны кинотеатров вышел фильм «Поколение», созданный мало известным в ту пору режиссером Анжеем Вайдой. Это был дебют режиссера, творчество которого впоследствии внесло

На фото: Збигнев Цыбульский.
(Журнал «Кино»)

существенный вклад в развитие национального киноискусства, положило начало так называемой «польской школе».

В фильме «Поколение» состоялся и другой дебют — молодого актера Збигнева Цыбульского, который играл совсем маленькую роль паренька Костека, но она была исполнена с таким блеском, что Вайда поручил молодому дебютанту главную роль в фильме «Пепел и алмаз», ставшем одним из важнейших явлений в истории польского кино.

С большой статьей под названием «Рождение Збышека», посвященной двадцатилетию со дня появления на экране замечательного польского актера Збигнева Цыбульского, выступил кинокритик Конрад Эберхард. Он пишет: «Блестящая роль, сыгранная Збигневым Цыбульским в фильме «Пепел и алмаз», возникла благодаря удивительному совпадению замысла режиссера с актерскими данными Цыбульского... Следует отметить, что после демонстрации фильма «Пепел и алмаз» Збигнев Цыбульский превращается просто в Збышека. И это знаменательно, это не только результат популярности, обычно сопутствующей успеху; рождение Збышека — это рождение самостоятельного образа, выходящего за пределы экрана, образа легендарного, свидетельствующего о том, что в самих недрах польского актерского искус-

ства произошли принципиальные изменения, позволяющие возникнуть таким дружеским отношениям между исполнителем роли и зрителями... Збышек Цыбульский создал образ своего современника, и в этом его заслуга, которая дает ему право навсегда занять важное место в истории польского киноискусства».

Вышел на экраны новый румынский фильм «Воскресные отцы» — о проблемах воспитания подрастающего поколения. Рецензент «Ромыния литерарэ» отмечает игру А. Пелли и Р. Белигана, которые исполняют главные роли.
На снимке — кадр из фильма.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

ПОРТУГАЛИЯ

«ДЕЛО ДЕЛЬГАДУ»

Известный американский актер Энтони Куинн, знакомый советским зрителям по фильму «Они бродили по дорогам», приглашен играть заглавную роль в фильме, посвященном последним годам борьбы против диктатуры Салазара генерала Умберту Дельгаду, предательски убитого в 1964 году.

Фильм называется «Дело Дельгаду» и будет поставлен в манере документального воссоздания подлинных событий. Ставит этот фильм совместного португало-итальянского производства итальянский кинорежиссер Ренато Романо. Авторы сценария (сам Романо и писатель Саверио Тутино) использовали в своей работе некоторые, до сих пор не опубликованные документы, представленные в их распоряжение видными португальскими демократическими деятелями, находившимися в тот период в эмиграции.

Энтони Куинн.

(Газета «Унита»)

РУМЫНИЯ

НОВАЯ АНТОЛОГИЯ

«Рождается новый мир» — так названа антология, выпущенная в свет бухарестским издательством «Альбатрос» к 30-летию освобождения страны от фашизма. В ней собраны воедино лучшие страницы румынской прозы — повести, новеллы, очерки, посвященные историческому событию 23 августа 1944 года.

Пафосом героизма борьбы против врага, пафосом созидания проникнуты страницы этого сборника. В антологии — произведения прозаиков разных поколений, что делает ее по-настоящему представительной и полезной для широкого круга читателей. 23 августа 1944 года, подготовка к нему, первая схватка с гитлеровской армией, первый удар, нанесенный румынскими войсками фашистам, военные действия совместно с Советской Армией — об этих незабываемых событиях пишут Мария Арсен, Эуджен Барбу, Михай Бенюк, Лауренциу Фульга, Раду Косашу, Ал. Ивасюк, Титус Попович, Захария Станку, Хараламб Зинкэ и другие.

СИРИЯ

ЮБИЛЕЙ АБУ-ЛЬ-ФИДЫ

Сирия торжественно отметила семисотлетие со дня рождения выдающегося арабского ученого-энциклопедиста Абу-ль-Фиды. (Его полное имя — Абу-ль-Фида Имад ад-Дин аль-Малик аль-Муайяд Исмаил ибн Али аль-Айюби.) Главные торжества состоялись на родине ученого — в Дамаске и в древнем городе Хама, где Абу-ль-Фида был эмиром и где он окончил дни своей жизни.

Издающийся в Дамаске журнал «Аль-Марифа» выпустил юбилейный номер, куда вошли исследования и статьи, посвященные ученому. В них рассказывается о жизни Абу-ль-Фиды, его вкладе в науку, о стихотворениях, посвященных ему поэтами-современниками.

Абу-ль-Фида, выходец из рода знаменитого Салади на, жил в трудное время, когда Сирию с востока теснили монголы, а с запада — европейские крестоносцы.

Уже с двенадцатилетнего возраста он участвовал в походах своего отца — эмира Хамы — на крестоносцев. В войнах и походах прошла большая часть его жизни.

Однако Абу-ль-Фида находил время для занятий наукой и поэзией, прославившись впоследствии как ученый. Наиболее значителен его вклад в географию. Главное его географическое сочинение носит название «Таквим аль-бульдан» («Упорядочение стран»). Особенно ценно в этом труде Абу-ль-Фиды описание Сирии и соседних с нею стран.

В Европе он стал известным еще в XVI веке. По словам академика И. Ю. Крачковского, «здесь только два арабских произведения оказались более популярны, чем его география,— Коран и «Тысяча и одна ночь».

США

«МЫ ЛЮДИ, А НЕ СКОТ»

Среди новинок весеннего книжного сезона литературная периодика США единодушно выделяет документальное повествование писателя и журналиста, сотрудника «Нью-Йорк таймс» Тома Уикера «Время умирать» (издательство «Квадрэнгл»). Уикер работал над этой книгой четыре года, положив в ее основу материалы, собранные им в ходе расследования нашумевшего в Америке «аттикского дела».

В небольшом городе Аттика, где находится тюрьма штата Нью-Йорк, 13 сентября 1971 года вспыхнуло восстание заключенных, вызванное бесчеловечным отношением тюремной администрации. В тюрьме, рассчитанной на 1600 арестантов, содержалось 2300 человек — в основном негров и пуэрториканцев. Камеры были переполнены, заключенные были лишены медицинской помощи, получали крайне низкую оплату за тяжелый физический труд, содержались в антисанитарных условиях и подвергались постоянным унижениям со стороны охраны. Один из руководителей восстания заявил: «Мы люди, а не скот, и мы не желаем, чтобы с нами обращались как со стадом».

Захватив заложников из числа надзирателей, заключенные потребовали улучшения условий содержания. Губернатор штата отклонил это требование, а полиция обстреляла безоружных мятежников из пулеметов. Погибло 39 человек, 89 получили тяжелые ранения. Том Уикер был среди журналистов, которых заключенные вызвали в Аттику, чтобы сделать достоянием гласности установленные в тюрьме порядки. В своей книге Уикер шаг за шагом прослеживает причины, приведшие к трагедии. Сочувствие автора — целиком на стороне восставших.

Книга Уикера — это и документальный отчет о событиях, и социальный очерк о положении заключенных и неограниченном произволе полиции в США, и своего рода автобиография. Уикер говорит о себе в третьем лице, как бы включая самого себя в число действующих лиц. Этот прием, как признает сам Уикер, заимствован у Нормана Мейлера: «Время умирать», как и известная нашим читателям книга Мейлера «Майами и осада Чикаго» (см. «ИЛ» №№ 1,2 1971 г.), представляет собой образец нового жанра — «роман как история, история как роман» (Мейлер).

Главной темой книги Уикера становится расизм, с которым, по его убеждению, в той или иной форме сталкивается каждый американец. Уикер обличает расистские предубеждения, владеющие сознанием людей, которым в Америке доверено поддержание общественного порядка, и именно в их расистских взглядах и психологии видит причину, по которой трагедии, подобные разыгравшейся в Аттике, становятся неизбежными. Он опровергает выдвинутую полицией версию, будто инициаторами кровопролития явились сами заключенные; медицинская экспертиза показала, что заложники, погибшие во время штурма камер, пали жертвами полицейских пуль. Уикер убежден, что ответственность за человеческие жертвы полностью несут представители власти.

В книге рассказывается о том, как еще в детстве Уикер сталкивался с проявлениями расистских предрассудков, столь распространенных на Юге, где он вырос.

Рецензент прогрессивной газеты «Дейли уорлд» Майкл Мейерсон считает, что автопортрет Уикера и его взволнованный рассказ о пробуждении гражданского самосознания «выходца из рядовой семьи» не менее важны и социально значимы, чем сама разоблачительная картина полицейского произвола. Известный писатель Курт Воннегут, рецензирующий «Время умирать» на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью», видит самую сильную сторону книги в том, что она показывает, «насколько повседневен, обычен и всепроникающ расизм в Америке... Том Уикер и его книга развенчивают расизм и помешательство на виитовках»,— заключает свою рецензию Воннегут.

ТЕАТР НА ЭКРАНЕ

Понятие «театральность» в применении к кинематографическому зрелищу обычно звучит неодобрительно. Однако «театральность» фильмов, выпускаемых организованной недавно компанией «Американский театр на экране», является не столько их достоинством или недостатком, сколь изначальным свойством. Зафиксированный на пленке спектакль, полагают руководители компании, должен дать возможность зрителям, живущим за пределами Нью-Йорка — центра и средоточия театральной жизни страны,— увидеть выдающиеся произведения мировой драматургии в исполне-

нии первоклассных мастеров.

Не будучи уверены в успехе своего начинания, руководители компании поначалу объявили о выпуске «пробной серии» из восьми фильмов. Однако первые же выпущенные компанией «фильмы-спектакли»—«Продавец льда грядет» Юджина О'Нила в постановке Джона Франкенхаймера и «Три сестры» А. Чехова в постановке Лоуренса Оливье — были столь благожелательно встречены как широкой зрительской аудиторией, так и ведущими критиками, что сразу же было объявлено не только о предполагаемом выпуске «второй серии» (также из восьми «фильмов-спектаклей»), но и о создании «дочернего» предприятия — «Театр на экране для детей».

Неожиданный для многих успех большинства «фильмов-спектаклей», выпущенных компанией «Американский театр на экране», критики объясняют в первую очередь тем, что постановку их осуществляют крупнейшие мастера режиссуры, умело использующие выразительные средства как театра, так и кино. К числу наиболее удачных «фильмов-спектаклей», помимо названных выше, рецензенты относят также поставленную Питером Холлом пьесу Гарольда Пинтера «Возвращение домой» и брехтовского «Галилея» в постановке Джозефа Лоузи.

ТУРЦИЯ

ПАМЯТИ САБАХАТТИНА АЛИ

Стамбульский профсоюз учителей устроил вечер, посвященный памяти Сабахаттина Али, выдающегося писателя Турции, убитого в 1948 году. Советские читатели хорошо знают его творчество по неоднократно издававшимся в нашей стране сборникам рассказов и романам «Дьявол внутри нас» и «Юсуф из Куюджака».

«Сабахаттин Али был одним из тех редких писателей,— сказал на вечере поэт Шюкрен Курдакул,— творчество которого произвело переворот в литературе. Он расширил горизонты турецкой прозы. И пришел к социальному анализу действительности во времена, когда идеалы буржуазии господствовали, казалось, безраздельно». Критик Кемаль Сюлькер в своем выступлении процитировал одно из последних произведений писателя. «Мы говорили: давайте перестанем быть игрушкой в руках эксплуататорского государства,— писал С. Али.— И услышали в ответ: «Предатели! Большевики! Агенты! Красные!» Мы говорили: «Да сгинет грабительство и несправедливость!» И слышали в ответ брань».

Поэт Рифат Илгаз, выступавший на страницах сатирической газеты для народа «Марко-паша», которую Сабахаттин Али выпускал в последние годы жизни (власти неоднократно закрывали ее, а сотрудников бросали в тюрьму), поделился своими воспоминаниями об этом периоде жизни Сабахаттина Али.

Вечер, по сообщениям турецкой печати, вызвал большой резонанс. Зал был переполнен, люди стояли в проходах, на улице. «Этот интерес,— пишет критик Айсель Озкан,— и признательность писателю, отважно боровшемуся в эпоху террора и преследований за прогрессивные идеи, посвятившему их утверждению все свое творчество,— весьма знаменательны».

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

По распоряжению властей конфискован номер выходящего в Стамбуле литературного журнала «Милитан», в котором была опубликована стенограмма речи Назыма Хикмета, произнесенной им десять лет назад в Баку на встрече писателей стран Азии и Африки.

Стамбульской прокуратурой конфискован также номер литературного журнала «Янсыма» за публикацию статьи о творчестве видного турецкого кинорежиссера Йылмаза Гюнея.

Военные власти турецкой столицы, опираясь на закон об осадном положении, закрыли один из самых популярных театров страны — Анкарский художественный театр, основанный безвременно погибшим режиссером Асафом Чигильтепе. Основатели театра и его актеры считают себя продолжателями традиций К. С. Станиславского. Ими были осуществлены такие выдающиеся постановки, как «Записки сумасшедшего», и «Шинель» по Гоголю, «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта, «Семьдесят вторая камера» Орхана Кемаля (см. «ИЛ» № 7, 1975).

«Закрытие театра, игравшего столь важную роль в художественной и культурной жизни страны,— пишет журнал «Милитан»,— невосполнимая потеря. С гневом и печалью осуждаем мы преследования революционного искусства и заявляем, что стоим на стороне наших товарищей в их борьбе против произвола».

С протестом против преследования романиста Факира Байкурта, известного читателю по романам «Месть змей» и «Американская повязка», против поощряемых властями нападений фашистских молодчиков на отделения профсоюза учителей в городах Эрзурум, Токат, Афьон, против закрытия театров выступил также Синдикат писателей Турции. «В обстановке, требующей совместных действий всех демократических сил,— заявили писатели Турции,— наш Синдикат, сознавая ответственность перед демократией, подтверждает свою решимость бороться с любыми попытками подавления прав нашего народа на свободу, демократию и мир, против империализма и связанных с ним черных сил внутренней реакции».

РАССКАЗ ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Французское телевидение показало телевизионный фильм по рассказу Эльзы Триоле «Авиньонские любовники». Это произведение было написано в суровое время гитлеровской оккупации Франции в 1943 году в Лионе и вышло подпольно в издательстве «Эдисьон де Минюи» под псевдонимом Лоран Даниэль в честь погибших от руки нацистов французских патриотов Лорана и Даниэль Казанова. Рассказ переведен на русский язык и издан в Советском Союзе.

Вот что говорит о своей работе над «Авиньонскими любовниками» постановщик фильма Поль Себан:

«Я прочел рассказ в 1947 году. Он произвел на меня огромное впечатление. Уже в начале 60-х годов я мечтал об его экранизации. Но сбылись мои мечты лишь двенадцать лет спустя. Меня покорило в «Авиньонских любовниках» то, что Эльза Триоле по-своему пишет о Сопротивлении. Героизм показан через факты будничной жизни: человек идет на встречу в условленном месте, садится в поезд, несет сверток. Сочетание страха, мечты, беспокойства и надежды, которое, как мне кажется, было характерно для той эпохи. Я старался сохранить в фильме этот особый подход к событиям того времени».

Поль Себан закончил работу над фильмом около двух лет назад, однако премьера под разными предлогами откладывалась. Прогрессивная общественность страны приложила немало усилий, чтобы пробить фильму дорогу к массовому зрителю.

На фото: портрет Жака Превера, работы Пикассо.

(Газета «Юманите»)

МЕСЯЧНИК ЖАКА ПРЕВЕРА

Театром имени Жерара Филипа в городе-спутнике Парижа Сен-Дени был организован месячник популярнейшего французского поэта Жака Превера. В течение месяца в театре состоялось несколько вечеров, на которых исполняли песни на стихи Превера. В этих представлениях приняли участие композитор Франсис Лемарк, певцы Мулуджи, Кора Вокэр, Серж Реджиани, актеры Раймон Бюссьерес, Надин Алари, Себастьен Марото. В фойе театра демонстрировались пейзажи Жана-Мишеля Кесна, посвященные тем местам Парижа, которые особенно любил Превер, картины Гарлони, навеянные превероским сборником «Слова», литографии Жерара Фроманже, фотопортреты поэта. В кинотеатре «Маротон» были показаны фильмы, сделанные при участии поэта.

Мероприятия месячника широко освещались во французской прессе. Еженедельник «Нувель литтерер» опубликовал воспоминания о поэте, заметки о Превере-сценаристе, его стихи; массовым изданием была выпущена последняя книга Жака Превера «Вещи и другие».

Кадр из фильма «Авиньонские любовники». Исполнители главных ролей — Николь Жамэ и Анри Серр.

(Газета «Юманите диманш»)

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ РОБЕРА ДЕСНОСА

Муниципалитет г. Монтрей открыл новую библиотеку, которая является крупнейшим культурным центром всего Парижского района. Библиотека располагает книжными фондами, залами и аудиториями не только для взрослых, но и для детей. В специальном зале имеется все необходимое для того, чтобы дети могли сами рисовать иллюстрации к прочитанным ими книгам. К моменту открытия библиотеки в выставочном зале была подготовлена выставка, посвященная поэту и борцу Сопротивления Роберу Десносу, имя которого носит библиотека.

Узник фашистских тюрем и концлагерей, он был освобожден из лагеря в Терезине советскими солдатами и чешскими партизанами 8 мая 1945 года, но через месяц умер от последствий перенесенных им испытаний. На выставке представлены его рисунки и гуаши, рукописи и письма, портреты поэта работы разных художников и фотографии. На последней фотографии — Робер Деснос в полосатой арестантской куртке снят в группе заключенных. Дневник поэта, который он вел в 1944 году, до сих пор не издававшийся, вскоре выйдет из печати в издательстве «Нувель ревю франсез».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КНИГА О СИБИРИ

Издательство «Ческословенски списователь» выпустило новую книгу Яна Козака «Белый жеребенок», включающую в себя три повести. В них автор рассказывает о людях советской Сибири, с которыми ему довелось познакомиться во время поездки в этот край.

Первая книга Козака о Сибири «На охоте в Бамбуйке» вышла в 1970 году. Это были репортажи о сибирской природе и ее людях. Его новая работа — результат более близкого знакомства с сибиряками.

Для Яна Козака очень важно вникнуть в характер взаимоотношений человека и природы, вдуматься в то, как человек преодолевает суровость природы, не склоняясь перед трудностями. Повесть «Белый жеребенок» рассказывает о семейной драме молодых супругов, которые ради восстановления мира в семье, ради счастья ребенка уезжают на Север, чтобы здесь, в новой обстановке, обдумать свою жизнь и начать ее заново. Сначала кажется, что желание супругов сбудется, они сумеют сохранить семью. Но вот однажды они становятся свидетелями того, как на стадо кобыл и жеребят нападают волки и белый жеребенок, который мог спастись бегством, приносит себя в жертву, вступив в неравный бой с голодной стаей. И тут для Маши — героини повести — открывается многое в характере своего мужа. Он себя так ведет в трудной ситуации, что она понимает, какой он эгоист.

Подобным же образом в двух других повестях — «Полярное сияние» и «Плотина» — перед лицом природы проступает истинная сущность героев. Многие герои Козака — люди открытого сердца, живут среди людей, для людей.

Критик Витезлав Рзоунек причисляет книгу Яна Козака к лучшим достижениям чехословацкой литературы.

Кадр из фильма «Двадцать девятый».

(Газета «Руде право»)

УРОКИ ИСТОРИИ

Новый чешский фильм режиссера Антонина Кахлика «Двадцать девятый» воспроизводит события знаменательного для Чехословакии V съезда КПЧ (1929 г.), который сыграл решающую роль в борьбе за большевизацию партии.

Старому, оппортунистическому руководству КПЧ в фильме противопоставлены Клемент Готвальд, Антонин Запотоцкий и их соратники, которые возглавили новый этап революционной борьбы чехословацкого пролетариата.

Наряду с историческими лицами в фильме выступают лица, не персонифицирующие конкретных политических деятелей того времени, но обладающие, как

пишет рецензент «Руде право», «правдивыми историческими чертами». К их числу рецензент относит рабочего Мрачека, его сына и ряд других персонажей. «Двадцать девятый» — фильм в высшей степени актуальный. Критика высоко оценивает его большое политическое значение, художественные достоинства, отмечая убедительную игру актеров И. Зоунара (в роли Клемента Готвальда), А. Филипа (в роли Антонина Запотоцкого) и Й. Миксы (в роли рабочего Мрачека).

За высокий художественный уровень и политическую значимость фильмов, созданных в последние годы (особенно же—за фильм «Двадцать девятый»), режиссер А. Кахлик удостоен премии Клемента Готвальда 1975 года.

«ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА КУЛИСЫ...»

Под таким названием выпустил новую книгу, посвященную современной французской литературе и культуре вообще, известный чешский литературовед и критик Ян О. Фишер. В книге опубликованы беседы с романистами, режиссерами, репортажи о театральных премьерах.

В центре внимания автора — состояние и перспективы развития французского романа. Известно, сколько бумаги было изведено буржуазной критикой на бесконечные рассуждения о «кризисе романа», на его горькое оплакивание. Иная картина возникает из бесед Яна О. Фишера с Р. Мерлем и Ж.-П. Шабролем, Р. Сабатье и П. Гаскаром, А. Бюрмсером и П. Гамарра, Б. Клавелем и Э. Роблесом. Отмечая всю сложность и противоречивость развития современного романа, эти писатели говорят о его поступательном движении.

Следуя за автором, читатель попадет в «Театр дю солей», на красочные представления о событиях французской революции XVIII века, посмотрит вместе с рабочими инсценировку «Похождений бравого солдата Швейка», побывает в муниципальной библиотеке Монтрей — одного из «красных» пригородов Парижа, одним словом, почувствует живой пульс французской культуры сегодняшнего дня.

Книга Яна Фишера получила высокую оценку в чехословацкой прессе. В газете «Правда» — органе ЦК Коммунистической партии Словакии — опубликована статья С. Повханч «Современная французская культура глазами марксиста». В ней говорится: «Автор книги показал себя остроумным репортером с широким кругозором и отменным знатоком культурной жизни современной Франции. Он предоставляет читателю возможность заглянуть в творческую «кухню» различных писателей, живо и интересно знакомит его со сложной литературной обстановкой, давая вместе с тем марксистскую оценку культурного процесса в целом, пересматривая целый ряд устоявшихся оценок».

ШВЕЦИЯ

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

В антологии «Молодые голоса», выпущенной издательством «Тиден», представлено творчество как начинающих, так и уже завоевавших известность поэтов — Ульвы Эггехон, Маргареты Ренберг, Ёрана Хэгга, Улофа Виндаля, Бенгта Берга, Пера Линдгрена.

Молодая поэзия отмечена интересом к историческому прошлому страны и к современности, проникнута лиризмом и гражданским пафосом. В сборник включены и стихи, послужившие основой песням протеста.

«Антология молодой поэзии не столько представляет творчество отдельных поэтов, сколько отражает многоголосье современной шведской поэзии, ее традиции и новаторские поиски»,— отмечает литературный обозреватель газеты «Ню даг».

СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Трехчасовая лента шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из семейной жизни» успешно демонстрируется во многих странах мира. Успеху фильма способствует то обстоятельство, что в нем раскрывается тема, касающаяся так или иначе всех людей — тема брака, семейных отношений, любви.

Марианна (Лив Ульманн) и Йохан (Э. Джозефсон) — супружеская пара, герои «Сцен из семейной жизни» (фактически в фильме больше нет других действующих лиц) оказываются невольными свидетелями бурной ссоры другой четы — их приятелей, которых они пригласили в гости. Размолвка друзей оборачивается прологом к их собственной семейной драме, которая начинает развертываться, по сути, с первых же кадров фильма.

Внешне в семье этой «все как у людей»: материальное благополучие, прекрасные дети, общность интересов— и поэтому их отчуждение можно объяснить поначалу лишь несходством характеров. Но потом обнаруживаются «подводные камни», которые, очевидно, так или иначе не давали им покоя все десять лет, прожитых вместе. Их знакомство было случайным, а женитьба — довольно скоропалительной, и их не оставляла в покое тайная, неосознанная мысль: действительно ли они обрели счастье, так поспешно вступив в брак? А через несколько лет Йохан, не выдержав бремени семейных обязанностей, рутинных отношений с родст-

венниками и знакомыми, признается жене, что любит другую женщину — молоденькую переводчицу Паулу. Йохан «ничего не может поделать с собой» и уезжает с Паулой в Париж.

Через полгода неверный муж, влекомый тоской по дому, возвращается в родное гнездо. Марианна встречает мужа с той же доброжелательностью, с какой она всегда относилась к нему и ко всем людям. Только теперь он не чувствует в ней прежней теплоты, и вскоре между ними происходит очередная семейная сцена. Они разводятся.

Проходят еще десять лет. У дерева одиноко стоит женщина, ожидая кого-то; подъезжает машина, открывается дверца, объектив кинокамеры подводит зрителя ближе к машине — и он узнает главных героев фильма. На лицах Марианны и Йохана — возбуждение и радость встречи; их жесты, движения, произносимые ими фразы — все как у счастливых молодоженов, отправляющихся в свадебное путешествие, только еще начинающих жизнь.

В таком радостном настроении Марианна и Йохан едут в заброшенный коттедж на берегу океана, чтобы провести вместе субботу и воскресенье. Они узнают, что ни тот, ни другой за эти десять лет не были счастливы.

«Почему от нас всегда что-то ускользает,— спрашивает Марианна,— будто полное счастье и покой недостижимы?» Этим эпизодом в ночном коттедже фильм и заканчивается, и режиссер оставляет без ответа вопрос героини.

В конечном итоге картина не замыкается лишь на сугубо «семейных сценах». В ней затрагивается более широкий социально-философский вопрос: как человеку, живущему в эпоху столь бурных социальных потрясений, сохранить духовную чистоту, не растерять идеалы и ценности, создававшиеся в течение многих столетий?

Сцена из спектакля «На дне».

НОВЫЙ РОМАН Т. КАЛЛИФАТИДЕСА

Новое произведение известного шведского прозаика, грека по происхождению, Теодора Каллифатидеса «Плуг и меч» продолжает тему, начатую в романе «Крестьяне и господа». Основой сюжета явились события в Греции периода фашистской оккупации.

Действие романа начинается на площади небольшого греческого провинциального городка, залитого солнцем. Это — символ прекрасной Греции. Но мирные дни свободолюбивого народа были прерваны мрачным периодом фашистской оккупации.

«Каллифатидес в своем романе следует подлинным эпизодам истории, почерпнутым из достоверных источников—документов, статей военного времени, мемуаров. И это помогает ему достоверно и убедительно воссоздать в романе политический и духовный климат Греции времен фашистской диктатуры. С большим мастерством писатель рисует портреты своих героев, мужественных борцов Сопротивления. И пусть некоторые страницы романа отмечены пессимизмом, «Плуг и меч» — большое событие в нашей литературной жизни»,— пишет рецензент газеты «Ню даг».

РЕСПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

А. М. ГОРЬКИЙ НА ЛАНКИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Большим успехом в Республике Шри Ланка пользуется постановка пьесы А. М. Горького «На дне». Она осуществлена любительской театральной труппой под руководством молодого талантливого режиссера Ранжита Дхармакирти (он же перевел пьесу на сингальский язык). Труппа дала уже около 20 представлений в различных городах страны. Пьесе присуждены две премии страны 1974 года в области театрального искусства: «За лучший перевод» и «За лучшие декорации». Молодой режиссер не впервые обращается к материалу русской и советской драматургии. Три года назад он перевел на сингальский язык «Вишневый сад» А. П. Чехова, тепло встреченный ланкийскими любителями театра.

Традиционная местная театральная постановка в качестве обязательного компонента предполагает тесно вплетенные в канву повествования песни и танцы. Однако в данном случае, стремясь как можно бережнее донести до зрителя текст и дух горьковской

пьесы, Р. Дхармакирти отказался от утвердившейся традиции. «Нас очень порадовал особый успех постановки в провинции, где основной контингент зрителей составляли крестьяне,—сказал молодой режиссер.— Это доказывает большую общечеловеческую ценность пьесы «На дне», подтверждает, что для Шри Ланки многое, описанное А. М. Горьким, созвучно и сейчас».

В стране пока что не существует профессионального драматического театра. Все постановки осуществляются любительскими труппами. Актеры сами снимают помещение, сами придумывают и шьют костюмы, готовят декорации. Часто не хватает средств и успех постановки почти полностью зависит от энтузиазма исполнителей. Поэтому высокая оценка критикой и зрителями декораций, костюмов, актерского мастерства — большое достижение всех участников труппы.

— При подготовке спектакля очень полезным оказался опыт, накопленный мной во время стажировки в Центральном детском театре в Москве,— рассказала актриса Сомалата Фернандо, исполняющая в спектакле роль Василисы.—Московские коллеги помогли мне лучше понять основы сценического искусства. Я имела возможность познакомиться с лучшими образцами русской и советской драматургии. Актеры нашей труппы единодушны во мнении, что глубокий реализм, идейная заостренность — неотъемлемые черты подлинного искусства. И мы стараемся как можно убедительнее донести это до ланкийского зрителя.

Ранжит Дхармакирти и Сомалата Фернандо и другие актеры — частые гости в Доме советской культуры в Коломбо. На торжественном вечере, организованном в честь 107-й годовщины со дня рождения А. М. Горького, режиссер выступил с докладом о творчестве великого советского писателя, рассказал о глубоком влиянии, которое оказали его работы на творчество многих литераторов мира, в том числе литераторов Шри Ланки.

ЮАР

«КРЕСТ И МОНЕТА»

Нидерландская литературная премия имени Гортера за 1974 год (Герман Гортер — выдающийся поэт-коммунист, один из основателей Компартии Нидерландов) присуждена южноафриканской писательнице Элизабет Эйберс за поэтический сборник «Крест и монета». Эйберс — автор поэтических сборников «Признание в сумерках» (1936), «Женщина и другие стихи» (1945), «Поэтическая интермедия» (1950). Несколько лет назад она вынуждена была эмигрировать из ЮАР и сейчас живет в Нидерландах.

В решении жюри, присудившего премию, говорится, что поэтессе «удалось найти достойную восхищения литературную форму для передачи мироощущения человека, покинувшего родину».

◆

Авторы этого номера

ТО ХОАЙ — TO HOAI (род. в 1920 г.).

Вьетнамский прозаик и публицист (ДРВ); первые книги его рассказов и сатирические сказки, изданные в начале 40-х годов, принесли То Хоаю широкую известность. Еще до Августовской революции 1945 г. он принимал участие в подпольном освободительном движении; в годы войны Сопротивления (1946—1954) ушел вместе с первыми отрядами Народной армии в джунгли, работал журналистом, был одним из организаторов Ассоциации культуры (1947). В настоящее время — заместитель Генерального секретаря Союза писателей ДРВ. В 1955 г. получил первую литературную премию Ассоциации культуры за книгу «Рассказы о Северо-Западе». Лауреат международной литературной премии «Лотос» и ряда других премий. На русский язык переведены его роман «Западный край», сборник «Рассказы о Северо-Западе», «Приключения кузнечика Мена» и другие сказки, а также новеллы и очерки, в том числе посвященные Советскому Союзу.

Рассказ «Улица», переведенный по книге «Человек из предместья» («Nguoi ven thanh», Ha-noi, Van hoc, 1972), взят из готовящегося издательством «Прогресс» сборника избранных произведений То Хоая.

■

НГУЕН НГОК — NGUYÊN NGOC (род. в 1932 г.).

Вьетнамский прозаик (ДРВ); его роман «Страна поднимается» о партизанах-горцах Тэйнгуэна, где воевал и сам автор, офицер Народной армии, был удостоен первой литературной премии Ассоциации культуры в 1955 г. Книга эта дважды издавалась на русском языке. Переводились на русский и многие его рассказы, большая часть которых посвящена малым народностям горных районов ДРВ.

Рассказ Нгуен Нгока «Пон» переведен по книге «Высоко в горах» («Reo cao»), вышедшей в Ханое в издательстве «Van hoc» в 1961 г.

■

ТКАЧЕВ МАРИАН НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский востоковед и литератор; в его переводах, изданных на русском языке, более десяти книг современной и классической прозы Вьетнама, свыше ста его переводов из вьетнамского фольклора, прозы и поэзии опубликовано в литературной периодике и различных сборниках; выступал со статьями и исследованиями по литературе и истории Вьетнама; автор очерков и рассказов, сотрудничал также на радио, телевидении и в документальном кино; некоторые его очерки и статьи переведены за рубежом.

■

МА ВАН КХАНГ — MA VAN KHANG (род. в 1935 г.).

Вьетнамский писатель (ДРВ). Первый же сборник его рассказов «Са фу» («Xa Phu», 1969) принес ему популярность у вьетнамского читателя. Затем вышли книги рассказов «Сезон поздних слив» («Mua man hau», 1972), «Подкова» («Cai mong ngu'a», 1973), «Парень из рода Ханг» («Ngu'o'i con trai ho Hang», 1974), детская повесть «Соловушка» («Chim hoa mi», 1972), которые в основном посвящены горцам Севера, новой жизни, пришедшей в прежде отсталый горный край.

На русский язык переведено несколько его рассказов, один из них — «Песни мео» был напечатан в нашем журнале (№ 9, 1973).

Рассказ «Лунная песня» вошел в одноименный сборник («Bai ca trang sang»), вышедший в 1974 г. Наш перевод дается по тексту, опубликованному в журнале «Ван нге куан дой» («Литература и искусство армии» № 7, 1973).

■

ЗИМОНИНА ИНЕССА ПЕТРОВНА.

Советский переводчик, филолог-вьетнамист. Переводила новеллы Нам Као, Ву Ту Нама, Тю Вана, Нгуен Тхи, Хыу Мая, Фам Хо, Нгуен Тхи Кам Тхань, Ма Ван Кханга, а также детские повести, среди которых — повесть Доан Зиоя «В джунглях Юга». Автор ряда статей по современной вьетнамской литературе.

■

НГУЕН ДИНЬ ТХИ — NGUYÊN DINH THI (род. в 1924 г.).

Вьетнамский писатель (ДРВ) — прозаик, поэт, драматург, литературный критик, Генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама. Творчество Нгуен Динь Тхи хорошо знакомо советскому читателю. На русский язык переведены многие его произведения разных жанров: романы «Вперед, в атаку», «Рушатся берега», «Разгневанная река», поэма «Солдат Шань и его мать», «Поэма о Черном море» — об истоках революционной дружбы вьетнамского и советского народов, несколько поэтических подборок, сказки, очерки, статьи. В «Иностранной литературе» напечатаны роман «Линия фронта прочерчивает небо» (№ 11, 1968), повесть «В огне» (№ 6, 1966), рассказ

«Пленный негр» (№ 11, 1965), стихи. Неоднократно выходили его произведения и на языках народов СССР.

Перу писателя принадлежит также поэтическая пьеса-сказка «Черный олень» («Con nai den»), сборник рассказов «На берегу реки Ло» («Bên bo' song Lo'»), сборники стихов «Солдат» («Chien si»), «Прозрачно зеленая река» («Dong song trong xanh», Ha-noi, Van hoc, 1974), из которого взяты публикуемые стихи, и другие произведения.

■

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ (род. в 1910 г.).

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук, профессор. Среди многих принадлежащих ему работ о китайской литературе и театре и переводов китайской классической и современной поэзии — книги «О китайской литературе наших дней», «Тао Юань-мин и его стихотворения», выходившие отдельными изданиями стихотворений Бо Цзюй-и, Тао Юаньмина. В журнале «Иностранная литература» были опубликованы статьи «Когда поэт переводит... (Восток Анны Ахматовой)», «Идеи и факты. Несколько вопросов по поводу идеи китайского Возрождения», переводы из Тао Юань-мина и других китайских поэтов, рецензии на изданные в Советском Союзе произведения китайской и вьетнамской художественной литературы и др.

■

АТ-ТАЙИБ САЛИХ (род. в 1928 г.).

Суданский прозаик, журналист. Получил образование в Англии. Сотрудничал в ряде органов арабской и английской печати, на радио и телевидении. Перу писателя принадлежат повести «Свадьба Зена» (1969), «Бандар-шах» (1972), сборник рассказов «Пальма Вад Хамида» (1968). Произведения ат-Тайиба Салиха переведены на ряд европейских языков и были положительно оценены критикой как в арабских странах, так и за рубежом. На русский язык ат-Тайиб Салих переводится впервые.

Повесть «Сезон паломничества на Север», журнальный вариант которой мы начинаем публиковать, вышла в 1969 г. в каирском издательстве «Дар аль-Хиляль».

■

ШАГАЛЬ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский переводчик, филолог-арабист, кандидат филологических наук. Автор ряда статей по проблемам арабского языка, литературы и культуры.

Перевел с арабского романы «Осенние перепела» египетского писателя Нагиба Махфуза, «Парус и буря» сирийского писателя Ханы Мины («Иностранная литература» № 4—5, 1971), «Феллах» египетского писателя Абд ар-Рахмана аш-Шаркави, рассказы Юсуфа Идриса, М. Нуаймы, Эдварда Харрата и других.

■

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — GUSTAVO VALCARCEL (род. в 1921 г.).

Перуанский поэт и прозаик. Его поэтические произведения составили несколько сборников: «Песни земной любви» («Cantos del amor terrestre», 1957), «Его лучшие стихи» («Sus mejores poemas», 1961), «Куба — да, янки — нет!» («¡Cuba si, yanquis no!», 1961), «Революционная поэзия» («Poesia revolucionaria», 1962) и др. Перу Вальркарселя принадлежат также книги репортажей — «Агония Перу» («La agonia del Perú», 1952), «Репортаж будущему» («Reportaje al futuro», 1963). Глава из этой книги была опубликована в нашем журнале (№ 11 за 1964 г.). В «Иностранной литературе» был напечатан также цикл его стихов из книги «Прошу слова!» (№ 8, 1967).

Публикуемая в этом номере поэма Густаво Вальркарселя, в оригинале носящая название «Pentagrama de Chile antifascista», написана автором весной нынешнего года и получена от него редакцией в рукописи.

■

ТЫНЯНОВА ИННА ЮРЬЕВНА.

Советский поэт-переводчик, литературовед. Автор книги об испанской поэзии «Ветер борьбы народной» (1972), многих статей по вопросам испанской и латиноамериканской литератур. Ей принадлежат сборники переводов Кастру Алвеса и Томаса Антониу Гонзаги; переводы памятников испанской поэзии средневековья и «Золотого века», поэзии Кальдерона, Камоэнса, Федерико Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо, Мигеля Эрнандеса, Рафаэля Альберти, Хосе Марти, Рубена Дарио, Николаса Гильена, романов Жоржи Амаду, рассказов Вальс-Инклана, Альваро Юнке и других.

■

ИРВИН ШОУ — IRWIN SHAW (род. в 1913 г.).

Американский писатель — романист, новеллист, драматург. Окончил Бруклинский колледж. В поисках заработка сменил ряд профессий — был шофером, продавцом, учителем, несколько лет играл в профессиональной футбольной команде. В 1936 году стал известен всей Америке своей антивоенной пьесой «Хороните мертвых» («Bury the dead»). После этого успешного дебюта некоторое время работал в Голливуде. Затем вышли сборники его рассказов «Матрос с «Бремена» («Sailor off the Bremen», 1939), «Добро пожаловать в наш город» («Welcome to the city», 1942), романы «Молодые львы» («The young lions», 1948), «Тревожная атмосфера» («The troubled air», 1950),

«Богач, бедняк» («The rich man, poor man», 1970) и другие. Ныне Ирвин Шоу — один из наиболее читаемых и чтимых писателей Америки. И. Шоу живет в Швейцарии. На русский язык переведены многие из его новелл — они печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 2, 1967, № 5, 1969), пьесы «Бруклинская идиллия», «Убийца», роман «Молодые львы».

В этом номере мы начинаем публиковать новый роман И. Шоу «Вечер в Византии» («Evening in Byzantium», Delacorte Press/New York, 1973).

■

ЧУГУНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1916 г.).

Советский переводчик с английского, литературовед. В его переводах читатели познакомились с романами и рассказами Дж. О'Хары, Шерли Энн Грау, Р. Кента, Л. Лоренса, Дж. К. Оутс, Б. Маламуда, Д. Халберстема (США), К. Маркандайа (Индия), П. Видженаике (Цейлон), Р. Ривы, Алекса Ла Гума (Южная Африка) и других. Автор предисловий к ряду книг писателей стран Азии и Африки, выпущенных советскими издательствами.

■

МЕНДЕЛЬСОН МОРИС ОСИПОВИЧ (род. в 1904 г.).

Советский литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор. В 1939 г. опубликовал книгу «Марк Твен» (дополненные издания ее — в 1958 и 1964 гг.), написал ряд статей о его творчестве. Автор работ «Уолт Уитмен» (1954) и «Жизнь и творчество Уитмена» (1965 и 1969), монографий «Современный американский роман» (1964) и «Американская сатирическая проза XX века» (1972), книги «Американская трагедия» Теодора Драйзера» (1971), статей о творчестве С. Фицджеральда, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера и др.

■

РАДВОЛИНА ИДА МАРКОВНА.

Советская писательница. Автор книг «Рассказ о Юлиусе Фучике», «До новых встреч, друзья», литературных портретов югославских писателей А. Цесарца, Д. Максимович, Б. Чопича, Р. Зоговича, М. Лалича, Э. Коша и других.

■

КОСТА СТРАНДЖЕВ (род. в 1929 г.).

Болгарский писатель. В 50-е годы был редактором газеты и комсомольским работником на строительстве Батакского гидроэнергетического комплекса. В настоящее время возглавляет литературное издательство «Христо Г. Данов» в Пловдиве. Автор сборников рассказов «Мы с водонапорной башни» («Ние от водната кула», 1961), «Таран» (1965), повестей «По сообщениям печати» («По съобщения на печата», 1963), «Черный свадебщик» («Черният сватбар», 1969), пьес «Сосны не сгибают ветвей» («Боровете не превиват клоните», 1960), «Мост» (1973).

Его документальная повесть «Мужество жить» («Храбростта да живееш», Пловдив, «Христо Г. Данов», 1974) была удостоена премии Центрального совета болгарских профессиональных союзов. Фрагменты из нее мы предлагаем вниманию читателя.

■

ИВАН НИКОЛОВ (род. в 1937 г.).

Болгарский поэт. Автор нескольких поэтических сборников: «Крестьянин с хлебом», «Бессонная звезда», «Пусть у вас будет праздник», «Колыбель над миром» и др.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (и. о. отв. секретаря), **С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 23/VI 1975 г. А00121. Подписано к печати 11/VIII 1975 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 28,27.
Тираж 595.000 экз. (1-й завод 1—350.000 экз.) Зак. 2270.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394